90 коп.

Индекс
70327

В ДЕВЯТОМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

ISSN 0321—1878. Звезда. 1990. № 8. 1—208.

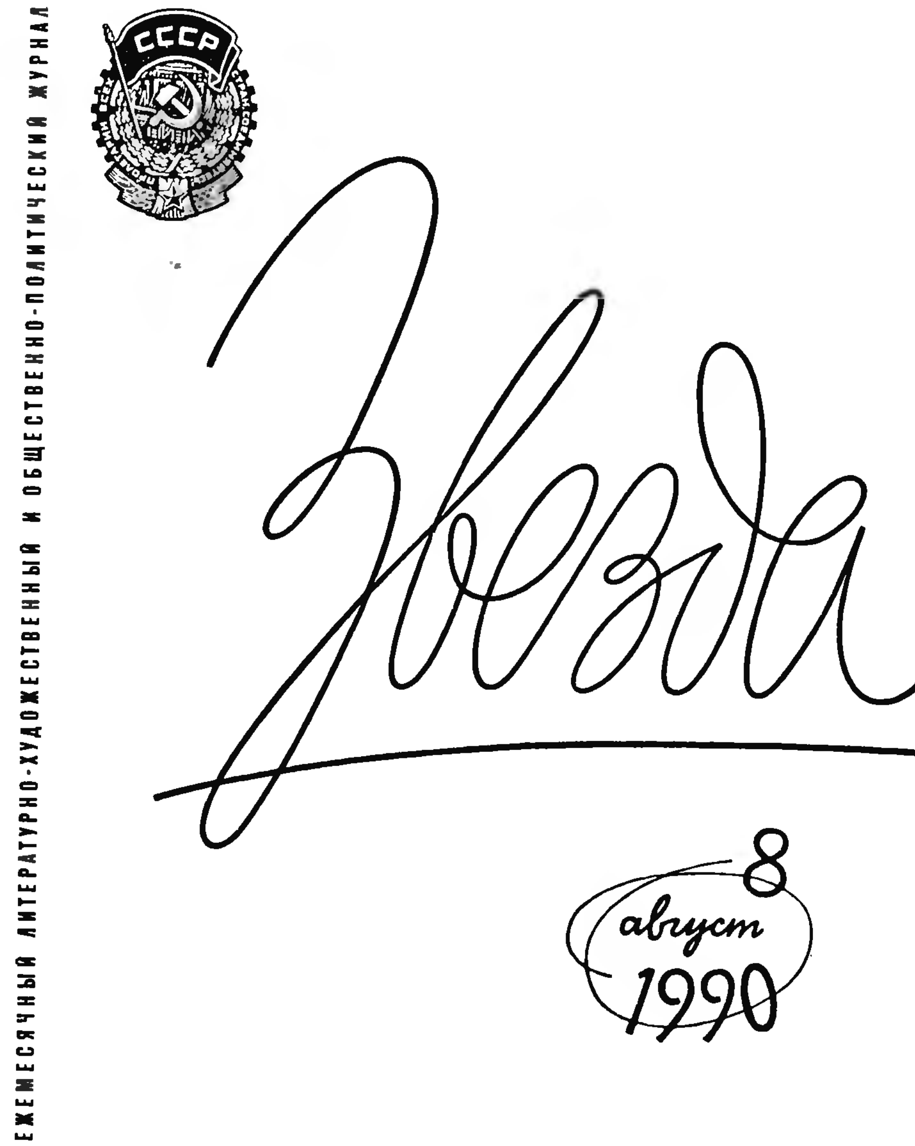
ISSN 0321—1878



8

1990

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, первый зам. главного редактора — 273-52-56, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Издательство «Художественная литература»

Сдано в набор 17.04.90. Подписано к печати 07.06.90. М-28273. Формат 70×108[1]/16. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,38 усл. кр.-отт. 25,10 уч.-изд. л. Тираж 344 000 экз. Заказ № 264. Цена 90 к. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

1

Пять мужиков, составивших бригаду,
За твердые наличные рубли
По коридору длинную громаду,
Обмотанную тряпками, несли.

Мы разминулись около профкома,
Я даже отступил на три шага
И вжался в стену: были так знакомы
И жест руки, и кончик сапога!

— Куда ж его несем-то, а, ребята? —
Спросил один, дверь придержав ногой.
— На свалку?
— Нет, на свалку рановато,
Чай, на балансе,— отвечал другой.—

Пойду спрошу товарища декана,
А ты с парнями тут позагорай.
Слепили же такого истукана,
Что ни в один не втиснется сарай!..

И вышло так, что, может быть, полгода,
Неподготовленный смущая взор,
Со стороны двора торчал у входа
В тряпичных латах грозный командор.

А мне, бывает, снится и поныне,
Что это мы, уж сорок лет почти,
Несем его, во всей его рванине,
Бог весть куда, и нет конца пути.

Несем, кряхтя, ругаясь временами,
И за собой потащим в ад и в рай:
Ведь на балансе числится за нами
И ни в какой не втиснется сарай!

2

На базаре кооперативном,
Где съедобная вата сладка,
Где «вареным», нарядным, спортивным
Трикотажем торгуют с лотка,—

Там, привычно затянутый в китель,
В мелочном разноцветном ряду
Белый гипсовый Вождь и Учитель,
Бывший гений, стоит на виду.

Многократно развенчан жестоко,
Он стоит по соседству с Христом,
Трехголовым Драконом с Востока
И русалкой с игривым хвостом.

Ну и смесь! О прибытке радея,
Продавец расстарался всерьез.
Для него безразлична идея.
Он торгует. И есть еще спрос.

Я прислушаюсь, двигаясь мимо:
На сегодня — какая цена?
И замечу, как чуть уловимо
Под усами усмешка видна:

«Никуда от меня не уйдете,
Невзирая на всю нелюбовь.
В незнакомом обличье и плоти
Я вернусь к вам, увидите, вновь.

Илья Олегович Фоняков (р. 1935 г.) — поэт, переводчик и публицист. Первые стихи напечатаны в 1950 году. Первая книга лирики — «Именем любви» — в 1957-м. Живет в Ленинграде.

Вам самим — не кому-нибудь — надо,
Чтобы я — так ли, сяк ли — воскрес.
Без кнута разбредетесь, как стадо,
Вот — уж начался этот процесс.

Вместе с банкой сапожного крема
Пусть меня покупает чудак.
Вы решили: исчерпана тема?
Ошибаетесь, как бы не так!»

Не смолкая, шумит перекресток.
Что там ждет впереди? А пока
Тянет руку лохматый подросток
И дает истукану щелчка.

* * *

Помнишь лето, простор неоглядный,
Полевую, озерную ширь,
Небольшой городок —
И громадный
Заповедный при нем
Монастырь?

Богомольный отшельник, воитель,
Здесь воздвиг он свои терема:
Для кого-то — святая обитель,
Для кого-то подчас — и тюрьма.

Здесь сидели: бродяга, изменник,
Богохульник — «охальник и пес» —
И какой-то безвестный священник,
Чья вина —
«Запоздалый донос»

А в старинной развернутой книжке,
Под стеклом сохраняемой тут,
Прочитаешь,
Какой в городишке
Жил когда-то
Ремесленный люд.

Возникают из ветхих анналов
Кузнецы, скорняки, ложкари,
«Двадцать плотников, семь коновалов
И заплечных дел мастера —
Три».

Ищешь, путник, в истории русской
Благолепия, света, добра?
Получай,
Но, как в лавке,— «с нагрузкой».
Это все
Началось не вчера.

Разбирайся в наследстве, потомок,
Отделяя добро ото зла!
Свищет ветер, пронзительно громок,
И, как свечи,
Горят купола.

КЛАССИК

Шел съезд писателей. Какой по счету —
Уже и не припомнится теперь.
Внимать устав парадному отчету,
Я потихоньку выскользнул за дверь.

И вдруг увидел: с лестницы, как с горки,
Спускался он — и был издалека
В солдатских сапогах и гимнастерке
Похож на школьного военрука.

Совсем один, позевывая сладко,
Увеявшись от свиты в этот миг,
Шел по ступенькам человек-загадка,
Чье имя — на обложках дивных книг.

Расческой тронул тускловатый локон,
И шевельнулся, что ни говори,
Вопрос коварный: да неужто мог он?..
Тем более — когда-то, в двадцать три?..

Откуда что взялось тогда, откуда?
Ведь столько лет — молчанья полоса.

А впрочем, если жизнь — сплошное чудо,
Чего же и не верить в чудеса?

Но помню: сердце почему-то сжалось.
Мы встретились глазами наконец,
И я клянусь, что мне не показалось:
Он подмигнул, как беглецу беглец!

В РУССКОМ МУЗЕЕ

В музее — тысячи картин,
В музее — ровный свет.
Пришли в музей отец и сын
Семи неполных лет.

На них безмолвные холсты
Глядят со всех сторон:
Богини дивной красоты,
Помпея и Нерон.

А дальше — избы у ручья,
Березовая грусть,
Вся передвижническая
Страдальческая Русь...

— Не рано ли для малыша?
— Спешу,— отец в ответ,—
Пока сыновняя душа
Еще вбирает свет,

Покуда в сети не поймал
Его железный «рок»,
Пока он мой, пока он мал,—
Напитываю впрок.

А то, что не поймет сейчас,—
Невидимым пластом
Пускай осядет про запас,
Припомнится потом...

На них безмолвные холсты
Со всех сторон глядят:
Святые, звери и цветы,
И пахарь, и солдат.

Крупчатый суриковский снег
И шишкинская рожь.
А впереди — двадцатый век:
Его не обойдешь...

НАДПИСЬ НА КНИЖКЕ СТИХОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вот какая, коллеги, нам выпала нынче пора!
Не успеет просохнуть газетная скверная краска —
Смотришь, мир уж не тот, что вчера, и не тот, что с утра,
Перестройка идет, перетруска идет, перетряска.

Может, завтра он станет уже совершенно иным,
Этот мир — не таким, как замысливалось в кабинете.
Пригодимся ли мы в этом мире, поладим ли с ним,
Завраждуем ли с ним — или канем, отставшие, в нети?

Может быть, и не стоит уж так безоглядно спешить?
Может быть, и не следует столь напрягаться умишку?
Из всего, что напишем, быть может, останутся жить
Только детские строки —
про птичку,
про зайку,
про мишку...

Владимир Насущенко

И окликнул Господь

Рассказ

Когда бы Терехова ни приходила в процедурную, Алевтина Ивановна ошарашивала вопросами. Вот и сейчас, выключив кипевшие шприцы, сказала вместо приветствия:

— Чтой-то, Марья Дмитриевна, за народ такой? Иду сегодня на работу, задумалась. Вдруг меня будто бревном в плечо ударили. Я к киоску отлетела. Оглянулась: молодой парень с портфелем, морда — как у мясника... Даже не извинился, подлец! Мелькнула у меня мысль, что у него парабеллум на ляжке спрятан, а в кармане — черная повязка со свастикой! Я напугалась. Придет этакое в голову!

— Ох, Алевтина Ивановна, просто устали вы. И у меня ум за разум заходит: настоишься в очередях, думаешь, скорей домой добраться и на диван кости бросить. Не знаю, как до отпуска дотянуть...

— Я и в отпуске мучаюсь,— перебила Алевтина.— Прошлый год ездила с мужем в Дубулты. Вода в заливе грязная, купаться запрещено. Народишко по пляжу шастает туда-сюда, друг на друга глазеют — все и развлечение,— да по универмагам рыщут. Рядом с санаторием — шоссе и железная дорога, окна не открыть. Облюбовали мы с мужем безлюдное местечко за лесопилкой. Тихое, никто не соблазнился на свалку древесных отходов. Муж в речке уклею ловил, я в опилках загорала. Чудесно провели время на свалке!

Алевтина Ивановна засмеялась. Ее сморщенное лицо жалко дергалось. С тех пор, как ее мальчика убили в Афганистане, она усохла, и ручки у нее постоянно трясутся, она не может попасть иглой в вену и просит Марью Дмитриевну поставить капельницу Сизову:

— Его в седьмую палату перевели.

— Да уж,— согласилась Марья Дмитриевна.

— А что, гематолог не надеется вытянуть его? — спросила Алевтина.

— Вряд ли,— сказала Терехова, чуть усмехнувшись.

Эта ее усмешка не означала, что она радуется приближению смерти Сизова, начальника строительства. Гематологу Забавиной этот человек был нужен, она лезла вон из кожи, чтобы вылечить Сизова, для него и отдельный кабинет у начальницы выхлопотала. Прошлый год Сизов лежал с этим же диагнозом — лейкоз. Когда он выписывался, обещал гематологу трехкомнатную квартиру, да не успел: болезнь обострилась.

Забавина была женщина высокомерная, сестры ее побаивались.

Проверив группу крови, Алевтина Ивановна заправила капельницу и приготовила на подносике иголки, бинты, ватные тампоны, жгут и баночку спирта. И Марья Дмитриевна, взяв все необходимое, пошла в седьмую палату.

В холле слонялись выздоравливающие с опухшими от чрезмерного сна физиономиями. С лестничной площадки, где была курилка, доносились веселые голоса, смех.

«Сорокин анекдоты травит»,— с неприязнью подумала Марья Дмитриевна и крикнула санитарке, протиравшей подоконник:

— Баба Феня, разгони собрание, обход идет!

Санитарка оставила тряпку и, недовольно ворча, пошла на лестницу.

В седьмой палате лежали трое гематологических: юноша — грузин Гога, старик Батецкий и Сизов.

Марья Дмитриевна поздоровалась, стараясь не глядеть на койку, где под двумя шерстяными одеялами лежал Владимир Петрович Сизов. Правое веко у него дрожало. Весь он исколот иголками, места нет живого, тело в синяках. Не каждая медсестра попадала с первого захода иглой в вену.

Марья Дмитриевна потянула его руку, лежавшую поверх одеяла, и ласково позвала:

— Владимир Петрович, повернитесь на спину.

Сизов открыл глаза, обрадовался, что сегодня дежурит Марья Дмитриевна: кончились его мучения с той сестричкой, что вчера продырявила вены во многих местах. Он с готовностью лег на спину, улыбаясь синими губами.

— Ждал вас вчера...

— Я дежурствами поменялась, Владимир Петрович. Гости ко мне должны приехать,— ответила Терехова, устанавливая треногу, налаживая систему. Перевязав его руку трубкой, протерла спиртом дряблую кожу на сгибе и осторожно ввела иглу в ломкий сосуд. Из торца иглы закапала жидкая кровь. Откинув жгут, она ловко подсоединила трубку, отрегулировала число капель и заспешила на пост.

Больные входили в палаты. Из ординаторской вышли врачи, сопровождаемые старшей сестрой Лиходеевой и Цилей с женского поста. Впереди — заведующая отделением Наталья Акимовна в накрахмаленном до голубизны халате, из-под которого виднелось платье нежно-розового оттенка, с шеи свисали шланги фонендоскопа. Вид у заведующей торжественно-приподнятый. Вчера был банкет по случаю присвоения ей звания заслуженного врача. Терехова на банкете не была, не сочла нужным петь дифирамбы начальнице. Любителей славословить хватало без нее. Терехова вообще никогда ни перед кем не заискивала, не лебезила, выгоды не искала. Наталья Акимовна недооценивала ее прямодушие, даже раздражалась при разговоре с ней. Отношения были более чем прохладные. Терехова знала, какой ценой досталось Наталье Акимовне звание заслуженного врача. Истинно, она его «заслужила». Если из управления поступал больной, место ему находилось в личном кабинете Натальи Акимовны. Ее ценили.

Терехова взяла истории болезней, присоединилась к обходу в третьей палате.

На крайней койке сидел Сорокин и морщился, сунув руку под пижаму. Заведующая начала с него.

— Приступ был, Сорокин?

— Вчера вечером схватило,— пожаловался он и заискивающе посмотрел на Терехову, которая двадцать минут назад слышала его бессовестный гогот в курилке и знала, что язвенная болезнь у него обострилась после того, как его дружок принес в больницу контрабандную водку, которую они и распили. В тот вечер Сорокин юркнул до отбоя в постель, чтобы не попадаться на глаза медперсоналу. Хитер был Сорокин, башковитый, сказал, чтобы все слышали:

— Поздравляю, Наталья Акимовна!

— С чем это вы меня поздравляете? — сдерживая лучезарную улыбку, спросила заведующая.

Сорокин, как актер, обученный искусству сальтации, развел руки:

— Земля слухом полнится, Наталья Акимовна! Эге, не всякому дают высокое звание!

Он взял с тумбочки цветы в хрустящем целлофане, протянул заведующей. Наталья Акимовна обвела сияющими глазами свидетелей, и уши ее порозовели от удовольствия.

— Вот как? Спасибо! Какая прелесть! Не смею отказаться. Цветы в такое время года? Очень мило! Марья Дмитриевна, поставьте тюльпаны в ординаторской...

Владимир Егорович Насущенко (р. 1930 г.) — прозаик, автор книг «Мартовский лед», «С утра до вечера», «Белый свет», «Дом на канале». Живет в Ленинграде.

Терехова понесла цветы в ординаторскую. Там наполнила керамическую вазу теплой водой из графина, срезала ножницами стволы наискосок и поставила цветы на подоконник. То, что заведующая приказала отнести цветы не в свой кабинет, а в ординаторскую, имело определенный смысл, дескать, не ей одной преподнесли подарок, а всему коллективу... Цветы и правда были замечательные: божественно-бордовой окраски, с желтым подбоем внутри! Марье Дмитриевне стало немного грустно, и она ругнула себя за излишнюю подозрительность. Может быть, человек сказал от души? Она не торопилась в палату, чтобы не видеть, как Наталья Акимовна тщательно обследует «дипломата» Сорокина и выпишет ему дорогое лекарство.

Когда она вернулась, Сорокин снисходительно улыбался своему лечащему врачу Вере Степановне, которая намеревалась выписать его на неделе. Весь его вид говорил: что, съела?

Гематолог и заведующая направились в седьмую. В палате хрипел старик Батецкий, уставясь в окно на больничный сад. Снег вокруг берез вытаял, стволы стояли в воде. Отсыревшая ворона прыгала в ветвях, и было слышно, как с крыши плескалась вода. Батецкий, молчавший днями, был плох: во рту и в сфинктере — язвы. За месяц, что он здесь лежал, к нему единственный раз приходила дочь, сытая, румяная дива с пухлыми руками, которая громко разговаривала с отцом, сидя на стуле, закинув ногу на ногу, как в кабаке. Батецкий стеснялся дочери, что она такая шумная, и умолял:

— Лена, не говори громко, в ушах звенит.

— Я всегда так разговариваю. А что, нельзя?

Батецкий отвернулся к стене и накрылся халатом. Дочь пошла на лестницу курить и там так же громко разговаривала с больными, стряхивая пепел указательным пальцем, как это делают девицы доступных достоинств.

Над Батецким склонились врачи. Терехова занялась Сизовым. Капельница была почти пуста. Она перекрыла трубочку, выдернула из тощей руки больного иглу и прижала вену ватным тампоном. Сизов согнул руку, чтобы ватка не вывалилась, благодарно глянул на медсестру. Она отставила треногу, забрала поднос с инструментом. Забавина обратилась к ней:

— Серебрякова отправьте на хирургию.

Марья Дмитриевна кивнула, отнесла в процедурную поднос. Серебрякова в палате не было. Она взяла в ординаторской историю его болезни, на всякий случай заклеила ее и пошла разыскивать больного. Серебряков ожидал у входа — испитой мужичонка, в чем только душа держалась. Он был напуган приходом хирурга. Терехова повела его в главный корпус. Серебряков ежился, в глазах застыл страх перед предстоящей операцией, но он бодрился.

— Надо же, нашли полипы в прямой кишке! Хирург сказал, что операция пустяковая, что через неделю я буду на ногах. Мужик он суровый, высматривал, выщупывал меня под мышками, в паху... Обходительный, в глаза смотрит, а мне страшно стало...— болтал Серебряков, перепрыгивая лужи, неловко держа полиэтиленовый пакет с туалетными принадлежностями, сверху были запихнуты два яблока. Убога, бедна была его больничная пижама, старенькая фуфайка на сутулых плечах. Лицо измożденное, плохо выбритые скулы заострились. Он вдруг остановился.

— Идите, я догоню,— сказал он.— Последний раз посмотрю на них...

— На кого?

— На деревья. Будто впервые я сегодня их увидел. Красивые они...— Он вздохнул.

Терехова зябко повела плечами. Ей не хотелось стоять на ветру, но она подумала, что Серебряков что-то чувствует, подгонять в таких случаях нельзя.

— Любуйтесь, Серебряков, раз это вам необходимо...

— Да, я постою.

Он задрал голову и следил, как раскачивались голые вершины. В прорехе тучи виднелся клочок голубого неба.

У главного здания стояла «скорая». Санитары вытащили носилки, накрытые окровавленным одеялом, понесли в корпус. Терехова остановилась у входа. Серебряков шел по битому льду, балансируя руками, и лицо у него было умиротворенное.

Они вошли в мрачное здание. Коридор заливали лампы дневного света. Один лифт был грузовой, на нем поднимали тяжелых больных и обеды; другой — для медперсонала и ходячих больных. Они вошли в кабину. Лифт потащился наверх. На четвертом этаже они вышли.

— Постой, Серебряков, разыщу старшую,— сказала Терехова и пошла по коридору, держа под мышкой папку с бумагами.

Скоро она вышла, повела больного в ванную переодеваться и стала ждать, чтобы забрать одежду. Мимо прошли два коренастых хирурга, громко разговаривая на ходу. Один сказал:

— Сделали резекцию тонкого кишечника, около сорока сантиметров, с анастомозом «конец в конец»...

— То, что надо,— сказал второй, энергично размахивая черной волосатой рукой.

Провезли женщину на операцию. Ее глаза были широко открыты и полны безмолвного ужаса и отчаяния.

Серебрякова увели. Терехова забрала одежду, пошла обратно. Из дальней палаты доносился низкий звериный вой. Кричала женщина. Старик, видно, отец кричавшей, топтался у дверей, боясь войти. Он был очень напуган.

Терехова спустилась по лестнице. Корпус недавно отстроен, еще не просох, местами отставала побелка. Она вышла на улицу, обходя длинные лужи с ледяным крошевом. Деревья были черны, только верба рыжела. Развозка привезла с кухни обед. Буфетчицы выволакивали из кузова подносы, ведра с супом.

Марья Дмитриевна вернула сестре-хозяйке белье Серебрякова и, помыв руки, стала раскладывать лекарство. Делала это автоматически, раскидывая горошины, колеса и порошки на фанерку с этикетками, где были указаны фамилии больных, и успевала замечать, кто куда пошел. В ординаторскую проскользнула маленькая женщина с тяжелой сумкой. Скоро она вышла в сопровождении Забавиной. Та проводила ее на выход и завернула к Циле, что-то сказала ей. Циля побежала в ординаторскую, войдя, распахнула пасть холодильника, поставив туда банку, завернутую в газету, и направилась к Тереховой.

— Лидина бидон сметаны приволокла врачихам в знак благодарности, что ее муженька вылечили,— сообщила она.— Идите, а то разберут. Сметана густая: прямо с молокозавода...

Марья Дмитриевна поморщилась:

— Не пойду. Сметана краденая... Если и не краденая, все равно — грех.

— При чем тут грех? — удивилась Циля.— Дают — бери, бьют — беги.

Она закатила глаза, фыркнула и пошла на пост, виляя бедрами, накрахмаленный колпак на ее ухоженной головке стоял торчком.

Марью Дмитриевну всю передернуло от ее нахальства, что совесть не мучает бедную девочку. Подумала: «Ох, Циля, Циля, куда лезешь, неразумная? Забавина повязала всех одной веревочкой».

Летом заведующая была в отпуске, ее замещала гематолог: тут она и развернулась. Дорожный мастер из Хвойной привез три литра гречишного меда... Потом в шкафу появилась штука ситца. Марья Дмитриевна держала язык за зубами, но гематолог ее побаивалась.

Терехова вздохнула и понесла раздавать лекарство. В третьей палате больные стучали костяшками домино, воздух был спертый. Она открыла форточку и выгнала игроков в коридор. Там фланировали молодые женщины, причесанные, с накрашенными губами. Все они были без лифчиков и поддерживали халаты на груди рукой.

Баба Феня вынесла из ванной ведерко с водой, в другой руке — швабра с намотанной тряпкой.

— Пойду «Марсово поле» мыть,— сообщила она, направляясь в холл.

Она еле ходила, ноги распухли, и у нее было недержание мочи. Несло от нее, как от старой уксусной бочки. Несмотря на старость, она работала через день. Сын у нее алкоголик, недавно пришел из тюрьмы, тянет все из дома, требует от матери деньги на выпивку, если она не дает, трясет ее, бьет по голове. Баба Феня собирает по отделению бутылки из-под кефира и минеральной воды, чтобы заработать лишний рубль: пенсия у нее маленькая. Ей советуют подать на сына в суд, но она машет рукой: «Бог с ним... В милицию заявлю — его сразу посодють. Ему

на свободе недолго и быть: опять подерется с кем, пойдет по этапу. Пусть ишшо походить...» В ее рассуждении есть логика: материнское сердце все терпит, все прощает.

Из столовой высунулась буфетчица Шура и мягко пропела:

— Мальчики, обедать!

Шура в настроении. За собой не следит, растолстела, глаз не видно. Ест помногу и жадно, от еды ее распирает так, что трудно дышать. Домой она прихватывает продукты: сахар, масло, котлеты. Соскребает в кастрюльку мясную подливу, чтобы накормить семью: у нее два мужика и собака. Живет Шура за городом. Одно время она откармливала поросенка, таскала ему кашу. Однажды в электричке мешок с кашей лопнул, и содержимое потекло по ее спине. Теперь Шура сама похожа на свинью.

Больные потянулись в столовую. Врачи в ординаторской пили чай с тортом. Сестры обедали в последнюю очередь.

Марья Дмитриевна пришла, когда все разошлись. Суп был холодный, каша застыла. Буфетчица шаркала, скребла в посудомойке, смывала остатки каши в канализацию.

Помызгав ложкой в постном супе, Марья Дмитриевна проглотила два кусочка макаронной запеканки — разносолов не было,— выпила волокнистого компота. Потом собрала в помойном ведре недоеденные ошметки мяса, покрошила в тарелку и понесла на улицу кошке.

— Кис, кис,— позвала.

Никто не откликнулся. Обычно кошка с котятами вылезали по первому зову. Терехова заглянула в дырку в фундаменте. Дырка была забита консервной банкой. Начмед приказал уничтожить на территории больницы бродячих кошек. Ключ от подвала хранился у завхоза. Идти его искать не было смысла.

Терехова нашла палку и попыталась пропихнуть жестянку внутрь. Банка развернулась, протолкнуть ее не удалось. Марья Дмитриевна встала на коленки, просунула руку в узкое отверстие, стала шатать банку, раздирая до крови пальцы о шершавый цемент, и со скрежетом выдернула проклятую банку.

Кошка с котятами не вылезла. За трое суток, что Марья Дмитриевна не была на дежурстве, все могло случиться. Она встала с коленей, поставила тарелку к фундаменту и снова позвала. Все было тихо. Старшая сестра Лиходеева шла с бумагами и, увидев, что Терехова караулит кошку, остановилась и участливо спросила:

— Нет ее?

— Нету. Кто-то замуровал подвал...— Марья Дмитриевна подула на сбитые пальцы и пнула ногой банку, та загремела в камнях.

— Герасимова с кардиологии вызвала водопроводчика, и тот забил,— сообщила Лиходеева.

— Ее бы саму туда забить.— Терехова покосилась на старшую, та тоже гоняла кошек. Виноватого не найдешь. Лиходеева отвела глаза и заскакала по лестнице. Она и сама могла забить подвал, чтобы угодить начмеду. Люди готовы уничтожить все живое. В больнице был яблоневый сад, держали садовника. Потом эту должность сократили, сад без присмотра: больные сшибают яблоки палками, ломают сучья, посетители затаривают сумки дармовыми яблоками. Сад одичал, зарос бурьяном.

Кошка не вылезла.

Терехова обогнула здание, заглянула в подвальное окно. Оно было заколочено досками изнутри, кошке не пролезть. Перешагивая лужи, она пошла в отделение и думала про кошку с котятами: вылезли они или сидят там.

В отделении было все спокойно. Она обошла палаты, прикрикнула на доминошников, чтобы стучали потише. Она терпеть не могла эту дурацкую игру, и на то были свои причины. Два года назад во время игры умер больной. Она помнила его фамилию:Федоров. Он сидел на кровати и держал костяшки домино, изо рта у него хлынула кровь. Он успел хрипнуть: «Все!» И задергался, как петух...

И теперь, заходя в эту палату, она беспокойно оглядывала сидящих.

Врачи собирались домой. Забавина вышла из седьмой палаты и остановила Марью Дмитриевну.

— На ночь сделайте Сизову промедол. Что-то он сегодня не спит, мне это не нравится...— Она не договорила и многозначительно покрутила в воздухе пальцами.

Марья Дмитриевна поняла, что имеет в виду гематолог. Обычно Забавина выписывала тяжелых иногородних больных, чтобы родственники забрали его домой, пока он транспортабелен. Сизов разведен с женой, а родная сестра не берет его к себе. Однажды кто-то из выписанных больных оставил на столе Забавиной записку: «Идущие на смерть приветствуют тебя!». Фраза известная, писал человек образованный. В тот злосчастный день выписались двое иногородних: инженер Колотов и связист Рябко. Никто не видел, кто из них оставил записку. Забавина впала в истерику: она не виновата, что ее больные неизлечимы, она столько кладет на них труда, и вот — благодарность! Ее задело, что к ней обратились на «ты». Вера Степановна сказала, что это — устоявшаяся формула смертников, ритуальное обращение гладиаторов к римскому императору: изменить в обращении ничего нельзя. Но, оскорбленная в лучших своих чувствах, гематолог не хотела ничего слышать. «Я — врач!» — твердила она и плакала в ординаторской.

Заведующая пошла на выход, за ней потянулись остальные. Доносились голоса врачей: «...голубое небо Израиля... Кто пустит?.. И в Париж не пустят!»

Юноша Гога сидел на диване, таращась на проходивших студенток. Он был красив хрупкой нежной красотой, пальцы на руках — как у девушки. Студентки — румяны, в меру толсты — понимали, что Гога — мечта. Они присаживались на диван, болтали вздор и глядели на Гогу. Тот смотрел на них большими зелеными глазами и молчал. Студентки нервно ерзали по дивану, задирали повыше подолы, чтобы были видны их стройные ноги в колготках. Гога отворачивался: он хотел быть здоровым, как эти студентки,— он был импотент. На Гогу иногда находило: он складывал ладони лодочкой и гудел. Звук получался грустный. Он объяснял, что такой меланхолический звук описан Чеховым в его лучшем рассказе «Студент». Студентки не читали рассказа, краснели. Для них Гога за семью печатями. Они уходили, бросив Гогу на диване, но назавтра снова появлялись и приводили подруг послушать, как Гога печально и сладко дудит в длинные ладони.

Шаркающей походкой прошла Алевтина, заглядывая в палаты и выдергивая оттуда последних больных на уколы. До пенсии ей — год, но она выжата как лимон. Когда на нее никто не смотрит, мускулы на ее лице расслабляются, лицо течет вниз, в этот момент она страшна. Она не верит, что ее сын убит: майор, распоряжавшийся на похоронах, не разрешил открыть цинковый гроб. И Алевтина думает, что ее обманули. Она думает, что виноваты политики и генералы, она их не видит: они не ездят в общественном транспорте...

Врачи ушли, старшая ушла. Алевтина бродит как неприкаянная: дома ее одолевает тоска...

В шесть часов в коридоре включили цветной телевизор. Больные принесли стулья, уселись. Показывают посещение главой правительства московского предприятия. Глава увешан охранниками, как собаками, их можно узнать в толпе: они не реагируют, что изрекает шеф, а беспокойно зыркают по сторонам и оттесняют работяг. Жалко главу...

Прокуренные мужики комментируют: «Сахаров — человек. Собчак — человек... Военные прокуроры врут про Грузию: саперных лопаток не было, нетабельного химического средства „Си-эс" не было... А что было? Выходит, вдова сама себя высекла? Мать их перевернутая...»

Бабы одернули матерщинника.

Марья Дмитриевна раздала лекарство, кефир. Шура припрятала лишние бутылки в сумку и оставила две сестрам.

Ужин прошел быстро.

На лестнице очередь к телефону-автомату. Разговаривают громко, вопят в трубку, будто отделены от мира неодолимой стеной. Кричат каждый вечер.

Марья Дмитриевна ждала звонка от мужа Коли. Боялась, что сегодня он выпьет после получки, переберет. Выпив, он становится неразумным, как дитя, бормочет: «Между людьми лучше быть пьяным, чем трезвым». Носит в кармане

стихи Бо Цзюйи как молитвенник. Подражает ему, карябает строчки, тут же рвет их на клочки и снова ходит по комнате, бормочет.

Терехова пошла в сестринскую, достала из сумочки открытку от Коли на Восьмое марта. Перечитала, моргая глазами: «Близок мой час. Темный ветер свистит по глухим закоулкам, сыплет твердую пыль. Стараюсь понять оставшиеся дни. Радуюсь непогоде. Ветер сдувает горечь с моего лица. Дней у Бога — не решето, милая. Будь спокойна. Ничего нельзя придумать для счастья, коль его нет. Храни тебя Бог!»

Вот и открытка... Главное — зачем написал? С ним что-то происходит. Упала тяга к жизни?

Она положила открытку обратно, пошла на пост. Зазвонил телефон. Она сняла трубку и услышала тяжелое дыхание.

— Коля, где ты ходишь? — заплакала она и, положив трубку, ушла в сестринскую, посмотрела в зеркало на свое разъехавшееся лицо. Слезы так и лились, не остановить было. Мир валится набок, это она усвоила твердо. У Коли был инфаркт. Дочка попала в компанию наркоманов, ушла из дома. От Коли мало поддержки.

Она помыла неуправляемое лицо, вышла на пост, приняла валерьянки и с расширенными зрачками пошла мыть наконечники для клизм раствором: девчонки так все и побросали вчера. Выйдя, она остановилась у пылавшего телевизора. Шло заседание какой-то комиссии. И было видно, какое злое, натужное лицо у председателя, который грубо одергивал выступавших литовцев. Те спокойно и с достоинством отвечали.

Она отошла к окну и смотрела в темноту, на запад. Ветер переменился, стало морозить. Она надела фуфайку, вышла посмотреть на улицу — не вылезла ли кошка с котятами. Еда была не тронута. Она бросила на асфальт засохшие, загнутые кусочки мяса и отнесла тарелку в посудомойку. Шуры уже не было. Время двигалось к отбою. Больные знали: дежурит Терехова, она не даст досмотреть передачу, и были недовольны.

Она разрешила досмотреть «Шестьсот секунд» и сразу выключила. У нее болел затылок, в голове мутилось. Она пошла в седьмую. Сизов дремал — решила не беспокоить. Батецкий повернулся, посмотрел на нее. Она пощупала на его запястье пульс и сказала:

— Я вам укол сделаю.

Батецкий приподнял высохшую голову и сказал:

— Мне сегодня полегче, схожу сам в туалет.

— Поберегите силы, лежите,— приказала Терехова и достала из-под кровати утку. Старик спрятал ее под одеяло и показал глазами, что справится сам. Он был стеснительный, не хотел при сестре оправляться.

Марья Дмитриевна пошла на черную лестницу разгонять куряк.

— Во жандарма, толком покурить не даст,— огрызнулся Сорокин. Она заперла лестничную дверь на ключ.

К половине двенадцатого отделение затихло. Из полуоткрытых палат доносились храп, скрежет зубовный, стоны.

Циля легла на диван, накрылась одеялом. Марья Дмитриевна, сдвинув два кресла, устроилась в них полусидя, вытянула гудящие ноги.

Ее растолкал Гога. Он был напуган.

— Батецкий,— сказал он.

Часы показывали половину четвертого.

Марья Дмитриевна тяжело встала, нога онемела. Прихрамывая, пошла в седьмую. Батецкий вытянулся на кровати, одеяло сползло на пол. Она подобрала одеяло, бросила его на стул и потрогала остывающую руку старика. Ее затрясло. Бывают промахи у молодых сестер, а ей-то, опытной, прозевать... Дежурный врач запишет: «Вызван к трупу». С вечера было все нормально, кто мог подумать. Спать на посту не полагается. А попробовал бы кто. За день умотаешься — ноги подкашиваются.

Она позвонила дежурному и подняла Цилю. Пришел кардиолог, послушал трубочкой грудь старика и сделал заключение:

— Мертвее и быть не может...

Ушел записывать в журнал.

Сизов беспокойно наблюдал за происходящим. Циля ввезла каталку. Терехова постелила на носилки простыню. Циля встала в ногах Батецкого, где было легче. Гога помог поднять сухое тело старика на носилки. Марья Дмитриевна связала концы простыни. Вывезли каталку в коридор, надели фуфайки и завезли каталку в лифт.

Мороз прихватил лужи, пандус обледенел. Дорога была неровная, с буграми битого льда. Каталка кренилась, приходилось делать усилие, чтобы она не опрокинулась. Терехова пошла в главный корпус за ключом от морга. Долго не открывали. Послышались шаги. Дежурная посмотрела сквозь стекло и открыла.

— Ключ,— коротко бросила Терехова и передала сестре бумажку со всеми данными о мертвом.

Дежурная вынесла железный ключ на бинте. Терехова взяла ключ и спустилась с крыльца. Циля ежилась. Сестры с трудом развернули каталку к моргу. Дорога здесь была еще хуже. Пришлось тащить каталку чуть ли не на себе. Терехова открыла тяжелую дверь, нащупав выключатель, зажгла свет. В помещении пахло сыростью и формалином. Оцинкованные столы были чистые, тускло блестели от направленного рефлектора. К столам тянулись резиновые шланги от раковин. Сестры подвезли каталку к столу. Он был несколько ниже, чтобы удобней было сваливать покойника. Развязав простыню, они столкнули труп на стол. Циля связала руки старика бинтом. Марья Дмитриевна привязала к его ноге бирку с фамилией и датой смерти, потом взяла деревянную калабашку-подголовник с вырубленной посредине выемкой и подсунула старику под шею.

— Все. Пошли,— нетерпеливо сказала Циля.

— Подожди.

Терехова перекрестила старика и сказала:

— И возвратится прах в землю, чем он был; а Дух возвратится к Богу, который дал его...

— Вы что? — спросила Циля.

— Не мешай. Отходную читала,— ответила Терехова.— Неизвестно, сожгут ли его или бросят в землю без отпевания.— И снова забормотала: — Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего Александра...

Циля дебильно хихикнула.

— Прекрати,— рассердилась Терехова.— Дитя неразумное! В жизни каждого человека смерть — важное событие. Подумай, что и тебе придется забираться на этот скорбный стол...

— Вот еще! — обиделась Циля.

Они выкатили каталку, выключили свет и заперли дверь. По проспекту с воем промчался первый троллейбус. Лед под ногами хрустел, было страшно по нему идти. Терехова вернула ключ. Циля не стала ждать, увезла каталку с простыней в отделение. Брезжил мутный рассвет. Идя к корпусу, Марья Дмитриевна качнулась, чуть не упала на лед и, ухватившись руками за куст, постояла, разглядывая голые суровые деревья.

Она разделась наверху, пошла по коридору. Кто-то ее вдруг окликнул:

— Марья!

Она обернулась:

— Ай?

Темный человек шел из угла, придерживая что-то тяжелое за спиной. Она сразу узнала хирурга, который вчера смотрел Серебрякова. Лицо хирурга было черно-синее. Подул сквозняк, шевельнулась занавеска. Хирург исчез. Терехова испугалась и спросила Цилю, перебиравшую градусники:

— Зачем хирург пришел?

— Что вы, Марья Дмитриевна, не было никого.

Терехова подозрительно посмотрела на нее, строго сказала:

— Только не ври. Где он?

— Кто?

— Хирург с синей бородой...

— Не было никого,— повторила Циля.

Марья Дмитриевна посмотрела в угол, где было широкое окно.

— Говоришь, не был? Странно, а кто фрамугу открыл?

— Сама открылась. Падает все время, надо привязывать,— сказала Циля и пошла закрывать фрамугу.

Марья Дмитриевна задумалась, села на диван. Циля подошла.

— Что с вами?

— Ничего. Меня окликнул Господь,— горестно прошептала Марья Дмитриевна и глубоко вздохнула.

— Кто окликнул? — возмущенно закричала Циля и повернулась на каблуках.— Нет никого! Я же говорю вам! Нет! — Она со страхом наклонилась и потрясла ее за плечи.

Марья Дмитриевна устало сняла ее руки и внятно произнесла:

— Не надо меня трясти, девочка. Передай Коле...

Не договорив, она легла на диван и скорчилась. Циля пулей вылетела за дежурным.

Марья Дмитриевна глядела в потолок, краска схлынула с ее лица. И видела она себя как бы сверху, маленькой, беззащитной.

Подошел кардиолог и сердито спросил:

— Что у вас опять?

— Ко-оля,— коснеющим языком выговорила Марья Дмитриевна.— Пропадешь ты без меня, Ко-о...

— Это она мужа зовет,— догадалась Циля.

Врач склонился над Марьей Дмитриевной, пощупал пульс на ее шее и выпрямился.

— Поздно,— сказал он.



ПОДМОСКОВНЫЙ АВГУСТ

ВДОЛЬ ВОДЫ

Как уличные статуи в Париже,
Сплошь зелены и матовы пруды.
Тропинкой, от слетевших листьев рыжей,
пройдись неторопливо вдоль воды,
один,
ничем не занят и не скован,
и через мостик из древесных плах
перемахни
щегленком подмосковным
на яблоками пахнущих крылах.
Ах, Трианончик Малый, норка лисья,
обетованный, чаямый причал...
Здесь,
точно осень, сбрасывая листья,
вовсю царила милая печаль.
А та, что при Самсоне — не Далила,
которая не стригла —
стерегла,
детей растила, огурцы солила
и одесную от него легла,—
что про нее сказалось, что налгалось?
Какой ее преследовал закон,
когда мужчин с фамилией
Нейгауз,
как свечи, задувало сквозняком?
Час пополудни. Середина суток.
И кто-то для утехи, для игры
навырезал нам кувыркучих уток
из пористой коричневой коры,
расставил часк белые рогульки
и в пластилин тропы вдавил следы
собачьи...
Ох уж эти мне прогулки,
беспечные прогулки
вдоль воды.

УЛИЦА ПАВЛЕНКО, 3

От калитки этой дачи
видится совсем иначе
вширь расстеленный пейзаж.
Начиная от калитки,
все — не в ряд и не по нитке,
все — сумбур и ералаш.

Почвы впадины и взлеты,
синих далей развороты,
поднебесный их наклон,
где на горизонт положен
складом ящиков порожних
громоздящийся район.

У порога этой дачи
чья-то тень порой маячит:
тайный женский силуэт.
Дождик сеется сквозь сито.
Что-то шито, чем-то крыто,
то ли было, то ли нет.

Место пусто, место свято.
Обвиненье вроде снято.
Даче выдрал потроха
нож чиновного каприза.
Но известного киргиза
спас Всевышний от греха...

А хозяин там, за пашней,
под надзором патриаршей
церкви обретя покой,—
крестник старой русской няни —
к православной Божьей длани
прижимается щекой.

Майя Ивановна Борисова — поэт и прозаик. Первое стихотворение опубликовано в 1955 году. Много переводит, пишет и для детей. Первая книга стихов — «На первом перевале» — увидела свет в 1958 году, «Избранное» — в 1985-м. Живет в Ленинграде.

ПОСЛЕ УЖИНА

Стук и звяканье ложек столовых
убираемых
слышен едва.
От сосновых колонн и еловых,
черно-медных и серо-лиловых,
легким звоном полна голова.

Так, уют превозмогши вагонный,
пассажир, выйдя в тамбур, не спит.
И мелькает пейзаж заоконный,
и состава костяк многотонный
ревматическим скрипом скрипит.

В душноватой купейной ячейке
размещен пассажир и учтен,
все же за полночь, став со скамейки,
в щель дверную бесшумнее змейки
проскользнув, удаляется он,

достает сигареты и спички...
Мысли вязки, как жеваный хлеб.
Можно, следуя древней привычке,
склеить намертао две-три странички,
криво прожитых,
в Книге Судеб.

Вот и мы на минуточку вышли
из игры.
На террасе пустой
летних кресел желтеют дроаишки,
и бездетная асточка вишни
вертит в лапке листок золотой.

Ненадолго обмякли и смолкли
пресловутые совесть и стыд.
Запах пищи. Дыхание смолки.
Дождик мелкий, как из кофемолки,
нам безвинные лица кропит.

Александр Солженицын

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Роман

60

Невыносимо было дальше наблюдать, как Вероника уходит от святых традиций семьи. Племянница такого дяди не смела расти индифферентной к общественным вопросам, это выглядело как предательство. Даже перед Сашей не будет оправдания в упущенном. Все эти девчёнки — пусть они как хотят, и эта Еликонида, они из купцов или барышников, мы их традиций не знаем, но наша Вероня должна быть выхвачена из этого болота — и ведь сердце её открыто к благородным чувствам, её можно спасти внушеньем, напоминанием, светлыми примерами.

Светлый пример — это решающее. В наше время благословляли девушек — да тебя же, Неса! — портретом Веры Фигнер как образом. И ведь это определило твою жизнь, правда? Вера Фигнер постоянно горела перед глазами и вела!

Но нужно действительно набрать примеров — героических! Мы сами их видели, многих, о других слышали, а перед девчёнками теряемся, не можем назвать, рассказать, говорим в общих словах. Сколько молодостей, богатых надеждами, сгноено в казематах! Сколько юных сил подорвано в климатах отдалённых мест! И сколько характеров менее сильных дало сломить свои убеждения и поплелось по общей тропе, увы... Как же не хотеть видеть свою родину свободной и просвещённой! Как не отдать ей всех своих сил, а если дойдёт до тюрьмы — то с трепетом коснуться этой желанной чаши?

Нет, не может Вероня быть так глуха! А знаешь, она тянется к красоте — с красоты и начать!

Тёти долго готовились к разговору, вспоминали имена, события, подбирали аргументы. Терпеливо дождались, когда Вероня осталась одна дома на весь вечер наверняка. И, конечно, не объявили торжественно — вот, сейчас будет решающее объяснение. И не налетели вихрем обе. А — подстроили такой самозацепляющийся, как будто случайный разговор.

— Вот ты, Веронечка, повторяешь: красота, красота. И мы в наше время тоже стремились к красоте, это естественно для человека. Но для нашего поколения красота была едина с правдой, так и говорили: Правда-Красота. И не отрывали от неё Истины и Справедливости, это всё заедино. И перед нами всегда маячила Грядущая Красота: в Царстве Будущего будут царить только Благородство и Справедливость.

Вероника слушала как бы в полудрёме, но благожелательной.

— Но эта светлая умная красивая будущая жизнь пока таится в темноте, только зреет,— и нашу задачу мы понимали: возжечь её ярким пламенем. И нам, Вероника, нам,— Адалия всегда говорила мягче, у неё было материнское в голо-

---

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1—7.

се,— непонятно, как можете вы пренебречь великой священной традицией от самих декабристов?! Как вы могли отшатнуться от революционерства?

Вероника пошевелила добрыми мягкими губами, она тоже от всей души хотела сделать тётям приятное:

— Но те, кого пóшло называют декадентами, и кто представляет наше сегодняшнее искусство,— они и есть революционеры, тётеньки! Они — революционеры чувства! От этого тоже нельзя отталкиваться презрительно.

— Девочка! — закусила папиросу тётя Агнесса, она и почти никогда не выпускала её.— Искусства — у тебя никто не отнимает. Искусство тоже служит украшению жизни, но — на десятом месте. Самое прекрасное таится в борьбе за идею, самое радостное — в связи Доброго с Прекрасным. Неужели ты не слышишь: повсюду торжествует насилие, вопиёт неотмщённое русское горе. Как же вы можете оставаться бесчувственны к этому призыву? Пора и вам вернуться к народу и отдать ему свою любовь. Да ты скажи, да ты хоть одно *дело* когда-нибудь знала, помнишь, хоть дело Веры Засулич? Помнишь имя, а дело выветрилось? Так это просто недобросовестно!

Да собственный их и был это промах! То — рано, успеет, то — сама наберётся из семейного воздуха, не внедряли систематически, не уследили — и вот ускользнула.

...Вера пострадала молоденькой девушкой ещё за Нечаева, помогала ему получать конспиративные письма, отсидела два года по тюрьмам, потом ссылалась, жила под надзором. Прошло десять тяжёлых лет, из акушерки она хотела выбиться в учительницы, не могла. Казалось бы: можно устать, ото всего отстать, да? Но летом 1877 в Саратове она читает в газетах, что в петербургском доме предварительного заключения за нарушение тюремных правил наказан розгами студент Боголюбов — студент! — и 25 розог! и так, что вся переполошенная тюрьма видела приготовления, слышала стоны! Вера Засулич ждёт — будет же месть этому градоначальнику Трепову, кто распорядился о розгах? Но месяцы проходят — никто не мстит. Тогда она едет в Петербург, просит купить ей пистолет самого большого калибра, почти тот, с каким ходят на медведей, ей надо не промахнуться, идёт к градоначальнику с прошением поступить в домашние учительницы, и из-под тальмы стреляет в него — в упор, хоть и не насмерть. По-настоящему русский террор и открылся со славной Веры Ивановны.

Но для истории русской революции ещё славней, чем сам выстрел Засулич,— судебный процесс над ней. Вера объявила, что ценой своей гибели хотела доказать: ругаясь над человеческой личностью, нельзя быть уверенным в безнаказанности. Адвокат произнёс одну из лучших речей русского судопроизводства: Россия достигла своего величия едва ли не благодаря розгам! государственное преступление — только раповременно высказанное учение о преобразовании! нельзя не видеть в мотивах этого выстрела — честного благородного порыва! это — нерасчётливое самопожертвование, ей нужна была не смерть Трепова, а своё появление на скамье подсудимых! не много страданий может добавить ваш приговор к этой надломленной жизни! были женщины, мстившие своим изменщикам — и выходившие отсюда оправданными! Адвокату аплодировали даже судьи со звёздами на груди — и присяжные вынесли «не виновна» — вообще не виновна! Светлый миг русской истории! И на углу Шпалерной и Литейного тысячная толпа несла освобождённую на руках!

А Вера от приговора сперва испытала полное удивление, потом — чувство грусти. Раз она свободна — в тот же миг её воля нагружается обязанностью делать что-то новое. Такой лёгкий исход подвига не удовлетворил её, теперь она готова была на новые жертвы! А несчастный удел её стал — многолетняя эмиграция и чёрная хандра у Женевского озера.

Но и звезда Засулич не долго в одиночестве на русском небе. Звёзды теснятся, идёт и идёт в революцию светлая череда народоволок, Софья Перовская, Галина Чернявская, Ольга Любатович, Геся Гельфман, Вера Фигнер. Каждая жизнь — захватывающий и высокий подвиг. Каждую из этих жизней постичь — надо отдать год своей. Но едва ли не всех затмевает Железная Софья.

Из высокого рода Разумовских-Перовских, племянница оренбургского генерал-губернатора и дочь петербургского вице-, пропустившего Каракозова. Последняя служебная неудача отца — первый намёк на будущее дочери. Ничто не сладко ей в этом кругу, будто чувствует девочка, что товарищ её детских игр будет прокурором по делу её и друзей-первомартовцев. Сама эта среда ненавистна ей, Софья отталкивается, ни гимназии, и не твердила закона Божьего, ушла из семьи. Зачитывалась Писаревым, училась на фельдшерицу, а в народные учительницы — помешала жизнь. Девушка росла как в сознании своего необычного жребия, нерядовых задач (одно из детских мечтаний — стать королевой). Всегда ставила женщин выше, к мужчинам относилась сдержанно, бронированное сердце, и не было у неё презрительнее слова, чем «бабник». Увлекалась бессмертным Рахметовым, спала и на голых досках. Всю жизнь замкнутая, как созданная для конспирации, холодного склада ума и не прощала эмоциональных срывов товарищам. Она — в первых петербургских студенческих коммунах, в 17 лет уже в кружке Марка Натансона, где не принимали такого, кто сил не имел отказаться от крахмальной сорочки, любил бы выпить или легко относился к женщинам. Кружок мечтал о социалистическом восстании, в котором монархия и династия погибнут, как в буре. Первые аресты, оправдана по процессу 193-х, как большинство там женщин. Не избежала романтического жребия ходить поддельной невестой на свидание с узником-героем, конечно же не предугадывая, что этот узник Тихомиров станет ренегатом социализма. Помогала Кропоткину бежать. В 23 года — в натансоновской «Земле и Воле».

До этого склада жизни можно возвыситься только концентрацией воли и богатством жертвы. Это надо представить и перечувствовать: революционер — человек обречённый, у него нет своих интересов, своих привязанностей, не бывает имущества, а иногда он лишён даже имени. Всё в нём поглощено одной мыслью, одной страстью — революцией. Революционер — презирает господствующую нравственность, и что кажется в обществе важным или неважным, благим или дурным.

С 24 лет Софья — только на нелегальном положении. Ей 26, когда на Липецком и Воронежском съездах «Земля и Воля» раскалывается — на безнадёжных *деревенщиков,* не принимающих террора, ни даже борьбы с правительством как главной цели,— и «Народную Волю». Софья — за террор как средство агитации масс, за убийство Александра II как агитационный сигнал к массовому движению, и даже если террор не добьётся политических свобод, то за террор как за месть. И она — в Исполнительном Комитете «Народной Воли», и в августе того же 1879 на петербургской окраине Исполнительный Комитет выносит царствующему императору смертный приговор! И на глазах у всей России начинается одно из великих свершений, где все движения мстителей скрыты, и только неудавшиеся выстрелы и взрывы, один за другим шесть, отмечают для России положение участников. Тотчас после приговора Перовская с девяткой кидаются на подкоп Курской железной дороги за Рогожской заставой, Софья с гордостью и умением играет роль простонародной хозяйки дома, что ей особенно всегда удаётся, и выскочив с иконой, разыгрывает перед раскольниками религиозную сцену, спасающую подкоп. При виде царского поезда Перовская же и даёт сигнал на взрыв — но растяпа опаздывает замкнуть цепь, и полтора пуда динамита непродуктивно взрываются за хвостом поезда. Что ж, Перовская и Фигнер бросаются в Одессу, и через три месяца у них готов уже другой подкоп, из лавки под улицу. А царь — в ту весну не едет на юг.

Темп усиляется, царь спешит с обманной конституцией, народовольцы спешат с казнью царя. Их всё меньше, Гартман бежит за границу, Зунделевич, Гольденберг и Квятковский арестованы, затем — ещё, ещё аресты, по пятеро, по одному, прорежая ряды перед последним седьмым покушением.

Нет, это не так, что у революционера нет чувств,— сердце революционера даже нежно, но чувствам своим он даёт развиться лишь тогда, когда их направление совпадает с революцией. (Оттого насколько ж и выше, и ярче любовь революционера!) Мужененавистница Перовская в двадцать семь лет отдаётся любви к Желябову — в их последние нервные месяцы закружившейся охоты. В эти безумные месяцы втискивается всё — и сношенья с Нечаевым в Петропавловке, подготовка его побега (уже охрана распропагандирована им и адреса солдатских любовниц зашифрованы у Софьи), и разметка осады, чтоб медведь уж не вы-

рвался никак: взрыв подкопом из сырной лавки, четыре переходящих бомбометателя, а если всё не сработает — то сам Желябов с кинжалом. Чем ближе к покушению — их затягивало, и хотя никто из них уже не рассчитывал убийством царя добиться перемены политического строя, они не могли расслабиться в замысле — они готовили покушение.

Это неравное единоборство, это перенапряжение нервов — надо уметь оценить потомкам.

Вечером 27 февраля был арестован и Желябов. Над отважными навис разгром — и тут Перовская, спасая дело общее и дело своего любимого, забрала руководство маленькими руками — с мужской суровостью к товарищам, с беспощадностью к врагам. (Сказал Кибальчич: «наши женщины жесточе нас».) Без Перовской не состоялось бы Первое марта. Теперь, когда отпал кинжал Желябова, Софья и сама хотела метать, но не было пятой бомбы, успели приготовить только четыре. Она следила за каретой царя и знаком переводила метальщиков на верный путь. От лихорадки этих дней отказали нервы мужчин: Тимофей Михайлов вообще ушёл с поста, отказался метать, Емельянов так растерялся, что с бомбою под мышкой кинулся помогать раненому императору, через час Рысаков раскваснлся на следствии, Тыркова душили слёзы,— одна Перовская подбежала оценить результат Гриневицкого и мягкими шагами пошла на свидание с уцелевшими. Все следующие дни она продиралась между арестами, спешила с прокламацией к русскому народу, с письмом к Александру III , сколачивала, кто бы освободил Желябова. Только узнав, что Желябов будет казнён,— задрожала, упала, в слезах просила оставшихся друзей спасти вожака. Тут она потеряла благоразумие, губила других, губила себя, пошатнулась с революционного уровня,— и арестована, со списком петропавловских солдатских подруг. Но снова — непроницаемая, железная, ехала на казнь в чёрном халате, с доской на груди — «цареубийца».

...Ты восстала, ты убила,
Потому что ты любила
Свято родину свою.
Злая сила, вражья сила
Раздавила грудь твою...

Софья — Вера — Любовь...

Вера Фигнер — отдельная поэма. Как после 1 марта она пыталась воссоздать Народную Волю.

Что за женщины! — слава России! Пробрало же старого Тургенева: *Святая, войди!*

Увы, как горько предчувствовали казнённые,— Первое марта не преобразило России, не вызвало всенародного восстания. Россия вплыла в полосу густого серого безнадёжного мрака, чеховское время... Наша с Адалией юность... И молодость, Неса... Какую веру надо было иметь, чтобы понять: это не тупик, не подвал — это долгий тоннель, но он вынырнет в свет!

Фигнер — в Шлиссельбурге. И сроки — по 25 лет. И кто же мог думать, что их реально придется отбыть. Что человеческое сердце может их выдержать.

А вспомни Ивановскую? По делу Народной Воли отбыла больше 20 лет. Вернулась в Петербург уже совсем не молодая — и опять примкнула к террору. Вот сердце!

Тут тоже были имена, была своя твёрдость, она не легче, хотя не так захватывает чувства. Несгибаемые поборницы женского равноправия — Философова... Конради... Стасова...

А — Цебрикова? Сейчас уже мало кто вспоминает это имя, но в 90-х годах мы произносили его благоговейно, как в 70-х шепталось имя Чернышевского: её знаменитое письмо Александру III, с такой пламенной силой она клеймила самодержавный режим! — не побоялась расправы...— и вышвырнута в Смоленскую губернию! Её письмо обращалось среди молодёжи, переписанное чернилами... Новые руки держали это письмо, новые глаза читали.

Как мы ярко встречали XX век, не просто как новый год, с каким факелом надежды! — и факел нас не обманул. История как будто ждала этого человеческого отсчёта — и в первом же году XX века выпустила студенческие толпы

к Казанскому собору,— и тут же на арену выпрыгнул террор, броском Гершуни, и скоро — месяца не проходило без превосходных актов, и прежние народники обновлённо возродились эсерами.

Перед славными предшественниками трудно верится в достоинства молодых, а между тем — какая блистательная новая плеяда, и если о женщинах — то какие женщины! и это уже для тебя не седая быль — они все в твоём детстве, тебе было уже семь, десять, двенадцать, когда они просверкнули, и кто из них не казнён и не сошёл с ума — те и сегодня на каторге или за границей.

Тут из первых конечно — Дора Бриллиант, она на десять лет моложе тебя, Даля. Киевская студентка, большие чёрные глаза, завороженные террором. И готова принести себя, мечтала о смерти, и лишить жизни — мучало её, и умоляла товарищей дать ей бросить бомбу самой. А досталось — только готовить бомбы. И в Петропавловке сошла с ума.

Нет, из первых — Мария Спиридонова! — никакая не революционерка, ни к чему не готовилась, не член никакой партии, но — носится в воздухе священная месть — и молодые сердца отзываются, не могут не отозваться! Гимназистка, вышла на борисоглебский перрон, в муфточке — револьвер, встречать генерала, усмирителя крестьян, и — за поротых мужиков — ухлопала наповал! И прежде всякого суда — казачья казнь ей, изнасиловали взводом, в очередь.

Ты изведала, Мария,
Всю свирепость палачей.
Я молюсь тебе, Мария,
В тишине моих ночей.

Нет, у Волошина ещё лучше:

На чистом теле — след нагайки,
И кровь на мраморном челе.
И крылья вольной белой чайки
Едва влачатся по земле.

А Биценко-Камеристая? Из замечательных актов, проведенных женщиною самой, в одиночку. И как драматично придумано! — она не просто пришла к Сахарову с прошением, как Засулич, но в прошении написала Сахарову смертный приговор — и дала ему время прочесть несколько строк, дала осознать, поднять удивлённые глаза — и только тогда выстрелила! Подлинно: приговор — и исполнение! Её адвокат начал с того, что послал ей в камеру большой букет цветов.

Глубокая вера в святое дело — вот что вело их всех! Как Баранников написал, ожидая казнь: «Ещё одно усилие — и правительство перестанет существовать. Живите и торжествуйте! Мы торжествуем — и умираем.»

Красоту и философию террора хорошо понимала Женя Григорович. И ведь опять: дочь генерала, и генерал-то — почти единомышленник! тоже знак времени! — помогал ей спасать революционеров от ареста, прятал у себя в доме заговорщиц, узнавал часы проезда и приёма намеченных к удару лиц. А друг отца помог Жене, когда готовила покушение на Трепова, устроиться в Петергофе, рядом с царём, нелёгкая задача. И вот в трёх шагах от неё проезжают в коляске Николай с Алисой! — а у Жени нет оружия при себе, и плана такого не было,— и она вспоминает, что следила за царственной четой, как кошка за рыбами через стену аквариума. Для показа — светская жизнь, баловство живописью,— а при себе всегда капсюля синильной кислоты, хотя партия и запрещает самоубийство. Она шла на акт как на торжество, резвилась с подругой, упражнялась в лесу в стрельбе, в бумажку с надписью «Трепов». В день покушения хорошо выспалась, хорошо пообедала, получила от портнихи специально заказанное театральное платье, и веселилась, смеялась — и в задоре пошла на спектакль Кшесинской. Вот так идут подлинные революционерки на жертву и смерть! К несчастью, Трепов почему-то в театр не приехал,— и сразу стало ей скучно и гадко от глупых плясок на сцене, от гладких затылков в партере, от бессмысленной болтовни в ложе. Сразу — и невозможность победы и невозможность пострадать. Ей пришлось уехать в Италию.

Или Каляев! — ведь это был великий человек и прирождённый Поэт, его так и звали. Но он пожертвовал своим даром — и весь его обратил на художественное выполнение актов. Чего ему только не досталось, пока он выслеживал Плеве! Как он играл! Сам элегантный, изящный,— в засаленном заплатанном пиджаке, рыжих битых сапогах, картуз набекрень, грыз подсолнух, отругивался на площади, заводил знакомства с дворниками, извозчиками,— а по воскресеньям вместе с квартирным хозяином шёл в церковь в красной рубахе, крестился истово, а на херувимской пластался ничком. Чтобы легче дежурить на улицах, играл роль разносчика, таскал тяжёлый ящик, продавал папиросы, разную дребедень, и картинки «героев» японской войны. Говорил — «ненавижу эти картинки, во мне страдает художественное чувство! А иной дурень платит за них последний пятак. Герои «Варяга» Чемульпо — грудь колесом, нахальные рожи, слава отечества! Патриотизм — повальная эпидемия глупости. Погодите, дурачьё, собьёт с вас спесь японец!»

Акты — не всегда убить, бывали замыслы грандиозные, от которых вся Россия должна была онеметь: в том же Петергофе готовили захват полного состава Государственного Совета, прямо на заседании. Вот уж, затряслись бы заслуженные старички, представить! Это уже — наши, максималисты, под руководством Михаила Соколова: план был ворваться с бомбами на заседание, взять их всех заложниками, и чего-то потребовать от правительства, ещё не решили — чего. А если откажутся — то и взорвать весь Совет и себя вместе с ними! Это было бы неописуемо!

Соколова знала Агнесса хорошо, это был не человек — исполин! Это первый он и придумал: начать террор против рядовых помещиков, чтоб им жизни не стало в имениях, а ещё — террор фабричный, и экспроприацию денежных сумм. Началось московское восстание — он бросился на Пресню и был начальником боевой дружины. Это он создал и максимализм, откололся от эсеров за их бюрократизм, неповоротливость, осторожность. Дядя Антон пошёл на свой акт в согласии с ним. Это был план Соколова — ворваться к царю на автомобиле, полном динамита,— и так взорвать всю свору. Его же было — и знаменитое взятие кассы в Фонарном переулке, сразу 600 тысяч рублей. И при всей твёрдости — какая это была чувствующая душа! Составляли план акта — Соколов просил играть на рояле и напевал. На петербургской улице он обернулся подать нищему — тут его узнал сыщик, и арестовали. Через день его казнили. Он крикнул палачу — «руки прочь!» — и сам надел себе петлю на шею.

А Наташа Климова? — этот цветок среди максималистов. Она задыхалась в скучной пресыщенной жизни своей рязанской дворянской семьи, своего круга, жизнь казалась бессмысленной. Сперва она тоже, вот как и вы, искала правду в красоте, потом в служении людям — и так пошла в террор. Да без истинного яркого *действия* — разве может быть в жизни счастье, Вероня?.. Вместе с Соколовым они готовили захват Государственного Совета и взрыв на Аптекарском, Наташа и поехала «барыней в фазтоие». При прислуге они разыгрывали с Соколовым мужа и жену, Соколов был наряжен барином, старался смеяться подворянски, Наташа покупала поддельные украшения. А вдвоём оставались — неловко, и спали никогда не раздеваясь. И какая была богатая натура! Она говорила мне: ведь вся природа — чудо, закат — чудо, и каждая мелочь в природе. Близость смерти открывает перспективы, которых в обычной жизни не видишь. За недели вот такой сгущённой жизни можно отдать годы пресного благополучия!.. А красноречием и внушением — она была второй Нечаев. Сумела обратить в свою веру тюремных надзирательниц — и устроила знаменитый групповой побег из Новинской тюрьмы.

Да, был путь и через искусство: из богатых семей посылали девушек за границу изучать искусства,— а там они встречались с настоящей молодёжью, усовещивались — и шли в революцию.

Таню Леонтьеву, кстати — племянницу того самого Трепова, голубоглазую изящную аристократку, прочили во фрейлины императрицы. (Её лучший замысел и был — убить царя на придворном балу, поднося ему цветы.) Дочь вице-губернатора, она тяготилась высшим светом, общеньем с неприятными людьми. В Петербурге вращалась в самых знатных кругах — и приносила революционерам ценнейшую информацию. И хранила у себя динамит. Генеральская родня не

давала делать у неё обыска. Всё же с динамитом она и арестована, но родные подстроили признать её психически больной, освободили из Петропавловки, отправили в Швейцарию, там она примкнула к максималистам. Но исключительно ей не везло: как-то поручили ей в Лефортовской больнице дострелить уже раненого шпиона — ей не удалось. А в Швейцарии — приняла за Дурново какого-то пожилого швейцарца, был похож, и имя было Карл Мюллер, под каким и Дурново путешествовал. Застрелила — а оказался не он. Она так глубоко всё переживала, так рыдала после казни Каляева...

Иногда отказывали нервы. Тамара Принц, тоже генеральская дочь, никак не могла решиться убить назначенного генерала, друга её отца. В классическом мундире террористки — чёрном шёлковом платьи, она трижды ходила его убивать. Один раз — не решилась, в другой — истерика её взяла, она всё прокричала и была арестована. Выпустили, третий раз пошла — уже с браунингом и с бомбой,— но обронила бомбу на улице, маленький взрыв зажигателя — нервы сдали окончательно, она бегом вернулась в гостиницу и покончила с собой.

Нет, не жаль тех, кто погиб или попался после успешного акта: он — *свершил!* Безумно жаль тех, кто не дошёл до победы. Зильберберг и Сулятицкий с их смелым планом застрелить Столыпина во время молебна при открытии медицинского института. И так же — в петропавловской часовне, на панихиде по Александру II, должен был взорвать бомбу Макс Швейцер, да в день 1 марта, да сразу грохнуть и Булыгина, и Трепова, и Дурново,— и, несчастный, взорвался в гостинице, на приготовлении. И Синявский, Наумов и Никитенко — повешены, не дотянувшись взорвать царя в его петергофском дворце! И Соломон Рысс повешен, так и не дотянувшись...

Многие женщины — не сами стреляли и взрывали, но готовили бомбы. Марии Беневской так руку оторвало — и всё равно не пощадили, дали каторгу. Её товарищ поехал за безрукой в Сибирь и женился. Тоже была из дворянской военной семьи, а о том, что насилие есть способ борьбы за добро,— заключила из Евангелия. Она очень искала морального оправдания террора.

Маня Школьник, портниха из местечка, рвалась непременно метать сама, хотя по темпераменту скорей пропагандистка, очень страстно говорила. Муж Арон всё не пускал её в террор, но не мужа, а её бомба ранила черниговского генерал-губернатора.

Все героини и были — народоволки, анархистки, эсерки, максималистки. А если нужно маскироваться — одевались под социал-демократок, безвкусные цвета, «Капитал» под мышку,— и иди хоть сквозь полицию, безопасно. Эсдечкам не надо было ни нарядно одеться, ни понравиться, ни — проникнуть, ни — даже зеркальца на цепочке, проверять следят ли сзади.

А ещё, а ещё из королев террора — Евлалия Рогозинникова. Она всё предприняла, чтоб увести с собой побольше. Из браунинга застрелила начальника тюремного управления — и должна была выбросить браунинг в форточку как знак успеха и сигнал товарищам идти убивать Щегловитова, и других. Она рассчитывала, когда возникнет схватка, взорвать с собой ещё несколько крупных чинов, и весь дом, где было тюремное управление, и несколько этажей их квартир. Но так не повезло, что её не допрашивали крупные, а прислали на обыск жён тюремщиков, потом вызвали полковника артиллерии — и у Евлалии, распластанной на полу, он обезвредил шнуры от батарейки к лифчику, полному тринадцати фунтов динамита.

Какое же отчаяние борьбы, какое же исступление справедливости надо испытать, чтобы так себя зарядить — и пойти как человек-динамит!..

— Как Женя Емельянова говорила, помнишь: *началось* бы всюду! добиться бы правды! — а там на всё остальное — наплевать!

Какая же правая ненависть вела этих девушек, этих несбывшихся невест!

Как же можно жить лёгкой ничтожной жизнью — выставки, лекции, спектакли — и забыть об этих героинях? и не ощущать пылающей ответственности перед их святыми жертвами?

— Да что эти великие далёкие примеры! — перед дядей, перед дядей родным, Вероника!?!

61

В портрете дяди Антона что должно было быть заметно первому неприсмотревшемуся взгляду — поиск. Что жизнь этого молодого человека и не устоялась и не хочет он устояния, а ищет: понять правду и ей послужить. Это — и в глазах, как он всматривался выше аппарата, чуть прихмурясь; и во лбу, никогда не размягчённом от складок мысли; и в отклоне головы вместо парадного позирования; и в продроге узкой шеи, кажется вот на снимке видном.

За две руки подвели Веронику к портрету — и стояла она, рослая, как старшая, между щуплой тётей Адалией и приземистой тётей Агнессой.

Глазам Ленартовичей безмерно был роден брат и дядя, но несомненно светилась в нём и родственность обобщённая: наша общеинтеллигентская, наша неповторимая, несравненная, жертвенная, по которой и незнакомые — с первого взгляда друг другу сродны и соединены.

Запечатлённая талантливость. Энергичная худощавость. И этот горький продрог шеи, как будто уже так рано он обманулся в людском идеале.

А ещё понёс Антон от рождения — печать обречённости, и уже с отрочества он как будто понимал, что обречён. Да даже в детстве, странно, он был задет выражением: «умер от антонова огня», и всё спрашивал: а что это — *Антонов* огонь, а почему от него умирают?

Впрочем, такие обнажённо чистые выражения лиц всегда производят впечатление, близкое к обречённости.

Если правда, что отпечатываются на рождённом звёзды неба, то отпечаталась на дяде Антоне та — через мрак весёлая — весна 1881 года, когда казнили тирана, а Антон родился. Когда народ, не понимая собственного своего добра, тысячами рыдал на панихидах. Не только не понял освободительного смысла удара, но приписал убийство порочности Петербурга и злодейству дворян, недовольных отменой крепостного права. Не упивался от радости в трактирах и питейных, но сумрачно отхлынул от них, и не было на улицах пьяных, а весело пили только студенты по квартирам и дразнили университетских сторожей: «Ну-ка скажи: слава Богу!» — «Слава Богу.» — «Радуйся, твоего царя убили!»

Над люлькой Антона качались трупы пяти повешенных народовольцев — опять пяти, как и декабристов.

Задушены были пятеро отважных, к счастью для себя так и не познав разочарования: не вкусили, что только озлобление возникло у тупых обывателей, у черни — против своих спасителей, против учащейся молодёжи. Казнь царя, которая мнилась как вершина освободительной борьбы, как сигнал ко всеобщему восстанию и погрому помещиков,— оказалась лишь первым пиком в этой обрывистой горной гряде, только началом долгого жертвенного похода.

— Да дядя Антон как бы и рос под сенью террора. Слышал в доме революционные разговоры — и на него они действовали не так, как на тебя,— он очень рано начал всё понимать. И как раз к его двадцати годам совершились великие акты. И уже тогда он себя определил на тот же путь.

— Готовил себя, тщательно. Говорил: прежде, чем стучаться в дверь Б. О., каждый должен проверить себя: достоин ли? чист ли? В святилище надо входить с разутыми ногами.

— А как он рано возненавидел все петербургские дворцы, помнишь, Неса? Говорил: «Вот с ними-то мы и бьёмся. У меня кулаки сжимаются при виде дворцов. Как они нахально бахвалятся! О, скоро вы задрожите, с вашими обитателями!»

— Он был знаком и даже ученик Каляева. От него перенял и эту теорию... Что очень хотел бы погибнуть на месте акта — вспыхнуть и сгореть без остатка! смерть упоительная! — Тётя Агнесса волновалась, видно тоже, несмотря на свои 42 года, эту теорию разделяя и сегодня, тоже ли не была ученицей Каляева. Из сиреневого облака — она и дым — глаза попыхивали как маяки.— Но! Но есть счастье выше: умереть на эшафоте! Смерть в момент акта как будто оставляет что-то незаконченным. А между актом и эшафотом — ещё целая вечность, может быть самое великое для человека. Только тут, говорил он, почувствуешь всю красоту идеи, мистический брак с идеей! Сладчайшее наслаждение — умереть как бы дважды: и на акте и на эшафоте. А ещё какое наслаждение — суд! Умирая

во время акта, ты уносишь всю свою ненависть невысказанной. А тут — обливая презрением судей, ставя ни во что их корректную законность,— излить на них всё, что накипело, поставить к столбу самодержавную Россию, эту всесветную сводницу!

Нельзя сказать, чтобы Вероника зажглась,— этого быть не могло, тёти знали уравновешенность её характера,— но опалило её это откровение великого террориста. Она смотрела большими тёмными глазами в изумлении. Хорошо и так, почва разрыхлялась!

Но каждое время приносит своим чадам и новые задачи, и средства их выполнения. Когда дядя Антон вошёл в полную зрелость и готовность отдать себя в акте — уже расходился, бурлил Пятый год, всё пришло в движение, обстановка менялась от месяца к месяцу, вспыхивали мятежи там, здесь, наконец московское восстание,— в тот год Антон, как многие, отверг индивидуальный террор и рвался к вооружённому восстанию. Всюду по России такое было желанно, но восстание бы в Петербурге было единственным и окончательным. И из самых первых Антон поставил вопрос о флоте: молодых сознательных петербуржцев ждёт флот, а по соседству — дружественная, всегда антицаристская Финляндия. Балтийский флот, а главное Кронштадт своими пушками почти без канонады продиктовали бы царю падение. Из первых же Антон носился со списками судовых команд, доставленных революционными офицерами, знакомился, готовил везде сторонников. Очень помогли японские неудачи флота, настроение флотских было упавшее.

Но восстание в Петербурге всё никак не возгоралось, а в Москве вспыхнуло, и Антон светло завидовал им, однако не бросился туда со своего участка. Подавили в Москве? — что ж, Петербург за всё отомстит! Но вот и Думу разогнали, а Петербург постыдно немотствовал,— и если уж *теперь* не восстанет флот!?.

— Ах, как мы могли не победить в Девятьсот Пятом?! Ведь правительство было совсем растеряно, городовые не вооружены, заводы переполнены молодёжью, на японскую их не слали...

— А просто: народ ещё отделял себя от революционеров.

После разгона Первой Думы начались лихорадочные дни: надо было срочно ответить! Был план поднять одновременно Севастополь, Кронштадт, Свеаборг, весь флот — и кончить царизм одним ударом. Организация послала Антона в Свеаборг, на главную базу Балтийского.

— Ты же и о Свеаборге не знаешь ничего?

Вероника в ответ только могла моргать, уже пожалуй и виновато.

Там давно уже и свободно агитаторы разворачивали кругозор недовольных, два-три передовых офицера сами распространяли брошюры среди своих подчинённых. И едва командование выполняло одни требования — от массы выдвигались новые, нельзя было дать брожению успокоиться. Но тут, не теряя времени, не теряя связи с разогнанной Думой, надо было поднять восстание немедленно,— а конкретного плана не было, и дата не решена. Ещё не были готовы, но забыли предупредить, и по ошибке сигнально выстрелила условленная пушка,— и на одном острове поднялись артиллеристы, а пехота, искалеченная казарменной выучкой, осталась против народа, оказала кровавое сопротивление. Пришлось кое-где заставлять присоединяться, часть островков восстала, арестовали своих офицеров,— другая нет, среди них и главная крепость,— и восстание выродилось в войну между артиллерией и пехотой. Тяжёлые батареи восставших громили крепость, но и слабые пушки пехоты отвечали такой картечью, что всё горело. Антон в группе вольных агитаторов вместе со штабс-капитаном Серёжей Ционом прибыли руководить восстанием, уже опоздав. Цион стал его вождём. Но разочарование было, что под лозунг «правительство грабителей заменим Учредительным Собранием!» — не пошёл флот, ни одно судно не примкнуло к восстанию, хотя после «Потёмкина», после «Очакова» так ожидалось! Значит, агитации было слишком мало. Показались броненосцы на горизонте — тут гениально придумали послать к ним навстречу на катере восставшего офицера с поддельным приказом якобы командующего открыть огонь по крепости, но его распознали и арестовали. Так флот оказался предателем, как и свеаборгская пехота. При несомненности солдатского и матросского сочувствия восстание несчастно проигрывалось. Правда, к восставшим пришла финская красная гвардия, но всего

200 человек, они подвозили оружие. Три раза руководители держали совет: взорвать ли самим пироксилиновые склады минной роты? Тогда взорвалась бы и центральная правительственная крепость, но и многие свои, и размело бы прибрежную часть Гельсингфорса. Не нашлось специалиста подсчитать силу взрыва — и не решились, как бы не больше потерять. Тут от неосторожной спешной стрельбы взорвался ещё один свой пороховой склад, и было 60 убитых. Сплошное невезенье! Вторую ночь восстания Цион, Антон с отборной командой тайно стаскивали сами своих убитых в море, чтобы оставшиеся не видели, поддержать их дух. Антон готов был ко многому, но не такому кровавому месиву, он изнемогал, заболел. А издали стал бить недосягаемый флот — и снаряды всё ближе ложились к пироксилиновым погребам. Цион куда-то исчез, раненый подпоручик Емельянов с советом представителей решили поднять белый флаг. Но самим представителям надо было бежать с островов: застигнутым в крепости в штатской одежде могла быть казнь. Скрывались на простых лодках (часть лодок расстреляли из пулемётов), прорывались в город одиночками. Антон удивительно спасся, с ним — восставший сын одного подполковника, защищавшего крепость. Раненых всех пришлось оставить в плен, да и здоровые спаслись не многие. Убито было несколько сот человек.

Пережившим такое тяжкое поражение не приходилось думать о второй попытке. Идея восстания утонула. Когда вся Россия обращена в тюрьму — возможны только смелые удары одиночек. Оставалось мстить и мстить! И снова Антон обратился душой к Террору.

— Ты не помнишь и тебе даже трудно вообразить, какое это было чёрное время, какая тёмная ночь, когда реакция снова распростёрлась над нами! Даже стойкие революционеры падали духом, что их страдания и жертвы никогда никому не принесут пользы и бессмысленны! Совершенно обескураживались, что всё, всё,— тупо, глупо, гадко, бесцельно. Это второе подполье, после свободы Пятого года, было куда тяжелее первого, сколько душ изуродовало!

Только редкие гордые продолжали незатемнённо видеть звёзды грядущего обновления. И среди них — Антон. Всякую неудачу он всегда считал не неудачей, а преступлением, которое если нельзя поправить, то выход только — харакири. Теперь он избрал своей целью подавителя московского восстания Дубасова: сразу отомстить и за Москву и за Свеаборг! А тот уже избежал нескольких покушений, в том числе и самого Савинкова. Теперь Антон пошёл за ним охотиться в Таврический сад, где старый адмирал имел обыкновение гулять.

— После Фонарного это был следующий крупный акт. Антон хотел дать салют в самый день казни Соколова! Для этого поспешили — и опять не повезло, уцелел.

Антон прошёл весь задуманный желанный цикл — и акт, и суд, и эшафот. И конечно излил судьям своё презрение и ненависть. Но — не было свидетелей суда, ни эшафота. И даже, по своей исключительной конспиративности, Антон отдал жизнь, не прославясь, не войдя в Пантеон увенчанных героев. Со своим товарищем Воробьёвым он стрелял, был арестован, суждён и повешен — инкогнито, не имея надобности открывать судьям имя, а ошибкой дворника своего однодельца записан перед судом как Березин.

Повешен! Прямо отсюда, из этой квартиры, из этой комнаты ушёл молодой герой,— и шею его скрутили казённой верёвкой. А родная племянница, а следующее поколение — уже свободно от памяти? от долга чести?

Конечно, прямо перед портретом юно-умершего дяди Антона Веронике трудно было защищаться. Да и кого не тронет, не покорит безоглядное самопожертвование молодой жизни? Разве молодости свойственно бросаться в смерть? Вероника искала слова со смутностью, поводя на тётей своими устойчиво внимательными глазами. Она и сама искренне недоумевала, как могла так отойти от семейной ветви, но и... но и...

— Тёти, милые... Но мы дядю Антона любим все, и я не меньше вас. Но всё-таки, я осмелюсь сказать,— он не святой? не агнец? Ведь он же первый пошёл убивать?

— П е р в ы й?— ахнули тёти.— Да кто же *первый* начал угнетать свой народ? Кто же первый загородил все иные пути освобождения? Кто — первый казнил за каждый шаг к свободе?

— Ну... народовольцы первые пошли?

— Нет! — решительно отказала Адалия. Когда касалось народников, лицо её тоже жестело и зажигалось.— Народники шли пробудить в народе общественную жизнь и сознание гражданских прав. Если б им не мешали — они б не начали взрывать бомбы. Правительство и заставило их отклониться от чистого социализма.

— Но тётеньки! — почти умоляла Вероника густым своим взглядом из-под писаных темноватых бровей.— Но какое кто имеет право... идти через насилие?

— Имеем! — как вулкан обкуренная, послала тётя Агнесса. Она страстно умела это объяснить, тётя Адалия уже не так твёрдо ступала дальше.— Революционеры за то и называются революционерами, что они — рыцари духа. Они хотят свести уже видимый идеал с неба своей души — на землю. Но что при этом делать, если большинству этот идеал ещё не внятен? Приходится расчищать почву для нового мира — и поэтому долой вся старая рухлядь и в первую очередь самодержавие! Революционеров нельзя судить по меркам старой нравственности. Для революционера нравственно всё, что способствует торжеству революции, и безнравственно всё, что мешает ей. Революция — это великие роды, это переход от произвола — к лучшему праву и к лучшей справедливости, к высшей Правде. Тот, кто знает всю ценность жизни вообще, и свою собственную отдаёт смерти, знает, что́ он отдаёт и что́ отнимает,— тот имеет право и на чужую жизнь.— С таким пыланием это выговаривала тётя Агнесса, как будто и сегодня ещё сама могла пойти на *акт*.— Метод насилия в общественной борьбе вполне допустим. Только бы взвешенно применялся, чтобы не допустить несправедливости больше, чем с которой борешься.

— Но как это взвесить?

— Это всегда видно, понятно. В случае борцов против самодержавия это вообще исключено: большего зла, чем самодержавие, вообще и придумать нельзя.

— Восстание — это я могу понять,— упиралась Вероника, рассудительно пожимая круглыми плечами.— И то, когда народная стихия, а не когда заставляют примкнуть под угрозой. Но — индивидуальное убийство??

— Да не убийство! — топнула тётя Агнесса, уже раздражаясь.— А как нам оставили прорваться к освобождению, если не через террор? Нам нужна в конечном счёте — общая революция, да! Но Революцию вводит за руку только Террор! Без террора революция так бы и завязла в российской грязи и глине. Крылатый конь террор — только и вытащит её. Надо видеть не сам террор, а высокие цели его! Убивают не конкретного человека — в его лице убивают само зло!

— Высокие цели, я понимаю,— Вероника мягко, руку к груди, повёрт к одной тёте и к другой, нет, она не была потеряна, ещё не была разложена этой нигилистической развязностью. И сейчас, вопреки её словам, на лице её видели тёти чистую готовность поверить и увлечься.— И кто же может не сочувствовать освобождению народа, не подозревайте меня в этом. Но вот, вы рассказывали, Гершуни и Кочура написали харьковскому губернатору ложное завлекательное письмо от реальной женщины. Да как же не подумали о её чести? — а в чём эта женщина с её личной жизнью стоит ниже всех тех народных интересов?..

О-о-опять она в болото проваливалась!

— Я говорю,— спешила исправиться,— что, идя на террор, самый даже чистый возвышенный человек ещё прежде того выстрела или взрыва должен совершить какие-то... неблаговидные шаги. Иногда, вот, сделать подлог, в другой раз притворяться, лгать, а то воспользоваться для убийства простым человеческим доверием, как вот все эти приходы с прошением в одной руке и с револьвером в другой. А Рогозинникова — даже вечером, в неприёмное время, притворилась слезами, с обиженным женским горем, а у самой не только браунинг, но — и пуд динамита? Да ведь... Ведь при этом теряется доверие между людьми — а оно может быть ещё важней, чем освобождение народа?

Ну, это было слышать невозможно! Девчёнка тупо ставила на одну доску, равняла в нравственных правах — угнетателей народа и освободителей его! Опять её — на диван и, обсевши с двух сторон, обе тревожно и настоятельно, а Агнесса — особенно, с огненно-дымной страстью, кредо всей своей жизни.

— Девочка, не надо отвлечённой декламации. Мы не стремимся фарисейски оправдываться. Ну конечно, никто не настаивает на «абсолютной» моральной

чистоте революционера. *Абсолютная* моральная чистота вообще мыслима только в ангельском мире. А люди — слишком люди, чтобы быть такими сияющими. Обстановка нашей общей жизни на земле пока слишком пакостна, а российской жизни — особенно мерзостна, и мы не можем не запачкаться хоть краем одежды. Так и о моральной чистоте революционера мы можем говорить не абсолютной, а — о чистоте *постольку, поскольку*. Поскольку он удерживает себя в дисциплине кристально-чистых намерений, как это было у дяди Антона. Поскольку он живёт в гармонии политических, общественных и нравственных идеалов. Поскольку он отвлекается на нравственно-опасные дороги только по необходимости. Пусть и лжёт — но во имя правды! пусть и убивает — но во имя любви! Всю вину берёт на себя партия, и тогда террор — не убийство, и экспроприация — не грабёж. Лишь бы только революционер не совершил преступления против духа святого — против своей партии! Всё остальное ему простится! Я тебе и другие примеры приведу. Короткое время революционеры вынуждены бывают действовать и сами подобно сыщикам — хотя уж кто ярче испытывал отвращение к этим гамзеям, жандармам и провокаторам! Были случаи, да,— устанавливалась и слежка за подозрительными товарищами, и производились — тайком или насильственно — обыски у них, чтобы проверить подозрение. Да, у революционеров сколько раз бывали — и нарушение неприкосновенности личности, и притворство, и подлог, и обман,— но всегда для чистой цели! И несчастный Сазонов, убивши Плеве, мучился в тюрьме: «Боже, милостив буди мне грешному!» Трагедия террора — это и есть трагедия того, кто взялся нанести освободительный удар! Трагедия человека, кто добровольно взвалил на себя нечеловеческое нравственное бремя. Кто добровольным выбором шагнул под собственную смерть и взял на себя ответственность за всё, что произойдёт! Зато в этой близости к смерти — и очищение. «Иди, борись и умирай!» — в трёх словах вся жизнь революционера. А кто добровольно идёт на смерть, тот не только левее всех политически, но — правее всех нравственно! Да что тут говорить!! Да вся наша русская интеллигенция, с её безошибочной чуткостью, всегда это понимала! всегда принимала! Не террорист бессердечен! — бессердечны те, кто осмеливается потом казнить этих светлых людей!

А в случае с Антоном это было ещё очевидней: ведь они не убили кровавого вельможу, только контузили (сперва был слух, что убили,— и уже ликовали обе столицы, и газеты),— и за что же, с какой бессердечностью повешены сами?! Да даже если б и убили — как можно сопоставить, сметь уравновесить жизнь этих жертвенных мальчиков — и этого упившегося карателя? Кто ж настоящий убийца, разве не Дубасов, от кого захлебнулась и смолкла Пресня, замерла в агонии революционная Москва??

— А ведь точно известно,— горестно сглотнула тётя Адалия,— что и Дубасов сам просил простить покушавшихся.

— Ну, *точно* это никому не может быть известно, мы документов не читали! — спичечно возразила Агнесса.— Палачи любят украшать себя легендами.

— Слишком знающие люди говорили. Даже Дубасов простил! А не простил их — Столыпин.— Тётя Адалия невесомую руку положила на плечо племянницы.— Так что можно считать, что дядю твоего повесил Столыпин.

Сто-лы-пин! — как угрожающе звучит фамилия. Тенью мрачной пересекла русскую историю.

— Если мы и по сегодня сидим без свободы — так это именно Столыпин отнял её у нас.

А ведь была уже в руках!..

Тёти агнессины глаза, серые с искринкой, вспыхнули:

— А славно наши максималисты рванули его на Аптекарском! Вот покушение! — памятник!

Она сама тогда только что вернулась с каторги по Манифесту, её не брали на акт, давали отдохнуть.

— Грандиозно было задумано! — и только мелочь подвела. Техника их была безупречна: три браунинга по карманам, если удастся подойти вплотную (а один был одет генералом, должен был проникнуть легко), а на запас в портфелях — сильнейшие бомбы, всем погибать, так всем! Подвела техника более тонкая: двое террористов были одеты жандармами, но не знали, поди уследи, что за две недели перед тем изменили форму жандармских касок, и по этим чёртовым каскам дежурный генерал и пёс-швейцар кинулись останавливать приехавших (а ещё может быть — слишком бережно несли под мышками портфели с бомбами). Тогда рванулись в переднюю, как успели, и бросили на пол, как попало. И бомбы рванули прекрасно, да ведь уже были не лабораторные, прошли ремесленные времена Кибальчича и Доры Бриллиант, когда готовили сами на квартирах,— теперь взрывчатые вещества с лучшими гарантиями и в лучшей упаковке продают европейские фирмы. Взрыв был такой силы, что на другой стороне Невки, а она там широкая, выбило стёкла в фабрике. Но счастлив каратель — ни одной царапины. Всё равно, Соколов считал удачей: грохнуло на всю Россию, убило и ранило несколько десятков человек, а важна именно грозность террора, планомерность: ещё придём! доберёмся! Должны знать, что на них идёт сила! Дело не обязательно в устрапении, а в устрашении.

Но ещё должно было пять лет миновать и многие попытки разбиты, уже отчаивались дерзкие пловцы под нависшей громадой корабельного носа — он шёл и шёл, Россия упивалась обывательским благополучием, казалось, отгремела счастливая боевая эпоха,— как раздался исторический выстрел Богрова!

— Ну уж, Неса, выбирай слова.

62

— Конечно исторический: по результату, по последствиям? — нервосентябрьский акт превосходит в с е акты, это венец русского террора! — и равен он только первомартовской бомбе. А по справедливости мести...

Тётя Адалия в сомнении покачала головой:

— Знаешь, вот такое ощущение: богровский выстрел — не наше порождение. Общество не ощущает 1 сентября так сердечно и так восторженно, как 1 марта. Первое марта было совершено — прямо нашими руками, и Народная Воля тотчас взяла на себя ответственность. А первое сентября — какой-то чужой потёмочной душой, двусмысленной фигурой. И никто не взял на себя, ни тогда, ни потом.

— И это — позор для революционных партий! Выстрел Богрова — в е л и к о е событие! И, если хочешь, даже в трёх отношениях. Он совершён в тот год, когда террор считался окончательно подавлен. И организован — одиночкой. И убит — самый главный, самый вредный зубр реакции.

Тётя Адалия зябко свела узкие локоточки:

— Нет уж, нет уж! Честь — выше всего! Ты доказываешь, что террористу многое прощается,— да. Но есть один грех, который никогда никаким судом совести не простится никакому революционеру: это сотрудничество с охранкой.

— Да не сотрудничество!! Надо же различать — сотрудничество или невольное касание в операции. Служба им — или использование их для революции?

— Ну да, азефовщина это плохо, а богровщина — хорошо.

— Да ты не смеешь такого слова даже строить! — полыхнули огнисто-серые глаза Агнессы.— Термин один — азефовщина. Это он — выворотень!

Азеф — Вероника знала: какое-то страшное, гадкое предательство, хуже которого нет. Но она даже не знала точно: «Азеф» — это фамилия или кличка?

— А какой такой особенный выворотень? Тот — добросовестно служил охранке, а не революции.

— Как? Войдя в руководство партии и втянувшись в акты?

— А в какие такие акты он втянулся, назови? Плеве убили летом Четвёртого, Сергея Александровича — зимой Пятого, и всё это время действовала только Бэ-О, по их уставу ЦК эсеров не мог ни руководить, ни знать, разве только один Михаил Гоц, и то не в подробностях. А Азеф в ЦК ведал типографскими делами — и типографии аккуратно проваливал. Все и всё.

Агнесса не была эсеркой, но всё же:

— Такие люди, как Савинков, Чернов, Аргунов не могли же лгать!

— Но когда Лопухин открывал Азефа Бурцеву — то как осведомителя, и Бурцев тоже еще не выдвинул гениального двойника. А когда эти трое пришли к Лопухину в Лондоне — вот к этому времени они уже всё и придумали.

— Но зачем бы это им?

— О-о! большой смысл: чтобы перед молодыми эсерами оправдаться в неудачах. Если и правительство запуталось, и правительство убивало даже само себя, чтобы только разгромить эсеров,— другая картина. А почему Гершуни, тигр революции, защищал Азефа перед смертью? Подумай? Он-то больше всех знал, что Азеф никакого отношения к Бэ-О не имел! Вообще, настоящих доказательств против Азефа никто никогда не привёл.

— Допустим, в отдельных случаях и не доказано, но по логике Азеф не мог не обманывать и полицию, не мог он не помогать эсерам честно — как бы он иначе возвысился до члена ЦК? И как бы он мог в ЦК бездействовать?

Сыпались имена, имена, будто известные всему миру, и угадывалась целая неписанная напряжённая история, которая, в общем, Веронике была и не нужна, но уж если слушать:

— Тётеньки, милые, а кто такая Бэ-О?

— Боевая Организация. Ядро террористов. И во всяком случае после ареста Савинкова в Шестом году — Азеф несомненно стал в центре боевизма.

— Ну, и центральные акты прекратились. А какие сделаны, то все — без ЦК эсеров, как и наш Антон.

— Да я вообще Азефа не трогала, это ты приплела. Я хотела сравнить Богрова скорей с Воскресенским.

— А кто такой Воскресенский?

— Ну неужели Воскресенского не помнишь? Ну, иначе Петров. Пяти лет не прошло, и тут, в Петербурге, и ты уже не маленькая была — и не помнишь? Да как тебе всё из головы вымело!

Объяснили. Учитель из Казани, эсер-боевик, сидел приговорённый в тюрьме, и оттуда, очевидно под влиянием азефовской истории, написал письмо в охранку: предложил свои услуги, если освободят его и товарища. И охранка освободила Воскресенского и взяла на службу, но он тут же покаялся в своё ЦК — и те велели ему в очищение взорвать сразу несколько крупных полицейских деятелей. Он так и заплетал, двух-трёх главных, но попался ему только полковник Карпов, его он и взорвал на Астраханской улице.

— Ну и что ж, всё равно,— тётя Адалия была неумолима, потряхая гладковолосой мирной стареющей головкой.— Перед судом революционной этики не может быть оправдания *никакому* пути через охранку, и этому тоже.

— Ну, какая рационалистическая крайность! — изумлялась тётя Агнесса.— Так ведь так и вообще ничего сделать нельзя! Действовать нельзя! Если охранка используется — против самой себя? Если охранка обманута, опозорена и наказана — тоже нельзя? Это уже чистоплюйство непомерное! Важно: не кем он притворяется, а — чему он истинно служит. Воскресенский решил сразиться с охранкой её же оружием. И рискнул революционной честью! И честь эту спас, отдавая жизнь!

— По нашим народническим идеалам — и такое невозможно.

— Да ведь он же никого не предал! Да ведь он же сам пошёл открылся товарищам!

— Но тогда в чём ты видишь сходство с Богровым? Богров реально служил охранке и предавал.

— Да не доказано это! — пылала тётя Агнесса.— Это же — охранские и данные! Вот судьба одинокого идеалиста: ещё и быть оболганным перед потомками. Воскресенскому было легко: он умер, ликвидируя свои ошибки перед партией, он до самого эшафота чувствовал себя посланником революционного центра, это совсем другое дело! А Богров? — в эпоху всеобщего разочарования и разложения — одиноко! замкнуто! имел твёрдость провести свою стальную линию,— да так одиноко, так тайно, так гордо, что вот, три года прошло, и только теперь начинают выплывать, разъясняться подробности.

— Откуда же, тёть Агнесса? — Этому странному скрытому миру во всяком случае нельзя было отказать в накале страстей.

— А-а, ничего ты не читаешь, одни «миры искусства». Вот только сейчас вышли две первые книги о нём. Одна — благородная, честная, из эмиграции, другая — из охранской клоаки.

— И всё равно ничего не прояснилось,— махнула тётя Адалия.

— Да! потому что группа анархистов-коммунистов, к которой Богров себя идейно причислял, так до сих пор, из какой-то политической осторожности, не захотела публично засвидетельствовать его революционной чистоты. Очевидно, это вредит партийным целям. И так и засыхает на умершем герое вся эта грязь. Он ушёл загадкой — и за три года никто не взялся объяснить: как же Богров дошёл до своего великого шага? А трусливое правительство по своим причинам глушило и прятало дело Богрова. А потом внимание России было заслонено процессом Бейлиса. Сложилось как всеобщий дружный заговор против одинокого. Решительно всем сошлось удобно: или лгать, или принимать ложь за правду, или молчать, кто слишком много знает. Молчат и личные друзья Богрова. Его естественно ненавидят реакционеры. Но нападают и революционеры, кто слишком уверен в своей безупречности. А общество и печать почуяли такую политическую выгоду: принять за истину полицейскую клевету, что Богров был верный охранник: ведь тогда им удобней клеймить охранный порядок! — а что им честь человека? А либеральчикам — выгодный момент отмежеваться от террора, ведь они теперь разлюбили террор, теперь они хотят заявить себя верноподданными паиньками. Либералам выгоднее всего так считать: Богров — провокатор, и правительство прячет гниль своей системы. Либералам выгоднее всего видеть в этом убийстве руку охраны, и только её. А социал-демократы, кто и револьвера в руках держать не умеют, не знают где ручка, где дуло, тоже обрадовались: не свалишь на революционеров, не свалишь на евреев, не начнёшь преследований. Заячьи душёнки! А газеты лепили всякие подозрительные сообщения, лишь бы сенсация. А от газет и распространился общий гипноз. В политической игре потопили героя — и высочайший подвиг лишился морального обаяния! Бьют лежачего — и заступиться некому. Бьют казнённого, кто уже никогда не защитится сам! Бросают грязью в свежую виселицу! И ты поддаёшься, Даля, этой гнусной либеральной клевете!

На защите ли, в нападении, но в вопросе страстном тётя Агнесса умела становиться розовато-серой пантерой, розовые пятна к приседи волос. Страшноватой. Уж била лапой — так всех подряд, никого не щадя, никого не боясь.

Но и картина не могла не захватить: одинокий смельчак — и всеобщий заговор несправедливости.

В такие минуты, когда тётя Агнесса особенно горячилась,— тётя Адалия, в своём тёмно-сером или выгоревшем чёрном, как монашенка, старалась как можно больше выиграть хладнокровностью. На узкой груди она сжимала пальцы в неразорвимый замок, а тонкие губы ее выразительно изгибались в недоверии:

— Так-так. Но что-то уж слишком невероятное совпадение: решительно всем, кто никогда ни в чём не сходится, от крайне-левых до крайне-правых, вдруг сошлось выгодным одно и то же: считать Богрова охранником. Не похоже ли всё-таки на неопровержимую истину?

— Нет, не похоже! — отмахивалась Агнесса.— Вот бывают в истории такие роковые совпадения! Правительство дёрнулось, пообещало в Думе «пролить самый яркий свет» — и осеклось.

— И почему же? — уверенно и даже язвительно сдерживала Адалия худенькие пальцы немолодых рук.— А не странно разве, что сторонники Столыпина, собравшись порыдать над дорогим трупом, вот недавно шумно открывая памятник, вознося покойному похвалы,— никто не выступил и не сказал просто, ясно: кто убил и почему? Им бы — ну зачем скрывать? Вся правда о Богрове находится в департаменте полиции, в охранных архивах,— а наружу её не выпускают. Почему?

— Потому что правда о Богрове — страшна правительству и всем правящим! — отдавала розовым Агнесса, расхаживала по комнате с хвостом папиросного дыма.

— А потому что,— с дивана не вставая, тихо и колко подавала Адалия,— правительству невозможно признаться, что председателя совета министров убил правительственный агент. Это как раз и было бы то, что состроено из Азефа.

— Нет!! Потому что: правительству невозможно, стыдно признать, что всю их знаменитую мощную государственную охрану морочил одинокий умница-революционер. Чего тогда стоит весь их департамент полиции! Какое тогда уважение к государству? Вот правительство и поставило свою печать на кулябкинском отчаянном измышлении. И ревизия Трусевича и последующие, чуя носом

верхний ветер, ещё и к делу не приступая,— заранее признавали, что Богров — секретный сотрудник. И вот клевета, пущенная Кулябкой, для сохранения своего жирного тела и ленивой шкуры,— единодушно и без проверки признанв, подхвачена и жандармской корпорацией, и судейским сословием, и — увы — небескорыстным обществом.

Так ни на шаг не подвинулась Вероника понять о Богрове, теперь ещё — Кулябка кто такой?

— Начальник киевского охранного отделения! — швырнула ей тётя Агнесса.— От него и пошло, что Богров — агент. Да только Кулябке и охранке и спасительна эта версия, Кулябке иначе на каторгу идти! ему безопасней, чтоб его переплели с Богровым и чтоб тот был «долгий верный сотрудник». И всем высшим чинам так безопасней, свести к тому, что нарушен какой-то пункт какого-то циркуляра, и только. И особенно выгодно представить Богрова заагентуренным как можно раньше и сотрудником как можно более успешным. Пускали даже сплетню, что Спиридович заагентурил его ещё гимназистом четвёртого класса! И какой только лжи не давали просочиться в печать: что у Богрова были сообщники, их перехватили. А он — одиноко шёл на смерть, он и не рассчитывал спастись!.. И кто же против Богрова единственный свидетель на суде? Опять Кулябко! И на ревизиях — чьи единственные материалы, что Богров — старый охранник? Кулябки же! И всё — голословно.

— Ну как же голословно? — ласково-вкрадчиво спрашивала Адалия.— На полтора года исчезал из поля охранки, внезапно, в критическую минуту появился — и сразу ему полная вера! Чтобы пользоваться таким слепым доверием Кулябок — должны же быть основания в прошлом?

— Ч-чистый случай превосходства блистательного ума! Богров обморочил, переиграл охранку — и открыл себе все недоступные двери.

— Но из чьих же рук и почему Богрову выдан билет на спектакль, куда и не всякий генерал мог попасть? Такие билеты даром не даются.

Тёти уже позабыли и племянницу. Когда между ними разгорался принципиальный спор, забывали они, что у них может кипеть, бежать, гореть на плите, не чуяли запахов, не видели дыма — и несколько уже кастрюль погибло в жаре их столкновений.

— Даля, это не вина Богрова, что мы с тобой не можем объяснить получение билета в театр. Мало ли чего мы не можем понять до времени! Богров унёс правду в могилу, так это не освобождает нас от поиска её.

— Ну и что ты уже нашла? Если Богрову выдали билет для помощи департаменту полиции убрать Столыпина, как пишут националисты...

— Пойми: все сведения — из показаний Кулябки. А может быть и *не он* дал билет Богрову. Бывают сложнейшие детективные истории. Промелькнуло в газетах: какая-то кафешантанная Регина, а у неё высокий покровитель, оттуда и билет.

— Ну, натяжка невероятная! Тоже в охранке придумали.

— Не больше натяжка, чем врёт Кулябко, что Богров с 907-го года — «ряд ценных услуг», участвовал в целом ряде ликвидаций анархических групп,— а затребовал Трусевич судебные дела анархистов — и почему-то в ревизии ни одно доказательство не привёл.

— Ну, Неса! Ну конечно им невозможно публиковать тайные архивы полиции!

— Вот на этом и выдувают ложь! Ревизия Трусевича видите ли «знает», что Богров выдавал анархистов, а сама даже путает, в какой он был партии, записывает его в эсеры.

— Бюрократию ловить на глупости! Смешно, это и так все знают. А каких был взглядов Богров — никто не знает, он кочевал. А как ты объясняешь его рассеянную великосветскую жизнь? Эти карты, тотализаторы, буржуазные клубы? Разве это возможно у порядочного революционера?

— Даля, всё скрыто, а газеты были ложно информированы! Может быть, этих тотализаторов вообще не было, может быть это был утончённый способ маскировки. Вот его уже обвиняют и что он продавался за деньги — это при богачеотце... Да он мог жить в благополучии и составить самую блестящую карьеру...

— А тогда значит служил им — чисто идейно? Тем хуже! В Киеве полоса арестов — а он уцелел. Он — единственный, не арестованный по делу Сандомирского...

— А потому что он на три месяца уехал в Баку, самое горячее время там и пересидел.

— И полгода его не трогают! За это время он возит оружие в Борисоглебск, там провалы...

— За это он не может отвечать!

— Но в сентябре его всё-таки берут! И целую группу одновременно с ним: провал побега из Лукьяновской тюрьмы, провал покушения на командующего киевским округом... Всех держат, всех судят — а его освобождают через две недели?!

— Так говорю тебе: исключительно связи отца.

— Какие б ни связи, но слишком странно: все товарищи по тюрьмам, по каторгам, он один на воле. Слухи ходили упорные.

— Так вот в этом и трагизм положения: что ходят *слухи*, а все старые товарищи по тюрьмам, через них не оправдаешься, а новички верят.

Вероника слушала-слушала, и вдруг почувствовала, что втравляется. В этом мелькании сшибающих аргументов действительно хотелось наконец понять: так кто же был этот Богров на самом деле. Но больше того: через этот спор выступала такая шаткая, быстрая, сжигающая острота́: жизнь подпольщиков действительно шла в захватывающих переживаниях — и этому верен был дядя, и этому сегодня верен Саша,— и как же она потеряла к этому вкус, отстала, изменила? И они все рисковали и старались для общего дела, для народа!

— Его оклеветал Рафаил Чёрный после поездки к воронежским максималистам!

— Ты и максималистов ему прощаешь?

— Воронежские — недостойные максималисты, их процесс был самый грязный в истории русского революционного движения, они все друг друга оговаривали, обвиняли в провокации, действительно полубанда... Чёрный обвинил Богрова в растрате партийных денег, двух тысяч, смешно, он легко мог столько получить от отца. А потом Богрову стали приписывать и предательства Бегемота, а Бегемота убили в Женеве — и тоже не оправдаешься. Да даже если б он хотел предавать — начинающий рядовой анархист, как бы он мог так всеобъемлюще предать — и весь Юг? и Юго-Запад? провалить и Север? и Прибалтийский край? Но оправдал же его товарищеский суд анархистов! А после этого в Киеве и вообще анархической работы не было — и провалов не было.

Адалия не бывала каторжанкой, не была сама революционеркой, но кто же в России не интересуется конспирацией? Вся интеллигенция считает долгом чести знать правила конспирации:

— По *правилам* освобождённый из тюрьмы должен тотчас исчезнуть с места освобождения. А почему Богров остался?

— Да именно чтобы получить реабилитацию от товарищей из тюрьмы, это его мучало.

— А не потому, что был уверен в своей безопасности? А за ним, конечно, следят, и каждой встречей он кладёт на кого-то петлю? Нет, правила есть правила! Потом и Петербург. Ведь Богров поехал с рекомендательным письмом к фон-Коттену?

— Боже, это ещё кто такой? — отчаялась Вероника. Только-только она начала что-то понимать.

— Тогдашний начальник петербургского охранного отделения, девочка. После того как убили Карпова.

— Ну, это уже полный миф! Почему ж ни одна ревизия этого письма не открыла?

— Да Неса, не могут они таких вещей публиковать! Что ж им, перестать б ы т ь? А если Богров не был связан с петербургским отделением — как бы он осмелился сослаться на него после убийства Столыпина? Ведь он же понимал, что пошлют проверку, и действительно запрашивали о Кальмановиче, о Лазареве,— а о самом Богрове фон-Коттена даже и не спросили? Почему?

— Вот, представь себе, бюрократические чудеса! Охранные отделения в себе замкнуты и не любят делиться добычей. Между ними — соперничество.

— Нет,— твёрдым жемочком скруглила неуговорные губы тётя Адалия.— Нет. Твёрдо знали, что именно всё так, нечего и проверять.

— Да пойми, фон-Коттен выскочил в записке Богрова внезапно для самого Кулябки. Пока Кулябко пошёл к обеденному столу, вернулись со Спиридовичем,— а тут уже вписан фон-Коттен. Пришлось игру принять. А что, собственно, потом ревизиям подтвердил фон-Коттен? Что Богров никаких услуг не оказал и вскоре уехал за границу, вот ценный сотрудник!

— Так фон-Коттен вообще какой-то растяпа. Накануне убийства его запрашивают о Лазареве — и он не поворачивается ответить, что того в Петербурге нет, ему заменили ссылку в Сибирь на заграницу, он в Швейцарии — и потому ни с каким «Николаем Яковлевичем» готовить акта не может.

Уже сколько имён пропустив, о Николае Яковлевиче всё же Вероника успела спросить.

— О, девочка, это самое гениальное изобретение Богрова!

— И так фон-Коттен мог в последний день разоблачить всю хитрость! И как же Богров рискнул так дерзко соврать?

— Сошло? Значит мог, рассчитал. Победителей не судят.

— Хорошо. А ты не допускаешь, что анархисты *послали* Богрова убить Столыпина в искупление своей вины? Как посланы были Воскресенский? Дегаев?

— Как можно сравнивать? Воскресенский пришёл с повинной и сам попросил послать их на искупление. А Дегаева после раскаяния через силу послали убить Судейкина, чтобы достичь взаимоистребления двух достойных тварей. Что ж тут общего?

Адалия — тонкие губы жемочком:

— Но Бурцев остаётся почти уверен, что Богров — провокатор.

— *Почти!* Но и Бурцев не провидец. Богров органически не мог пойти ни на что подлое. Его средства к цели в моральном отношении не хуже всяких других. Его ложь и притворство — праведны! Я не вижу за ним никакого антиморального поступка. Ну разве что он не совсем осторожно использовал имена Кальмановича и Лазарева, мол, всё равно известны. Но реально он им не повредил.

— Нет, ну как же, нет, ну как же! — Адалия всё же ясно видела.— Если он у Кулябки никогда не служил,— как же он мог для акта рискнуть пойти в охранку? Какая же надежда, что его фантастической небылице поверят?

Тётя Агнесса в облаке новой папиросы помолодела, вспоминая и свою боевую юность:

— Конечно, риск! Отчаянный риск! Потому и герой! Конечно, в его построении были дефекты, без этого невозможно, но смелость города берёт! И взяла!!! У него правильный был расчёт — на своё завораживающее обаяние. Это у него было! И смешно, не смешно — ему поверили все, до старой собаки Курлова. Богров подкупил их своим рассчитанным поведением и всех заставил клюнуть на блеск успеха и наград.

— Но это же невероятно даже для полицейских дураков! Если никогда не сотрудничал или уже полтора года не сотрудничал — откуда доверие к такому доносителю?

— Так именно! Он сумел очаровать! Он явился не с грубым готовым планом — он явился как бы в сомнении, в беспомощности, за советом — против своих бывших товарищей. Да Кулябко и не поверил бы так своему постоянному унылому сотруднику, как этому внезапному блистательному добровольцу! Потому-то и особенно поверили, что пришёл достойный революционер!

— Ну, ты скажешь! — тётя Адалия всплеснула ладонями совсем по-простонародному или по-домашнему, она не выдерживала стиля спора, как тётя Агнесса.— Ты приписываешь Кулябке свои оценки. Для тебя — достойный. А для него — враг. И неизвестный. И почему ему верить? Да ведь ещё на каждом шагу противоречия в версии: «Николай Яковлевич», мол, появился в конце июля,— а Богров приходит в охранку только в конце августа,— зачем же он месяц тянул?

— А будто бы: хотел прийти с полными руками, набрать ещё сведений. Это простой сотрудник может и должен являться с каждой мелочью. А новичку надо сразу принести много ценного, иначе не поверят.

— Но если он взялся так сильно содействовать «Николаю Яковлевичу»,— почему ж он так мало сведений получил от него?

— А тот — опытный террорист. Правдоподобно.

— Но со сведеньями, опоздавшими на месяц, почему ж он всё-таки приходит 26 августа, а не ждёт дальше?

— Потому что — подкатили торжества и уже нельзя откладывать. Подкатила опасность высочайшим особам — и юноша встревожен. Это покоряет.

— Но если этот юноша новичок, как он сразу догадался обратиться к начальнику филёров?

— Находчивость.

— А тот сразу поверил первому встречному с улицы, и Кулябко зовёт его даже не в охранное отделение, а к себе домой?

— Где застигнут. Исключительное сообщение.

— Но сразу *после* этого — как же Кулябко не устанавливает наблюдения за этим добровольцем?

— Чтоб не скомпрометировать в глазах революционеров, верно! Чтоб через него раскрывалось дальше.

— Ну, это уже три Жюль Верна и пять Уэллсов!

— А меня поражает, Даля, насколько у тебя нет революционного чутья! Как ты не отличаешь подделку от истины.

— Ну, ты просто состроила себе образ, тебе просто хочется, чтоб он был абсолютно честный.

— Я не говорю — абсолютно. Как и всякий революционер — в каком аспекте брать. Но революционер имеет право на незапятнанное имя.

— Так и я не говорю, что он охранник на сто процентов.

Агнесса, устав от пробегов, стояла спиной к кафельной печной стенке, одымленная, будто это валило из печи, через щели:

— Мы должны оценивать не Богрова, а сам акт 1 сентября. Когда вокруг — общественная апатия... отошли яркие годы... развал революции... бессилие революционных партий... нестерпимая упадочная моральная атмосфера... миазмы предательства и провокации... И направить дуло на того, кто этого всего добился? Человеку со звенящей революционной душой — неужели закрыты все виды действия? Можно, но только исключительно в одиночку! С любым ЦК свяжешься — провалишься, а один — можешь победить. Своим собственным одиночным ударом ты можешь разрядить эту гнусную атмосферу, спасти целую страну! Но за то же ты и обречён — на незнание, на непонимание, на оболгание,— за смелость пойти в бой одному, безо всяких партий. Вероника! Неужели ты не понимаешь красоты и силы такого подвига?

Вероника сидела на низкой мягкой скамеечке в углу. Она всё более честно и внимательно следила за этим спором, за этими бессвязными обрывками доводов, которые ей не могли разъяснять по скорости. Но несомненны вырывались сильные чувства сестёр — вовсе не нафталинный сундук, как думали они с Ликоней. Тёти спорили так, как будто крыша над ними сейчас могла от того обвалиться. И Вероника вдруг так увидела, что может и правда они с подругами были ущербны и какая-то большая жизнь прошла мимо них. Геройство — для всех поколений и для всех народов — всегда геройство. А герой одинокий, затаённый, никому не доверенный, без этих партий, склок, голосований, кооптаций, резолюций,— дерзкий одиночка, копьём на Левиафана — какое сердце не тронет? Может быть действительно они с Ликоней не видели чего-то главного?

Агнесса увидела по лицу, что Веронику — разбирает, что, может быть, вот она и завоёвывается. Агнесса откинулась лопатками к белому кафелю и в возносимых клубах дыма видела восхищённо:

— И за этот удар — ему вечная память! Мы не смеем быть неблагодарны: он поднялся на эшафот, он умер гигантски! Мы разбрасываемся людьми, а *людей* в России всегда недостаёт. Человек пошёл на величайший подвиг, а мы спешим зашлёпать его, только из-за того, что ни одна партия не приписала его подвига себе. Богров крупно врезался в современную историю. В будущей свободной России Богрову вернут его честное имя. Он станет — из любимых народных героев, ему поднимутся памятники на русских площадях. Реакция в России уже торжествовала полную победу! Всё казалось подавлено на тысячу лет. А тут им высунулся чёрный браунинг — и...

ИЗ УЗЛОВ ПРЕДЫДУЩИХ

Сентябрь 1911

Июнь 1907

Июль 1906

Октябрь 1905

Январь 1905

Осень 1904

Лето 1903

1901

1899

63

Он родился в день, когда умер Пушкин. День в день, но ровно через 50 лет, через полоборота века, на другом конце диаметра. И — в Киеве.

Его прадед по отцу и дед по матери были винными откупщиками. Дед по отцу тоже долго служил по питейному промыслу, но оказался способный литератор, «Записки еврея» Богрова, напечатанные Некрасовым, сочувственно читались в 70-х годах, а с еврейской стороны вызвали нападки за выставление неприглядных сторон быта. К старости дед крестился ради женитьбы на православной, покинул первую семью и умер в глухой русской деревне ещё до рождения внука. Сын от первого брака, Герш Богров, оставался в иудейской вере, по материнской линии получил наследство, был влиятельный присяжный поверенный с миллионным состоянием (мог единовременно пожертвовать на больницу 85 тысяч), владелец многоэтажного доходного дома на Бибиковском бульваре, второго от угла Крещатика. Он был из видных коренных членов киевского Дворянского клуба, председатель старшин клуба «Конкордия», известен как чрезвычайно счастливый игрок, в его доме за карточным столом сходились знатные киевляне. Семья бывала часто за границей, жили по-барски, у каждого из двух мальчиков была своя фройляйн, учили языки. Младшего, едва подрос, и до последнего дня, прислуга звала «барин», и для удобства жизни имел он к своим комнатам парадный вход, отдельный от родителей. Посетителей к нему вводила горничная.

Без труда он был принят в 1-ю киевскую гимназию, тут же, через несколько домов. Как и все гимназисты того времени, он жадно вживался в либеральные и революционные учения. Постоянное сочувствие к революции и ненависть к реакции густились в нём, как и во всей русской учащейся молодёжи. Гимназистом 5-го класса Богров уже посещает кружки самообразования, читает *литературу* и агитирует сам — булочников, каретников. Он очень рано определяет своё презрение к нерешительным социал-демократам, сочувствует *эксам* и террористическим актам. Переменяясь, он отдаёт свои симпатии то эсерам, то максималистам, то анархистам. В споре с отцом, предпочитающим эволюционное развитие, мальчик до слёз отчаяния отстаивает путь не только революционного изменения строя, но полного уничтожения основ государственного порядка. При одной из поездок с родителями на европейский курорт юный Богров на границе обыскан полицией — и так родителям явлен вокруг сыновьей головы почётный ореол неблагонадёжности.

Весною не какого-нибудь, но 1905 года он кончает с отличием гимназию, той же осенью поступает в Киевский университет. Но по начавшемуся революционному времени родители отвозят его вместе со старшим братом в университет Мюнхенский. Он долго потом не может простить себе, что поддался этому отъезду: в Киеве его сверстники митинговали на Крещатике, свергали с думского балкона царскую корону, прокалывали царские портреты, стреляли,— братьев Богровых держали в безопасности в Мюнхене. Тут вслед за Манифестом 17 октября произошёл в Киеве еврейский погром — и весть о погроме властно звала младшего Богрова назад: «не могу оставаться сложа руки за границей, когда в России убивают людей!» Но родители не дают ему отдельного паспорта, хотя ему и девятнадцатый год.

В Мюнхене он обильно изучает революционную литературу — и отвергает избранный им анархизм-индивидуализм за то, что тот прославляет личность как таковую и ведёт к буржуазному идеалу. Он читает Кропоткина, Реклю, Бакунина — и переходит к анархо-коммунизму. Это учение — враг государства, собственности, церкви, общественной морали, традиций и обычаев: каждый член общества может и без того рассчитывать на такое количество благ, которые ему потребны,— ведь человек по природе не корыстен и не ленив, и никто не будет уклоняться от работы, ведь в людях глубже стремление ко взаимопомощи, чем к обособлению.

Но его всё время мучит, что он ушёл от напряжённой борьбы тяжёлого времени — и в конце 1906 он возвращается в Киев.

Рос и зрел дисциплинированный ум и характер со способностью к систематическим действиям. Среди черт его проявились постоянная сосредоточенность, внимательность, осторожность, даже напряжённость. Отметной особенностью его было — никогда ни с кем не соглашаться, всегда иметь своё мнение. На массовке в Дарницком лесу его описывают: отстранённым, нелюдимым, необщительным, в выступлении — отчётливо-отрубистым. По замкнутости натуры он и действительно нуждался часто в уединении, отстояться самому с собой, предпочитал отношения деловые, друзей отталкивал иронией, насмешкой, холодностью. Насмешка так и струилась из его острых глаз, оттопыренных губ, ему стоило усилия выражаться не колко. Но иногда он находил силы побыть в компании с запасом фраз на случай и даже с короткой репутацией «весёлого малого, хохмача».

Взгляд его, теперь всегда за пенсне в металлической или черепаховой оправе, был вдумчив, со смесью печали и иронии. Наружность никак не была революционной, напротив — в узких рейтузах, при свежем воротничке и чёрном галстуке, он выглядел типичным белоподкладочником. Одет был чаще всего элегантно, и манеры таковы. Он был высоковат, всегда худ, бледен, или с нездоровым румянцем, неестественно моложав — к двадцати годам никакой растительности на лице. Всегда он казался истощён, переутомлён, недоумён и невесел. И голос его был надтреснут с вибрирующими нотками, как у лёгочных больных. Когда же Богров улыбался — улыбка как бы механически добавлялась к его лицу, а черты не пропитывались ею. Телесной силы совсем не было в нём, как он ни нагонял её гимнастическими приспособлениями в своей богатой квартире.

Филёры дали ему кличку «Лапкин» — метко, и по наружности и по манере действовать.

Ему немало и рано выпало светской жизни, киевских клубов, театров, бегов, скачек, заграничных курортов. Он играл на тотализаторе, в карты, в рулетку, отдавался азарту, ценил его. Отец не слишком стеснял сына в денежных выдачах.

Богров никак не считал такую жизнь своим идеалом, но и не мог отказаться её вести. Изнеженное тело его привыкло к благам и даже на самый короткий срок отвращалось от сурового испытания. Вот это своё охотное приспособление к удобствам он считал своей слабостью, развращённостью. Для того чтоб этими удобствами пользоваться без зазрения, надо иметь другую скрытую осмысленную жизнь. Такою жизнью могла быть только жизнь революционера. Так как и внутренние стремления и общественная температура втягивали молодого Богрова туда же — он и делал шаги ознакомления в революционной среде.

Одно время в университет он ходил с браунингом в кармане — потому что ненавидел насилие и обязан был с ним бороться во всякий внезапно возникающий момент. Браунинг из кармана взывал к свободе. Но к возне студенческих организаций Богров относился пренебрежительно: в университет ходят экзаменоваться, а выступать на простой студенческой сходке уважающий себя конспиратор не станет.

Выбор правильной партии — решающий выбор жизни. Богров ещё снова колебнулся к решительной партии максималистов — и опять снова к анархистам. В 1907 году среди анархистов, достигших и не достигших 20 лет,— Наума Тыша, братьев Городецких, Саула Ашкинази, Янкеля Штейнера, Розы 1-й

Михельсон, Розы 2-й — Богров уже слыл умелым и смелым боевиком, хотя сам ещё ни разу не участвовал ни в одном эксе, ни в одном акте, ни в одном прямом нападении, лишь смело отбивался при разгоне литературно-драматического общества да пропагандировал среди арсенальских рабочих. Но товарищи ценили Богрова за остроту суждений, верность мнений и хладнокровие в прятании и пересылках оружия. В его руках были партийные деньги, он финансировал расходы по устройству лаборатории взрывчатых веществ, покупку оружия и транспортировку его дальше по Югу, но даже и в Тамбов и Борисоглебск. Правда, некоторые, как Леонид Таратута, Иуда Гроссман, Дубинский, недолюбливали Богрова за его богатое положение, для всех его кличка была «Митька-буржуй», однако он стал утверждённый герой, особенно для девушек — Ханы Будянской, Ксеньи Терновец, которые, вне партийной деятельности, им бы не восхищались. Среди киевских анархистов положение его стало так значительно, что когда Бурцев при побеге из Сибири пробыл пять дней в Киеве,— единственный анархист, который знал его укрытие и встречался с ним, был Богров.

И многих своих товарищей он превосходил теоретическими суждениями. Он указывал, что для обширных массовых движений и общественных переворотов нужна настолько организованная партийная деятельность, какой у них не было и быть не могло — при возмутительно плохой конспирации и недержании речи,— небрежности конспирации выводили его из себя. А что всегда было легко применить и давало яркие результаты — это террор. Всякий акт революционного террора достаточно мотивируется всем укладом буржуазной жизни, важно только понять классовую целесообразность в данный момент. Неправильным он считал направлять террор против крупной буржуазии, а правильным — против чинов самодержавия, причём не стрелочников убивать, а — самых главных, то есть террор *центральный*. В ответ на стеснения евреев и разные киевские эпизоды с ними, после разгона вот уже Второй Думы,— Богров не раз и не одному высказывал, что надо переходить к государственному террору, предлагал убрать начальника охранного отделения, жандармского управления и командующего Киевским Военным округом Сухомлинова. В том году он высказывал намерение и сам лично убить кого-нибудь из высокопоставленных. Позже этот мотив погас у него, не слышали.

Разные группы российских анархистов выражали свои буйные убеждения в трёх эмигрантских журналах: «Анархист», «Бунтарь» и «Буревестник». В одном из них как-то напечатал теоретическую статью и Богров. В ней он осуждал *экономический террор*: убийство заводских мастеров не наиболее разрушающе действует на современный строй, а иногда может и оттолкнуть рабочих от анархизма. Осуждал и профсоюзы: борьба за лучшие условия *продажи* рабочей силы никак не является частью революционно-насильственной борьбы рабочего класса. Но: первый вопрос практики революционной борьбы — отношение к экспроприациям. Дело в том, что у вожаков анархистов развился дух компромисса к тому, чтобы деньги, добытые эксами, распределять на личные нужды самих анархистов. Но такая экспроприация не имеет решающего революционного значения, ибо деньги переходят как бы от одного собственника к другому. И киевская группа анархистов, уверял Богров, отказалась от личного дележа добытых денег.

Уж если б она совсем отказалась или давно отказалась, то негде было бы Богрову эту делёжку наблюдать. Но всё более смущало его кипение анархистского дележа. В письмах и разговорах того времени Богров решался даже высказывать отвращение к этой корысти. Отвечали братья-анархисты: «тебе, буржуй, хорошо говорить, тебе папаша даёт!»,— и он тупился. Так легло принципиальное раздражение между ними. Среди революционеров всегда полагалось говорить только об угнетённом пролетариате, как будто слои достаточные, самодеятельные, просвещённые не достойны были ни защиты, ни свободной лучшей жизни.

Даже начинало казаться Богрову, что все эти революционные партии и группы больше сходственны, чем различны, так что не столь и важно, какую изберёшь. А хоть и никакую. Никакой *член партии* ничего крупного совершить не может, а только свободная талантливая личность.

Отец посмеивался: он уважал своего умного сына и вовсе не сомневался, что тот очнётся. А лёгкое касание к революции и большие симпатии к ней — обязательны для всякого порядочного человека в России.

А тут как раз и вся революция по всей стране — опала, распласталась, показав свою неготовность и ничтожество. В 1907 в ответ на разгон Думы не вспыхнула полоса военных мятежей, ни забастовок, как годом раньше. Свалило, сдуло все знамёна, крики и взрывы революции. Такую уже почти взятую игру — и проиграли бездарно! У революции не оказалось верных сил, а у самодержавия — оказались.

Да с этим сбродом, какой повидал Богров, мудрено было бы победить. Никаких революционных железных рядов из них не составить. А даже и победить с ними вместе страшно: эта рвань ничего и не жаждала, кроме грабежа и дележа. После победы они выступили бы разрушителями свободной и независимой жизни.

Теперь испытывал Богров физически брезгливое чувство, как очиститься от этой швали, как отрясти с себя связи подполья и вернуться в свою преимущественную устойчивую жизнь. Вернуться не для счастливого прозябания, но хотя бы иметь досуг и простор обдумать унизительное поражение. Круг и слой Богрова, развитое общество,— он-то и понёс поражение, у него-то и вырвали уже взятую свободу.

Однако отрясти прежние связи было и не так просто: все эти братья-анархисты и сёстры-анархистки — Эндель Шмельте или Ровка Бергер, Шейна Гутнер или Берта Скловская, вцепились в Богрова и держались. В наступающее строгое время они своим неумелым копошеньем и несдержанной болтовнёй могли и должны были его погубить, а все вместе не были способны ни на что действенное. По простым санитарным мотивам была б достойна эта грязная публика стереться с киевских улиц. Процесс ухода от них неизбежно должен был стать мероприятием активно-санитарным. В том и досада была, что Богров измазался ни за что, ничего не совершив,— а из-за этого не мог теперь двигаться дальше, уже под подозрением, уже на дурном счету у охранки.

Он хотел уйти от партии — а не от революционного действия. Он больше — или пока — не нуждался ни в партии, ни в организации, и даже не знал таких отдельных людей, с кем хотелось бы поделиться замыслом или сотрудничать. Одинокий и хрупкий, он нуждался сам изжить горечь, искать, и искать какой-то путь — переиграть проигранное, он не мог примириться с разгромом.

Но на всяком пути действия ему противостояла и перегораживала — Охранка.

Надо было снять её пристальность к себе, если такая где-то таится. Но не благонамеренным же тягучим замиранием. А — самому, наоборот, пойти, проницать её и понять. Врага надо знать. Познакомиться с этим львом, пощекотать ему усы? Снова острая игра, этап игры. Того стоит.

И даже не противоречит его недавнему. У анархистов нет партийной дисциплины, учение анархистов допускает каждого члена выбирать линию поведения по собственному усмотрению.

А узнав врага, можно будет лучше понять, как его обвести. Кое-какие методы и тонкости работы охранки хорошо освещались в легальном журнале «Былое». Остальное надо было доузнать собственным опытом.

Если действовать — даже никакого другого решения и найти было невозможно.

Всего полгода — от своего приезда из Мюнхена — провёл Богров в кипении киевского анархизма — и уже пришёл к такому решению. И он — явился в киевское Охранное отделение и предложил услуги *сотрудника* — тайного осведомителя. Добровольная явка студента, да ещё из такой почтенной семьи, да ещё такого подавляющего ума — редкий случай, чрезвычайно обрадовавший начальника секретной агентуры Охранного отделения ротмистра Кулябку. (Богрову не трудно было предварительно собрать сведения, что Кулябко — не алмаз охранного дела, неудачно служил в московской полиции, уволен, здесь был писцом, но поднят протекцией своего шурина, тоже поднявшегося.)

Однако приятной беседой и улыбками такое знакомство не могло ограничиться,— совершенно ясно, что предстояло *называть* — лица, события, планы.

Богров обдумал тактику и ранее — а смотря на глупо-хлопотливое лицо Кулябки и вовсе уверился в своём обеспеченном превосходстве. Кулябко был выдающийся баран, до поразительности ни о чём не осведомлён, рад каждому второстепенному сведению и не могущий различить ценности его. (А Богров ещё так недавно предлагал применять к этому дураку террор!) При такой ситуации не было и нужды производить крупные выдачи. Можно было дурить: придавать вид агентурных сведений некоторым результатам уже происшедших провалов. Можно было в увлекательной форме представлять сведения безразличного характера или хотя бы партийную дискуссию. Или указывать явные преступные деяния — но без лиц. Или известных лиц, но без преступных деяний. Ощущая десятикратное превосходство ума, всё это Богров разыгрывал без труда — и суетливый глупый жадный Кулябко сиял от его осведомлённости, Богров казался ему светочем, ни с кем подобным он не работал. Разумеется, приходилось давать и более существенный улов — но можно было и пожертвовать кем-то из этой скотины, только грязнившей революционное знамя: чей-то адрес, или по какому подложному документу живёт, чью-то линию переписки, не самой важной; или пункт передачи журнала «Буревестник»; или свинячую группу борисоглебских максималистов; и группу анархистов-индивидуалистов (может быть немного увлёкся, не надо было); или предупредить экспроприацию в Политехническом институте (всё равно делили бы деньги между собой). То — *разъяснил* трудное дело Юлии Мержеевской, нервической и даже сумасшедшей девицы, лишь по случайности не успевшей в Севастополе убить царя (опоздала на поезд), но затем болтавшей о своём покушении вслух и всё равно обречённой. Богров вошёл в её доверие, брал её конспиративные письма и носил в охранку. (После этого уже не было границ кулябкинского доверия.) Но при провале группы Сандомирского Богров владел самыми серьёзными документами — и не выдал их.

Для правдоподобия пришлось и самому испытать дома обыск, огорчив родителей, затем, до конца 1907 года, на время самых интенсивных арестов, уезжать в Баку. Воротясь — тем спокойнее продолжать свои еженедельные визиты в охранку.

Хладнокровному, проницательному, внимательному юноше всё это доставляло забавный наблюдательный материал — ограниченность этих чиновников, неукрытые личные мотивы их, слабость методов, слепота,— невероятно, на чём вообще эта Охранка держалась и существовала ли она в самом деле в России. По сути, только то существенное и знали они, что могли им принести секретные осведомители. Кулябку Богров рассматривал только юмористически. Обманув стольких недоверчивых революционных друзей — этого-то селезня ничего не составляло дурить.

Разумеется, для правдоподобия Богров жаловался, что отец скуп, трудно бывает расплачиваться с картёжными проигрышами,— и получал от охранки в месяц когда 150 рублей, когда 100, смеясь, как легко они полагают покупать верность.

Когда в 1908 году Богров предложил друзьям-анархистам так построить анархическую работу в России, чтобы в Киеве сохранялись только конспиративный центр и лаборатории, а террористические выступления перенести на остальную страну,— то кроме несомненной тактической разумности он не без насмешки думал, что и им с Кулябкой так будет покойнее.

Ещё, повышенно интересуясь побегами из тюрем и помогая эти побеги устроить, Богров провалил два важных — Эдгара Хорна и группы Наума Тыша, своих товарищей из Лукьяновки. При этом, чтобы пригасить подозрения, он должен был арестоваться и сам — и осенью 1908 арестован. (Как предуказанием судьбы: у здания оперного театра и в сентябрьскую ночь!)

Свой арест Богров сам же и предложил Кулябке, но в решительный момент дрогнул: его изнеженность протестовала окунуться в душную общую Лукьяновку, он телесно испугался тюрьмы — и Кулябко устроил ему сидение при полицейском участке: приличную комнату с казённой обстановкой. Однако и в этой льготе Богрову невыносимо было оставаться пленным — и он метнулся к опрометчивому решению: освободиться уже через 15 дней.

Такое скорое освобождение вызвало, конечно, подозрения к нему и даже

слухи о провокаторстве. Богров объяснял хлопотами влиятельного отца (хлопоты и были честно произведены, и даже киевский губернатор участвовал в них). Но тут в Женеве расправились с Борисом Лондонским (он же Бегемот, он же Карл Иваныч Йост) — провокатором безусловным, провалившим и всю мощную южную Интернациональную Боевую Группу анархистов-коммунистов и звезду анархизма Таратуту и загнавшим в тупик самоубийства одного из Гроссманов,— и теперь на казнённого упадали и другие подозрения, а Богров обелялся.

Особенно поразило, что убийство произошло в вольной голубоватой Женеве. Даже в тех прекрасных западных городах и на лазурных курортах, ни в Мюнхенском университете значит, не оставалось покойного житья, если ты заподозрен товарищами. А Богров после освобождения, взяв заграничный паспорт, как раз и ехал полечиться в Меране, пожить в Лейпциге, Париже, а заодно и посетить заграничные анархистские центры. (Иногда и охранка оплачивала ему такие поездки, он из них привозил Кулябке что-нибудь свеженькое, забавное. А службисты все друг с другом повязаны, и вот Богров по частному поручению Кулябки посещает в Ницце помещика Бутовича с предложением добровольно уступить жену — генералу Сухомлинову, так и не убитому, да видно, что и убивать нечего.) Но как ни чисто работал — подозрения против него длились, тянулись, слухи повторялись. Нельзя было дать им ходить. Богров возвратился в Киев и в конце 1908 добился своего оправдания от товарищеского суда анархистов в Лукьяновской тюрьме. С этой реабилитацией он в начале 1909 снова поехал в Париж и просил опубликовать её в эмигрантской печати. Центровые анархисты отговорили его: это было бы только раздуванием сплетен вокруг его честного имени.

Теперь, когда большинство товарищей пошли по тюрьмам и каторгам, Богров стал фигурой, одним из немногих *старых работников*, уцелевших после разгрома, а с устойчивыми заграничными связями — и единственный в Киеве, так что мог быть уверен: если где по России анархисты что захотят предпринять — они будут списываться с Богровым.

Но честолюбие никогда не было настойчивым чувством его. А эта ответственность была ему лишняя, а острота этой двойственности была куда больше, чем испытаешь на тотализаторе или на рулетке. Он пробирался в полной одиночной тайне (ни отцу, ни брату этого нельзя было говорить, а любимой женщины у него не бывало) — и только мог художественно полюбоваться сам, как это удалось: проползти бесшумно, невидимо, между революцией и полицией, разыскать там щель и точно в неё уложиться. Никто больше в России не догадался так!

И вдруг — в том же январе Девятого года, когда Богров добивался печатать свою реабилитацию, в той же самой эмигрантской печати, а через несколько дней и в российской — он прочёл об Азефе. Это остро ранило его двояко: не только он оказался не один такой оригинальный, умный и изворотливый, но вот — и покрупней его, но вот он видел и публичное раскрытие: как такое двойничество кончается. По всем газетам он следил за каждой подробностью, даже приходил в одну киевскую редакцию — уточнить расспросом. Как разбивается толстое стекло, со змеистыми трещинами во много сторон,— так от провала Азефа нельзя было сосчитать и исследить все выводы. Многократно увеличатся подозрения революционеров. Увеличится недоверие охранки. Если не один такой Богров в России, то и не двое их с Азефом, их могло быть много, как в отражательных зеркалах, и те, с кем беспечно он играл, могли на самом деле играть с ним. И: оказывалось у него совсем не просторно, не так много времени, как он считал.

А он — ещё ведь и шагу не сделал по пути своего большого замысла. Он и по сегодня — вот четвёртый год — не отомстил за киевский еврейский погром октября Пятого года, от которого дал себя увезти — в 18 полных лет увезти, по сути бежал.

И как ища опоры оправдания, он в ту зиму в Париже без надобности нарушил свою глубочайшую конспирацию, высказал редактору «Анархиста» свою непокинутую, вынашиваемую и даже всё более определённую идею *центрального террора.* Наша задача — устранять врагов свободы, внести смуту и страх в правящие сферы, довести их до сознания невозможности сохранять самодержав-

ный строй, да. Но для этого надо убивать не губернаторов, не адмиралов, не командующих войсками: убить надо или самого Николая II или Столыпина.

А слова, высказанные нами вслух и с которыми люди связали нас,— уже как объективный факт обратно входят в наши убеждения, укрепляя их.

И теоретически легко рассчитать, что именно так: повернуть течение огромной страны может только центральный террор, конечно же не губернский. А в Столыпине — и издали было видно — собралась вся неожиданная сила государства, о которой два года назад нельзя было и предположить, что она возродится. И властный руководитель этой дикой реакции — именно Столыпин, самый опасный и вредный человек в России (о нём много и недоброжелательно говорилось в круге отца). Кто сломал хребет революции, если не Столыпин? Режиму внезапно повезло на талантливого человека. Он неизгладимо меняет Россию — но не в европейском направлении, это видимость, он оздоравливает средневековый самодержавный хребет, чтоб ему стоять и стоять,— и никакое подлинное освободительное движение не сможет разлиться. Умён, силён, настойчив, твёрд на своём — так он и есть несомненная мишень для террора.

Как будто Столыпин не предпринимал никаких мер против евреев? Но он создавал общую депрессивную обстановку. Именно со столыпинского времени и с его Третьей законопослушной думы евреев стало охватывать настроение уныния и отчаяния, что в России невозможно добиться нормального человеческого существования. Столыпин ничего не сделал прямо против евреев и даже провёл некоторые помягчения, но всё это — не от сердца. Врага евреев надо уметь рассмотреть глубже, чем на поверхности. Он слишком назойливо, открыто, вызывающе выставляет *русские* национальные интересы, *русское* представительство в Думе, *русское* государство. Он строит не всеобщесвободную страну, но — национальную монархию. Так еврейское будущее в России зависит не от дружественной воли, столыпинское развитие не обещает расцвета евреям.

Богров мог идти в революцию или не идти, перебывать у максималистов, или анархистов-коммунистов, или вовсе ни у кого, как угодно менять партийные убеждения, и сам меняться,— но одно было ему несомненно: невероятно талантливому народу должны быть добыты в этой стране все полные возможности развития нестесняемого.

Однако само жизненное сопротивление не даёт нам успевать за нашими замыслами. Подходит и время кончать университет — ради российского диплома. Может быть, это и лучше — как можно меньше встречаться с уцелевшими анархистами, остужать прежние связи,— а Кулябке всегда можно наворотить любую пустую ерунду. Если кто посторонний, но развитой, спрашивал о политике, Богров отвечал: «перестала интересовать». Зато часто видели его, безукоризненно светского юношу, в клубах Коммерческом, Домовладельческом, Охотничьем за карточными столами.

Но всё это мало радует двадцатидвухлетнего. Он заключает, что в конце концов жизнь — это унылая обязанность съесть бесчисленный ряд котлет, и только. А глубже всего, вероятно, его разочарование от того, что он не встречает женской любви. Этим веет и его портрет — чистюли с растопыренными губами. А в разговорах и письмах он роняет о личных неприятностях, которые доводят его до бешенства. (Не утихают подозрения против него.) И как всегда в таком положении более всего опостылевшим кажется нам само место — вот Киев, который, однако, нельзя покинуть из-за цепи экзаменов, затем и эта неуютная страна, затем и своя бездарная жизнь. Лучше бы всего — прокатиться опять за границу, на Ривьеру, но — связанные руки, экзамены, экзамены.

Наконец, в январе 1910 он оканчивает университет «бесполезным членом адвокатского сословия». Как еврей, он не может стать сразу присяжным поверенным. Отец предлагает ему крупную сумму открыть коммерческое дело — он отказывается. Но канцелярия губернатора даёт подтверждение о его политической благонадёжности — и Богров приписывается помощником киевского присяжного поверенного Гольденвейзера, друга отца. Однако работа не нравится ему, и хочется поскорее куда-нибудь уехать из Киева (гнетут подозрения революционных товарищей, и Кулябко тоже советует ему уехать). Но — куда? Где в этой унылой стране можно приткнуться? Не в какой же нибудь губернской дыре Европейской России, так и слепленной из болот и невежества,— разве вот

в интеллектуальном свободолюбивом ссыльном Иркутске? Теперь, с университетским дипломом, он имел повсеместное право жительства, чего прежде не было, ибо принципиально он, как и отец, не хотел креститься для получения льгот, и в документах по-прежнему стояло: Мордко.

Да и ещё ж одни оковы: воинская повинность. Даже окончившие университанты ещё должны отслуживать в их армии. К счастью, вот и бумажку освобождения (уж чисто ли от врача или опять отцовской помощью): этот юноша не может служить в армии по глазам, он не способен *прицелиться и выстрелить*.

В последние его университетские месяцы прогремел из Петербурга взрыв на Астраханской и открыл, посмертно, ещё одного двойника — Петрова-Воскресенского. Так сколько же нас таких? Каждый открывался публичности при вспышке своей гибели и на разной протяжённости их головоломного пути, в разных позах — скрюченного или поднебесного вызова, могла осветить их эта последняя вспышка.

Вся история Петрова-Воскресенского так и не открылась полностью, но сколько можно было понять — Петров возвысил уровень изобретательности террора на ступень по сравнению с прежними боевиками: он вёл сложную личную одиночную игру между эсерами и охранкой, сам обмысливал ходы, сам разыгрывал их, стал необходим охранке — и заводил невод взорвать сразу кучу крупнейших чинов полиции, вместе с Курловым, заместителем министра,— но по случайности взорвался только Карпов один.

Пример Петрова был поучителен: как не надо отдавать себя по глупому заданию подпольной банды. Не к такому готовил себя Богров. Он чувствовал в себе накопленное сосредоточение — пойти на поединок с целым государством — и ударить в центр его. Теперь, освобождённый и от университета, и от армии,— теперь он кинулся из Киева без сожаления вон — и конечно не в Иркутск, а в Петербург. Там будет всё видней.

Петербург — не центр свободомыслия, зато там положение адвоката-еврея благополучнее, чем в любом другом городе. Там жил и брат Лев, тоже помощник присяжного поверенного, по нынешним временам вся семья Богровых шла в адвокаты. Известный присяжный поверенный Кальманович по связям охотно взял к себе Богрова помощником. Правда, адвокатский приём не успел сложиться и заработка не дал, но по другим связям устроили Богрова ещё и в общество по борьбе с фальсификацией продуктов питания. Стал Богров и в Петербурге завсегдатаем клубов.

Он как будто был и облегчён порвать с киевским Охранным отделением, но и — по запасливости? — просил Кулябку послать о нём рекомендации новому начальнику петербургского отделения фон-Коттену, преемнику Карпова. Не сразу, но в июне он дал о себе знать — и встретился с фон-Коттеном в ресторане.

Фон-Коттен, потому ли, что так оплошно погиб его предшественник, был недоверчив, сдержан, да и умней Кулябки, да кажется и не понравился ему Богров. Но поручил новичку следить за петербургскими анархистами и предложил те же 150 рублей в месяц. На второй встрече Богров ответил, что анархистов в Петербурге нет,— ну, тогда за эсерами. Богров — зачем-то опять как будто возобновлял эту игру — хотя не знал ясной цели, и не имел намерения серьёзно что-либо *освещать* и не испытал той юмористической снисходительности, как к Кулябке. Он как будто и стал сообщать нечто, с очень слабой регулярностью,— по скудости знаний у охранных отделений это даже могло походить на серьёзное осведомление? — а серьёзного не было ничего. Не могли охранку обогатить такие сведения, что у заграничных эсеров взбудораженность против Бурцева: зачем он сенсационно поспешил открыть партийную принадлежность Петрова? Самое большее вот такой эпизод: из Парижа с письмами от ЦК эсеров приехала какая-то случайная дама и должна была передать их или через Кальмановича (небольшой вред Кальмановичу, но он стоит крепко) или через Егора Лазарева в редакции на Невском, но эсеры забыли про Троицу, по празднику всё было закрыто на три дня, все в отсутствии, и пристраивать письма досталось Богрову, отчего он и мог показать их фон-Коттену, а ничего определённого или слишком интересного не было в них, потому-то Богров их и показал. Ведь он не ***служил***, он, пожалуй, на фон-Коттене продолжал исследование Охранного отделения, только теперь столичного. И впечатление было не

намного уважительней, чем о киевском. Вот — и Петров тут управился хорошо.

Петров отражался, отражался в двойных зеркалах, показывая Богрову его самого, и какие возможности есть (их было, конечно, больше, чем тот разглядел).

Но — и нелегко стягивалась жертвенная воля, расслабленная буржуазным существованием,— как когда-то не собралась посидеть в Лукьяновке.

И вдруг — внезапный случай. В том же июне Богров от своего общества по борьбе с фальсификацией пришёл невзрачным агентом на городской водопровод — по контролю очистных устройств. И вдруг — лишь чуть оттесняя его, без охраны, без предосторожностей, в сопровождении инженеров шагах в десяти прошёл и даже останавливался — С т о л ы п и н!

Крупной фигурой, густым голосом и как он твёрдо ступал и как уверенно принимал решения — Столыпин ещё усилял то впечатление крепости, несбиваемости, здоровья, какое улавливалось и через газеты, с дальних мест всероссийского амфитеатра. Да сила и всегда была несомненна, раз один человек мог вывести такую страну из такого положения. Эманацией за десяток шагов так и потянуло на Богрова этой силой — победной и враждебной.

А браунинга, а браунинга — не было в кармане! — оставлена та привычка...

Да если б и был — не было решимости, вот так сразу — и... ?

Теоретически всё было давно обосновано и ясно — но вот так сразу и... ?

Эта встреча обнажила Богрову его бессилие и погрузила в мрачность. Если можно было рассчитывать на невероятность — так вот она произошла! — и миновала! — и второй уже не ждать.

Ни к чему не приблизил его Петербург...

Но Столыпин же, в своей речи об Азефе, которую Богров перечитывал со вниманием ненависти, прямодушно и подтвердил план Богрова. Что никакой серьёзный *акт* уже не стал успешным, если он связан с большой организацией. Столыпин среди тысяч поверхностных читателей нашёл внимательного, Богрова: что с 1906 года у ЦК эсеров сплошь провалы актов — и значит вместе с ними действовать нельзя. Покушение на Аптекарском острове, экс в Фонарном переулке, убийство Мина, Павлова, графа Игнатьева, Лауница, Максимовского — все удались только потому, что действовали автономные группы, летучие дружины, не имеющие связи с ЦК.

Неизбежный центральный террор не мог, не мог оказаться невыполним даже и в эпоху всеобщей расслабленности! Но только — единолично!

У Богрова обострился интерес к криминалистике. Иные дни он высиживал в уголовном суде в качестве простого слушателя. Писал из Петербурга: «Я влез в миллионы разнообразных комбинаций. Когда-нибудь это будет *что-нибудь в особенности*, как мы говорили.»

А ходил по Петербургу тихий, вежливый, замкнутый. И даже с квартирной хозяйкой — ни слова никогда ни о чём.

Тот маловажный случай с эсеровским письмом из Парижа привёл Богрова сходить и к Егору Лазареву. Лазарев был известный член эсеровской партии, враг режима, сторонник уничтожительного террора, но в данный момент не мог быть ни в чём уголовно обвинён и мирно работал в одной из редакций на Невском, не высылаемый даже из Петербурга.

После того первого маловажного визита Богров, волнуясь, напросился на вторую встречу с Лазаревым. Волнуясь, потому что и партия эсеров была несравненна с анархистами по террору центральному, и сам Лазарев в партии — фигура немалая. И вот ему первому и единственному решился Богров приоткрыть свой созревающий замысел. (Да как убедить, чтобы поверил?)

Явился к знаменитому эсеру полуболезненный, утомлённый безусый юноша в пенсне, с передлинёнными верхними двумя резцами, они выдвигались вперёд, когда при разговоре поднималась верхняя губа,— и голосом надтреснутым объявил:

— Я — решил убить Столыпина. У меня нет для этого подходящих товарищей, но они даже и не нужны. А я — твёрдо решил.

(Уже совсем ли твёрдо? совсем бесповоротно? Ведь ко многим отчаянным мыслям мы иногда примеряемся как бы в игру: а что, если вот сейчас выпрыгнуть из поезда?..)

Лазарев не мог скрыть улыбки:

— Да что ж это вы так сразу высоко?

— В русских условиях,— ответил Богров давно готовым,— систематическая революционная борьба с центральными правящими лицами единственно целесообразна. В России режим олицетворяется в правящих лицах. Убивать подряд каждого, кто б ни занял эти места. Не давать никому задерживаться. Тогда они уступят. Тогда мы изменим Россию.

— Но почему сразу именно Столыпина? — всё ещё насмешливо, как мальчика, спрашивал Лазарев.— Как вы взвесили: за что именно его?

О, да! это было более всего и взвешено:

— Надо ударить в самое сплетенье нервов — так, чтобы парализовать одним ударом всё государство. И — на подольше. Такой удар может быть — только по Столыпину. Он — самая зловредная фигура, центральная опора этого режима. Он выстаивает под атаками оппозиции и тем создаёт режиму ненормальную устойчивость, какой устойчивости на самом деле нет. Его деятельность исключительно вредна для блага народа. Самое страшное, что ему удалось,— это невероятное падение в народе интереса к политике. Народ перестал стремиться к политическому совершенствованию. Так забудут и Пятый год! Люди вживаются в это благоустройство жизни — и стирается память обо всём Освободительном прошлом, как будто не было ни декабристов, ни нигилистов, ни Герцена, ни народовольцев, ни кипящих первых лет этого века. Столыпин подавляет Финляндию, Польшу, инородцев. Поразить всё зло одним коротким ударом!

— Но слушайте, молодой человек,— уже с бóльшим сочувствием говорил Лазарев.— О Столыпине со сладострастием думали уже столькие боевики — но никому никогда не удалось.

— Простите,— сдержанно, методично, невозмутимо настаивал болезненный, слабый молодой человек в пенсне, с руками слабыми и даже как бы чуть пригорбленный от физического недоразвития,— но убийство Столыпина — хорошо обдуманная задача, которую я решил во что бы то ни стало выполнить. Если можно так выразиться — он слишком хорош для этой страны. Я решил выкинуть его с политической арены по моим индивидуальным идеологическим соображениям. К тому же есть и хорошая традиция убивать именно министров внутренних дел. Это место — должно обжигать.

Уже под впечатлением такой взвешенной готовности и в большом раздумьи, не зная этого юношу достаточно, Лазарев продолжал возражения:

— Но вы — еврей. Обдумали ли вы, какие могут быть от этого последствия?

Всё он обдумал! Ещё готовней отпечатал:

— Именно потому, что я еврей, я не могу снести, что мы, позвольте вам напомнить, до сих пор живём под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей. А где Герценштейн? А где Йоллос? Где тысячи растерзанных евреев? Главные виновники всегда остаются безнаказанными. Так вот я их накажу.

— Отчего ж тогда сразу не царя? — усмехнулся Лазарев.

— Я хорошо обдумал: если убить Николая Второго — будет еврейский погром. А за Столыпина погрома не будет. Да что Николай, он игрушка в руках Столыпина. Потом — убийство царя ничего не даст. Столыпин и при наследнике будет ещё уверенней проводить свою линию.

Интеллектом своим Богров, как всегда, произвёл сильное впечатление. Но не физическим видом. И Лазарев оставался в колебании и покручивал головой.

— А зачем, собственно, вы пришли мне это объявить? Я должен быть вам чем-нибудь полезен?

— Я и в Питер приехал, собственно, для того, чтобы повидаться с вами,— тут подоврал Богров.

Однако, спешил объяснить, он совсем не пришёл просить у мощной партии эсеров — помощи, материальной или технической, или курса обучения, как убивают премьер-министров великих государств. Нет, он всё рассчитает сам и сумеет всё сам. Ему только вот что нужно: о т ч ь е г о и м е н и о н у б ь ё т? Он просит разрешения сделать это от имени партии эсеров, вот и всё.

— Я всё равно так сделаю, это решено. Но меня тяготит мысль, что мой поступок истолкуют ложно — и тогда он потеряет своё политическое значение.

Для воспитательного эффекта надо, чтобы после моей гибели остались люди, целая партия, которые правильно объяснят моё поведение.

Богров уверял, как это всё решено и бесповоротно, а Лазарев слышал его прерывисто-вибрирующий голос, щурился на болезненно-вялое его лицо, на изнеженную тщедушность — и не верил в его решимость, и ясно представлял, как ему не хватит силы дошвырнуть бомбу или, меча её, как он обронит пенсне. Как, схваченный полицией, он саморасшлёпнется в мокрое место — и положит невзрачное пятно на репутацию партии эсеров. (А может и вообще всё — провокация?) И опять отшучивался:

— Да что это вы — в таком раннем возрасте и такой пессимизм? Вероятно — несчастная любовь? Переживёте, пройдёт.

Богров настаивал, что его решение совершенно окончательно. (В самой необходимости настаивать оно ещё укреплялось). И от чести такого акта — как может отказаться партия эсеров? Тяготит, что в полной тайне подготовленный, никому не объяснённый индивидуальный акт может подвергнуться кривотолкованию. Хорошо, он просит партию эсеров санкционировать акт только после следствия, суда и казни — только если он умрёт достойно! Но, умирая, он должен быть уверен, что будет поддержан и объяснён.

Нет, не сумел произвести убедительного впечатления. Лазарев отказал, и настолько отрезно, что даже не согласился передать предложение Богрова на рассмотрение ЦК эсеров. Единственный дал совет: если в самом деле это настроение не временное — не делиться больше ни с кем.

Богров и сам видел, что он на это обречён.

— Но всё-таки если... Можно мне вам как-нибудь... написать?

— Ну, напишите. На редакцию. На имя, вот, *Николая Яковлевича* имярек.

Не ожидал Богров такого отказа. Опора — отошла, надежды и расчёты повисли ни на чём. Покушение расплылось в сомнительной целесообразности.

Искать у социал-демократов было и совсем безнадёжно: тайно будут рады убийству, а публично отмежуются и станут негодовать.

А ещё ж и климат петербургский какой дрянной! За восемь месяцев здесь испортилось его здоровье, то боли в спине, то расстройство желудка, а хуже всего — угнетённое состояние, тоскливо, скучно, одиноко, никакого интереса к жизни. И врачи послали измученного молодого человека отдыхать и лечить нервы в Ницце. Так и не началась никакая его адвокатская практика.

И весь замысел покушения — отошёл в тумане.

В декабре 1910 он был уже на Ривьере. И всю зиму вместо петербургской сырости и темноты он провёл на юге Франции, куда к нему приезжали и родители, тоже любящие зимний южный морской отдых.

В этот раз он не сокасался с эмигрантами-революционерами. Но чтоб не бросить игры, всё же как-то написал фон-Коттену: малозначительные сведения о заграничных эсерах, и попросил денег. Тот — выслал в Ниццу, но Богров за последними не сходил и получить.

Он играл на рулетке в Монте-Карло, играл в карты, настроение постепенно рассеивалось. Из зеркальных окон отеля — голубоватые бухты. Что это ему так настойчиво мерещилось — какое покушение? Как можно прекрасно жить.

Но каждой сказке конец. В марте он вернулся в Киев, возобновил регистрацию помощником присяжного поверенного. Но — опять не работал, не пришлось ему произнести ни одной адвокатской речи, ни — использовать выгодно покровительство многоизвестного Гольденвейзера.

Не навещал он и Кулябку — с тех пор ещё, как уезжал в Петербург. Забросил эту игру.

Разбирала его душевная незаполненность, неопределённая тревога. Нынешнюю свою жизнь после обещательных успехов учения он находил ничтожной, и все удобства, блага и развлечения не возбуждали в нём чувств. Не вспыхивала любовь ни к одной женщине, и в него никто не влюблялся. Быстро снова опостылел Киев. А уж Петербург он отведал, хватит. А о квасной Москве и мысль никогда не возникала. Да само *время*, так деятельно переживаемое всеми,— как бессмысленная последовательность часов или как тупая эпоха — оно-то, время, и постыло.

В этом же марте, когда он вернулся в Россию, пережил и новый удар в душу: мартовским постановлением распространили на экстернов исчисление еврейского процента. Ни самого Богрова, ни его родственников это сейчас не касалось, но принципиально это был пинок болезненный в грудь, разбуживающий задремавшую душу: до сих пор экстернат был открытый путь для сколько-нибудь зажиточных евреев обходить процентную норму. Теперь и этот путь закрывали.

И в этом же марте произошло в Киеве убийство какого-то мальчика — и стали вменять его евреям как ритуальное, обвинили соседнего еврейского приказчика.

Нет! Эта страна была неисправима, и неисправим её самоуверенный, верно разгаданный премьер-министр. Вся эта глухая эпоха могла быть оборвана только сильным взрывом. Но взрыв не по силам. Тогда — нужным выстрелом в нужную грудь.

Несколько револьверов постоянно хранились на квартире у Богрова — такую вольность он мог себе разрешить при положении отца да и при дружбе с Кулябкой.

Но — к чему они теперь? Пустое он хвастал Лазареву: как можно ему дотянуться до Столыпина? Не удавалось самым опытным террористам. А случай на водопроводе неповторим.

Вдруг газеты этой весны зашумели об отставке, о падении Столыпина. Опоздал? Свалится и сам?

Нет, устоял. Но сильно пошатнулся в обществе. А вот теперь бы его и...

Вдруг возникли слухи, а затем начались по Киеву и грубые шумные приготовления к царским торжествам в сентябре. Что такое? Памятник Александру Второму, 50 лет освобождения крестьян, памятник княгине Ольге — а в общем ищут повода утвердиться самодержавной пятой в Киеве, сделать его опорой русского национализма,— столыпинская же и мысль.

Вот так удача! *Центральных* людей России не надо искать по Петербургу — они катили в Киев сами!

Но будет царь со своей сворой-свитой — а будет ли Столыпин?

В каком сердце, хоть чуть касавшемся революции, не вспыхнет ненависть к этому наглому торжеству? Как удержаться — испортить врагам их праздник? посмеяться?

В июне родители ехали на дачу под Кременчуг — он с ними туда же. Там, над Днепром, он теперь ходил в одиночестве, ходил — и обдумывал. Степной воздух не успокаивал истерзанной изъеденной груди.

Приехал и брат с женой на дачу. Но ни с ним, ни с отцом Богров не поделился ни обрывком мысли.

В начале августа вернулись в Киев: родители ехали продолжать отдых в Европе, брат возвращался в Петербург. Младший Богров остался в многоэтажном родительском доме свободен,— ну, с наглядом над квартиросъемательским делом, и один,— ну, со старой тёткой, с горничной, кухаркой, обслугой.

Один.

Большое облегченье груди, голове: не притворяться, не скрывать, никто не просит ничего рассказать. Всё — молча, всё — в себе.

Тем временем уже наехавшая из Петербурга и Москвы полиция подходила на улицах даже к людям солидной внешности и просила предъявить документы. Производилась временная высылка из Киева неблагонадёжных лиц. По всем путям ожидаемого высочайшего проезда осматривались квартиры, чердаки, погреба, делались кое-где обыски.

Ну, готовьтесь, готовьтесь, свора!

Что не покидает Богрова все эти дни — самообладание. У него счастливое свойство: чем ближе опасность, тем полней самообладание. Он пишет обстоятельные деловые письма отцу (он вполне сумел бы хорошо вести коммерческие дела!): как дать взятку инженеру, чтобы кто-то получил выгодный заказ от городского самоуправления, и какие предосторожности принять, чтобы взятка, не осуществясь, не уплыла бы из рук, чтоб обе стороны имели гарантию. «Я надеюсь, папа, ты поверишь моей опытности.»

Тянут ли его сомненья, мученья, отчаяние — это не выходит наружу.

Так наступают — когда-то наступают — в каждой человеческой жизни главные дни.

Украсились киевские улицы и дома — флагами, царскими вензелями, портретами. Многие балконы драпировались коврами, тканями, уставлялись цветами, некоторые дома были иллюминированы. Обыватели телячье ждали зрелищ. К сведенью их (и Богрова) подробно была объявлена вся программа торжеств — с 29 августа по 6 сентября.

В одиночестве, в ожидании, в томлении Богров много сидел дома, лежал, ходил по комнатам, фантазируя, вырабатывая... А ещё — методически просматривал и уничтожал, что́ не должно было оставаться.

Всё это выглядело как колоссальный цирк, где зрителями был созван весь Киев, да по сути — вся Россия, да даже и весь мир. Сотни тысяч зрителей глазели из амфитеатра, а наверху на показной площадке, под самым куполом, в зените, выступали — коронованный дурак и Столыпин. А маленькому Богрову, чтобы нанести смертельный укол одному из них, надо было приблизиться к ним вплотную — значит вознестись, но не умея летать, взлезть, но не имея лестницы и в противодействии всей многотысячной охраны.

Образ цирка вызывает образ центрального шеста, поддерживающего вершину шатра. Вот по такому шесту — совершенно гладкому, без зазубрины, без сучка, надо будет всползти, никем не поддержанному, но всеми сбрасываемому, всползти, ни за что не держась.

Задача — исключительно невозможная.

Но посмотреть: нельзя ли изменить хоть одно исходное условие? Добавить себе крыльев? — не дано природой. Искать помощи у разных ЦК? — уже отвергнуто. Уменьшить высоту шеста? — она задана. Добавить ему шероховатостей? — сперва поискать на своём теле. А затем и на шесте: нейтрализовать сопротивление охраны? Это надо попытаться. К чему-то же, зачем-то же были эти несколько лет игры-сотрудничества?

Если охрана окажется умна — тогда пустой номер. Но опыт подсказывал, что — не окажется.

Лежал, ходил, откидывался в качалке, упражнялся с гантелями. Фантазировал, вырабатывал.

Было душно, окна нараспашку. К обеду мороженое, к напиткам лёд. Как во сне, сидел с тётей за обедом, за ужином у просторного стола. Не ездил в клубы, не играл в карты. Его задача требовала сосредоточения всего ума, всего тела.

Программа царских торжеств лежала перед ним. И ясно, что самый удобный центр её — 31 августа, Купеческий сад, на берегу Днепра.

Но если — там, то — Днепр рядом! Как не попробовать ещё и ускользнуть? Найти моторную лодку, добежать, спрыгнуть?..

И он ходил бродить по набережным, на пристань, по берегу.

Но легче было изобрести невообразимое — как дотянуться до председателя совета министров, чем найти способ и язык объясниться с чужими, грубыми, непонятными днепровскими лодочниками, внушить к себе доверие в такие подозрительные дни и самому доверить уголок своей конспирации. Он мог заплатить за моторку — сколько угодно. А правдоподобно уговориться — не умел. Это были люди с другой планеты.

Наконец, 26 августа он зашёл к доверенным знакомым, оставил письма: одно — родителям, два — в газеты.

И позвонил, от себя из дому, в Охранное отделение: *дома ли хозяин?*

Не повезло: Кулябку не застал. Но — знал он там всех — и заведующему наружным наблюдением Самсону Демидюку предложил встретиться, срочно.

Они сошлись в Георгиевском переулке, в парадном. И Богров объявил Демидюку: *во время торжеств готовится террористический акт против самых высоких особ!!!*

Одной этой чрезвычайной фразы было достаточно, чтобы Демидюк побежал бегом к Кулябке. Но Богров не поскупился и на несколько деталей: приезжает группа из Петербурга, с оружием. Ищет способа безопасного въезда в Киев и устройства здесь. Богров должен получить инструкции.

Находка не просто дерзкая — гениальная: двигаться почти напрямую и говорить почти правду! Какое ещё убийство готовилось так: всё время настаивая перед полицией, что именно это убийство произойдёт!?

Зацепка — во всяком случае. Для них — служебно невозможно пренебречь таким сенсационным донесением.

Вернулся домой, нервно ходил. Начало было важнее всего: вообще по шесту можно ли взбираться хоть сколько-нибудь, или тут же соскользнёшь?

Снова позвонил в Охранное, когда Кулябко уже был там. Обрадованный, блеющий, глупый голос! Полтора года пропадал — и вот объявился любимец и сразу с таким известием! Поверил, захвачен — первая удача. На первую сажень уже взобрался — держит, не скользит.

Ещё новое: назначает прийти не в Охранное, а — к себе домой. Небывало, что за изменение? Ловушка? Простодушно объясняет Кулябко: да обед уже назначен, переменить нельзя.

Радушный голос, человеческая слабость. Признак полного доверия.

Богров идёт к Кулябке однако с браунингом в кармане. (Так было задумано, когда собирался в Охранное: если версия не будет принята, а сразу разоблачение,— стрелять в него, стрелять в других, бежать, стрелять в себя?.. Теперь, по домашности, как бы и лишнее. А может и не лишнее, незнакомый дом, незнакомый ход. По домашности — тем более не будет обыска. Взять.)

В сообщеньи Богрова нет ни одной зазубринки факта, ни одного реального выступа — скользь, и разбился. Отступления нет, браунинг несётся в кармане.

Через Золотоворотскую улицу, через чёрный ход, Демидюк провёл Богрова в квартиру Кулябки. Хозяин (стал подполковник теперь) встретил его в задней прихожей и провёл к себе в кабинет (доверие!) ...через ванную, другого хода нет.

Сюда из гостиной довольно слышен оживлённый обеденный разговор. И у Кулябки — не совсем вытертый масляный рот, вкусный обильный обед ещё не докончен — и приятно его доканчивать, имея на десерт такого посетителя, о котором там сейчас и похвастаться близким гостям. Радушный, весёлый, доверчивый вид — кажется, и к столу бы позвал, если б не неприлично.

Хотел повторить ему тот же пунктир, уже расширяя в сюжет, но Кулябке хочется к обеду, к гостям,— «ты садись и напиши всё, голубчик!». Оставил Богрова в кабинете (почему не научил его взрыв на Астраханской!) — и пошёл дообедывать.

Писать? Если донесение истинно и террористы нависают за спиной? Самоубийство. На что ж Кулябко рассчитывает, подавая перо? Догрызть утиное крылышко?

Когда мы в жизни проходим сквозь мелкое событие — никогда мы не знаем, насколько ещё оно может пригодиться нам впереди. А теперь вело чутьё: из прошлого — как можно больше правдоподобных деталей, каких сегодня нет, как можно больше истины в прошлом. И все последние дни удочкой памяти Богров выцеплял обломки этой незначительности: дама из Парижа на Троицу 1910, совсем забывши про Троицу... Кажется: подруга дочери Кальмановича... Почему-то через неё — второстепенные письма от ЦК эсеров... Кальманович, сам уезжая, поручил все передачи своему помощнику Богрову... Богров эти письма показывал фон-Коттену... А потом передал: Егору Лазареву (про Лазарева знал Богров, что Столыпин заменил ему ссылку в Сибирь на заграницу, так что тому не опасно) и... были ж ещё два письма... Одному молодому революционеру... Скажем, «Николаю Яковлевичу». (Такое имя в редакции назвал ему Лазарев, теперь всё годится.)

Узелки завязаны, вперёд, моя исторья! Так вот этот Николай Яковлевич в начале лета вдруг прислал письмо: не изменились ли убеждения Богрова? С революционерами приходится настороже, опасно и смолчать, опасно и высказать правду. Нет, мол, не изменились. И вдруг! — в июле на дачу под Кременчугом (вот и дача пригодилась, уже покинутая, там томился, гулял, не знал, что так скоро пригодится, как можно больше реальных совпадений!) — явился сам «Николай Яковлевич»! И открыл...

(Если он серьёзный террорист, идёт на такое великое предприятие — и доверяется одной почтовой фразе не активного подозрительного анархиста Богрова, и сразу едет к нему и открывается со всеми тайнами?.. О, какой скользкий

гладкий шест! Прижаться к его палочному телу самим собою, всем телом своим тереться и переползать по неправдоподобностям!)

...открыл: что едет их группа террористов, трое, из разных мест, в Киев, чтобы совершить *акт* во время празднеств. Говорят, на вокзале и на пристани строгая проверка документов. Так вот, не может ли Богров помочь им: перед самыми торжествами въехать в Киев — ну, например, моторной лодкой из Кременчуга? (Прицепился этот Кременчуг, как та дама из Парижа, очень удачно. И моторная лодка сюда перескочила, складывается само.) Пусть добудет им моторную лодку, а потом в Киеве — конспиративную квартиру на троих. И — уехал.

И — пришли, весёлые, подвыпившие, неравновесные с обеда — жирный селезень Кулябко. Остроусый красивый проницательный, образованный, осмотрительный, сгрунно служащий полковник Спиридович. И ещё какая-то бледная штатская немочь — действительный статский советник. Очевидно, за обедом уже было рассказано — да, вот он, тот интересный субъект, который работал у меня раньше несколько лет и давал всегда точные сведения. Какие же в этот раз?

Тёплыми пальцами брали бумагу с жаждой новости, полупьяными глазами читали, вертели, передавали, смотрели друг на друга понимающе: террор как будто давно заглох — и вдруг сейчас словить такую группу? — большие награды, большие повышения! И как легко шли террористы сами в сеть!..

(Ах, верно он изучил их клёв! Ах, знал Богров их душёнки! А — в о ч т о тут было поверить? трезвому человеку — во что? Вынирал из кармана браунинг явно (зачем взял? проклинал), и в шесть глаз не видели, только спросить: а это — что у вас? И тогда — стрелять? Их — трое, и из квартиры не выскочишь...)

Впрочем, они — полиция, и не забыли, что надо поморщить лоб, расспросить придирчиво: а откуда Николай Яковлевич узнал ваш дачный адрес?

Сперва приехал в Киев ко мне домой — и домашние сказали.

А... почему вы не пришли к нам с этим важным сообщением сразу?

(Почему он в о о б щ е пришёл — не пришло им спросить: разумеется, каждый обязан явиться. За четыре года Кулябко никогда не пытался понять: а з а ч е м Богрову вся эта служба? что за человек Богров?)

Доверчиво смотрит на опытных полицейских через пенсне молодой интеллигент с удлинённой стиснутой головой, постоянно чуть изогнутой набок, с постоянно несомкнутыми губами, видно — и скрыть ничего не умеет: поскольку Николай Яковлевич тут же и уехал, у меня остались как бы пустые руки, мне было неловко так приходить. И я всё ждал, что он объявится. Но время идёт, подходят торжества. А в одной из газет (к тому же правых, которые так и читают взахлёб присяжные поверенные...) промелькнула заметка о возможности какого-то покушения. Я — просто взволновался, не знаю, что мне делать. Если они теперь нагрянут и потребуют, я под их наблюдением уже никак не прорвусь к вам спросить: добывать ли им лодку? искать ли им квартиру?

Нет, моторной лодки не давать, строго отводит Спиридович. А квартиру? Чтобы знать, где они будут, и легче их взять, отчего же? Кулябко думает — можно, и даже знает, какую: разведенной жены полицейского письмоводителя.

(Богрову это никак не годится: призраков нельзя поселить к реальной хозяйке.)

Замялся: как бы чего не пронюхали, вдруг она вызовет у них подозрение, тогда всё провалится.

А чью бы вы предложили?

Да тут... одна знакомая уехала за границу. Да если разрешите — и мою: родители уехали.

Что ж, может быть и хорошо (легче наблюдать через Богрова).

(Держится! Держится!)

Ещё ближе к истине, ещё естественней: я так понял — *акт* будет не в начале торжеств, а — к концу, когда охрана ослабеет. (Как б у д е т — так прямо и говорить! так прямо и предупреждать охрану, вот дерзость!)

Спиридович — самый профессиональный и единственный умный: но как Николай Яковлевич так легко вам доверился, все подробности?..

А! Я заявил Николаю Яковлевичу, что не хочу быть пешкой в их руках, а должен быть посвящён во все планы, это моё условие. (Я — не мелкий! Я буду всё знать! Верьте мне и держитесь за меня!)

Убедительно.

Но уж если все планы,— сверлит-таки усоправительный Спиридович,— так тогда: н а к о г о? На Его Императорское Величество?

Нет! (Не только нет, потому что — нет, уж Богрову ли не знать, а и — нет, чтоб и в мыслях ни у кого не было! И если только сейчас допустить о царе — слишком подхватятся!) Нет, в этом случае опасаются еврейского погрома. Поэтому план террористов: покушение на двух министров — на Столыпина (так-таки наоткрытую!) и Кассо. (Министр просвещения, лютая ненависть передового студенчества, очень реалитетно. И — раздвоить внимание охраны.)

И — так и видно, как настороженность вся вышла из Спиридовича, и вернулось послеобеденное блаженное унитое состояние.

(Держится! Как угадано!)

Спросили приметы Николая Яковлевича. И был готов, и — не был, ещё не сжился с ним Богров вполне. Ответил с лёгкостью, но приметы вышли хлипкие: жгучий брюнет, средней длины волосы, чёрные средние усы, интеллигентное лицо, привлекательные глаза...

Приняли. Записали. «Надо послать в Кременчуг.»

Статский советник: вы эту записку вашу — подпишите, пожалуйста.

Только усмехнулся Богров, до чего ж новичок статский советник и до чего ж ничтожный чиновник: о, нет! вот это — слишком опасно для меня, в вашем аппарате может быть предательство.

(И — опять достоверно, опять выиграл!)

Вот и вопросы исчерпались. Исчерпались сомненья подполковника, полковника...

(Богров так и надеялся. Он знал за собой, за ним признавали какую-то особенную убедительность рассказа: он, когда хочет, как завораживает, как пение редкой птицы, вытянувшей шею, и даже врагам своим в такие минуты он становится милым.)

Смелеет, дерзеет и делает ещё один переполз, важности которого вне чиновного мира даже невозможно охватить, он сам не понимает сотрясательности удара, он хотел только впустить между ними каплю расслабляющего яда:

— Николай Яковлевич говорит, у них есть связи и среди чинов Департамента Полиции и в петербургском Охранном отделении. Они — уверены в успехе.

(Но: зачем тогда им в Киев ехать? не перебрал?..)

Нет, не перебрал! Они — союзники тут, единомышленники, вот — их четыре единомышленника здесь. И Кулябко подходит к пачке (она здесь и лежала!) заготовленных билетов-приглашений на торжественный спектакль 1 сентября, а есть и на общественное гулянье в Купеческий сад на 31 августа — и предлагает Богрову взять, сейчас впишет его фамилию! (Из благодарности? Или с целью какой? Или по селезнёвой суетливости просто? Даже непонятно — зачем? Волосы прилизанные, светленькие, глупые. И знал Богров, что Кулябко глуп,— но не ожидал такой лёгкости!)

И отважный увидел себя — уже на половине шеста, нет — выше половины: уже мелкими кажутся те бесправные муравьи, из которых пополз три часа назад. И уже совсем не так далеко вверху заветная площадка! Ничем не удостоверенный, скользя по невероятностям,— как он поднялся? на чём он держится???

То, что нужно! Билет на закрытый спектакль, где будет открытый Столыпин, да кстати ещё и этот... император. Ожигая револьверную руку, в неё сам плывёт театральный билет! Какая удача! Какая победа — и сразу!

И всякий другой юный схватил бы билет. Но — не умудрённый Богров. Нельзя принимать слишком лёгких побед. А достигнутое доверие дороже билета. (Да ещё до театра — шесть дней, они могут опомниться и отобрать.)

И — отклоняется Богров от багряно-желанного билета — движеньем чуть утомлённым, бескорыстным, узкая голова чуть на́ сторону: нет, он не хотел бы афишироваться.

Хорошо. Поручили ему дальнейшее наблюдение за террористами. Если понадобится — в его распоряжении Демидюк. Расстались.

Расстались — с полной инициативой у Богрова, никаких обязательств: когда же связь или когда следующая встреча?

Ошеломлённый сверхожиданной удачей, несомый победным счастьем, весёлый Богров идёт к тем знакомым — отбирать назад те письма с объяснением выстрела, какой сегодня не понадобился.

О, счастье! Разве — нейтрализовал? Он — взял полицию к себе на помощь, вместо эсеров! Какой юмор — и не с кем поделиться, и оценит ли кто-нибудь, когда-нибудь?

Условия задачи сильно изменились: уже не всё против, только не отдать взятого.

Стоп, может быть за ним установили слежку? Проверил — нет, передвигается ненаблюдаемый.

Вот идиоты! Вот олухи!

О, счастье! Ещё когда тот выстрел, ещё когда то обречение, а сегодня — победа, свобода, киевское лето к зрелым каштанам. Впереди — свободная ещё неделя.

Да и вообще он — свободен! Кому он обязался? кому подписался? Допустим, Николай Яковлевич передумал, не приедет. И все последствия — денежный пакет от Кулябки.

Но — и одиночество.

Но — и обдумывание.

И — всё напряжённее.

27 августа.

А зато: как сразу и навсегда очиститься — от всех подозрений, обвинений! Убил — и чист навсегда.

28-е.

В колоде бывает 52 карты, 36, и меньше. Здесь — составных элементов ещё даже меньше, но они неуловимые. Только Кулябко отлился в толстого простофилю, бубнового короля, а вот Николай Яковлевич никак не представится во плоти, не хватает воображения.

А в Кременчуг — погнали целый отряд филёров. Хорошо, меньше будут толкаться в Киеве. Кременчуг и моторная лодка — очень удались, ветер достоверности.

Элементы — простые, но не строго очерченные, оттого комбинации их множатся, перетекают,— и на какую же опереться дальше?

Главная наживка — держать их в напряженьи, в расчёте перехватить террористов живьём, получить служебный эффект. Держать — до последнего момента и даже через последний момент, всё никак не завершая.

И поэтому — ни в чём не торопиться, оттягивать, не видеться часто.

Ещё для того не видеться, чтоб не навязали ту полицейскую квартиру.

В душной заперти Богров сидел, сворачивался, лежал, ходил, сидел, раскачивался — обдумывал. Те несколько нужных капель для рокового мига должны были накопиться, насочиться — в мозгу? в зобу? в зубу?

29-е. Три дня созревания замысла в завихре мыслей, отточки каждой детали, всех вариантных возможностей — раздробленных, рассыпанных, неожиданно могущих вспыхнуть. И такая тревога, что в нужный момент может отказать сообразительность? или внимание? или память? или смелость?

Но самое удивительное — не беспокоилась, не спрашивала, не звонила охранка, будто мелочь такая, группа бомбистов при царском пребывании, не беспокоила её. Деликатно не спрашивали — но и за ним самим не следили! никуда не сопровождали! — только установили заметный пост против дома, на случай прихода такого отметного Николая Яковлевича.

И по расчётам Богрова это и было самое выгодное: оставить охранке как можно меньше времени для обдумывания мер.

Безумно трудно было — удержаться все эти дни, не сделать лишнего, не сорваться с достигнутого. Часы одиночества тянулись невыносимо, варианты казались упускаемы. (Но в записях филёров не отмечено, что Богров выходил в эти часы.)

А совершенно точно: он в эти дни обедал с тёткой, принимал неизбежные посещения друзей — Фельдзера-старшего, Фельдзера-младшего, в какие-то часы ходил и к Гольденвейзеру в контору. 29-го написал отцу за границу очень деловое письмо: что плохо сделан ремонт пола, и — о страховке. А в 11 вечера ещё один друг — Скловский, зашёл к нему со своей барышней, они втроём выпивали. Около часа ночи Богров вышел их проводить, на пустынных улицах снова и снова убеждаясь, что наблюденья за ним никакого нет, и, значит, Кулябко верит беззаветно. Особенный вкус и подъём: пьянеть с людьми, кто и отдалённо не представляет ни подвига твоего, ни успеха,— это всё остаётся твоим нераздельным счастьем и роком, а ты весело болтаешь о пустяках. А вот на углу Владимирской — твоя бывшая гимназия, питалище твоих юных надежд,— какой бывший ученик, и в седине, и в пустынную ночь пройдет без шевеления сердца мимо своего вечного здания, где и он, вперебой со сверстниками, мечтал о великой прославленной жизни? Как раз в эти самые дни их гимназия ждала своего столетнего юбилея — на рубеже сентября, в разгар торжеств и царского посещения. Она не знала, какой юбилейный салют её ждал.

Так — Богров выдержал, и только 31 августа, и то не с утра, а в час дня, он поднял свою домашнюю телефонную трубку и попросил у телефонной станции соединить с номером Охранного отделения.

Ещё недостаток телефона: разговор может слышать случайная телефонная барышня. Правда, такого умного, кто мог бы понять и проверить, там не бывает.

В Охранном трубку взял дежурный Сабаев, письмоводитель, хороший знакомец,— он в доме Богровых бывает запросто, часто, чуть не ежедневно, правда не у самих хозяев, а посещает кухарку их. Подполковника Кулябки? Нету.

Опять — потеря на косвенную передачу, ослабление эффекта, новый риск.

— Тогда, пожалуйста, передайте подполковнику: Николай Яковлевич приехал, имеет при себе, что надо, остановился тут, у меня. И мне — нужен билет сегодня в Купеческий сад.

Несколько часов изводящего ожидания. Кулябко — не отвечает.

Вот когда остро пожалел, что переиграл, не взял билетов.

Уже не верит?.. Раскрыл?.. Провал?..

Переигрыш. Передержался.

Перемудрил — давали билет!

Последние часы перед началом гулянья — а телефон молчит.

Кто б ещё оценил, кто оценит когда-нибудь силу и смелость этого построения: навлечь наблюденье и слежку на собственный дом — перед тем, как идёшь на акт? И ещё при этом уничтожительном совпадении: горничной нельзя приказать не открывать Сабаеву; Сабаеву же ничего не стоит самому прийти и проверить у кухарки, что в доме никто новый не появлялся.

Или иначе: вот уже сейчас оценили дом и кинутся *брать* Николая Яковлевича, не дожидаясь остальных? Неудачно сказал: имеет при себе, что надо. Значит — возьмут с бомбой, чего им ещё?

Выходил, снова выходил на балкон. Опытным взглядом просматривал Бибиковский бульвар. Нет, не оцепляют. В скуке дежурит один филёр.

Нет, не бросятся брать. Ну, возьмут одиночку с оружием, а где доказательства, что он покушался на государственных особ? Где эффектность? Схватить заранее — ничего не доказать.

Но почему ж тогда нет звонка? Известись.

То неудачно, что не попал на Кулябку, не получил ответа, не подбодрился его хлюпающим голосом.

А, вот он!! Да! — по телефону возбуждение и хлюпающая радость Кулябки: приехал??

Для правдоподобия — приглушенный осторожный голос (ведь кто-то в соседней комнате сидит). Для правдоподобия — такую сверхтайну, не очень охотно по телефону, но и нельзя же совсем ничего: у меня — один, будут *и другие*. Принять активное участие я отказался, но кое-что мне поручено и *буду проверен*,— и для того, во избежание провала, мне надо быть сегодня в Купеческом саду.

Не поверит! — как грубо сшито...

Коченеет, онемела вся долгота тела, вот — свалится со всей высоты. Упадать гораздо больнее, лучше б не начинать и всползать.

А Кулябко — и не задумался даже. Кулябко и не переспросил: а зачем же собственно билет?.. В Купеческий сад, куда не попасть и лучшим семьям Киева,— хорошо, присылайте посыльного!

Опять удача! Черезсильно извивнулся удлиненным телом, спиралью,— и ещё поднялся!

Но не успел положить трубку — звонок опять. Знакомый, Певзнер. Очень просит его простить, две минуты назад он звонил Богрову и по вине телефонной барышни его соединили до окончания предыдущего разговора...

Оледенел!

...Очень просит простить, но слышал, с какою лёгкостью Богрову пообещали билет в Купеческий сад. Очень бы занятно там побывать. Не может ли Богров устроить билет и ему?..

Барышня — идиотка! и совпадение — невероятное, на двести телефонных звонков не бывает!..

Оборвал, ответил зло, вообще не разговаривал, язык отказал, только: «Надеюсь, это будет в секрете?»

Когтит по груди, расцарапывает: с какого места слышал? Может — всё??.

Почему все оступки, оскользы и срывы не постигают нас в плавной жизни, а только — на самом крутом опасном месте?

Почему: то растягивается время и дремлет, то — сжимается режущею петлёй?

Вихри мыслей — расчётов — опасностей — отклонений — посыльной уже заказан и пошагал, а:

может быть, это последний час твоей жизни?

И:

«Дорогие, милые папа и мама!.. (Через папу и маму, их чувствами, всего-то жальче и себя.) ...Вас страшно огорчит удар, который я вам наношу... Но я иначе не могу. Вы сами знаете, что вот два года, как я пробую отказаться от старого... (Обломанная лапка у «ж», а задняя лапка «я» — как в землю морковкин корень.) ...Но если бы даже я и сделал хорошую карьеру — я всё равно кончил бы тем же, чем сейчас кончаю...»

И это письмо — опять к знакомому.

(Не следят!..)

И — посыльной принёс заветный билет. И с браунингом в кармане, празднично проталкиваясь по бешено иллюминированным улицам, мимо огненных абрисов зданий и гор огня, у входа в Купеческий — мимо открытого вчера памятника Александру II — что-то итальянско-бронзовое, а внизу обсажен лубочными народными фигурами, «Царю-Освободителю — благодарный Юго-Западный край»,— через контроль полицейский — по счастливому билету — в недоступный сад.

(Не следят!..)

И — по толчее сада, иллюминованного ещё безумней. Многоцветные фонтаны из ваз. Снопы светящихся колосьев. Букеты, рассыпающиеся в звёздочки. Слева издали через густоту деревьев — как висящий в воздухе крест святого Владимира в лампочках. У открытой ложи царя — симфонический оркестр. Крестьянский хор. Хор русских и малороссийских песен.

Мимо оркестров, мимо эстрад и хоров... Как разбирают эти скрипки! А может быть отдаться музыке, иллюминации, ласкающей тёплой южной ночи — да и бросить всё?.. Ведь никому не обещано, никто не ждёт, никто не упрекнёт.

Сколько раз бесчувственным осязанием, бесчувственным ртом принимал эту жизнь, сколько раз внушал себе, что твоя жизнь — не стоит, чтоб её тянуть,— а вдруг стало позывно жаль: ведь только двадцать четыре года! Можно прожить ещё полвека! Можно узнать, что будет в 1960 году!.. Твоя жизнь — ещё вся при тебе, вся надеется и ждёт, вся плывёт в этой музыке. И ещё где-то есть женщины, которые могут тебя когда-нибудь полюбить? (И ещё где-то крадутся с револьверами бесстрашные, которых ты можешь выручить на суде блистательной речью и отойти под аплодисменты?) Но собственный единственный нажим на спусковую дужку — и вместе с грохотом выстрела обрушивается навсегда весь мир...

И — любишь себя. И — презренье к себе.

Жаль не приготовил моторной лодки.

На площадках, залитых электричеством. И под тёмными зеленями аллей... И даже — в первых рядах публики близ царского шатра...

Шатёр устроен над днепровским обрывом, смотреть фейерверки. Сам шатёр — из гранатовой материи с золотыми орлами и увенчан шапкой Мономаха в белых и голубых огнях. А с кручи вниз — светятся и сооружения набережной, одна пристань белая, другая зелёная, и громадная мельница Бродского, и на Трухановом острове горят царские вензеля, а по Днепру медленно плывёт ладья из огоньков в форме лебедя, огни отражаются в воде. И самой тусклой деталью — через Днепр на небе луна. При взрывах ракетных гроздьев оба берега Днепра с многотысячными толпами видны как днём — и оттуда возносятся оркестровые гимны.

Но у шатра — не видел царя. А близ эстрады с малороссийским хором — вдруг оказался, притиснулся — в двух шагах от него — не в трёх, а в двух! Чуть сзади, вполузатылок, гладко подстриженный тёмный затылок под военной фуражкой,— и между головами приближённых — открытый прострел! И в кармане — браунинг с досланным первым патроном. В кармане наощупь передвинуть предохранитель — вынуть — и бей!

И — взорвать их сверкающий праздник весь!

Богров задрожал от сладости. Сколько раз он отвергал эту мысль — убивать царя,— но чтобы так доступно! но чтобы так!!!

Даже голова закружилась от своего могущества. Слабый нажим указательным пальцем — и нет ещё одного русского царя! И даже — целой династии может быть, всех Романовых — снять одним указательным пальцем!!! Событие мировой истории!

Но — с усилием охолодил себя: этот царь — только названье, а не достойная мишень. Он — объект общественных насмешек, он — лучшее ничтожество, какого только можно пожелать этой стране. Никакой удачный выстрел и никакой наследник потом не сделали бы эту страну слабей, чем делает этот царь. И вот уже 10 лет — убивали министров, генералов, а этого царя не трогал никто. Понимали.

Зато, напротив, расправа за смерть его, за рану, становится в противоречие с целью. Именно в Киеве это будет что-нибудь особенное. Убрали бы царя где-нибудь, только не в Киеве,— так-сяк. Но если в Киеве и — он, Богров,— это будет страшный еврейский погром, поднимется тёмный безумный народ. Живое, родственно ощущаемое еврейство Киева! Последнее, что б хотел задержать на земле Богров: чтобы Киев не стал местом массового избиения евреев, ни в этом сентябре, и ни в каком другом!

Трёхтысячелетний тонкий уверенный зов.

И он погасил свою охотничью дрожь. И дал себя оттеснить. И пошёл дальше.

Зато уже — Столыпина он твёрдо решил убить сегодня! Премьера Столыпина — ничто не могло в этот вечер спасти, ничья рука, ничья преграда, ничья защита! И чернь — его не знает, и никто за него не поднимется.

А просто — не встретил. Не увидел. Может быть — и по близорукости.

Даже — показалось, видел издали, неотчётливо. Но нагонял, проталкивался,— упустил.

А может быть, всё-таки, искал — не так уж упорно?

И — любишь себя. И — презренье к себе.

Не встретил, не нашёл.

А вечер — кончился.

Упущено.

И, едва выйдя из сада, среди разъезда экипажей в устье Крещатика, перегороженного у Михайловской улицы жандармами и казаками, чтоб любопытные толпы не хлынули сюда смотреть,— уже очнулся от этой размягчённости и был тоскливо безвыходно сжат — внутри.

Стояли сиволобые, охраняли, а он! — уже проточился в самое сердце, смертельный укол неся при себе, и? — рассеялся... не нашёл...

От себя не уйдёшь. Ещё не доехал извозчик до Бибиковского — уже знал Богров: надо добывать следующий билет.

Завтра? А пока поспать...
Нет, уже никогда не спать.
Но — Кулябко?! Все эти дни — ни вопроса, ни беспокойства: приехали террористы, нет? и — что было в Купеческом? и — зачем так нужно было туда пойти? Николай Яковлевич *имеет при себе всё, что нужно*,— и никакого беспокойства! Блаженная толстокожесть! — такой не ожидал Богров, даже зная охранников.
Как их назначают? Как их отбирают? Как они продвигаются по служебной лестнице? Всё — по знакомству и угодству.
А может, наоборот: всё разгадали?.. А может — сейчас придут с арестом?.. Следили в саду?
Возможно! Возможней всего! Похолодел.
Полночь. Час ночи. Движение к раздеванию? Нет, и думать нечего спать.
С каждым часом бездействия он — терял.
Как он мог так расслабиться в Купеческом, как он мог упустить? Меньше бы слушал скрипки, быстрей бы ходил-искал.
Завтра утром опять не застать Кулябки. Завтра днём своё непрерывное движение торжеств, и можно театр упустить.
Добывать билет — сейчас же, сейчас же, не рискуя откладыванием.
Со своей мистификацией — уже сам сживаешься. Двоение реальности. «Николай Яковлевич» сидит вон в той комнате. Что он подумает, услышав ночной уход своего сомнительного хозяина? Как объяснить ему? И как разгадать его завтрашние планы? А что передать Кулябке? Поверит ли Кулябко? Поверит ли Николай Яковлевич? Только бы не отказала острота, мгновенность доводов.
Отрепетировать их. Вот, изложить чётко на бумаге. Да по ночному времени к Кулябке без записки и не попасть.
...Николай Яковлевич ночует у меня. У него в багаже два браунинга... (Как можно ближе к истине — не поскользнёшься. Чем ближе — тем верней играется роль, тем меньше морщин на лбу.) ...Ещё приехала «Нина Александровна». (Когда-то встречалось в жизни такое сочетание, обаятельная, молодая...) ...Я её не видел. У неё — бомба. (Без этой бомбы — ничего нового, охранку не сдвинешь и не проймешь.) ...Остановилась на другой квартире... (Это вот для чего, прекрасное построение: если здесь у меня — не все террористы, то на квартиру нагрянуть нельзя, испугаешь остальных. Но и — надежду надо им дать. Но и — ограничить во времени.) ...Завтра днём она придёт ко мне на квартиру от двенадцати до часу. (А вниз посмотреть — закружится голова: уже какая высота!) Подтверждается впечатление, что покушение готовится на Столыпина и Кассо.
Всё им открыто! всё от начала до конца! сам на себя доносчик перед исполнением! — невиданно! Лазарев — распутает ли когда-нибудь? оценит?
...Николай Яковлевич считает успешный исход их дела несомненным. (Надо, чтобы Кулябку тряхнуть. Перетревожить их нельзя, но оставить сонными тем более...) Опять намекал на таинственных высокопоставленных покровителей. (Утомлённая голова уже не придумывает новых мотивов.) ...Я обещал в о в с ё м полное содействие. Жду инструкций...
В этой язвительной наглости обнажения всего, как будет,— есть что-то завораживающее, Кулябко и должен онеметь, он должен — душевно смириться, подчиниться.
И всё-таки: невозможно понять, почему они так равнодушны?..
Бомбой — взорвёт он беспечность Кулябки! Именами министров — успокоит. *Высокопоставленными покровителями* — окостенит. Этими *покровителями* он прокусит сердце Кулябки. Если и покровители так хотят — то зачем Кулябке стараться больше всех?
В два часа ночи к городовому у подъезда Охранного отделения подошёл хорошо одетый господин и потребовал доложить начальнику. Дежурный в отделении — всё тот же Сабаев, он ещё не сменился (а сменясь — не отправится ли к нашей кухарке, как раз когда бы ей готовить завтрак Николаю Яковлевичу.) Пригласил в приёмную. Стал звонить на квартиру, разбуживать подполковника. (Богров теребил их как проситель, будто это ему, а не премьер-министру грозило покушение...) Кулябке, конечно, страх не хотелось ночь разбивать: ну, какие там ещё спешности? ну хорошо, пусть изложит письменно... Да записка уже готова, вот она... Ну, тогда отошлите её Демидюку, пусть разбирается... Нет, он настаивает — только вам лично.

Понесли записку. Течёт ночь, перемесь бессонницы и провалы сна. Сидит Богров у Сабаева. Клюёт носом Сабаев. А Кулябко на эти четверть часа ещё, наверно, улёгся спать. Но, встряхнутый бомбою Нины Александровны,— поедет в отделение? Нет, конечно: звонит и велит — привести Богрова к себе на квартиру.
Второе свидание, и опять на квартире, вот пошло́!
А это и есть — то, что нужно! Человек, сжигаемый замыслом, несравненно сильней человека, хотящего только покоя. Человек, не ложившийся спать, всегда превосходит человека, вырванного из постели. Вслед за рассчитанной своей запиской хладнокровный Богров вступает и сам гипнотизировать расслабленного Кулябку.
А Кулябко и ещё последние эти четверть часа, после второго телефонного разговора, додрёмывал. И, с простотой российской,— вышел к нему перевалкою селезня, так и не дав себе труда одеться, ведь сейчас опять в постель,— в бордовом халате, зевая густо:
— Что вас так беспокоит, голубчик? — с сожалением к себе, к нему, к таким несчастным...
А ведь и не стар, сорока ему нету. А толст.
Человек в халате, едва сведённом, и вовсе ничто перед человеком в костюме.
В этой драпировке сейчас — должно решиться.
А Богрову и нужен-то всего только: один театральный билет на сегодня. Вон там они лежат, стопочкой, в кабинете.
Но говорить открыто — ещё и сейчас неосторожно. (Самого себя изломало это откладывание. Всё тело болит.)
Кулябко встретил его с полусонной теплотой, не очень взорванный бомбой, не очень окостеневший от покровителей,— и другу своему подполковнику дружески растолковывает Богров те подробности, которых днём не мог по телефону: террористы поручили ему установить приметы Столыпина и Кассо. (Они — во всех иллюстрированных журналах, но сонному этого не сообразить.) Для этого и пришлось идти в Купеческий сад, не пойти — никак было нельзя: террористы, очевидно, следили за ним, как он выполнит.
Шест как будто прочный, вкопан, но наверху, уже близко к куполу,— как раскачивается! вот сбросит! И неизвестно чем держась, становишься беспомощен, самые нелепые движения: *где* следили террористы? в саду? так сами бы и собрали приметы, хоть прямо бы и грохнули... И если так не доверяют — пойдёт ли в сад, то — как доверяют все тайны, все планы, самих себя?..
Надо бы крепче всё увязать, но уже не хватает усталого ума.
Но тем более — у сонного Кулябки. В лице Кулябки глупость — даже не личная, а типовая, если не расовая. Почёсывается, укутывается плотней, ничего не заметил, всё правильно. Спа-а-а-ать!.. — он сам как тройная подушка.
И, ещё перемалывая, что было в записке, и развивая: Столыпина не видел, поручения о приметах выполнить не мог. А Николай Яковлевич настаивает... (Подготовка, что понадобится театральный билет... Но брать — нельзя. Дороже билета — доверие. Может дать и билет, но приставить трёх филёров.)
Но покушение — не на Государя??..
Нет-нет.
Кулябко всё более успокаивается. Кулябко не понимает, зачем его вообще разбудили.
Да! спохватился, вспомнил жалобу из Кременчуга: приметы Николая Яковлевича слишком общи, невозможно искать, уточните, голубчик!
Какой дурак! Зачем ему Кременчуг?..
Что ж, можно. (Немного врасплох.) Вот: роста выше среднего... довольно плотный... брюнет... небольшие усы (а как там было раньше?)... подстриженная бородка... рыжеватое английское пальто... котелок... тёмные перчатки.
Тёмные перчатки особенно убедительны для православного жандарма: ведь у террориста — когти, надо прятать.
Пошёл Кулябко спать, а Богров — пустыми улицами, освежаясь.

Ещё раз убедился: на ночь филёрский пост снимают, за домом не следят. Или — самовольно спать уходят.

Вился, вился — какое искусство! Не отказало внимание, не отказал смысл.

Но — утром? Но утром, когда Кулябко очнётся, — ведь он же должен докладывать? Как высоко? Самому Столыпину? По смыслу — нельзя не доложить.

Так не слишком ли углубился кинжал истины?

А могли — и раньше доложить? Должны были — и раньше. И — ничего? Не переиграл ли он со своей откровенностью?.. Но скажи одного Кассо — не дали бы и билета.

В этой игре с истиной — уже чудовищная несоразмерность: премьер-министру объявят, что на него готовится покушение! Так он — обережётся, он и в театр не пойдёт?

Не спрячется. Пойдёт. Никак же не меньше, чем эту кулябку, обдумывал, изучал Богров свою будущую жертву. На вызов лётчика-эсера ответил же он тем, что сел с ним на двухместный аэроплан! Характер Столыпина — не уклоняться от опасности. Так он и встретит свою верную смерть.

Приманка поставлена прекрасно: террористы сойдутся, но не раньше полудня. Значит, раньше их брать нельзя. Раньше нельзя приходить с арестом на богровскую квартиру. (Только б не догадались проверить через Сабаева!..)

Но и — билета нельзя просить раньше: ведь не знает же Богров, что решат и что прикажут ему террористы...

Сколько там ни спал — а с утра, взвинтясь кофе, был нервно весел. Счастливое чувство: обхитрил, победил, приблизился — и вот наступает момент, для которого ты жил всю жизнь.

Сколько там ни спал, а утренняя голова всегда сообразит больше. В ночном свидании ошибки не было, хорошо. Но и — решения нет.

Надо развить его. Допечатлеть ночное впечатленье.

И — перед полуднем, за час до критической встречи террористов, хозяин квартиры вышел пешком. (Филёры уже стоят, смотрят — но за ним не идут. Доверие сохраняется.)

Он вышел на Крещатик — и средь солнечного дня открыто пошёл в Европейскую гостиницу, где, он знал, Кулябко сейчас. Где, знал весь Киев, расположились на дни торжеств многие приезжие высокие власти, и пировали там. (Какая же смелость? — на просмотре у террористов, и не боится их? А вчера звонил прямо из дому в Охранное отделение, слал посыльного за билетом — терпеливые террористы всё сносят и не беспокоятся? Как это знобко видно при свете и жаре южного дня!..)

Кулябко принял его в комнате того статского советника, Веригина.

Оба. (Но не трое, и то хорошо.)

Безукоризненно следить за каждым выражением.

Но дело и не в выражении, а — во втягивающем ворожении.

Неважно, что сказать,— важно, как смотреть. Перемалывать всё то же. (*Эти* не изменились.) Изменение одно: дневное свидание у террористов не состоится. (А откуда они друг о друге так точно узнают? как они это всё сговаривают?..) Встречу перенесли — на Бибиковский бульвар, на углу Владимирской, в 8 вечера. (За час до спектакля.)

Отложено, но — *акт* не отменён?

Нет! — навстречу всем опасностям Богров. И честных глаз не сводя с обоих.

Всё-таки пронимает. С двух сторон: *где* же он может произойти?

Правду, правду и только правду! Скорее всего... *у* театра. (Чуть откачнулся при конце.)

Статскому советнику, промокательному пресс-папье, очень хочется показать свои полицейские способности: а как узнать террористов на многолюдной улице? И как узнать их намерение: акт состоится или опять отложен? (Если отложен, тогда повременить с арестом?)

Кулябко: если идут на акт — пусть Богров подаст знак курением папиросы.

(Всё расползается: ему — идти на бульвар? на пустую скамейку? А как же — в театр?.. Всё рассыпается, и доводами спаять невозможно.)

А только — привораживающим взглядом, чуть набок голову, такой милый юноша, ему хочется верить, как ему не поверить, ему надо верить...

Конечно, Богров всё готов исполнить, и папиросу. Но ему тягостно, что террористы затянут его в свой насильственный акт. Он как раз к этому часу хотел бы изолироваться, отойти от этой компании, да чтоб с ними и не арестовываться. Ему хотелось бы изолироваться от бомбистов.

Но — под каким предлогом?

Предлог как раз хороший: вчера в Купеческом саду не удалось собрать примет Столыпина. Николай Яковлевич — недоволен, и требует.

Так может для этой, якобы, цели — в роли разведчика для террористов, и пойти в театр?

(При режущем свете дня так ясно видна вся подмазка и как неестественно прилепился к столбу в том месте, где быть и не должен. Тут всё рассыпается: зачем же ему в театр, если встреча на бульваре, и акт — *у* театра? Как же он будет сигнализировать о намерениях, если изолируется? и — зачем им приметы так поздно? Но, сплавленное гипнотической волной, всё как-то удивительно держится.)

Даже вот как: а в театре Богров неправильным сигналом мог бы испортить их предприятие.

(И — держится!)

В праздничной суматохе (да они же опять спешат на завтрак с шампанским), перед очевидностью успеха и наград — держится!

— Но как вы объясните им, откуда вы достали билет?

— О-о! Через певицу Регину. А она — от своего покровителя из высшего света.

Ещё непонятно: так значит, Богров не укажет террористов на бульваре?

Ну, филёры легко могут следовать за Николаем Яковлевичем от дома Богрова. А в театре Богров пожалуй будет и понужнее.

Пожалуй...

Но как же террористы проникнут в театр?

(Всё смешалось.)

О-о, при *высокопоставленных покровителях...*

Завораживающе.

Кулябко и Веригин обсуждают ещё другие возможные варианты, в которые может быть поставлен террористами их сотрудник.

Без нажима, но чуть притерпевшись: причём, мне надо получить видное место в партере: они могут за мной наблюдать, проверять, там ли я.

Ведь Богров под жестоким контролем террористов, каждый его шаг просматривается...

Веригин: в первых рядах — никак нельзя, там — только генералы и высокопоставленные.

Кулябко: в партере, но — дальше. Билет — пришлю, если планы революционеров не изменятся ещё раз, а то они всё время меняются.

Уплыл билет? Может и нет. Настаивать нельзя. (Ослабло тело, распускаются мускулы, язык устал, глаза закрываются, сейчас — мешком по столбу вниз?..)

Домой — на извозчике: и по слабости, и как бы торопясь в стиснутое общество Николая Яковлевича, не заподозрил бы в отлучке.

В собственную стиснутость. Так хорошо плёл, переползал — и срывается? А завтра вся эта царская банда поедет по другим городам — и надо дальше переставлять как фишки — Николая Яковлевича, Нину Александровну, и придумывать ещё персонажи, сюжеты, приметы... Уже не брала голова. Срывался.

Устал... Сколько мы, превосходные, тратим энергии, искусства — и на что? Проклятье! Они превращают нас в сыщиков.

Часы, часы одинокие, в безвыходном остром тупике, в перекладывании предположений. Обед с тёткой. Ничто не лезет в горло. Сам не заметил: с тёткой распустился и обронил, что был вчера в Купеческом. Изумилась: да как же попал? Петербургские знакомые помогли.

Как же можно было вчера пропустить Купеческий? Ведь такие удачи не повторяются.

Ещё вот не подумал: швейцар! Просто придут к швейцару и проверят: проходил ли парадное хоть раз вот с такими приметами?

А приготовлены, развешаны горничной — фрак, белый жилет. Этот фрак готовился для публичного адвокатского выступления, так и не состоявшегося ни разу.

Часы напряжённейших нервов. Ах, скорей бы конец, и в нём — вся награда! Кончатся прятки, сойдёмся лицом к лицу — и посмотрим, кто побледнеет. Скорей бы кончать. Скорей бы стрелять. Заслонил Столыпин весь свет.

Вдруг в комнату — стук, чей-то чужой. Револьвер — на столе, упустил прикрыть, почему-то рванулся к двери.

Полицейский!!!

Сабаев.

Открыли?? Всё провалилось?! Уже все комнаты проверил, никакого Николая Яковлевича?? Уже топчется в прихожей полицейский наряд??

Сабаев вежливо: можно ли ему с их телефона позвонить к себе в Охранное отделение?

Нет! Нет! (Ловушка? Ещё усилить наряд?)

Удивился Сабаев.

Нет, понимаете, в моём положении я не могу этим злоупотреблять. Это может быть замечено.

Ничего. Обошлось. Значит, он — к кухарке. Значит, *там* у них всё хорошо.

Ещё, ещё расхаживать, ждать, томиться. Лечь — не лежится, встать — не ходится.

Будет билет?

Как-то всё-таки перетягиваются стрелки часов. Ближе, ближе к семи. Нет сил дождаться до ровного. Позвонил Кулябке. На этот раз — он.

Голосом приглушенным (чтоб Николай Яковлевич не слышал): планы не изменились, пришлите билет.

Хорошо. Демидюк принесёт швейцару сам, скажет — от Регины.

Голос Кулябки — обычный.

Но — двадцать минут, но — тридцать минут,— не несут!

Уже и фрак надет, стеснительно жаркий, в кармане брюк — браунинг. Ходить, привыкая. Браунинг — большой, крупнокалиберный, выпирает, надо будет чем-то прикрывать.

Не несут! И, с запасной запиской в кармане, объясняющей свой преждевременный выход и задержку террористов —

...Николай Яковлевич очень взволнован... из окна через бинокль он видит наблюдение, слишком откровенное... Я — не провален ещё...

— 8 часов! уже там, на бульваре, их смотрят! — Богров выходит на улицу сам.

На первый в жизни *акт*.

Уже стемнело. Филёры. Не прорваться Николаю Яковлевичу...

Вот и сам Демидюк. Чтоб не попасть под глаза террориста из своего окна — знак ему, дальше, дальше, и к Фундуклеевской.

И вот — билет в руке!!!

Самообладательно — ещё раз перегнуть его, и в карман фрака.

Судьба правительства. Судьба страны.

И судьба моего народа.

А по Фундуклеевской, по Владимирской, а на Театральной площади — почти сплошная толпа. Тысячи глупых людей хотят хоть глазом увидеть проезд своего глупого царя.

Автомобили и экипажи с разряженной знатью — подъезжают и подъезжают. Ещё час до спектакля, а театр полон.

(Но уже за 8 — а террористы не сошлись на бульваре. Опять отложили? — но как они всё перекладывают? По телефону? так его и подслушать можно, вот Певзнер, а если догадалась и полиция? А если отложили — то покушенья не будет? — и для чего ж идёт Богров? Да, собирать приметы и дать ложный сигнал — кому? какой? о чём? И помешать покушению — безоружный и без содействия?..)

Рядом с каждым билетёром — полицейский офицер. Как гордо иметь честный законный билет, выписанный на твоё собственное имя. А фрак, безукоризненные жесты и манеры тем более сливают тебя с этой знатью.

(А вдруг вот сейчас — обшарят, и легко найдут браунинг с восемью патронами?.. Страшный момент: сейчас-то и обыщут, это естественно!)

В вестибюле похаживает Кулябко. Всё-таки — ждёт известий. И — в мундире, при орденах, вот тут, при всех открыто, готов разговаривать со своим любимцем.

Ах, какой глупый селезень, даже жалко его иногда. После того как дал билет, появилось сочувственное к нему.

За колонной: да ведь я же здесь под перекрестным досмотром, нам очень опасно разговаривать на виду.

— Вы думаете, их агенты и в театре?

— О, ещё бы! У них связи...

По-думаешь, ещё бороться ли с ними. По-думаешь, ещё портить ли отношения.

А — свидание на бульваре? Отменено. Опять? Перенесли на частную квартиру, не известную мне. И Николай Яковлевич переедет туда, после 11 часов.

Бросило в жар Кулябку, вытирает пот из-под кительного воротника. Обкладывали, обкладывали добычу — и всё зря? Просочатся и уйдут? Вместе с наградами? Ускользнут?

— Так слушайте, идите и проверьте: дома ли ещё он?

(Ах, опять перебрал! Трудней всего — равновесие.)

— Так я только что вышел — он был дома.

— Нет, нет, вернитесь и проверьте, сейчас же!

— Так я же для него — в театре, как же я вернусь?

— Ну, скажите... перчатки забыл.

В поту заёжило жирного — и как могла промелькнуть к нему жалость? Одолеть всю недостижимую неправдоподобную высоту — зачем? чтобы теперь сползать назад? Билет в кармане — и как нет билета.

— Идите, идите, голубчик! — торопит, гонит Кулябко со всей своей страстной суетой.— Идите проверьте, вернётесь — доло́жите.

Сползая, сползая по оструганному, но хоть без занозы. Сползать — вряд ли легче, чем подниматься. И — как уже устали все мускулы кольца!..

Идти домой? Глупо, и не протолпишься, не успеешь вернуться к началу. Не домой? — филёры доложат потом, что не возвращался.

Но — потом. П о с л е.

Перешёл на ту сторону Владимирской. Потолкался минут пятнадцать около кафе Франсуа. А может — за ним уже теперь следят? И вот — уже всё провалилось? А в такой толпе не откроешь слежку.

Вернулся в театр, к другому контролю. Полицейский чиновник не пропустил: билет уже использован.

Но зорко видит и спешит на выручку Кулябко: этого — пропустите! этого — я знаю сам!

Ну, что? Дома, сидит ужинает. Но — заметил наблюдение за домом, грубо следят, очень встревожен. (Раньше бы это сказать! Забыл, а в кармане даже записка.)

Значит, Николай Яковлевич никуда не выйдет. Значит, Кулябке пора успокоиться.

И — ещё, ещё не начинается спектакль. Вся густая разряженная публика расхаживает по фойе, в буфетной, по коридорам — показываясь и разглядываясь. За десятки лет киевский оперный театр не видел такого собрания. Много и петербургских.

Это была — е г о публика! Она думает, что пришла на «Сказку о царе Салтане» да посмотреть на ожерелья царских дочерей,— а она увидит, чего не видела Россия, и ещё внукам будет рассказывать каждый: это при мне убивали Столыпина, вот как это было... Эта публика не видела, как взбираются под купол, под верхнюю площадку,— она увидит только последний фокус.

Он вот как придумал: выпирающий карман брюк прикрывать широкой театральной программкой, в полуспущенной руке.

Звонили звонки. Обдавая духами, шли дамы в цветных платьях. И — военные, военные, больше всего военных.

В генерал-губернаторской ложе, слева над оркестром, возвышался царь с парой дочерей. Царицы не было видно.

И Столыпина среди крупных чинов у подножья — сзади издали опять не разобрать. Но он должен быть там: театр тем и отличается от гулянья в саду, что здесь места — по чинам.

Гасли лампы. Увертюра. Раздвигался занавес. Глупые девки в идиотской деревенской избе, разряженные как можно по-русски, что-то вздорили, а вздорный царь подслушивал их и выбирал невесту.

Он вот что ещё придумывал: почему считать себя обречённым? почему после выстрела не бежать? Все, конечно, растеряются, можно выскочить из театра, схватить извозчика?..

Надо быть уверенным, что за ним не следят. Не похоже на Кулябку, а всё-таки. А если следят — тогда ничего не сделаешь, тогда успеют руку перехватить в последний момент.

Значит, в первом антракте нельзя пробовать. Первый антракт — на проверку слежки: быстро уходить в уборную одному, быстро переходить по лестницам. Хорошо, значит можно отложить акт — на один антракт.

Или — вообще отложить?..

Ведь в этом гореньи, в этих расчётах меньше всего думал: а в о о б щ е - т о — насколько неизбежно? именно е м у?

Но — слишком много удачно сошлось. Как бросить бы три кости сразу — и на всех трёх по шестёрке!

И кто ж бы другой это сумел?

Антракт. Начал быстро ходить, проверять.

Нет, не следят.

Наёмным биноклем с разных мест рассматривать: где же Столыпин? И — сколько лиц и как охраняют его?

Там впереди, впереди... У подножья царской ложи никакого явного караула не было. И не угадывалась рассадка специальных людей. Там, впереди...

Да, Столыпин в белом сюртуке сидел в первом же ряду под царской ложей, и почти у прохода.

Без всякой видимой охраны. Так, собеседники.

А не время ли — вот и идти на него?

И — горячий удар внутри.

Нет, ещё какая-то неготовность, какая-то ещё разведка. Да ведь антракта — три, и ещё потом разъезд.

Небывалый партер: эполеты, эполеты, звёзды министров, звёзды и ленты придворных, бриллианты дам.

Как объявлено: *народный спектакль.*

Он — вот что вдруг заметил и вспотел: мужчины почти все в мундирах, военных или чиновных, а кто в гражданском — то не во фраках, а в светлом летнем, такая жара.

И только почти он один ходил между всех чёрным пятном. Заметный...

Просчёт.

И — опять Кулябко: неприлично близко подошёл, поманил в закоулок — и ни о чём же новом, просто так, разговаривать о Николае Яковлевиче.

Отделался от Кулябки только началом второго акта.

И теперь уже, из 18-го ряда в первый, уверенно видя в бинокль затылок Столыпина — только его, не спектакль,— просидел весь акт неподвижно, скорчась.

И такую ненависть в себе ощущал, что мог бы его глазами заколоть через бинокль. Антракт.

Публика почти вся выгуливала из зала, немногие оставались.

И опять же — Кулябко. Кивал — отойти в закоулок.

За все дни он так не кипятился, как сейчас: прошло полтора часа — и где же там Николай Яковлевич, не ускользнул ли мимо филёров? В театре — вам нечего больше важного делать, незачем дольше оставаться. А ступайте домой и следите за Николаем Яковлевичем.

Зануда, не взял слежкой — дожуёт хлопотнёй, до третьего антракта не даст дожить. Не согласиться — не отстанет. А сейчас уйти — кончено всё.

Быстро, сразу, не возбуждая подозрений: ухожу.

И — уходить.

Понимая — что никогда уже не удастся больше. И даже — обман обнаружится через несколько часов.

Это был — последний момент!

В коридоре скрылся от Кулябки — и повернул!

И повернул! — и пошёл в зал, рискуя же снова встретиться с Кулябкой. (Ну, забыл бинокль, перчатки...)

Не было Кулябки.

Но могло — Столыпина не быть на месте, в единственный этот момент.

Б ы л!!!

И стоял так открыто, так не прячась, так развернувшись грудью, весь ярко-белый, в летнем сюртуке — как нарочно поставленный мишенью. В самом конце левого прохода, облокотясь спиной о барьер оркестра, разговаривая с кем-то.

Почти никто не попадался в проходе, и зал был пуст на четыре пятых.

Не вспомнил, даже не покосился — что́ там в царской ложе, есть ли кто.

Шагом денди, не теряя естественности, всё так же прикрывая программкой оттопыренный карман — он шёл — и шёл! — и шел!! — всё ближе!!!

Потому что по близорукости был освобождён от стрельбы.

Никто не преграждал ему пути к премьер-министру. Сразу видно было, что ни вблизи, ни дальше никто защитный не стоял, не сидел, не дежурил. Сколько было военных в театре — ни один его не охранил. Охватил, а понимать уже некогда: он прямо и не раз им объявил: покушение будет — на Столыпина! И весь город, и весь театр был оцеплен, перецеплен,— а именно около Столыпина — ни человека!

И никто не гнался за Богровым, никто не хватал его за плечо, за локоть.

Сейчас вы услышите нас — и запомните навсегда!

Шага за четыре до белой груди с крупной звездой — он обронил, бросил программку, вытянул браунинг свободным даром —

ещё шагнул —

и почти уже в упор, увидев в Столыпине движение броситься навстречу,— выстрелил! дважды!! в корпус.

Продолжение следует

Владимир Британишский

ЛЕНИНГРАД

Ученый хранитель своих драгоценных
полотен,
не тем ли ты был благороден,
что был старомоден?

Как старый античник, что нам
толковал «Одиссею»,
И все тосковал, и уплыл безвозвратно
за нею.

Как благостный книжник, замерзший
в блокадную зиму,
в спокойствии строгом принявший
последнюю схиму.

Как тот эрмитажник, что яростно аедал
искусство:
всего не изведал, а время его истекло.

Оно утекает сквозь ветхие старые вещи,
сквозь ветхое сердце, сквозь ветхие
стенки сосудов.

Но лица под старость рисуются ярче
и резче,
носы обостренные в потусторонность
просунув.

Так, значит, старею, что так тебя вдруг
понимаю?
Так вдруг понимаю, как будто уже
умираю.
Как старый Гораций, уже
превратившийся в птицу,
впервые парю, чтоб впервые узреть
панораму.

Я вижу твои острова и протоки,
протоки.
А кровь из меня вытекает в открытое
море.
И лишь остается безумное слово
«потомки»,
безумная вера, что мы возвращаемся
вскоре.

КОМПОЗИТОР

По переулку — зá угол. Чуть-чуть
пройти, шагов пятнадцать. И нырнуть
под сумрачную арку. Дверь в стене.
За дверью, как уже известно мне,
есть лестница, диагональ крутая,
высокие ступени, вверх и вбок.
Подходишь к двери и нажмешь звонок.
И сразу будничная, бытовая
жизнь остается сзади, за углом,
как бани, обувная мастерская,
пивная...
Всё исчезло. Я в другом,
соседнем, но совсем отдельном мире.
На доме номер есть и на квартире,
но только для отвода глаз. А вход —
из этого континуума — в тот.

Там обитает композитор. Там
не слышен здешний наш трамтарарам.
Там музыка собой заполонила
всю комнату. Там он за пианино
сидит весь день, свои полотна ткет
из тонких нитей непонятных нот.
Он сочиняет музыку. Она,
пространство комнаты перенасытя,
смещает, совмещает времена
и отменяет даты и событья.
Но, отзвучав, становится лишь сном.

Очнусь в постылом пятьдесят втором.
Напротив — князь Одоевского дом,
фаустианца и гофманианца.
Фонтанка чуть мерцает, а кругом
так зябко, неуютно и ненастно,
как только в Ленинграде в ноябре
бывает...
Время! Смилуйся же, дай нам
просвет, хоть краткий, в беспросветной
тьме!

И время даст просвет. Ему и мне.
Его концерт. Я — слушателем, Вайман —
солистом будет. А потом в Москве
еще одну-две вещи с опозданьем
на тридцать лет, но все-таки дадут.

Еще лет десять бы — глядишь... Но тут
он умер.

* * *

Поезд шел в Симферополь, на летнюю практику, в Крым.
В Запорожье кормили горячим борщом на перроне.
Тут-то я и услышал про Берию и приоткрыл
часть чуть-чуть приоткрывшихся истин ребятам в вагоне.

Самый старший из них, белорус
(он мальцом партизанил в войну),
закричал, даже драться полез, но ребята его оттащили,
а когда подтвердилось известие, стало ему —
нет, не стыдно, а трудно, он плакал в гнетущем бессилье.
Сногсшибательной новость была — вот и сшибла его
с ног, он навзничь свалился, а был он могучий и рослый,
был он старостой в группе, любили его, большинство,
справедливый был, честный... за что же?.. за что же боролся?..
Обливаясь слезами, лежал он, уткнувшись лицом
в самый угол купе, и не знали мы, как подступиться.
Лишь под утро уснул он и спал до конца.
А потом
Симферополь нас обнял, удушливый, будто теплица.

Было солнце, и рыбки в бассейне, гигантский платан...
Человек, прозревая, стоял и не видел. Он думал.
Он в войну в белорусских болотах и в чащах плутал,
а потом — в той чудовищной лжи, что пойдет —
но не сразу — на убыль.
Человек раздирал себе с кровью слепые доселе глаза,
и не солнечный Крым — только красный в них был полусумрак.
И не мог тут помочь никакой ему умник-разумник.
Только сам. Свет от тьмы отделить.
И добро отграничить от зла.

1988

Владимир Львович Британишский (р. 1933 г.) — поэт, прозаик, переводчик. Публикуется с 1946 года. Первая книга стихов — «Поиски» — увидела свет в 1958 году. За ней последовали другие, в том числе и проза. Живет в Москве.

ПОРТРЕТ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Душа глядела и глядела бы,
вживаясь долго и глубинно
в иконный лик Андрея Белого
на фоне голубого мира.

На голубом — светло-коричневый,
он — будто золото в лазури,
величественно-вулканический,
как Карадаг или Везувий.

Художницей в нем облюбованы
лба-купола великолепье
и голубые (цвета голубя)
глаза, их белое каленье.
И завитки волос серебряных,
огнем объявших череп голый.
И облик весь, что современников
пугал чертами полубога:
вот-вот в безудержке, в безумности
взлетит и воспарит в эфире!

(Таким отец мой видел в юности
его на лекциях в Вольфиле.)

Анна Петровна Остроумова
своей изящной, точной кистью
так ярко здесь, так ясно думала,
что только следовать за мыслью.

На фоне голубого — в розовом
плаще, нет, в розовом хитоне,
первожрецом, первофилософом
античным предстает на фоне
первоначал: воды и воздуха.
Поэт предзнанья и прозренья
повизи (Вселенная не познана
еще!). Мудрец. И в то же время —
младенческое выражение
лица. Открыт и чист, как дети...

В столетие со дня рождения
он начинает жить на свете.

Владимир Корнилов

Демобилизация

Роман

5. ДОЗНАНИЕ

Завязав на подбородке ушанку и прикрыв очками глаза (чтоб не попадали искры от паровоза и можно было прочесть названия остановок), Курчев курил в тамбуре головного вагона.

Стекло в двери было выбито, в тамбур задувало холодом, но все-таки тут было веселее, чем в грязном, душном, хоть и пустом вагоне.

Поезд шел медленно, и вообще неясно было, для кого его пустили. Третий час ночи — время позднее даже для пьяниц, тем более посреди недели.

Курчев прикуривал сигарету от сигареты, не чувствуя, что зарабатывает на сквозняке недюжинную простуду.

Поезд припустил, колеса на стыках ударяли в железный пол, и это взбадривало. Вагон весело раскачивался, Курчев все чаще высовывался в разбитое окно — боялся пропустить свою остановку. Вокруг было бело от снега и черно от деревьев.

Теперь, вдали от столицы, следовало думать о завтрашних разговорах с Ращупкиным и особистом, но мешал и манил Докучаев переулок.

Забирает? Не тебя одного,— усмехнулся Борис.

Соскочив с поезда, он обошел завалы угля, поднялся на бугор, увидел узкую асфальтированную дорогу, доверчиво пошел по ней и шагов через двести наткнулся на первый километровый столб. По асфальту идти было веселей, он вел до магистрали, потом по магистрали, потом снова от магистрали до «овощехранилища», а оттуда оставалось лишь два километра бетонки, балка, лаз и полтора часа сна на собственной койке. И Курчев бесстрашно воротился к московским впечатлениям.

Новая знакомая его поразила. Может быть, где-нибудь в метро или в троллейбусе он бы ее не заметил. Лицо у нее было неброское, но из тех, на которые чем дольше глядишь, тем сильней притягивают, а Курчев целый час глядел на него в вокзальном ресторане.

На магистрали кое-где горели фонари. Редкие грузовики на бешеной ночной скорости пролетали мимо, и Борис раздумал голосовать. Он уже приноровился к дороге, а мысли об Инге согревали продутое в тамбуре тело.

И чего она пошла со мной в ресторан? — размышлял он.— Погубит тебя анализ. А чего бы не пойти? Тем более, на душе после Марьяны невесело. Что у нее с Алешкой? Хрена два разберешь,— соврал он себе.— Только не вздумай околачиваться возле ее дома. Не то жалеть будет. А что хуже жалости?

Он вспомнил худого мужчину, спускавшегося с горба проулка. Намерзся, бедняга.

Борис и сам стал замерзать и обрадовался, когда дошел до отводного шоссе. По бокам шоссе росли высокие ели; ветер дул здесь не так сильно. Оставалось чуть больше половины пути.

Наверно, какой-нибудь хмурик из редакции,— подумал он о караульщике.— Что-то уж больно много нас: муж, Алешка, я... А ты-то при чем? — перебил себя.— Ты вообще с боку припека. Консультант по Теккерею...

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 7.

Со временем полупустой чемодан стал оттягивать руку. Пальцы в старых перчатках отчаянно зябли.

Сколько может быть мужчин у порядочной женщины одновременно? — перебил себя.— Живем, как при империализме: все лучшие женщины, как колонии, давно под чьим-нибудь мандатом. Разве что отвоюешь. А вдруг она ничья? Что значит — ничья? Самостоятельная? Впрочем, сейчас много самостоятельных. Равноправие.

Наверно, те, кто замужем, мечтают о воле, а те, кто сами по себе, замуж хотят. Но она молодая, года двадцать три, от силы четыре... Если замужем побывала, сразу по-новой не захочет. Может, с Алешкой у нее несерьезно. Радость великая с таким обормотом крутить? Хотя Марьянка в него двумя руками вцепилась. Ни черта ты в этом не смыслишь. Лучше напиши новый реферат. О браке, например. Но это уже лирика.

На восьми километрах стояли две деревни. Первую Курчев прошел, даже не заметив ее. Ни в одной избе не видно было света.

Хорошо бы у шлагбаума часовой кемарил.— Мысли его переключились на армейские передряги.— Впрочем, черт с ними — к разводу поспею...

Теперь он еле передвигал ноги. Невдалеке чернела вторая деревня. Времени было без семи пять, свет здесь тоже не горел.

А для чего вообще женятся? — вернулся он, словно голодный к уже обглоданной кости.— Причем некоторые сами. А других силком ведут в загс. Интересно, почему Лешка женился...

Он чувствовал, что Алешка расписался без особой радости, хотя ни о каких детях речь не шла. Впрочем, во время Алешкиной женитьбы Курчев загорал в номерном училище и впервые увидел молодоженов, когда они, съездив на медовую неделю в Питер, завернули оттуда на полчаса к нему.

Вид у новобрачного был невеселый, а молодая Борису понравилась. Было ей тогда двадцать семь, но выглядела она моложе — свежее лицо, на редкость большие серые глаза, пухлые яркие не накрашенные губы. Она не задавалась, тут же на скамейке у КПП перешла с Борисом на «ты» и, когда интерес к ней снующих мимо курсачей несколько поутих, протянула Курчеву две запечатанные четвертинки.

— Вот женился,— сказал Алешка.— Смотри, не сотвори подобной пошлости.

Марьяна сидела рядом и непреклонно улыбалась.

— У тебя, разумеется, тугриков нет? — вздохнул Алешка и вытащил из бумажника полусотенную.— Бери. Больше, к сожалению, не имеется. Прокутили. Следственная женщина.— Он кивнул на молодую жену.— Пьет как лошадь.

— Не надо.— Курчев отвел Алешкину руку с купюрой.

— Бери,— сказал Сеничкин.— Мы отсюда на вокзал. Медовку провели. Теперь и развестись можно.

— Он чокнутый? — спросил Курчев Марьяну, пытаясь все свести к шутке.

— Вам виднее,— улыбнулась она.— Я его еще не раскусила.

— Дурак он,— сказал Борис. Ему жаль было Марьяну. Ему и сейчас было ее жаль, хотя с тех пор прошло уже два года, а Алешка так и не развелся.

Остаток дороги Курчев брел как во сне. Так солдатом, когда их батарея ночью возвращалась из бани, он, засыпая на ходу, выскакивал из шеренги. И нынче пару раз угодив в кювет, Курчев растер снегом лицо и из последних сил прибавил шагу. От усталости и недосыпу он казался себе невероятно легким, только чемодан с двумя томами Теккерея оттягивал руку. Еще не рассвело, но бугор «овощехранилища» был хорошо виден. Часовой дремал в будке. Курчев обошел шлагбаум и припустил вверх по бетонке. Было без четверти шесть. Ветер стих. Крутой морозный воздух был беловато-синий, как молоко.

Качаясь, Курчев прошел балку, раздвинул доски забора и нырнул в свой дворик. Входная дверь была отперта. За следующей дверью в нос ему шибанул пот и несвежее дыхание храпящих мужиков. Форточка в проходной комнате была притворена, но Курчев не полез ее открывать. Как был, в сапогах и шинели, повалился на койку и тут же заснул.

Спать ему оставалось всего ничего. Уже через полтора часа надраенный, перетянутый ремнем, готовый к разводу Морев ретиво тряс его за плечо:

— Па-адъем! Па-ад-ъем! — орал он.

— Не тронь его,— сказал Володька Залетаев.

— Подъем! — тряс Морев Бориса.— Подъем, историк. Запитываться надо. В стройбате харчушку прикрыли...

Любивший поспать Борис обычно не успевал позавтракать до развода в Зинкиной столовой и потому, выходя из КПП, сворачивал в ворота бывшего стройбата. Стройбат давно разогнали, но оставалось кое-какое имущество и что-то вроде буфета. Повариха и буфетчица варили для себя, кормили завсклада, кладовщика и еще вот Курчева.

— Подъем, подъем! — Морев продолжал его трясти.

— Оставь его,— пробурчал сквозь сон Федька Павлов. Борис не просыпался.

— И ты вылазь! — Залетаев стянул с Федьки шинель и одеяло.— Борьку покормишь. С вечера осталось.

Летчик открыл тумбочку, кивнул на почти пустую бутылку и накрытую другой глубокую тарелку, перетянулся ремнем и вышел вслед за Моревым. Пуговицы на его шинели, не в пример моревским, не сверкали.

Уже рассвело. По всем трем спускавшимся к штабу улочкам поскрипывали сапогами офицеры, шлепали галошами и валенками инженеры и монтажники. Монтажницы еще не выходили. Из экономии они завтракали у себя в домике.

Федька сунул босые ноги в сапоги, накинул на исподнее шинель, с тоской поглядел в окно и зашаркал во двор. Вокруг нужника и дровяного сарая предательски желтели вензеля — свидетельства лености офицеров. В самом нужнике вокруг очка намерзли кучи.

— Эх, старшины на вас нет! — вздохнул Федька, но наводить порядка не стал. Зябко прикрываясь шинелью, он заспешил обратно в дом.

Федьке было двадцать два года, но в нем словно стерлась главная нарезка, и гайка свободно проворачивалась. Федька никак не мог взять себя в руки. Он был вовсе не глуп, память у него была уникальная, способности исключительные, но что-то странное творилось с его волей. Доучившись до четвертого курса Менделеевки, он вдруг ни с того ни с сего перестал ходить на лекции, его выгнали сначала из института, потом из общежития, он лишился отсрочки и загремел в армию. Не прослужив и полугода в батарее младших лейтенантов запаса, он подал рапорт на курсы того же училища, в котором учился Курчев, и годом позже, с грехом пополам, их окончил. Не окончить их не было никакой возможности. Приказ о присвоении воинского звания подписывался министром до сдачи экзаменов. Получив младшего лейтенанта (теперь уже давали младших), Федька не поехал в отпуск домой, а по непонятной причине пропьянствовал весь срок в Москве, пропадая попеременно то в студенческом, то в офицерском общежитиях, и почти голодный, измученный водкой и недосыпом, в изжеванном кителе и прохудившихся за месяц сапогах предстал перед Ращупкиным. Тот определил его под начало Секачева во вторую группу «овощехранилища». (Старшим техником первой был Курчев.)

Поначалу Федька с жаром взялся за дело, дважды в день, утром и после обеда, ходил на объект. Не разгибаясь сидел рядом со штатским инженером у осциллографа. Но потом вдруг заскучал, начал филонить, пропускать послеобеденные занятия и наконец заявился в санчасть.

Врач полка — медицинский лейтенант, хмурый Музыченко — при виде Федькиных фурункулов хмыкнул и дал ему освобождение. Что делать с чирьями он не знал, поскольку готовился к научной работе (в полку он, в основном, занимался разведением плесени для пенициллина), но отправить Федьку в госпиталь, боясь нагоняя, не решился. Врач он был никакой — в полк попал прямо из института, а советоваться ему здесь было не с кем. Ему казалось, что даже солдаты видят его никчемность, потому он сторонился всех и сошелся только с инженером Забродиным, таким же обидчивым бирюком.

Получив освобождение сперва на неделю, потом еще на одну, а теперь уже и третью неделю, «загорая» в финском домике, Федька и вовсе распустился — пил, резался в преферанс, а днем, когда офицеры сидели в «овощехранилище», помирал от скуки.

Он был парень неглупый и не пытался обмануть себя; понимал, что в его жизни ничего не переменится, и не знал, что с собой делать. Поэтому вечно суетился, громче всех кричал, чаще всех спорил, за что получил прозвище Чума, и сдружился лишь с Борисом. Только Курчеву, и то после пьянки, он открыл страшную тайну, как в позапрошлом году, доведенный до отчаянья бесплодной любовью к одной студентке, заявился бухой к своей беременной сестре в общежитие и стал к ней приставать.

Даже через полтора года Федька не мог побороть дрожи, рассказывая, как прогоняла его сестра и как он молил ее согласиться, поскольку она и так подзалетела...

— Да ты не плачь... Матери она не стала бы писать,— с трудом преодолевая брезгливость, утешал Федьку Борис. Но тот все рыдал. Маленький, тощий, в колечках волос, он походил на приютского заморыша. Курчев насильно уложил его, укрыл шинелями. Хорошо еще, офицеры укатили в райцентр и никто не слышал Федькиной исповеди.

Возвратясь в опустевший дом, Федька зачерпнул кружкой из ведра и, как прачка, брызнул в лицо Борису.

— Вставай,— сказал мрачно.— Дальше никак нельзя...

До развода оставалось восемь минут. Курчев покорно поднялся, скинул шинель, китель и нижнюю рубаху. И тут же озяб. На крыльце Федька облил его из ведра. Кое-как растеревшись, Курчев снова напялил форму, глотнул из бутылки, закусил хлебом с остат-

ками бычков в томате и поспешил к штабу. Ноги были как чужие. Суставы словно подкрутили гаечным ключом и пережали — теперь ноги плохо сгибались.

Хорошо, идти было недалеко. Сбегая вниз, Курчев успел обогнать вышагивающего по параллельной улочке Ращупкина и пристроиться во второй офицерской шеренге как раз под крик дежурного офицера:

— Смирна! Равнение на середину!

Покорно, с тупым равнодушием Борис глядел на длинного, хорошо выбритого, сияющего Ращупкина, который с напускной серьезностью выслушивал рапорт низенького младшего лейтенанта из огневиков. Никаких событий в полку не произошло, но лицо у Ращупкина было торжественно-внимательным, как у опытного педагога, выслушивающего захудалого первоклашку.

Сразу вызовет или в обед? — гадал Курчев. Но почему-то сегодня будущий разнос почти не тревожил.

Черенков отпер ворота, и солдаты двинулись на объект. Офицеры не спеша потянулись через проходную. Курчев поплелся в хвосте, ожидая, что Ращупкин его окликнет. Но тот стоял на штабном крыльце, о чем-то разговаривал с главным инженером, черноволосым очкастым молодым татарином.

Солнце постепенно выкатывалось из-за леса и словно бы скользило по снегу. Борис миновал опустевший стройбат и вышел на прямую, как рельс, бетонку. Впереди шли гурьбой десятка полтора офицеров, но Курчев не спешил. Ноги, хотя и разошлись немного, все равно ныли; голова была свинцовой — набухали виски.

Эти два неполных километра он хотел отвести для Инги. В бункере будет тесно от людей, душно от включенных ламп, шумно от сельсинов и реле. К тому же там крутится красивая Валька Карпенко, при ней не размечтаешься.

А на бетонке он был один: шедшие впереди ему не мешали.

Выросший под бабкиным крылом, Борис мало чего перенял от отца, машиниста окружной дороги Кузьмы Илларионовича. Разве что влюбчив был, как отец. Но влюбляясь, он каждый раз верил, что это всерьез и по гроб. Каждую девчонку он примеривал с первой минуты в жены. Хотя к двадцати шести годам он все еще не женился, подобными примерками он занимался всю жизнь: в первый раз семнадцатилетним хотел жениться на их квартирантке, хлебной продавщице, соблазнившей его; в последний — сегодня ночью — на Инге. До Инги соответственно тоже были разные кандидатуры — от переводчицы Клары Викторовны и до монтажницы Вальки.

Сейчас, несмотря на головную боль, он мечтал об Инге Рысаковой. Фамилию ее он прочел на форзаце «Ярмарки тщеславия».

На снежной просвистанной ветром дороге между еловой балкой и бараками бывшего лагеря мысли об Инге приобретали необычную серьезность. Издали Инга казалась ближе и роднее, чем вчера в ресторане, а Алешка, человек в осеннем пальто и бывший неизвестный муж тревожили куда больше, чем вчера. И особенно Алешка. Алешка закрыл надежды на аспирантуру. У Алешки водились деньги, он был женат на чудесной женщине и еще лез к чужой (считай, теперь к его, курчевской). Вдобавок, Алешка был хорош собой, джентльменист, умел себя держать и никогда бы не стал караулить на морозе загулявшую знакомую. Алешке во всем были везение и удача, несмотря на недалекость и шкрабскую манеру передирать чужие мысли.

Своих нету, а все равно помрет академиком,— подумал Курчев.

Но тратить на Алешку чистое солнечное утро не хотелось, и Борис вернулся к Инге. Жены из нее не получалось. Правильно писал он вчера в правительство. В полку ей нечего делать. Даже переводчица Кларка с кучей своего умопомрачительного импорта и то больше подходила к полковой жизни.

А Инга в скромной длинной выворотке оказалась бы в полку куда беззащитней, чем скрипачка на лесоповале.

Курчев вспомнил, какие у нее длинные и тонкие пальцы. И запястье тоже тонкое, и вся она худая, словно неотогретая. Наверное, потому передергивает плечами. Спускаясь к «овощехранилищу», он чувствовал, что над ним самим нависло немало, и, если даже и пронесет, все равно на расстоянии в полста километров Ингу не убережешь от житейского холода и прочих неурядиц.

Встретиться хотя бы год назад,— подумал он,— когда мне времени девать некуда было.

Действительно, год назад он почти не ходил в военную приемку, куда был откомандирован из полка, и пропадал в Ленинской библиотеке.

Но она же в третьем научном занимается! — И этот третий научный, куда ему ходу не было, еще раз показал Курчеву всю безнадежность его мечтаний.

— Чего еле бредешь? — окликнул его Володька Залетаев, и Борис поднял голову. Навстречу по бетонке, прижимая офицеров к обочине, поднималась бежевая «Победа». Курчев сообразил, что это вчерашняя, смершевская.

— Догоняй! — крикнул ему Залетаев и побежал к проходной объекта. Курчев поплелся за летчиком. Ноги не слушались.

Перед «овощехранилищем» стояла такая же халабуда, как перед военным городком, но тут спрашивали пропуска. Вытащив вдвое сложенные картонки, утыканные оттисками голов разных животных, Курчев и Залетаев сунули их под нос сержанту. Тот взял пропуска, лениво повертел в руках. То ли давил на бдительность, то ли выслуживался перед смотревшим на него через окно КПП старшим лейтенантом, командиром роты охраны. Комроты, невзрачный человек с лицом язвенника, так же, как и парторг Волхов, был новым человеком в полку. Он прибыл из Германии, и ему казалось, что все здесь идет не так и дисциплины в полку кот наплакал.

Наконец сержант возвратил пропуска, и офицеры, пройдя еще двести шагов, спустились в бункер. Блоки и приборы еще только разогревались, в «овощехранилище» за ночь настыло. Курчев прошел вслед за летчиком в аппаратную, где было потеплей, потому что тут дежурили круглую ночь, и пристроился дремать за серым железным шкафом, не обращая внимания на дежурившего солдата-связиста. Тот учился печатать на большом, похожем на магазинную кассу телеграфном аппарате.

— Поел? — спросил Залетаев, усаживаясь за свой стол и доставая из ящика книгу дежурств.— А то давай...— Он кивнул на кулек с баранками в глубине ящика.

Борис помотал головой и вдруг неожиданно для себя сказал:

— Неохота. Я вчера влюбился.

— Можете покурить, Синьков.— Залетаев повернулся к связисту.

— Некурящий я,— улыбнулся солдат.

— И уже завтракал? — засмеялся Курчев.— Ладно, пойду к секретчику.

В «овощехранилище» был свой штатский библиотекарь, выдававший схемы блоков, спецификации и прошитые бечевкой, опечатанные сургучом личные тетради офицеров. Он вечно запаздывал, и возле его обитой железом двери по утрам матерились монтажники: стояла работа. Секретчику было лет девятнадцать. Провалившись в институт, он спасался на объекте — тут давали броню от армии.

— Арестованным физкульт-привет! — встретил он Бориса.— Чего надо? «Конспекта на родину»?

Так назывались солдатские письма, сочиняемые обычно на политзанятиях за спинами товарищей. Но Курчев в секретную тетрадь, уповая на неразборчивость своего почерка, заносил соображения о фурштатском солдате и о жизни вообще. Библиотекарь, заглянув в его тетрадь, удивился скромному количеству цифр, схем, сокращенных наименований реле, ламп и узлов, решил, что лейтенант ведет в спецтетради дневник, и с тех пор поддевал Бориса.

— Давай два шкафа и помалкивай,— притворно рассердился Борис.

— А мне что? — сказал секретчик, протягивая два увесистых тома с чертежами.— По мне хоть голых баб рисуй. Только бы тесемочки на месте были. Валька, пока тебя вчера арестовывали, с инженером в райцентр катала.

— Не завидуй,— сказал Борис и ушел в дальний отсек, к двум черным шкафам, которые когда-то вызывали в нем почти религиозный восторг, и не только из-за своей фантастической стоимости. Когда-то Курчеву казалось, что это и есть настоящее дело, ради которого надо забыть обо всем. Но длилось это недолго. Шкафы остались, восторг прошел. Невидимые враги-американцы почему-то вызывали куда меньше неприязни, чем сержант Хрусталев или начштаба Сазонов.

Он сел за стол и уперся локтями в развернутую схему. За его спиной шум постепенно рос, как фон в нагревающемся приемнике. Включались приборы, слышались женские и мужские голоса, смех, иногда матерок. Начался рабочий день, в бункере заметно потеплело, но Курчев поеживался от холода.

— Покемарю немного,— подумал он и положил голову на толстую коленкоровую папку, к которой был прикреплен лист светокопии. Несмотря на зябковатость в спине и плечах, он тотчас провалился в черную шахту сна. Он словно падал в нее вниз головой, потому что даже во сне голова была тяжелой и горячей, как расплавленный чугун. Казалось, еще немного и голову разорвет.

— Ночи вам мало, Курчев? — сказал главный инженер полка майор Чашин. Борис оторвал от чертежа голову, зевая поглядел на майора и вдруг почувствовал, что тот ему ни чуточки не страшен.

— Виноват. Голова разболелась.— Он снова зевнул, но не встал. В отсеке появилось уже несколько штатских, в том числе Сонька. Заглядывая в светокопию и сверяясь со своим листком, она маркироаала провода в первом секачевском шкафу. Большая переносная лампа била в очки майору. Все мешало распечь нерадивого лейтенанта как следует. Впрочем, майор Чашин еще в военной приемке махнул на Бориса рукой. Только в Дни пехоты вздыхал:

— И не стыдно вам, Курчев, в ведомости расписываться?

Но все знали, что майор тоже не безгрешен: два раза на неделе бросает приемку и ездит к жене в Иваново. Правда, теперь жена перебрвлась в полк, и майор исправно ходил в «овощное хранилище», но делать ему тут было нечего. Монтаж только начался. Общение со штатскими разбалтывало офицеров, а технических знаний не добавляло:

участвовать в монтаже Ращупкин им запретил, и Чашин ему не прекословил. Он и сам толком не решил, как лучше. Дело было новое. Даже готовые объекты сплошь и рядом перемонтировались. Майор уже два года занимался этой работой и все радовался, что он пока что главный инженер, а не командир части. Со временем он, конечно, сменит Ращупкина, потому что таким сложным хозяйством управлять может лишь специалист. Ращупкин же, хоть и хваткий и сообразительный строевик, импульсного объекта ему не поднять. Но сменить Ращупкина Чашин хотел не раньше, чем тут наведут порядок и штатских уберут подальше. Пока что его заботило одно: чтобы офицеры знали чертежи. Месяца через два ожидалась инспекторская поверка. Что же до солдат, их на объект пускать и вовсе не стоило. Они постоянно вертелись вокруг монтажниц, а один обормот даже раскокал огромную генераторную лампу. Хорошо, что по договоренности со штатскими ее удалось списать и, оформив как учебное пособие, выставить в радиоклассе. Отсутствие стекла помогало с помощью указки объяснять пути электронов от сетки к катоду.

— Садитесь, Курчев,— усмехнулся майор. Он понял, что лейтенант не думает подниматься.— В преферанс играли?

— Играли,— ответил Курчев.— Приходите. Рубанем сочинку.

— Как-нибудь...— сказал майор, может быть, впервые завидуя Курчеву.— Ладно, игра игрой, а как готовитесь к инспекторской?

— Никак. Чего спросят — отвечу. Откуда куда чего идет, где чего замыкает-срабатывает — это я, товарищ майор, соображу.

— Тогда, бог с вами, спите,— сказал майор.— Командир корпуса отказал вам в демобилизации.

— Что же делать? — спросил Борис.

— Ничего... В воздух палить не надо...— ответил майор, блеснув очками.— Хитрость эта копеечная, только Ращупкина рассердили. Так, лейтенант, дела не делают.

Видно было, что он жалеет Курчева, но помочь ему не может.

— Спите. Наверно, вас скоро вызовут,— бросил он и ушел в другой отсек.

— Взбойка? — Сонька повернулась к Курчеву, поставив консервную банку с краской прямо на чертеж.

— Еще нет,— ответил Борис.

— Валюха, дуй сюда,— крикнула маркировщица. Валька Карпенко работала на настройке в смотровом узле.

Если демобилизнусь и устроюсь на завод,— соображал Курчев,— то на двух электричках полтора часа в один конец... А если в командировку зашлют, то выйдет тех же щей...— Он усмехнулся, представив, как попал в свой же полк, но уже штатским. То-то засмеют. Нет, завод не годился. А телеателье представлялось ему крохотным чуланом, в дверях которого цербером стоял абрикосочник в пижаме и бурках.

— Не выспался?..— Валька присела рядом на скамейку, положила ладонь поверх его ладони. Большие серо-черные глаза смотрели на него так, что хоть тут же предлагай руку и сердце.

— На каток не пойдешь? Спать будешь?

— Угу,— кивнул он, смежая веки, чтобы не смотреть на девушку. Она сидела совсем рядом, живая, теплая, удивительно милая.

Какого тебе еще рожна?..— спросил себя, потому что в пылающей голове Инга куда-то отступала и уменьшалась.

— Да ты вроде заболел...— сказала Валька и коснулась щекой его лба.— Соня, ну-ка потрогай.

— Перетрудился небось,— осклабилась Сонька и приложила к его лбу шершавую ладонь.— Есть температура,— подтвердила бесстрастно.

— Иди домой,— сказала Валька.— Иди, не бойся. Я Забродину скажу. Всеволод Сергеич, идите сюда,— крикнула в соседний отсек.

Но, опередив Забродина, к ним пробрался связист Синьков и доложил, что лейтенанта Курчева вызывают в штаб.

Борис вылез из бункера и побрел к КПП. Солнце выкатилось высоко над лесом и било прямо в глаза, отчего голова болела еще сильнее. Он вошел в дежурку, показал сержанту пропуск и привалился к внутренней двери.

— Ноги не идут. Передай на шлагбаум, пусть машину остановят,— сказал младшему сержанту.

— Не положено здесь, товарищ лейтенант.

— Тогда звони в гараж. Пусть санитарную вышлют.

— Да вон идет!..— обрадовался сержант и стал махать поднимающемуся по бетонке самосвалу.

Самосвал шел на второй объект, но водитель, покряхтев, довез лейтенанта до военного городка.

— Горло, что ли? — спросил он

— Нет,— Курчев мотнул головой, но тут же почувствовал, что горло тоже болит.

— Кто меня вызывал? — спросил он посыльного, сидевшего в штабном предбаннике возле ящика с оружием.

— В радиокласс велели... Там начальства много...

Курчев прошел по коридору, толкнул дверь радиокомнаты.

— Разрешите присутствовать? — спросил срывающимся голосом. Перед глазами плыло — он не сразу разглядел, кто его ожидает.

— Милости просим,— раздался веселый хрипловатый голос.

Поморгав, Курчев разглядел вчерашнего смершевского полковника, особиста Зубихина, еще одного незнакомого майора и полкового замполита подполковника Колпикова. Подполковник жался в углу у окна. Вид у него был пришибленный, его кругленькие глазки то и дело моргали.

— Садитесь. Лейтенант Курчев Борис...

— ...Кузьмич,— сказал Курчев, садясь за узкий длинный черный стол, наискосок от полковника.

Утреннее солнце било Борису прямо в глаза, он передвинулся на два стула левее и оказался лицом к лицу с корпусным смершевцем.

— Побеседовать с вами хотели,— сказал полковник.— Отчего раскраснелись? Бежали?

— Температура,— буркнул Борис. Смершевцев он сегодня почему-то не боялся: его действительно сильно знобило, перед глазами плыли пятна, кружилась голова. Он потер ладонью лоб.

— Уж вы нас извините, Борис Кузьмич,— добродушно сказал полковник.— А то нам еще раз ездить далековато. Мы вас постараемся не задерживать.

— Ничего,— в тон ему ответил Курчев и провел ладонями ото лба к подбородку, словно снимал с лица противогаз.

— Да ты не волнуйся,— усмехнулся капитан Зубихин.

— Я болен,— зло поглядел на него Курчев.

— Хлипкая молодежь пошла, а, Иван Осипыч? — Корпусной смершевец повернулся к замполиту Колпикову.

Толстощекий кругловатый замполит поспешно кивнул.

— Вот, познакомиться с вами хотели, товарищ лейтенант,— повторил полковник.— Узнать, как живете, чем дышите. Может, немного расскажете нам о себе?

— А что говорить? В личном деле все есть,— буркнул Курчев.

— Курчев,— зашипел замполит.

— Ну, ну... Так уж и все,— улыбнулся полковник.— Личное дело — бумага. А вы — живой человек. Живого человека в бумагу не спрячешь. Верно?

— Не знаю.— Борис пожал плечами. Он ждал, когда спросят о малявке.

— Так уж и не знаете? Человек вы грамотный. Он что, Зубихин, с институтом?

— С институтом,— кивнул капитан.

— Какой институт закончили?

— Педагогический.

— Вот видите, учитель. Интеллигенция. А говорите — не знаете.

Курчев ничего не ответил.

— Так расскажите нам, Борис Кузьмич...

— О чем?

— О себе. Чем дышите? Что читаете?

— Читаю? — Лейтенант снова пожал плечами.— Все читаю.

— Ну так уж и все,— подмигнул полковник.

— Что попадается. У нас тут не книжное хранилище.

— Что ж ты, Иван Осипыч?! — Полковник снова повернулся к замполиту.— У офицеров запросы, а ты на книги жмешься.

— Что положено...— Замполит развел руками, понимая, что все это игра, но опасаясь показать, что понимает.

— Значит, не нравится вам здешняя библиотека? — добродушно усмехнулся полковник.

Лет ему по виду сорок пять,— подумал Курчев.— И чего ему надо?.. На место Берии, что ли, метит?

— Библиотека как библиотека. Я еще всей не прочел,— сказал он, надеясь разозлить смершевца, чтоб тот наконец выложил, что ему нужно.

— Значит, библиотека хорошая? Только из нее книги берете?

— Читаю, что попадается,— ответил лейтенант.

— А что попадается? — спросил смершевец.

— Разное. Всего не припомню. Вот «Ярмарка тщеславия» хотя бы...— сказал Борис и осекся, на форзаце первого тома стояла надпись «И. Рысакова». Господи, да они еще притянут Ингу и в два счета доберутся до малявки...

— Теккерея? Что ж, хорошая книга. Понравилась?

— Только начал, товарищ полковник,— выдавил Борис.
— Советую продолжать.
— Ему читать некогда, он сам писатель,— хмыкнул капитан Зубихин.— Вчера, товарищ полковник, я машинку у него попросил, так он, понимаете, пожалел. Самому, сказал, нужна.
Курчев промолчал, и полковник, не ответив капитану, снова спросил:
— Ну хорошо. Книги — книгами, а журналы читаете?
— Редко.
— А какие редко?
— Какие есть. «Огонек», «Знамя»...
— И «Новый мир»? Про искренность...
— Нет,— соврал Курчев.
Эту статью он читал у Сеничкиных, но в полку о ней не говорил.
— Что — нет? — повторил полковник.
— «Закон чести» не читал,— сказал Курчев, работая идиота.
— Я не про пьесу спрашиваю, а про статью «Об искренности в литературе».
— Нет,— сказал Курчев,— не читал.
— Как же вы, педагог, литератор, а не читали?
— Я кончал исторический.
— Понятно. А «Вопросы истории» читаете?
— Читаю,— кивнул Борис.
— Это хорошо. Вы, кажется, в аспирантуру собираетесь?
— Мне отказано в демобилизации,— ответил Борис.
— А если в заочную?..
— Ездить далеко, а месяца отпуска для архивов мало.
— Да, мало...— согласился полковник, словно сочувствовал ему.— И все-таки добивайтесь заочной. Вы человек грамотный, политически подкованный. Член партии?
— ВЛКСМ.
— Пора ему в партию, Иван Осипыч. Что ж ты кадры не растишь?
— У него с дисциплиной не ладится,— пробормотал подполковник.
— Ни за что бы не подумал! — Смершевец покачал головой.— Грамотный парень, высшее образование, а дисциплина, понимаешь, никуда. Ну и ну,— усмехнулся он непонятно над кем — Курчевым, замполитом или над здошними порядками.
— Может, ты газет не читаешь, а, лейтенант? — перешел он по-отечески на «ты».
— Читаю,— сказал Курчев.
— Про футбол небось да про шахматы?
Смотри, угадал,— удивился Борис.— Или донесли?
— Про все читаю,— ответил поспешно.
— Ну да. Будто я молодым не был. И вроде тебя больше слабым полом интересовался. Он как на этот счет, Иван Осипыч?
— Ничего особого не замечено...— ответил подполковник.
— Да? — удивился смершевец.— А я тут видел — у вас настройщицы очень подходящие. Красивые даже есть.— Он подмигнул, и Курчев подумал: неужели узнал про Вальку? Нет, на пушку берет.
— Газеты надо читать,— посерьезнел полковник.— «Звездочку» штудируешь, лейтенант? Нет? А нашу окружную? Скучная, не спорю, а все равно надо. Кому и читать, как не тебе? Или ты только штатские читаешь? «Вечерку», например?
— Ее здесь нету.
— Здесь — понятно... Ну а в Москве читаешь?
— Нет.
— Так-таки не читаешь? — Смершевец испытующе смотрел на лейтенанта так, будто чтение «Вечерней Москвы» было делом подсудным.
— Мне ее негде брать, товарищ полковник. За ней очереди.
— Да,— вздохнул корпусной.— Ходкая газетенка. Ну а какую-нибудь покупаешь? Завернуть что-нибудь или в автобусе почитать со скуки?
— Да нет, пожалуй...— Борис пожал плечами. Он ждал, скоро ли они вернутся к малявке.
— Покупаешь самую какую ни есть неходкую? «Медицинский работник», например? Или дома газеты берешь?
— У меня нету дома, товарищ полковник.
— А в Москву к кому ездишь?
— Ни к кому. Проветриться...
— А, понимаю. Закладываешь?
— Не особенно.
— Не пьет он, Иван Осипыч?
— В рамках,— попытался улыбнуться замполит, но его круглое лицо оставалось неподвижно унылым.

— Значит, пьешь средственно, а газет не покупаешь? — усмехнулся полковник.— А может, покупаешь все-таки? Завернуть грязное белье...
И к чему он клонит? — никак не мог понять Курчев. Оттого, что приходилось быть начеку, голова уже не так болела, но Борис не знал, надолго ли хватит сил, не взлетит ли температура.
— Мне здесь стирают,— ответил он.— Женщина из деревни приходит.
— Ну, ладно. Ничего у нас с тобой, товарищ лейтенант, не получается,— вздохнул полковник.— А кроме тебя, понимаешь, некому...
Курчев недоуменно уставился в лицо смершевца.
— Да. Кроме тебя некому. Мы всех проверили.
Добродушия в полковнике как не бывало. Теперь начнет трясти, как пленного, решил Борис.
— Вот. Вы это привезли. Больше некому,— снова переходя на «вы», сказал полковник и вытащил из портфеля сложенную вчетверо «Строительную газету». На левой свободной от текста кромке газеты был разорванный след от дырокола.
— Это не моя,— покачал головой Курчев.
— Не эта. Другая. За то же число. Вы ее привезли в часть.
Полковник развернул газету и ткнул пальцем в снимок, изображавший какое-то заседание. На трибуне стоял Маленков.
— Узнаете? — спросил полковник.
— Георгий Максимилианович,— четко сказал Курчев: вчера он это имя-отчество аккуратно отстучал на машинке.
— Газету узнаете? — резко повторил полковник.
— Нет...— Курчев помотал головой.— Не читал.
Он еще раз взглянул на снимок. За спиной Маленкова на скамьях сидели, по-видимому, члены Президиума. Клише было нечеткое.
— Очки наденьте...— с издевкой сказал полковник.
— Слушаюсь.— Борис полез в карман кителя.
В очках он разглядел за спиной Маленкова Берию и улыбнулся. Газета была годичной давности — за 17 марта 1953 года.
— Узнали?
— Враг народа Берия.
— Газету узнали? — повторил полковник.
— Газету — нет. Меня тогда в части не было. С февраля по май я находился в командировке — завод почтовый ящик...
— А в День пехоты? — не выдержал капитан Зубихин. Он покраснел и набычился. Короткая шея того и гляди распорет воротник.
— В День пехоты я ходил к пачфину в...— отчеканил Курчев, называя окраину Москвы.— Это рядом с заводом.
— Вы свободны, лейтенант,— холодно сказал полковник.
— Разрешите одну минуту, Андрей Тимофеевич,— повернулся красный, как свекла, Зубихин к полковнику.— А это что? — Он вытянул из-за спины фанерный щит и положил на стол перед поднявшимся Курчевым. Верхнюю часть щита он прикрыл развернутым ЦО строительного министерства.
— Стенгазета,— ответил Курчев.
Собственно, это была не просто стенгазета, а стационарка, «ленинка», как ее когда-то называли, размером с небольшую классную доску. Заметки в ней не наклеивались, а вставлялись в специально прорезанные пазы. Каждый столбец отделялся от другого тоненькими переборочками.
— Твоя стенгазета? — спросил капитан Зубихин.
— Нет. Не я редактор.
— Машинка, спрашиваю, твоя? Ты печатал?
— Я. А подписано — подполковник Колпиков,— усмехнулся Борис.
Он соврал. И печатал и писал заметку он. Подполковник был не шибко грамотен и не раз просил Курчева сочинить ему доклад или составить конспект для политзанятий.
Ну, теперь он нахлебается,— подумал Борис. Подполковник действительно сидел красный и смущенный. Капитан сидел красный и злой. Майор по-прежнему молчал. А полковник закурил «казбечину», предоставив капитану самому выпутываться из дурацкого положения.
— Значит, печатал? — злорадно спросил Зубихин.— Печатал. Так? А на чем ты печатал?! — Он отшвырнул газету и показал верхнюю часть стационарки. Справа от заголовка «За нашу Советскую Родину» была наклеена та же газетная фотография с выступающим Маленковым и сидящим над ним врагом народа Берия.
— На этом я не печатал. Это в каретку не влезет,— обрезал Курчев.— Мне Хрусталев носил домой листки, я на них печатал.
— Лейтенант, можете идти,— сказал полковник и поставил фанерный лист на подоконник.

— Слушаюсь.— Борис снял очки, поднялся, козырнул, кинул взгляд на стационарку, и тут ему все стало ясно. Он даже пожалел этих незадачливых смершевцев.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться. Я знаю, откуда эта газета! — выпалил Борис.

— Сядь,— сказал корпусной.

— Извините. Я вижу неважно, а очки не ношу. Теперь без них узнал... Она в стройбате висела.

— Где?

— В стройбате. Прежде я там запитывался. До развода не успевал,— объяснил Курчев специально для замполита Колпикова.— Вот эта фанера с заголовком и фотографией — она над раздаточным окном висела. Кто-нибудь оттуда приволок.

— Понятно. Спасибо, лейтенант,— сказал полковник.— Посыльного за редактором пошли,— кивнул он Зубихину.

— Фу ты,— вздохнул Борис, вываливаясь в коридор.

— Посыльной,— раздался за его спиной крик Зубихина.

Зря им сказал. Теперь растрясут этого дурака Хрусталева,— подумал Борис о своем недруге. Член комсомольского бюро, красавец, службист и одновременно сачок, Хрусталев выступил в конце года на собрании и, пользуясь весьма суженной армейской демократией, стал критиковать комсомольца (он так и говорил «комсомольца», а не лейтенанта!) Курчева за невыполнение возложенных на того поручений. В частности, вместо того чтобы читать личному составу лекции о международном положении, комсомолец Курчев каждую, видите ли, субботу уезжает в Москву.

Хотя что взять с Хрусталева, если у него всего восемь классов? За все ответит Колпиков, а может, и Ращупкин. Но если этот Андрей Тимофеевич спросит про выстрел, то Хрусталев, как пить дать, расколется насчет сознательной дисциплины и мордобоя. Или это не их дело? Да нет у них никакого дела.— Борис ежился на крыльце штаба.— Ну и времена! Да в прошлом году за такое полчасти бы за проволоку засадили. Впрочем, что это я — в прошлом году за Берию бы не тронули,— спохватился он и тут увидел вдалеке Ращупкина.

Двухметровый Ращупкин даже в февральский четверг сиял, как на первомайском параде.

Молодой и удачливый, краса и гордость полка, он вызывал зависть всех начинающих служак зенитной части. Не только простоватая пехота, но даже огневики и кичащиеся своей интеллигентностью импульсники из «овощного хранилища» втайне надеялись, а вдруг и им так повезет! Шутка ли, в мирное время в тридцать два года занимать генеральскую должность!

Но озябшему Курчеву Ращупкин не казался сегодня ни удачливым, ни счастливым.

Он шел бодрым, почти строевым шагом, но Курчеву казалось, что подполковник ступает тяжело, будто идет не с горы, а в гору.

Курчев стоял на крыльце — ноги не шли — и с усталым презрением наблюдал за Ращупкиным, который, похоже, не собирался идти в штаб, а наоборот, хотел поскорей пройти мимо: очевидно, знал, кто там сейчас. Может быть, он и миновал бы Курчева, но тут из-за угла штабного барака показался подтянутый Хрусталев и лихо козырнул Ращупкину. Ращупкин улыбнулся, тоже подтянул руку к ушанке и остановил Хрусталева. Курчев, не слыша, о чем они там говорят, по-прежнему брезгливо улыбался и вдруг перехватил взгляд Ращупкина. Осмелев от жара, Курчев не отвел глаз, и Ращупкин принял вызов. Огромный, как кентавр, и блестящий, как фаворит скаковой трибуны, он вальяжно двинулся к штабному крыльцу. Рослый Хрусталев рядом с ним выглядел пузатой мелюзгой.

Борис небрежно козырнул командиру полка и прошмыгнувшему мимо сержанту.

— Стыдно? — спросил Ращупкин.

— Никак нет,— ответил Курчев.

— Стыдно. Вижу. Думать надо сначала. Тогда краснеть не придется.

— Это от температуры,— сказал Борис, почувствовав, что действительно весь горит.

— Пойдемте. У меня продолжим.

— Садитесь,— сказал он Курчеву в кабинете, снял шинель, провел ладонью по темным блестящим волосам и сел под портретом Сталина.— Распекать я вас не буду. Мне хочется, как говорил Маяковский, понять вас и простить. Что же все-таки, Курчев, случилось?

— Товарищ подполковник.— Борис попытался отряхнуться от жара, как отряхиваются от сна.— Я получил неделю ареста, хотя в части произошло ЧП, групповое избиение. Четверо солдат и сержант учинили самосуд.

— Ну уж и самосуд...— улыбнулся Ращупкин.— У вас действительно жар.

— Товарищ подполковник,— медленно выговорил Борис,— я был дежурным по полку. Отвечал за внутренний порядок. Во время моего дежурства четверо солдат при участии сержанта пустили почтальону юшку.

— Почтальону? — презрительно протянул подполковник.— Почтальон — дезертир. Его давно пора судить и спровадить в дисциплинарный батальон, куда ему и дорога, а не держать в образцовом полку. Я считал, что мы сумеем перевоспитать разгильдяя. Во всяком случае, привести в чувство. Но некоторые офицеры мне мешают. Лейтенант Курчев, я, ей-богу, не понимаю вашей слабости к ефрейтору Гордееву. Это пахнет порочными наклонностями,— сказал Ращупкин в надежде, что Курчев бурно запротестует и разговор примет иное направление. Но Курчев не поддержал темы.

— Товарищ подполковник, повторяю, в полку произошло групповое избиение.

— Групповым бывает только изнасилование,— снова попытался перевести разговор в шутку Ращупкин.

— Хорошо. Не групповое, а массовое. Четверо солдат и сержант не подчинились приказу дежурного по части и бросились наутек... Мне пришлось остановить их выстрелом в воздух. Учтите, я плохо вижу и не разглядел солдат. Мог ли я предположить, что в нашем образцовом полку солдаты не подчинятся дежурному офицеру? На моем месте каждый бы выстрелил. Ведь это могли быть переодетые американцы...

— Бросьте демагогию, Курчев. Я вам не Колпиков и образован не хуже вашего. Никто не виноват, что вам однажды вздумалось стать кадровым офицером, а потом расхотелось. Вам известно, что я не возражал против вашей демобилизации. К сожалению, я не министр обороны. К сожалению. Моему. И к вашему счастью. Потому что теперь я считаю необходимым оставить вас в полку. Вы что, думаете, если собрались отсюда бежать, так можете тут свинячить? Нет. Полк — это родной дом для солдат и офицеров, в особенности для офицеров. Вы нагадите, а нам потом дышать! Дудки, товарищ Курчев. Отныне будете все драить, пока не станет чисто. Люди стараются, а вы что? Расписались в денежной ведомости и айда в столицу?! Нет, не выйдет. Будете торчать в казарме от подъема до отбоя. Получите взвод, чтобы у вас ни минуты свободного времени не оставалось. Поработаете с сержантом Хрусталевым. Кое-чему у него поучитесь.

— Сознательной дисциплине?

— Да, сознательной дисциплине. И, пожалуйста, без ехидства,— рассердился Ращупкин.— Именно сознательной — когда знаешь, что во имя чего.

— И все средства хороши?..

— Бросьте, Курчев! Я уже просил вас оставить демагогию.

— Хорошо. А как быть, товарищ подполковник, с мордобоем, у нас ведь не николаевская армия. Марксизм отрицает зуботычины.

— Марксизм не догма...— обрадовался Ращупкин своей находчивости.

— Знаю,— сказал Курчев.— А руководство к действию. Но вряд ли вы убедите меня, что сержант Хрусталев руководствовался основами марксизма, когда пускал кровь ефрейтору Гордееву. Увы, сержант руководствовался всего лишь самодельной теорией так называемой «сознательной дисциплины». Не знаю, кто ее выдумал. Схожая теория бытует в воровских шайках. Иногда еще ее называют круговой порукой. И не место ей в Советской Армии, а тем более в образцовом полку.

Если бы не жар, Курчев бы, наверняка, постыдился такой тирады. Но сейчас и Ращупкин за письменным столом, и портрет Сталина над его головой — все плыло перед глазами и казалось нереальным. И даже угроза Ращупкина дать взвод не пугала.

Подполковник по-прежнему был красив и подтянут. Это был все тот же Ращупкин, с которым Курчев два месяца назад беседовал под этим же портретом.

А чуть раньше Ращупкин, выйдя на середину торжественного четырехугольника, произнес громовым голосом, каким он рапортовал корпусному командиру:

— Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Свершился справедливый суд. Расстрелян враг народа Берия. Этот подлый интриган замышлял в нашей стране реставрацию капитализма, убийство наших руководителей и в первую очередь нашего дорогого и любимого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина.

Силен заливать,— подумал тогда Борис, стоя в трех метрах от подполковника.

Но вечером того же дня, когда Курчев сдал дежурство, Ращупкин предложил ему задержаться и, когда они по обыкновению начали разговаривать о жизни, указал пальцем на портрет за спиной:

— Не все с ним просто. Большие ошибки совершал. Да и кто у нас не ошибается?

Впрочем, Борис и без Ращупкина знал, что правда никогда не ходит в одиночку. Правд много. Есть такая, что годится для лейтенанта с головой,— она тычет пальцем и подмигивает. А есть другая — для солдат и сержантов, и эта объявляет, что Берия хотел убить доброго и любимого вождя.

Но сейчас Ращупкин о Сталине не вспоминал.

— Вот так-то,— сказал он.— Примете второй огневой взвод. И шкафы в бункере тоже останутся за вами. Потащите лямку. Знаете, на хитрую... кое-что с винтом. Так дела не делают. Был тут уже один холодный философ, Новосельнов ваш. Кальсонами думал меня взять. Но он все ж таки не полный кретин. Понял, что этим ничего не добьется. Фронтовик фронтовика всегда поймет. А вы, Курчев, хоть и гусь, да ощипанный. С вами скучно. Примете взвод, а там поглядим.

— Слушаюсь.— Курчев тяжело поднялся.— Разрешите, однако, подать рапорт об избиении почтальона.

Ращупкин не ответил. Он знал, что Курчев ничего подавать не станет.

Хватаясь за стенки, Борис еле добрался до крыльца, хлебнул свежего морозного аоздуха и потащился в санчасть. Медицинский лейтенант был на месте. Он сунул Борису градусник, тут же вынул его и уныло качнул головой:

— Поздравляю. Тридцать девять и девять.

Часть вторая

ГОРОД И ПОЛК

1. КАРАУЛЬЩИК БОРОЗДЫКА

Инга Рысакова по аспирантской свободе могла вставать когда угодно, но неизменно поднималась в семь, словно все еще была студенткой. Отец ее Антон Николаевич, скромный преподаватель начертательной геометрии, любил завтракать в кругу семьи. Потом все расходились до вечера, дома оставалась одна Ингина бабка Вава (незамужняя тетка отца).

По утрам семья пила кофе; его покупали в зернах и мололи на домашней кофемолке. Отец, по-стариковски словоохотливый, разглагольствовал:

— И почему это древние назвали вино напитком богов?! Ошибались греки. Напиток богов — это, конечно же, кофе. Правда, дочка?

— Угу,— кивала Инга. Она любила отца и не раздражалась на его болтовню.

Это была тихая беспартийная семья, чудом сохранившаяся в перипетиях войн и социальных катаклизмов. Когда-то, точнее 1 марта 81-го года, двоюродный брат бабки Вавы в незрелом возрасте швырнул бомбу в царские сани, и память об этом настолько отвратила семью от каких бы то ни было общественных порывов, что даже поступление семнадцатилетней Инги на филфак они восприняли чуть ли не как революционный заговор.

— Наука! Только одна наука. В крайнем случае, музыка,— восклицал отец за полгода до Постановления ЦК «Об опере „Великая дружба“». Но на беду у Инги решительно не было способностей ни к музыке, ни к точным предметам.

— Что ж, я это предвидел,— шептал жене Антон Николаевич, когда год назад Инга нежданно-негаданно вышла за человека десятью годами ее старше. И это по паспорту. А с виду Георгию Ильичу можно было дать все сорок.— Я предвидел, предвидел...— повторял Антон Николаевич, хотя в 47-м году филфак университета казался ему не вертепом разврата, а лишь кузницей революции.

— Успокойся, Тошка. Все обойдется,— успокаивала его жена.

— Так я и знал, так и знал! — переходил на шепот Антон Николаевич, чтобы не услышала а соседней комнате дочь. Ей он из деликатности ничего не говорил. Лишь нежно поздрааил с законным браком и несказанно обрадовался, когда череа несколько месяцев Инга вернулась домой.

Держалась Инга молодцом. Развод не был оформлен, незадачливый Георгий Ильич иногда звонил, впрочем, звонили и другие мужчины. Инга не грустила и много работала. Антон Николаевич был счастлив.

— Ты права, все обошлось,— шептал он ночью жене.— Что ни говори, хорошая кровь и хорошее воспитание не могут не сказаться. Но я бы поторопился с оформлением этого неприятного документа...

— Успеется, Тошка,— успокаивала его жена.

В год великого перелома, когда в Москве вдруг стали исчезать продукты и интеллигенты, когда и без того зябковатая жизнь беззащитных служащих стала вовсе сырой и неуютной, в тот год они с женой нашли друг друга и стали друг для друга прибежищем, пристанью, опорой, выходом из отчаянья и источником силы. Татьяне Федоровне было тогда уже под сорок, и знакомый врач, чрезвычайно интеллигентный человек (он повесился в прошлом году во время дела врачей), посоветовал им не заводить детей. Но она не послушалась его и родила Ингу. Теперь Татьяне Федоровне было за шестьдесят. Она, хоть и прихварывала, продолжалв преподавать в музыкальной школе, но от частных уроков уже отказывалась.

— С разводом успеется,— шептала она мужу.— Так девочка с нами... А разведется, глядишь, опять с кем-нибудь распишется...

— Ты, как всегда, права,— соглашался Антон Николаевич.

В семье был чуть ли не суеверный страх перед всякого рода документами, гербоаыми печатями и пр. Получение любой справки, даже из домоуправления, сопровождалось отчаянными муками, долгими сборами, волнениями и оканчиаалось каплями Зеленина.

Словом, это была семья, уцелевшая лишь благодаря своей незаметности и взаимной поддержке. В одиночку никто из Рысаковых не выстоял бы.

Родить им, что ли, внука? — подумывала Инга, глядя на милых и жалких старичков.— Вот развяжусь с аспирантурой и подсуну им вместо себя ребятенка.

Впрочем, ее тяготила не их опека, а их деликатность.

— Что это ты ночью читаешь? Закончила главу? — спросила старуха Вава, когда Инга, умытая и причесанная, в юбке и вязаной кофте, пошла в родительскую комнату.

— Если бы...— вздохнула Инга, понимая, что нельзя лишать старичков информации, ведь у них слух постоянно напряжен, как у охотничьих собак.— Да нет, чужой реферат. О месте последней личности...

— ... в истории? — подхватил Антон Николаевич.— Что-нибудь плехановское?..

— Нет, это о другом,— сказала Инга.— Так. Взгляд в нечто... Один захолустный офицер...

— Не люблю военных,— фыркнула Вава.

— Не скажите, среди них случаются любопытные экземпляры,— возразил отец.

— Этот любопытный,— кивнула Инга, прихлебывая кофе.

— Не расплескай кофе,— сказала Вава.— Ты сегодня, я вижу, в отличном настроении.

— Она всегда в отличном настроении, правда, девочка? — Татьяна Федоровна погладила дочь по голове.

— Всегда и везде, мамап. Все у меня прекрасно и удивительно. Лет до ста и так далее — равнение на ма тант. Сегодня кофе само совершенство! — улыбнулась она отцу.— Папа, чего они от меня хотят?

— Уймитесь, женщины,— вступился за нее отец.— Как, Ингуша, эта работа в пределах досягаемости?

— Да. Целых два экземпляра. Но это не по моей теме. К Бекки Шарп отношения не имеет.— Зазвонил телефон, и она поднялась.— Скажите, что я уже ушла.

— Утром звонят по делу,— проворчала Вава и сняла трубку.— Ингу Антоновну? Пожалуйста.

— Что ж ты, Вава...— Инга покачала головой.— Да,— сказала в трубку.— Доброе утро, Алексей Васильевич. Да. Уже выхожу. Как всегда. В библиотеке. Как всегда.

Она положила трубку.

— Я же сказала: меня нет.

— Неприятный звонок? — насторожилась мать.

— Просто занудный,— солгала Инга.— Так, один доброхот. Предлагает написать за меня основополагающую часть тошниловки.

— Это неприлично,— не удержалась Вава.— Каждый должен работать за себя. И потом, что у тебя за язык: тошниловка, все эти суффиксы — овки, евки — никуда не годятся.

— Знаю, знаю, как можно! — «газироака» вместо газированной воды! — Инга почувствоаала, что ее втягивают в давнишний семейный спор.— Но великий и могучий должен все-таки развиваться.

— Но не за счет улицы,— отпарировала Вава.

— Дискуссия по вопросам языкознания переносится. Гуд лак! — Инга потерлась о плечо отца.

— К ужину тебя ждать? — спросила Вава.

— Ни в коем разе! Мне и так пора расставлять юбки.— Инга с притворным ужасом оттопырила пальцы около узких бедер.

— Надо меньше есть в ресторанах,— не растерялась Вава.

— Мам,— по-детски протянула Инга.— Ну что она ко мне?..

— Не трогайте ее, Вава. Она не обжорнишка... Иди, девочка.— Татьяна Федоровна шутлиао, как в школьные времена, вытолкнула дочку из комнаты.— Не надо к ней привязываться. Она ведь умница,— сказала Татьяна Федоровна негромко, скорее себе, чем Ваве.

— Собственно, это и обнадеживает,— кивнул Антон Николаевич.

В вагоне метро Инга вспомнила о Кутафьей башне и заглянула а папку в надежде: вдруг письма там нет. Она понимала, лейтенанту позарез нужно, чтобы письмо попало в башню, и ей было стыдно, но уж очень не хотелось идти в Кремль. Ну отдаст письмо днем позже — какая разница? Все равно у нас везде волынка.

Письмо лежало в папке.

Хорошо бы встретить какого-нибудь знакомого. Вдвоем не так страшно,— подумала Инга.— Вдруг он согласится отдать письмо? А у меня просто идиосинкразия к таким учреждениям.

Медленно поднимаясь из метро, она оглядывалась по сторонам. Читатель сплошным потоком тек по лестнице, торопясь к открытию зала, чтобы захватить места получше,

а главное, не ждать на выдаче. Инга шла не спеша, и ее толкали со всех сторон. Один полузнакомый молодой человек из третьего научного, кивнув, проплыл мимо. Он, видимо, не прочь был приолокнуться за Ингой. Его можно было бы попросить. Он посмеялся бы над ней, но не отказался пойти в башню. Однако поток проволок его мимо, а окликнуть его она не могла, потому что не знала, как его зовут.

Инга выбралась на улицу, но к Кремлю не пошла, а повернула вглубь библиотечного дворика. В зал еще не пускали, и хвост растянулся на весь дворик. Полузнакомый молодой человек стоял метрах в семи от конца очереди — он махнул Инге рукой: мол, становитесь впереди меня. Но тут чуть впереди него Инга увидела своего приятеля Игоря Александровича Бороздыку, того самого, который ждал ее вчера в переулке. Игорь Александрович тоже махнул ей, и Инге пришлось стать впереди него.

Она была бесконечно благодарна Игорю Бороздыке: он помог ей пережить трудные для нее месяцы после разъезда с мужем. Но со временем он стал довольно назойлив — без конца звонил, ждал ее на всех углах, таскал на разные просмотры, а отказывать ему было трудно: уж очень он был обидчив. Однако взять его в Кутафью башню было неловко: несмотря на его рассеянность и близорукость, никогда нельзя было сказать, что он видел, а что нет, и было неясно, заметил ли он ее вчера на Доминиковке с лейтенантом. А на конверте был четко напечатан адрес: город и в/ч такая-то... (В последний миг, вопреки Гришкиным наставлениям, Курчев решил сообщить адрес полностью, чтобы скорее получить ответ.)

Бедный лейтенант. Но что я могу поделать? — подумала Инга, но тут двери открылись, и гуманитарии ринулись к вешалке.

Игорь Александрович сел с ней рядом и мешал ей сосредоточиться. Он что-то черкал в небольшом иностранном блокноте, но видно было, что черкает он, в основном, для блезиру, а пришел сюда из-за Инги — в надежде вытащить ее на лестницу и приступить к выматывающим душу излияниям, в подтексте которых одно: выходите за меня замуж.

К тому же Инга была раздосадована своей робостью. Все-таки надо было с утра отнести письмо в башню. Ведь между двумя и тремя пополудни в библиотеку явится Алеша Сеничкин, и тогда ей и вовсе трудно будет туда вырваться.

Все это отчаянно мешало, и главу, которая и раньше не больно шла, сегодня как заклинило... Инга откладывала уже шестую страницу, а на каждой осталось не больше трех-четырех фраз, да и те были зачеркнуты-перечеркнуты.

Не мудри,— уговаривала она себя.— Как думаешь, так и пиши. Стиль — это человек. И нечего мудрить над стилем. Строчи, и все! Ведь для чего-то ты села писать? Пиши, как лейтенант. Вон взял и настрочил сорок страниц... Хорошо ему: он ничего не понимает в теперешних требованиях, пишет, как на деревню дедушке... А писал бы для ученого совета, посмотрела бы я на него,— возражала она себе.

«В наш век, когда все дороги ведут к коммунизму, когда сфера господства монополистического капитала все более...» — вспомнился ей голос лейтенанта за дверью. Она узнала, откуда эта фраза: Алеша Сеничкин подарил ей коллективный сборник со своей статьей, написав не на титуле, а в середке, рядом с заголовком статьи, по-английски: «Инге, строгой и красивой, на суд и расправу». Но статью он написал в соавторстве с еще одним философом, так что над кем творить суд и расправу, было неясно.

Все так, и все же Алеша Сеничкин Инге нравился. Однако лейтенант в мятом кителе и огромных плохо начищенных сапогах стоял перед ней укором и мешал думать о Сеничкине. А может быть, ей не хотелось думать о Сеничкине из-за его вчерашней свары с лейтенантом, хотя на самом-то деле вовсе не из-за этого, а из-за его жены, Марьяны.

Эта следовательница по особо важным преступлениям не то чтобы напугала Ингу, но такие приятные и легкие отношения с Алешей превратила в запутанные и нудные. Что и сказать, неглупый способ зазвать домой соперницу. Даже честный: смотри, мол, сравнивай: я — жена, а ты кто — любовница? Но ведь Инга еще не любовница... Тьфу, будь оно неладно, это слово!.. Марьяна самолично вытащила ее вчера из библиотеки, сказав: «Алексей Васильевич просил вас прийти». И все сразу стало абсолютно ясно, но от этой ясности на душе муторно.

И зачем, спрашивается, Алеша, обычно такой воспитанный, кричал на лейтенанта, как склочный сосед из-за показаний электросчетчика? А может быть, он кричал нарочно, чтобы тот испугался? В армии, вероятно, за такой реферат может здорово влететь, и Алеша просто тревожится за лейтенанта. И все-таки не надо было кричать. Ведь с ней, с Ингой, Алеша был мил и сдержан. А ведь прояви он настойчивость, и они бы уже были вместе, то есть не вместе, но близки... Заупрямься он, она бы ему отдалась, как писали в старинных романах, или переспала бы с ним, как говорят нынче.

Но он был так терпелив и нежен, словно хотел ей показать, что отношения с ней для него не эпизод, а нечто большее, и он не торопится, потому что впереди у них — вечность.

Что ж, она ему благодарна: ведь он мог воспользоваться трудным для нее временем после разрыва с мужем. Он с ее мужем был коротко знаком — и по работе (напечатал рецензию у мужа в журнале), и по сборищам, и не исключено, что и по холостым компаниям. Да они все друг с другом знакомы. И муж, и Алеша, и Игорь Бороздыка. Даже Марьяна Сеничкина тоже прошла через эту компанию, правда, в свои еще незамужние времена. Центром компании или, если хотите, круга был Ингин бывший муж Георгий Ильич Крапивников, человек, казалось бы, незнаменитый, даже неостепененный, и должность занимавший вполне незаметную. Но именно он был главным в этом кружке и первым любовником всех посещавших кружок — он собирался в его квартире — женщин. Его даже окрестили «феодалом», намекая, что он присвоил себе право первой ночи.

Впрочем, не о муже речь. С мужем у нее все кончено... Муж несчастный, пусть и яркий, во всяком случае, способный человек, промотавший себя. Мужа можно лишь пожалеть... И Инга спокойно разговаривала с ним по телефону и в библиотеке. Даже согласилась встретить с ним Новый, 54-й год, хотя разъехались они еще в сентябре. Как видно, очередной роман Георгия Ильича был на исходе, и он не нашел ничего лучшего, как пригласить Ингу.

Что ж, Инга не отказалась — ей было все равно. В конце концов, чем не достойное завершение злополучного года: сойтись в феврале, расписаться в марте, разъехаться в сентябре и поставить точку 31 декабря.

На этой встрече она была единственной ничейной женщиной — ни жена, ни знакомая, ни разбери-пойми. И все ухаживали за ней наперебой: и Бороздыка, и только что представленный ей Сеничкин, и все остальные мужчины. Там она и увидела впервые Марьяну, к которой отнеслась без всякого интереса, та же, напротив, приняла Ингу всерьез.

— Не идет? — Бороздыка оторвался от блокнота. Голос у него был красивый, не вязавшийся с его худым очкастым лицом и тонкими усишками.

— М-м-м...

— Найдите другой поворот. Скажем, напишите, что Теккерей завидовал Диккенсу.

— Но он действительно завидовал,— занятая своими мыслями, громко сказала Инга.

— Нельзя ли потише?! — буркнул старушечий голос.

— Выйдем,— шепнула Инга.

День все равно пропал. Бороздыка послушно поплелся за ней по широкому проходу. Хотя ему было за тридцать, ходил он, как мальчик, который подражает взрослой походке.

— Но вы же не напишете о том, что у него комплекс неполноценности? — Бороздыка нагнал ее уже на выходе.

— Не в этом дело. Я просто не могу писать. Понимаете, не умею.

— Не говорите глупости,— сказал Бороздыка.

— Ничего не глупости. Я бездарь. Бездарь из интеллигентной семьи, оттого и потащилась в аспирантуру. Раньше шли в сельские учительницы, в народницы, а я не могу без ватерклозета, вот и полезла в литературоведы.

— Экая чепуха. При вашем удивительном уме... Вам не идет курить,— сказал Бороздыка.— Но, возможно, я неправ.

— Вы всегда правы. Только не преувеличивайте мои возможности. Я не идиотка, но вчера, например, я встретила женщину куда умнее себя. И мужчину — тоже. То есть, он-то как раз глуп, но это глупость поверхностная. А по-настоящему он очень умен. Хотите прочесть его реферат?

— С удовольствием,— сказал Бороздыка потускневшим голосом.— Кто такой? Я о нем слышал?

— Нет. Это один технический лейтенант. Реферат о месте последней личности в обществе. В обществе довольно абстрактном, и вообще там все на живую нитку... но очень любопытный. Я обещала ему, что вы прочтете.

— Ради вас я выкрою время,— заважничал польщенный Бороздыка.

Печатался он мало — изредка тиснет маленькую в две-три страницы рецензию. Поэтому просьба неведомого лейтенанта его вдохновила — ему и в голову не пришло, что лейтенант знать его не знает, что просьба исходит от Инги.

Бороздыку печатали вовсе не потому, что он писал хорошо. В редакциях ему заказывали, даже навязывали всякую мелкую работу, так как Бороздыка считался человеком нуждающимся. Его бросили две жены, причем у первой был от него ребенок (считалось, что Игорь Александрович его содержит, хотя жена давно отказалась от его мизерной и нерегулярной помощи), и сердобольные сотрудницы журналов старались обеспечить его рецензиями, чаще внутренними, не так уж плохо оплачиваемыми, и он мог бы жить вполне сносно, если б не ленился.

На войну его не взяли из-за близорукости, и он окончил университет, а затем аспирантуру. Но дальше дело застопорилось. Едва он начинал читать где-нибудь курс, как его тут же увольняли, потому что читал он, несмотря на отличный голос и обширные сведенья, из рук вон плохо, к лекциям не готовился и был ненаходчив. Студенты задавали ему вопросы на засыпку, он мешался, дерзил им, и его увольняли. Он перешел на заочные факультеты, где народ попроще и стремится не к знаниям, а к диплому. Зачеты он ставил охотно, на экзаменах неудов и троек никому не лепил, но не по доброте, а по безразличию и из боязни неприятностей. Неприятностей все равно избежать не удава-

лось, и он увольнялся отнюдь не по собственной инициативе. С каждым годом устраиваться становилось все трудней — все больше людей защищалось, им нужны были кандидатские ставки, и в конце концов Бороздыке пришлось переключиться на внештатную работу, и он пробавлялся мелочьми, надеясь в свободное время написать нечто серьезное, как он говорил, для души и вечности.

— Где вы столкнулись с армней? — спросил он, старательно выпуская спиральку синего дыма.

— Была вчера в гостях у Сеничкиных. Технический лейтенант — кузен доцента.

— Радеют родному человечку? — усмехнулся Бороздыка.— Так, твк...

Всякое упоминание о Сеничкине выводило его из себя. Он чувствовал, что между Ингой и доцентом что-то завязывается.

— Ничего подобного,— сердито сказала Инга.— Реферат совершенно непроходимый. Доцент учинил брату страшный разнос. Проходимую работу я бы не стала просить вас читать,— добавила она примирительно.

Игорь Александрович тут же взбодрился:

— Может быть, уйдем, вы устали?

— Нет. Надо работать. Ну, а вы как? Что-нибудь набросали?

— Что я? — вздохнул Бороздыка.— Я, Инга, другой. У меня тьма недостатков, зато я начисто лишен тщеславия. Одному на миллион есть что сказать, а все пишут, пишут из одного честолюбия. Гордыня-матушка... Я скорей извиню графомана: не ведает, что творит, и творит бескорыстно. Бескорыстно и безнадежно. А эти, даже говорить не хочется...

Это он об Алеше,— подумала Инга.

— И потом, сами понимаете, что сейчас скажешь? Ведь за что ни возьмись, все нельзя!..

— А «Об искренности»?

— Но это же собрание баек! Мы ведь с вами говорили...

Они действительно говорили об этой статье. Два месяца назад Бороздыка звонком ни свет ни заря поднял Ингу с постели, кричал, что появилась потрясающая, великолепная статья, переворот в мыслях, новый катехизис. Теперь эту же статью он назвал собранием баек.

— Все перекрыто. В России всегда было так.— Он вошел а раж.— Если что напечатать и удавалось, то только гению с его безумной энергией. А просто образованному человеку никогда не удавалось пробиться. Вот я. Я не гений. Но у меня собственный путь. Я мечтал написать историю русской мысли. Начал бы я с Чаадаева. На Чаадаеве все сошлось. Ведь Чаадаев — это все равно что...— Однако сравнения Игорь Александрович подыскать не смог.— Чаадаев — это все. В нем начало и конец русской идеи. Без Чаадаева вам никак нельзя.

— А без Теккерея? — спросила Инга.

Неделю назад, когда она плакалась ему, что ее диссертация никому не нужна, Бороздыка возбужденно доказывал ей, что без Теккерея Англия не Англия и даже Европа не Европа, что «Ярмарка тщеславия» — не просто книга и что вся наша жизнь это и есть ярмарка именно того самого тщеславия.

— Теккерей? — опомнился Игорь Александрович.— Что ж, Теккерей...— Ему захотелось сказать какую-нибудь гадость о Теккерее, потому что вводную главу к Ингиной диссертации предложил написать Сеничкин. Месяца два назд Бороздыка сам вызвался набросать эту главу, но то ли не удосужился сесть за нее, то ли у него ничего путного не вышло; поэтому, когда за это дело взялся доцент, он даже обрадовался. Стряпню доцента он разругает в пух и прах, а там, глядишь, перелопатит ее так, что ни доцент, ни Инга не узнают.

— Теккерей для Англии все равно что Чаадаев для России,— нашелся Игорь Александрович: он не оставлял надежды. В конце концов Сеничкин пройдоха, к тому же женат на работнице грозного ведомства. С такой шутки плохи.— Нисколько не меньше, чем Чаадаев,— важно добавил он.

— Спасибо. Вы меня утешили,— сказала Инга.

Они вернулись в зал. Но работа не двигалась. Только росла пачка измаранных страниц, и в конце концов Инга сдалась и стала рисовать на полях юбки и кофточки.

Быстрей бы, что ли, обед. Сдам книги и прямо из буфета отправлюсь в эту самую башню.— Идти туда натощак не хотелось.

— Если бы не эта неблагодарная поденщина,— сказал Игорь Александрович, когда они наконец засели в буфете,— я бы написал книгу. Именно книгу, а не статью, не рецензию. Книгу. Почти беллетристическую.

Он воодушевился и, неловко цепляя трехзубой вилкой пельмени, разливался, как перед выпивкой:

— О Булгарине. Да, да, о том самом Фаддее Булгарине. Пушкин был пристрастен. Мог ли он с его гармонией понять издателя «Северной пчелы»? Булгарин — это фигура для Достоевского. Это Свидригайлов, Лебезятников, Лебедев, кто хотите,— но это чисто российский тип. Знаете — «широк русский человек, не мешало бы сузить»? Я все брошу. Сяду на хлеб и кашу, но напишу.

— Конечно! — Инга ободряюще кивнула.

Пусть его, только бы отвязался. Господи, какая тоска. Тут не то что главу писать, тут жить не захочешь. Нудит, нудит. До обеда у него Чаадаев главный человек, в обед — Булгарин. Позавчера звонил ночью, предлагал писать вместе: я — о Теккерее, он — о Диккенсе... Ну хорошо, помог, ну рыдала тебе в жилетку, ну спасибо. Но ведь не вечно расплачиваться? Я же не собес. Гордится: не тщеславен, не карьерист, не пролаза. Так не тщеславен оттого, что тщеславиться нечем. Не карьерист оттого, что лентяй. А насчет пролазы — еще не ясно... Пролезает, жалостью берет — и там, и здесь, и еще где-нибудь на свой хлебец с маслом и швейцарским сыром наскребывает. Тоска...

— Обязательно напишите, Игоруша,— сказала она.— Идите прямо домой, садитесь за работу. Тут я вас заражаю своей никчемностью. Ну зачем вам таскаться в библиотеки? Вы сами замените любое хранилище, и потом — у вас дома нету Вавы. Идите,— повторила Инга.— Все равно мы с вами лишь мешаем друг другу. К тому же скоро сюда явится доцент Сеничкин.

— Ну что ж...— Бороздыка в раздражении встал.

— Не надо сердиться по пустякам,— сказала она холодно и почувствовала, что всего охотней сбежала бы сейчас домой и прикорнула бы на диванчике, и пусть Вава ворчит сколько угодно.

— Идите, Игоруша,— сказала она.

И что я в ней нашел? — думал Бороздыка.— Обыкновенная ломака. Хватит! Мы и так потеряли лучшие годы. За работу! Даже лучшая девушка дать не может больше того, что она может. За работу! За работу! «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, Адонис, женской лаской смущенный»,— мурлыкал он, спускаясь к гардеробу. Жизнь была прекрасна.

Над лучшим созданием божьим
Изведал я силу презренья.
Я палкой ударил ее...

— вдруг продекламировал он, и две девушки шарахнулись от него.

Чуть пританцовывая, Бороздыка прошел к вешалке и там увидел Сеничкина. Тот снимал полуспортивное пальто и пыжиковую шапку.

— Приткни куда-нибудь, отец,— сказал доцент гардеробщику.— Я ненадолго.

— Зачем же притыкать? Мы повесим,— ответил гардеробщик и почтительно принял пальто.

— Салют, Игорь Александрович! — обрадовался Сеничкин.— Что так рано?

— Дела,— хмуро отаетил Бороздыка, протягивая одной рукой рубль и номерок гардеробщику, а другой, чтобы не давать ее доценту, пожимая сеничкинский рукав.

— Был у вас в конторе. Задвинули вы меня, милорд,— говорил доцент, не замечая холодности Бороздыки.

— В майском пойдет,— сказал польщенный Бороздыка.

В журнале он не работал, а лишь отвечал на самотек, но ему случалось и замещать заболевших или ушедших в отпуск сотрудниц, чем он немало гордился. Сеничкин же думал, что если человек сидит в редакции, стало быть, на что-то там влияет.

— Май — это поздно! — вздохнул Сеничкин.— До мая столько всего переменится!

— Перемены идут наверху, они лишь для больших деревьев опасны. А не для кустарника...— пустил шпильку Бороздыка.— У вас, по-моему, что-то против мальтузианства,— добавил он, желая унизить соперника. Дескать, разве запомнишь всякую мелочь.

Но Сеничкин и подумать не мог, что Бороздыка к нему не расположен, и повернул разговор по-своему.

— Да, вы правы. Это всего лишь начало. Подступы к большой работе: личность на Западе. И Мальтус тут постольку-поскольку. Я его ведь даже не называл. Это вы в подтексте разглядели,— польстил он Бороздыке.

Как об стену горох,— подумал Игорь Александрович, чувствуя, что ему не пробить толстокожее добродушие доцента.

Он похлопал себя по карманам и охнул: блокнота не было. Заглянул за гардеробную стойку: не уронил ли туда. Старичок-гардеробщик брезгливо взглянул на мечущегося Бороздыку. Он встречал людей по одежке и провожал по ней же, и в Игоре Александровиче видел вечного студиоза, то есть самую презираемую фигуру. Судорожно сунутый для форсу рублишко ничего тут не менял.

— Потеряли что-нибудь? — спросил Сеничкин.

— Блокнот. Записи...

— Может, в зале оставили? — Доцент стал стаскивать с Игоря Александровича старенькое пальто, но Бороздыка вцепился в обшлага, словно доцент был ночным грабителем.

— Нет-нет. Не люблю возвращаться.
— Ну, вам видней,— удивился Сеничкин и двинулся к лестнице.
Все по Фрейду,— подумал Игорь Александрович.— Все по этому пархачу Зигмунду. Хотел вернуться и нарочно блокнот забыл. Жаль, записи стоящие...
Но дольше разговаривать с доцентом, да еще при Инге, было выше его сил, и Бороздыка напялил ушанку и закрылся в телефонной будке. Восторг освобождения от бесплодной влюбленности и жажда работы не покидали его, пока он набирал номер и слушал протяжные гудки.
Ах, да ведь сейчас перерыв! — сообразил он и поглядел на большие электрические часы напротив будки.— До двух оставалось минут шесть, и Игорь Александрович позвонил в журнал.
— Серафима Львовна,— сказал он самым любезным голосом.— Нельзя ли Крапивникова? Спасибо... Юрка, ты? Ну, в общем у меня пошло. Я начал...
— Это ты, Игорь? Можешь не заходить. Верстки не будет.
— Я писать собрался,— обиделся Бороздыка, чувствуя, что вдохновение выходит из него, как воздух из прохудившейся камеры.— Буду писать о Булгарине.
— Извините,— послышалось в трубке. Видимо, у Крапивникова кто-то сидел.— О Фаддее? — В голосе послышался интерес.— Очень любопытно. И, знаешь, весьма современно. Листа два можно будет пустить у нас. И у соседей полтора... Много накарябал?
— План готов и структуру вижу.
— Жми без плана. Первая фраза есть? Прочти.
— Очередь собралась,— соврал Бороздыка. Минутная стрелка на вестибюльных часах уже торчала строго вверх, как на компасе.— Очередь,— повторил Игорь Александрович и для убедительности постучал пятиалтынным по стеклу. Но чувствуя, что приятель не верит, выпалил скороговоркой:
— Пушкин был неправ. Гении вообще ошибаются чаще обычных смертных.
— Чудесно, Ига. И вовсе на Виктора Борисовича не похоже,— в свою очередь соврал Крапивников.
— При чем тут Шкловский? Я его на дух не переношу,— обрадовался Бороздыка и дернул за рычаг, потому что второй фразы не придумал.
К чему блокнот? — подумал он.— И к чему эти вымученные аспирантки, эти несчастные комнатные пальмы? «Настоящие женщины не поедут за нами...» — вспомнил он строчку одного хотя и не печатавшегося, но известного поэта, исчезнувшего в конце сороковых годов.
— Врешь... Настоящие поедут. А вот эти комнатные останутся в Москве,— бормотал Бороздыка, набирая номер.— Поедут,— повторил увереннее, хотя никуда ехать не собирался, а всего лишь хотел написать книгу об агенте III отделения.— И Фрейд ни при чем: блокнот я оставил по рассеянности.
— У аппарата,— ответил женский голос.
— Хабибулину.
— Минуточку...
В основе всего не Фрейд, не подсознательное, а ясное и четкое знание: вот не звонил же Зарке вчера, когда она брала ребенка,— рассуждал Игорь Александрович, забыв, что вчера он мерз в Докучаевом переулке.
— Зарема? Как ты сегодня? — бодро спросил, услышав короткое «аллё».— Занят. Вчера был занят. В журнале горы работы. Сегодня? Сегодня могу. Верстки нет. Через полчаса буду. Целую.
Что ни говори, а жизнь прекрасна. Его ждет женщина, а завтра с утра — работа. Застегивая на ходу пальто, Игорь Александрович пересек внутренний дворик, повернул на улицу Калинина и в гастрономе Военторга купил большую бутылку нелюбимого им портвейна «777» и плоский торт «Сюрприз». Бутылка, от которой завтра будет болеть голова, никак не лезла в карман. Торт тоже неудобно было нести, и, подходя к стоянке такси, Бороздыка уже не испытывал восторга, а лишь злился на Ингу Рысакову.

2. СТРАСТИ ПО ДОЦЕНТУ

Вернувшись из столовой и обнаружив рядом с томиками Теккерея черный под кожу блокнот, Инга не подумала о фрейдовской теории подсознательного, а стала покорно ждать Игоря Александровича.
Ну и пусть...— решила она.— Увидит Алешу и сам отстанет, а то жизни от него нет. Сам ничего не делает и другим не дает. Были же у меня какие-то мысли. Даже самые простые мысли могут быть интересными. Вон тот офицер написал: «Пусть каждый скажет себе, где он свободен, а где зависим, в чем его свобода, а в чем скованность, причем пусть будет откровенен всюду — в большом и в ничтожном,— и, честное слово, эти признания будут интересней самого великого романа».

Там как-то по-другому сказано,— подумала она,— но это ведь не стихи. Сразу не запомнишь. Офицер — молодец. Но ведь и мне тоже что-то хотелось сказать о Теккерее, да и не только о Теккерее, а о нас: он ведь удивительно современный. Недаром Теккерей не слишком верил в порядочность, то есть в изначальную порядочность. Тощий Доббин — ведь всего лишь слабая тень диккенсовских чудаков. Люди часто порядочны, когда им выгодно, когда порядочными быть легче, чем подлецами. Вот Алеша Сеничкин порядочный человек, а как кричал вчера на офицера. Идеологию на помощь призвал, будто нельзя обойтись одной логикой. Ну, хорошо... Пусть брат чудак и неуч. Но бескорыстие надо уважать. Пусть брат чурбан.— Инга вспомнила некрасивое, топорно сработанное лицо лейтенанта.— Тем более зачем кричать?.. Но, скорее всего, он хотел уберечь брата. Может быть, для военных крик понятней. Ведь армия, кажется, вся построена на командах...
...У меня тоже были мысли,— переключилась она на себя.— И Теккерея я взяла не потому, что остальных викторианцев разобрали. А хотя бы потому, что живее Бекки Шарп и женщины в английской прозе тогда не было. И я не хотела бы с ней, живой, встретиться на улице или в гостях. Как, например, вчера.— И тут Инга увидела подходившего к ее столу Сеничкина, все такого же стройного и изящного, хотя под его серым в мелкую клетку пиджаком был надет пуловер.
— Успешно работалось? — довольно громко спросил он, присаживаясь на место Бороздыки.
Злая старуха, три часа назад шикнувшая на Ингу, на этот раз тоже оторвалась от книги, но ничего не сказала.
— Средне,— ответила Инга и стала собирать в папку листы и блокнот Игоря Александровича. Вечером,— решила,— отдам ему вместе с рефератом.
— У меня тоже сегодня не клеится,— вздохнул Сеничкин, намекая, что никак не придет в себя после вчерашнего.
Инга его поняла. Но сегодня ей не хотелось, чтобы Сеничкин думал, будто она с полуслова понимает его.
— Мне сказали, что я бездарность.
— Это мой брутальный родич так распоясался? — спросил Сеничкин, открывая перед Ингой дверь.
— Нет. Родич у вас вполне милый. Зря вы на него напустились. Человек возлагал надежды на реферат. Для него ведь аспирантура это еще и избавление от муштры.
— Смеетесь? Какая там муштра? У него там сплошное безделье. Он сам в офицеры полез. По лени и бесхарактерности.
— И все равно у вас нет родственных чувств. Нет, не насовсем,— улыбнулась она девушке на выдаче.— Я еще вернусь... Вам куда? — спросила она Сеничкина, когда они спустились в раздевалку.
— Я за вами зашел,— улыбнулся тот. Ему не хотелось ссориться, и он принимал Ингино раздражение как вполне понятное следствие вчерашней встречи с Марьяной. Сейчас они покинут библиотеку, оседлают где-нибудь столик, и все уладится.
— Мне надо в Кремль! — сказала Инга.
— Ого! — Сеничкин решил, что она шутит, но поскольку смысл шутки он не понял, то вновь заслонился все той же снисходительной улыбкой.— И долго там пробудете?
— Зависит не от меня.
— Я все равно подожду,— сказал Сеничкин, принимая у гардеробщика ее выворотку.
Солнце на минуту пробилось сквозь быстрые кучевые облака, и на внутреннем дворике стало веселей и просторней. Инга едва сдерживала смех. Алеша и выглянувшее солнце как бы подталкивали ее к этой распроклятой башне, вернее, даже не к башне, а к пристройке.
— Может, мне пойти с вами? — предложил Алеша, когда они пересекли Моховую улицу и подошли к Кремлю.
— Но вас ведь не просили...— Инга чувствовала, что ему тоже не по себе, будто они идут не в Кремль, а в другое учреждение совсем на другой площади.— Спуститесь в сквер. Я постараюсь не задержаться.
Она вошла в типичное бюро пропусков с окошечком, с сержантом внутренних войск и стоящими вдоль стены откидными, как в кинотеатре, стульями. На одном из них сидел странный человек в тулупчике, не то пьяный, не то душевнобольной.
— Тогда к Вячеславу Михайловичу,— ныл человек.
— Товарища Молотова тоже нет,— равнодушно ответил сержант.— Иди-ка, отец.
— Ну, тогда... к этому... к Микояну Анастасию Иванычу...
— Нету, нету. Все заняты,— повторил сержант.— В окошко, девушка,— сказал он Инге, когда она достала из папки конверт.
Какие они вежливые,— удивилась она и протянула конверт в окошечко.
— Хорошо, передадим,— сказал сидевший за окошком другой сержант.— У вас что-нибудь еще?
— Нет. Я не знаю,— смутилась Инга и повернулась к двери.

— Тогда к товарищу Первухину... С Первухиным собственноручно знаком,— не унимался душевнобольной.

Бедный,— подумала Инга и как непойманная птица выпорхнула из кирпичной пристройки.

Доцент ждал ее внизу в сквере. С тротуара была видна только его голова в большой пыжиковой шапке. Инга спустилась к нему.

— Не приняли?

— Приняли. Все в порядке.

Солнце запуталось в тучах. Но груз с души был сброшен, и Инга улыбалась.

— Куда пойдем? — спросил Сеничкин.

— Все равно. А лучше погуляем по скверу.

Сеничкин огляделся, словно искал на снегу следы автомобильных шин: не может ли тут появиться на своем «козле» Марьяна.

— Знаете, я, как все мужчины, не умею любезничать стоя.

— Знаю. Читала в «Прощай, оружие!». Но вы не лейтенант Генри.

— А другой лейтенант, мой братец, разговаривал с вами на улице?

— Ваш брат хотел поймать такси, но удовлетворился подземкой. Впрочем, он повел меня в ресторан.

— Ну, и мы пойдем,— сказал Сеничкин, взял Ингу под руку и почувствовал себя увереннеей.

— А жены не боитесь? — спросила Инга.

— Боюсь,— признался Алексей Васильевич.— Но когда с вами, не так страшно.

Инга промолчала. Искренность всегда ее обезоруживала.

— Это целая история,— печально вздохнул Алексей Васильевич, сжимая ее локоть.— Вы, конечно, подумаете, что каждый народ достоин своего правительства, а каждый муж — соответственно... что браки заключаются на небесах, ну и — ты этого хотел, Жорж Данден...

Алексей Васильевич ожидал, что Инга его перебьет, но она молчала, слушала Сеничкина, не замечая холодного, бьющего в лицо ветра. Ей было боязно, стыдно и интересно.

— Я не говорил, но вы и без слов поняли, что́ вы для меня значите...— сказал Сеничкин.

Они прошли под Малым Каменным мостом.

— Видите ли, я не робкого десятка, но с вами робею...

После вчерашней встречи трех держав (так Сеничкин мысленно назвал вчерашний вечер) он решил поговорить с Ингой начистоту. Он чувствовал, что перетончил и вотвот проворонит ее.

— Вы особенная,— сказал Сеничкин.— Для меня особенная, поэтому я так неуверен... Но я такой не всегда. То есть я на самом деле такой, с вами я настоящий. Все остальное — форма. Раньше я держался на одной форме. Нас в МИМО натаскивали... Но вы для меня — девятнадцатый век. У нас на кафедре были англичане. Прием, разговоры, тосты. Вы, говорили мне британцы, из другого теста. Вы не похожи на прежних советских людей. Наконец-то, восторгались они, в России появилась элита. Мы это приветствуем... Я с ними спорил. Какая у нас может быть элита? У нас всеобщее, равное и тайное образование, страна равнозначных возможностей. И вправду, какая я элита?

— Не скромничайте.

— Я ведь понимаю, что гублю жизнь. Но раньше это мне не мешало. Раньше я не влюблялся. Не любил,— поправился он.— Знаете, дом, жена. Правда, дом не мой. Ну и жена...— Он помолчал с минуту.— Иногда я чувствую, что все это происходит не со мной...

Он чувствовал, что лишь жалостью может снова расположить к себе Ингу.

— Элита... Смешно... Я как-то жил. Шел впереди других, и все само шло в руки. В двадцать два — диплом, в двадцать пять — кандидат, в двадцать семь — доцент... Можно продолжить список и в перспективе. Докторская. Профессура. Этапы большого пути. Но что это за путь, если все идет по накатанному?

— А чем это плохо? — сказала Инга.— Вы очень способный человек. У вас все отлично складывается.

— Нет, не все. И вы это знаете.

Ему хотелось сказать, что ее, Инги, у него еще нет,— чтобы она его опровергла. Он и сам не смог бы объяснить толком, для чего ему она. Он ее хотел иначе, чем других женщин. Пусть сильнее, но как-то по-иному, более сложно, что ли. Ему казалось, что это его желание исчезнет не скоро: и он был даже не прочь жениться на Инге, несмотря на неприятности в семье и на кафедре, какие повлечет за собой развод с Марьяной. Он чувствовал, что влюблен, потому что ему хотелось делать что-то другое, необычное,— и это чувство было для него внове. А то, что он делал ежедневно, свою обычную работу,— выполнять на порядок лучше. Вчера Борькин реферат оскорбил его еще и потому, что понравился Инге. Это совсем не походило на его страсть к Марьяне. С той он спал на второй день знакомства.

Инга вовсе не казалась бесплотной. Даже на пустой, продутой ветром набережной он чувствовал через дубленый рукав ее руку, живую и тонкую. Он знал, что ей не безразличен. Инге, а не руке. Руке, наверное, тоже.

И все-таки он тянул с самого Нового года. «Женщина должна созреть. Что толку есть неспелые плоды?» — любил повторять Сеничкин, хотя сам не придерживался этого правила. Заведя тонкую игру с Ингой, он восторгался своей выдержкой. И вдруг в эту игру вмешалась Марьяна, и весь театр, как говорится, накрылся. Все стало зыбким, лживым и неблаговидным.

Нет, с Марьяшкой не расплюешься,— подумал Сеничкин, и улыбка раздвинула его губы, которые вчера в полутьме коридора кусала жена, жадно сливаясь с ним, словно он был ей не муж, а новый любовник, а коридор был чужим подъездом.

— Да, Марьяна — личность,— сказал Сеничкин через полчаса в пустом светлом ресторане, обретая после двух рюмок холодной водки уверенность лектора.— Понимаете, Инга, я не собирался закрепощаться. У нас все шло на курьерских, и казалось, вот-вот расстанемся... Марьяна старше меня на год. Она, как говорит моя мать, росла на работе, а я еще только подбирал отмычки к Мальтусу и запарывал диссертацию. Вернее, не запарывал, но мог бы запороть. Зачем я это рассказываю? Вам, наверное, неинтересно?

— Наоборот.

Инга тоже выпила ледяной водки, и водка побарывала ее невыспанность, усталость и недовольство собой. Она радовалась, что ресторан пуст.

Хорошо здесь,— подумала Инга.

Несмотря ни на что, ей хотелось положить ладонь на рукав Сеничкину, а еще бы лучше прижаться к нему. И пусть приходят сюда любые мимошники, пусть станет тесно. Все станут танцевать, и он ее крепко обнимет. Они танцевали только однажды — на Новый год в тесной крапивниковской квартире. Тогда Алеша был пьян и попытался ее прижать. Тогда это ей не понравилось. Но сейчас она этого хотела.

— Налейте еще,— сказала она.

Холодная водка распрямила, как утренний душ. Не хмелеешь, а смелеешь,— подумала Инга.— Нет, до чего хорош — и как идет ему эта длинная тонкая сигарета! Плевать мне на прокуроршу. И зачем он про нее рассказывает? Знать ее не хочу!

Но Сеничкин продолжал:

— Вы, очевидно, догадываетесь, что все началось как обычный летний роман... Летний роман второй половины века. Летом в Москве пусто. Все на дачах. Лето 51-го года...— Отдаваясь воспоминаниям, Сеничкин словно сам летел, как конькобежцы за окном, и в то же время крутился вокруг себя, как фигуристки на дальнем пятачке, целиком отдаваясь движению и почти забывая о сидевшей напротив Инге.

Летний роман? Летний... А у нас — зимний. Ему некуда меня вести, вот мы шатаемся по кабакам и предаемся воспоминаниям...— думала Инга, забывая, что до вчерашнего дня ее даже радовало, что Сеничкин не торопит события.

— Представляете, у меня было мало обязанностей и много свободы,— продолжал Сеничкин, доверительно склонив голову, словно делился некоей тайной. К киевской котлете он почти не притронулся: был равнодушен к еде.— Когда много свободы, с женитьбой, естественно, не спешишь. Отец с матерью имели какие-то планы на меня, но планы у наших руководителей, как вам известно, вечно расходятся с реальностью...

Он стал говорить медленно и округло, как на лекциях, когда освещал щекотливые темы. В истории его женитьбы все было не так просто. Светлана Филипченко, дочь переведенного в Москву крупного деятеля, которую сватали ему отец и мать, его ничуть не раздражала. Наоборот, все в ней было в допуске и весьма кстати. И сами стати (как шутя срифмовал подвыпивший Алеша), и то, что молодая,— значит, можно лепить из нее что хочешь, и то, что влюблена по уши,— а рот будет глядеть, и то, что провинциальная,— в столице отшлифуется, зато не будет навязывать свои порядки. И — чего уж скрывать?— нравилось, что получит отдельную свою квартиру — не придется спать в кабинете отца, куда никого не приведешь,— заведет свой холодильник со своей водкой, бужениной, балыком, и каждого, кто ни придет, корми-пои до отвала. Сеничкин был щедр, в ресторанах всегда платил за всех; материнская, к счастью не унаследованная им, скаредность его прямо-таки бесила.

Сейчас все это он пытался объяснить Инге. Хотя что тут было объяснять, если вчера в министерском доме ей даже чаю не предложили. И если б не этот чудной лейтенант, пришлось бы ночью таскать, к неудовольствию Вавы, из кастрюли холодные тефтели.

Она со вниманием слушала Сеничкина, хотя чем дальше шел его рассказ, тем больше менялось ее представление о нем.

Так, скажем, приглядываешься к ужасно симпатичной ткани, ждешь не дождешься

стипендии, наведываешься в комиссионку и радуешься: еще не продали. Лежит в сторонке, никем не замеченная. И вот наконец, не вытерпев, наодолжив денег, бежишь на Арбат, и уже знаешь, что из нее сошьешь (платье десятки раз нарисовано на полях тетради, и туфли к нему есть), и вдруг вбегаешь в магазин, а ее продали. Правда, есть другая ткань, и тоже ничего. Но другая. Об этой не мечтала, к этой не приглядывалась, не рисовала на полях. Но деньги одолжены, делать нечего — берешь эту, другую, и всем говоришь, что она та самая, замысленная, к которой неделю присматривалась.

Да, это был другой Сеничкин. Милый, симпатичный, но жалкий. А ведь тот, первый, был даже не продан, просто выдуман. И выдумку разоблачил вчерашний вечер с реальной женой, не той, новогодней, расфуфыренной, которую Инга почему-то не запомнила, а опасной в своей домашности Марьяной Сергеевной Сеничкиной, следователем, а не прокурором, как почему-то асе ее называли.

Было жаль Сеничкина, у которого дома не все ладно не только с женой, но и вообще. И комната у него какая-то нежилая, и семья малопривлекательная. Лейтенант недаром попросил отнести письмо ее, постороннего человека. И партийной рекомендации лейтенанту тоже не дали, и он, бедняга, в сущности из-за них четыре года мучается.

Типично чиновничья семья. Но ведь сам Алеша на чиновника не похож, а вот допустил же, чтобы его сватали, как чиновников в пьесах Островского.

— Понимаете, нечто кустодиевское,— разливался меж тем Сеничкин. Он уже рассказал про родительские планы с тонким, как ему казалось, английским юмором, без каких бы то ни было обид на предков. Это, дескать, ниже его достоинства. Это его-то при его элитарности они собирались сочетать с какой-то провинциальной девицей. Он уже забыл, что два года назад эта кустодиевская барышня не казалась ему смешной.

— Родители возлагали надежды на Новый, 52-й год. Они были званы туда...— Сеничкин возвел глаза к потолку.— Не на самый верх, но достаточно близко к верху. И предки воображаемой невесты — тоже... Так сказать, смотрины на высшем уровне. А наши смотрины, или негласная помолвка, намечались на даче этих нуворишей. Ритуал был разработан заранее. Наш «зис» без дополнительных фонарей должен был доставить на их дачу мужчин, женщины прибывали туда на нуворишском «зисе» с дополнительными фонарями. Я стоял за такси, но где его под Новый год раздобудешь? В общем, сплошной моветон. Насколько веселее было в этом году у Георгия Ильича.

— Не отвлекайтесь,— сказала Инга.

— Не буду,— засмеялся он.— Так вот, этот Новый год оказался моим днем «икс»... Ваше здоровье!

Сеничкин слегка захмелел. За окном темнело. Над катком зажглись фонари, и музыка рыдала о журавлях уже над всем парком, а не только над катком для фигуристок, и отзванивала в ресторанных стеклах.

Сеничкину было жаль себя и хотелось эту жалость передать Инге, поэтому он повествовал скорбно и несколько даже умиляясь своей скорби. Он уже был приятно пьян, и ему не хотелось задумываться, чего же он, собственно, хочет от Инги. Вообще-то, давно пора было снять гарсоньерку. Теперь у него нет-нет да и мелькали неучитываемые Марьяной гонорары. Но до сих пор он как-то перебивался без «хазы» — одалживал ключи у холостых или полухолостых приятелей. Несколько раз его выручал Жорка Крапивников, человек, отзывчивый на такого рода просьбы. Можно было бы обратиться к Жорке, но не оскорбится ли Инга? И достойно ли это джентльмена? Сеничкин верил, что у него к Инге возвышенная любовь, и ему хотелось, чтобы Инга для нее тоже созрела.

Вчера грубая Марьяна пыталась подорвать хрустальный дворец его мечты. И сейчас Сеничкин спешно заделывал следы Марьяниной диверсии, расписывая историю своего закабаления.

Сеничкинский «зис», отвезя родителей, должен был заехать на набережную за Киевским вокзалом, к одному школьному приятелю Алексея Васильевича. У того собралась мужская команда, она раздобыла магнитофон «Днепр-1», уникальную по тому времени игрушку. Филипченко ее еще не завели. У Сеничкиных она была, но Ольга Витальевна, как ни хотелось ей породниться с Филипченками, взять ее из дому не позволила.

Прикрыв глаза, чуть откинувшись в кресле, как на мягком сиденье отцовского автомобиля, Сеничкин вспоминал свою, пусть незадавшуюся, но милую жизнь. Она была для него полна глубокого смысла, и он бы искренне удивился, узнав, что кому-то она может быть неинтересна.

— И вот уже одиннадцать, а машины нет как нет. Мимо летят с сумасшедшей скоростью такси. Мороз страшенный. Клубы пара, как в Сандунах. Я в третий раз выбегаю на набережную. Четверть двенадцатого... Двадцать минут. Нервы взвинчены. К тому же дико неудобно перед ребятами. Команда в трансе. Того и гляди начнется бунт. Раздаются демобилизующие реплики: «Зачем нам эти кошки в мешке?» А дело в том, что, кроме меня, никто женской команды в глаза не видел. Вся изюминка была в том, чтобы встретить грядущий год в совершенно незнакомой компании, так сказать, «закрыв глаза, заре навстречу...» — процитировал Сеничкин один из афоризмов Георгия Ильича. Инга поморщилась, но, погруженный в воспоминания, Сеничкин ничего не заметил.

— Словом, бунт на борту обнаружив, хватаю магнитофон, и мы спускаемся со всеми бутылками на набережную. Жидкость обеспечивали мужчины, пищу — дамы. До Нового года остается четверть часа, а до треклятой дачи километров что-нибудь... затрудняюсь сказать, сколько... Набережная пуста. Вся Москва садится за стол. Вино, коньяк и водка плещутся в бутылках. От магнитофона мерзнут руки. На землю не поставишь. Штучка отечественная и, сами догадываетесь, капризная. Ребята костерят чудесное начинание, а у меня в мозгу прокручивается кинопленка. Так и вижу перед собой огороженную дачу и женщин за столом с закусками, без единой бутылки горячительного. Позор!

Наконец (каким чудом их сюда звнесло?) летят две «Победы» с зелеными глазищами, и мы, как Раймонды Дьен, чуть ли не ложимся поперек набережной: «Выручайте! Вся наличность ваша!» Ребята похрустывают сторублевками, как-то уламывают шефов...

Сеничкин все больше погружался в морозную, нервную бестолочь новогодней встречи. Водка была допита. Не прерывая рассказа, он поманил официанта и заказал бутылку сухого, мгновенно сосчитав, что одолженной на кафедре сотняги хватит за глаза.

— Представляете? Длинное шоссе, асфальт заметает снегом, а адрес у меня весьма приблизительный.

Он отпил из фужера холодного вина, которое любил больше водки, и вновь увидел это узкое шоссе, почти пустое и в обычные дни, а в ту ночь настолько вымершее, что даже спросить дорогу не у кого. Таксисты начинают ворчать.

Наконец фары выхватили белую, залепленную снегом фигуру рогатого лося — одну из вех,— и Сеничкин понял, что они не сбились.

— Где-то здесь,— сказал он как можно веселее, и километра через четыре начались дачи. Среди них надо было искать филипченковскую.

— Сворачивай к любой! — решился Алексей Васильевич, и таксист, нервничая, врезался крылом в проходную будку.

— Мать твою!..— в один голос крикнули пассажиры и выбежавший охранник. Голос у него был злобный и уже пьяный.

— Мать вашу! Куда претесь?

— Дачу Филипченко Андрея Фроловича,— крикнул Сеничкин.

— Давай назад. Чтоб духу вашего тут не было! — заорал охранник.— Тут живет...— И он назвал фамилию тогдашнего зампредсовмина, члена Политбюро.

— Ну вас к дьяволу, ребята,— сник шофер.— Бог с ними, с деньгами. Воля дороже.

— Не бойся, вмятину оплатим,— успокаивал его Сеничкин.

Они проехали еще шесть дач. Дальше начинался пустырь.

— Не поеду, сами идите,— заупрямился таксист.

— Володька, ну их к ерам! — крикнул водитель второй, еще целой «Победы».

— Все, ребята. Давайте гроши. Времени час без четверти. В гвраж надо.

Уговоры не помогли. Пришлось отдать три сотенных, плюс еще одну за помятое крыло, и выбраться на мороз с бутылками в авоськах и тяжелой самоговорящей бандурой. Ручек на ней не было. Темнота стояла адская, мороз прибавил, и ветер выл, как на набережной.

В крайней даче охранник оказался повежливей.

— Где-то там.— Он махнул рукой через пустырь.— Фамилию вроде такую слышал. Только вы бы, ребята, здесь не шатались. А то, сами знаете...— не стал уточнять, но трезвая измученная компания без того все понимала.

Сейчас в ресторане Сеничкин сдабривал рассказ юмором, но в ту ночь было не до шуток. Кто-то предложил пить прямо на пустыре, закусывая мануфактурой. Алеша оставил предводительские замашки, а только крепче прижимался к ненавистному магнитофону.

За пустырем что-то чернело. Видимо, там начинались другие дачи. Костеря мать, отчима и невесту, Сеничкин плелся через пустырь, загребая снег новыми импортными туфлями. Сзади кто-то уже откупорил бутылку. Сквозь вой ветра слышались бульканье и матерщина.

И вдруг в темноте вспыхнули фары, и раздался пронзительно-радостный, как крик колумбовского матроса: «Земля!», оглушающий и задорный, как выхлоп пробки шампанского, голос:

— Алеша! Алешенька!

И пустырь стал землей обетованной, на которой стоял «козел», «ГАЗ-63», и в распахнутой шубке летела навстречу Сеничкину следователь московской прокуратуры Марьяна Фирсанова. Оторвав руки от магнитофона, Алеша бросился к ней, как к судьбе, и обнял ее под беличьей шубкой, гордый и счастливый.

— Воссоединение фронтов! — крикнул кто-то.

— Прорыв ленинградской блокады,— добавил уже пьяноватый голос.

— Магнитофон побил, сукин кот,— ворчал владелец, но и его обрадовало явление Марьяны.

Каким чудом она разыскала дачу Филипченок, осталось ее профессиональной тайной.

— За мной, мальчики,— скомандовала Марьяна и, держась за руку сияющего Сеничкина, повела их через пустырь к новому поселку. «Газик» ехал впереди по проложенной им же колее.

— Счастливого года, Васенька,— крикнула Марьяна водителю, и, развернувшись, «газик» помчался в Москву.

— Пора, пора! Давно ждут...— весело приговаривал открывавший калитку охранник.

На филипченковской даче царило уныние, как после обыска. Казалось, что мальчиков тут не ждали, что, наоборот, их отсюда увели.

— Алеша? — Кустодиевская девица удивленно раскрыла глаза.

— Знакомьтесь, знакомьтесь,— пьянея от счастья, кричал Сеничкин, не выпуская Марьяниной руки.

Это был его триумф. Вся команда видела, как Марьяна, словно декабристка, нашла его в глуши. Кустодиевская моргала большими бараньими глазами, ничего не понимая. Но им было не до нее. Слышались крики:

— Ничего не потеряно!

— Лучше поздно, чем никогда!

— Ничего не поздно! Встречаем по Гринвичу!

— С Новым годом и знакомством! Ура!

Кто рассаживался, кто ел стоя. Царила неразбериха, и кустодиевской Светлане никак не удавалось проявить себя как хозяйке.

Уныние перешло в разгул, но в рамках. Магнитофон — он, по счастью, упал в сугроб — не повредился.

— Хью-хью-уй-ю! — по-английски орал он на всю дачу. Танцевали, не выпуская из рук бокалов и рюмок. Кто-то даже отплясывал с тарелкой. Владелец магнитофона танцевал с владелицей усадьбы. Но она не смотрела на галантного кавалера, а все искала глазами Алешеньку. Но его нигде не было.

Впрочем, обо всем, что происходило в гостиной, Сеничкин узнал позднее. Прихватив бутылку сухого, бутылку петровской водки и минимум закуски, он заперся вместе с Марьяной в просторной кладовой. Они расставили раскладную, предназначенную, очевидно, для нечиновных гостей, койку, опорожнили бутылки и веселились до шести утра, а тогда незаметно покинули усадьбу и, смеясь, добежали до электрички.

Ныне Сеничкин опускал в рассказе ненужные подробности, в основном упирая на свою благодарность и невозможность не ответить на такое сильное Марьянино чувство.

— Так что видите, Инга, это оказалось сильнее меня. Через две недели мы расписались.

Он, естественно, не обмолвился о скандале, который закатил ему отчим, почуявший нешуточную угрозу своему служебному положению. Мать, разумеется, тоже вышла из берегов и напомнила сыну, что Василий Митрофанович ему душу отдал, холил и лелеял его, неблагодарного пащенка, как родного сына. Тогда же его посвятили в некоторые детали биографии самой Ольги Витальевны и ее первого мужа. Алеша был напуган. Новогодняя встреча сделала свое дело. Как ни была провинциальна Светлана Филипченко, но унижения при подругах простить Алеше она не могла, и Сеничкиным пришлось объяснить ее родителям, что Марьяна — это Алешина роковая страсть.

— Сама виновата! — сказал Алеша матери.— Зачем не прислала машины?!

И тут Ольга Витальевна призналась, что от волнения перед встречей с Филипченками и их высокими покровителями забыла послать шофера к Алешиному приятелю. И вспомнила об этом лишь с последним ударом Спасских часов, когда все подняли бокалы.

— Вот и вся история,— сказал Алексей Васильевич.— Она должна вам многое объяснить.

Зачем он мне это рассказывает? Пугает? — подумала Инга и посмотрела на свои маленькие квадратные часы. Было четверть седьмого.

— Теперь вы все обо мне знаете. Принимаете меня такого?

— Я не экзаменатор.

— Да, конечно. Но вопрос не стоит, принимать или не принимать.

— И тем более я не Маяковский.

— Боитесь моей жены?

— Не вижу оснований.

Инга почувствовала, что опьянела. И пусть,— решила она. Ей хотелось нагрубить ему так, чтобы никогда его больше не видеть.

— Инга, что с вами? — наконец оторвался от своих воспоминаний Сеничкин.— Сейчас пойдем,— сказал он.— Минуточку.— Он махнул официанту.— Всего одну минуту. Вот глядите.— Он вынул вместе с бумажником свернутые вчетверо листки тонкой рисовой бумаги.— Я тут набросал соображения и цитаты.

— Спасибо,— выдавила Инга через душившие ее слезы.

Господи, глядеть на него не могу! Это лицо. Эта прическа! Этот самовлюбленный

голос. Господи, что за идиоты мужчины?! Один — труженик секса, другой — нарцисс...— думала Инга, пробегая глазами странички, исписанные аккуратным писарским почерком.

Сеничкин расплатился, осторожно подхватил Ингу под острый локоть, вывел в гардероб, подал ей выворотку и распахнул двери в парк. Им в лицо вместе с морозным ветром дохнула музыка.

Он думает, что я в дребадан,— решила Инга.— Ну и пусть.

В парке ей стало легче. Мимо проносились по двое, по трое — конькобежцы, беззаботные и счастливые: сквозь рыдание журавлей (крутили все ту же пластинку!) слышался их молодой, животный гогот.

Инга и Сеничкин остановились в трех шагах от беговой дорожки. Конькобежная карусель все убыстряла бег. «Журавли» сменились другой, медленной «Я иду не по нашей земле», но конькобежцы все летели, не в такт музыке закидывая ноги, догоняя ребята — девушек, девушки — ребят, и смеялись все звончей и безнаказанней.

Неожиданно, откуда ни возьмись на пятачке против ресторана закрутились подростки, стали сбивать пролетающих мимо девчонок. Девчонки опасливо замедляли бег, жались к обочине или прыгали в сугробы, отделявшие каток от парка. Некоторые, сжимая кулаки, смело летели на подростков. Одна решительная девица, выставив левый конек, полоснула им по ноге растерявшегося паренька, а сама, наддав, помчалась к набережной, где было светлее, побольше народу и где медленно и важно катались по кругу, в синих шинелях, ставшие удивительно высокими от коньков, милиционеры.

— Хотите на лед? — спросил Сеничкин.

Инга мотнула головой, но потом решила поскорей проститься с Сеничкиным, сказала:

— Вы покатайтесь. А мне пора.

Хотя незадачливый паренек все еще сидел в сугробе и, засучив штанину, всхлипывая тер ногу, остальная шайка по-прежнему резвилась на ледяной аллее, задевала девиц. Накрашенная женщина в красной (безусловно импортной!) куртке, разогнавшись, летела к ним. Ее глаза были сощурены, но не от страха (на коньках она держалась уверенно), а от близорукости; когда она пролетала мимо Инги и Сеничкина, ей подставили подножку и она грохнулась на лед под гогот парней.

— Пойдемте!..— Сеничкин схватил Ингу за локоть; она подумала, что Алеша хочет поскорее уйти, потому что глядеть, как буянят мальчишки, и не вмешиваться неудобно... Но тут женщина в красной куртке поднялась и, прихрамывая, подошла к сугробу, потерла снегом щеку, несколько раз присела, прищурившись поглядела на Сеничкина и вдруг крикнула:

— Алеша! Алексей Васильевич!

Он отпустил Ингин локоть, подошел к женщине.

— Ушиблись?

— Сослепу,— засмеялась женщина, голос у нее оказался резкий, прокуренный.— Я Марьяну жду, а вовсе не вас. Или вы теперь за ней следите?

— Почему теперь?..— удивился Сеничкин.— Я тут случайно.

— У нас с вашей благоверной свидание, но она вечно запаздывает.— Женщина отогнула рукав куртки, поглядела на часы.— Она у вас, Алешенька, кто спорит, красавица, но я не мужчина, чтобы столько ждать.

— Не волнуйтесь, придет.

— А я не волнуюсь. Я катаюсь,— хихикнула женщина.— Пусть теперь она померзнет, я сделаю еще кружок. Мы с ней назначили свидание у этой пивнушки.— Женщина махнула перчаткой на серое здание ресторана.

— Хотите с нами?

— К сожалению, спешу.

— Тогда ауф видерзеен,— крикнула женщина и, спрыгнув на лед, тут же упала.

Пока Сеничкин помогал ей подняться, Инга ушла.

Женщина эта была Клара Шустова, бывшая преподавательница Академии Фрунзе, а последние два года переводчица на одном из строительных объектов в ГДР. Прошлым летом она ездила в компании с Сеничкиными и Курчевым на Кавказ, а еще раньше бывала с Марьяной Фирсановой у Крапивникова.

Но Инга этого не знала и, напрочь забыв об этой случайно встреченной женщине, поднялась на мост. Тут ветер гулял еще сильней, чем на катке. Инга прикрыла лицо папкой и не заметила, как налетела на Марьяну Сеничкину.

— А я как раз думала о вас! — засмеялась Марьяна.— Иду и думаю: сейчас встречу Ингу.

Выслеживает, что ли? — решила Инга.— Да нет. Она спешит на свидание с той женщиной...

— У вас неприятности? — спросила Марьяна.

— Нет, просто голова болит.

— Хотите «тройчатку»? — Марьяна открыла сумку на длинном ремне.
— Нет, спасибо. Запить нечем...
Инга отстранилась из боязни, что прокурорша учует водочный запах.
— Жаль, что вы вчера так рано ушли,— болтала Марьяна. Ветер дул ей в спину.— Надеюсь, наш медведь доставил вас до дома. У вас ведь район тот еще — бывшая Сухаревка...
Все знает...— вздрогнула Инга, но ответила спокойно:
— Нет, у нас тихо. А родственник у вас очень милый. Доставил меня в полной сохранности.
— Борька неотесанный, но в общем, как поют, подходящий. Мой Алеша ему завидует.
Мой Алеша,— мысленно передразнила Инга.— Ну, и держите его при себе...— Но вслух сказала:
— Странно. По-моему, вашему Алеше нечему завидовать — он всего достиг.
— Ну что вы! Как говорит ваш бывший муж, ему суждено умереть в президиуме. Так что его ждет большая дорога. Но все-таки занимается Алеша не наукой, а шкрабством. Знаете, президиум президиумом, а талант надежнее. Так что лейтенант обскачет Алешу.
— Вам виднее. Извините, я что-то совсем расклеиваюсь...— Инга махнула варежкой и заспешила к Крымской площади. Голова у нее действительно разболелась. В метрошном аптечном киоске она купила пачку анальгина. Тут же рядом продавались поздравительные открытки к 8 Марта. Инга купила одну, написала:
«Борис! — Тут же сообразила, что впервые называет лейтенанта по имени.— Вашу просьбу выполнила. Очень трусила, но оказалось: это совсем просто. Перечла работу и еще раз Вам позавидовала. Подумайте, вдруг Париж стоит мессы и все такое... Хотелось бы, чтобы Вам повезло. Будете в городе — звоните. Инга».
Выйдя на Комсомольской, она кинула открытку в почтовый ящик и позвонила из автомата Бороздыке. Трубку долго не снимали, потом старуха-соседка прошамкала, что Игорь не возвращался.
— Передайте, пожалуйста, что его блокнот у Рысаковой.
— Не запомню, дочка.
— Постарайтесь, пожалуйста.
Может быть, позвонить Юрке, попросить прочесть реферат? Нет, на сегодня хватит. День насмарку, голова раскалывается,— решила Инга и побрела домой.

Застигнутый переводчицей, Алексей Васильевич не на шутку струхнул и полез через сугроб. Нужно было отвести эту подвернувшую ногу дуреху в раздевалку. Он тащил ее за руку, она ехала за ним на коньках и хихикала.
— Что сердитесь, Алешенька? Что надулись?
— Крепче держитесь, не то грохнемся! — Сеничкин еле сдерживался, чтобы не взорваться.
— У нас с Марьяшкой свидание,— болтала немка.— Ну и жена у вас, Алешенька! Загадочная личность. Вы ее недооцениваете! Я бы вас пригласила, Алешенька, но у нас сугубо дамский разговор.
— Спасибо. Я тороплюсь. Не падайте больше.
Он вышел из парной гардероба на лед, но двинулся не к Центральным воротам, а к памятному еще со студенческих лет выходу на Калужскую и позвонил Жорке Крапивникову. Тот сказал, что у него сидят два прелестных создания и горят желанием увидеть Сеничкина, предпочтительно с горючим.
Новые приятельницы Крапивникова были не старые, но отнюдь не прелестные: большая, рыхлая, крашеная блондинка и менее броская худощавая брюнетка. И тем не менее их общество в содружестве с парой рюмок быстро поправило Сеничкину настроение. Лишь Крапивников, слегка захмелев, начал обольщать их на манер, который приберегал для дам попроще. Маленький, красноносый, лысый, он встал на колени перед рыхлой блондинкой и пугал ее, как малютка-удав огромную крольчиху:
— Бойтесь меня! Я океан! Я вздымаюсь, я захлестну вас!..
Блондинка впрямь пугалась. Ее невзрачная подруга раскраснелась и, похоже, ревновала.
Вскоре появились двое мужчин с закуской, водкой и не очень молодой, по привлекательной женщиной.
— А, товарищ прокурора!
— Привет товарищу прокурора!
— Салют прокурорскому товарищу! — пожимали они Сеничкину руку и при этом смеялись. Смех их звучал издевательски, но Сеничкину и в голову не приходило, что он может быть смешон и что «товарищем прокурора» окрестил его Крапивников, имея в виду товарища прокурора из толстовского «Воскресения», который, как

известно, «был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему еще способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно».
— Марьяна — следователь,— поправил Сеничкин.
— Какая разница...— Крапивников похлопал Сеничкина по плечу, и гости снова расхохотались.
Началась обычная в этой компании пьянка с чтением стихов, болтовней, приправленной анекдотами и взаимными подначками. Сеничкина несколько оттеснили, да он и не собирался занимать площадку. Завтра у него с утра были лекции, поэтому, улучив момент, он выпросил у худощавой дамы ее координаты и по-английски, не прощаясь, покинул крапивниковскую обитель.

3. СТРАСТИ ПО КЕНТАВРУ

Дело о стенгазете не стало ЧП. Смершевцы ничего не смогли (или не захотели) из него состряпать и спихнули его в политуправление корпуса, а там инструктора долго и нудно отчитывали подполковника Колпикова.
Капитана Зубихина, когда он опять появился в полку, на смех поднять побоялись; но всем стало ясно, что сыщик он хреновый, если даже чудило Курчев его обштопал. Курчеву же за сообразительность даже простили стрельбу в воздух. Даже Ращупкин понял, что погорячился: ставить Курчева взводным было все равно что лепить из навоза бронебойный снаряд. Посрамление Зубихина тоже радовало Ращупкина. Особист вообще много себе напозволял, но Ращупкин видел его насквозь и, как говорится, на два метра глубже.
Прошлой осенью он пронюхал про пять кабанов и вообразил бог весть что. Вот дурак: кто-кто, а Константин Романович Ращупкин не хапуга. Три кабана честь по чести он пустил в солдатский котел, а двух остальных велел заму по снабжению разделить между женатыми. Не все брали. И Ращупкин не взял. А Зубихин, кстати, покочевряжившись, увез без малого четверть туши, а уж донес он или не донес кому следует — кто ж его знает.
Другой раз Зубихин развил активность, когда разбился «ЗИС-151». Тогда Константину Романовичу пришлось послать по гаражам личного шофера. Но Сережа Ишков был человек проверенный, он знал о комполка все не все, а и такое, чего не знала сама командирша. А для прикрытия Ишкову придали лопуха Курчева — он, не вылезая из кабины, как всегда читал «Войну и мир».
Зубихин хотел расколоть Ишкова, но тот валял ваньку, таращил на него, как потом рассказывал Константину Романовичу, глаза, и особисту не обломилось. А к Курчеву он пристал, когда тот едва стоял на ногах,— так упился в офицерской столовой.
— Пшел на легком катере,— ответил ему Курчев и, рухнув с крыльца, добавил:
— Отставить! Пшел к своему Лаврушке!.. Вольно.
Берию только что арестовали, и Зубихин молча утерся.
Нет, Зубихину в этом полку не фартило, и, побарывая лень, капитан, желая сквитаться, чаще, чем в другие, заглядывал в эту якобы передовую, а на самом деле совершенно разложившуюся часть. Рыба гниет с головы,— думал особист и продолжал по-тихому обкладывать Ращупкина.— Что-то подполковник чересчур зачастил в Москву. Дружки в штабе или баба? Где дружки, там и баба! — решил Зубихин, но дальше догадки дело не двинулось.
Капитан особого ведомства не ошибся: молодой подполковник, действительно не на радость себе, полюбил одну москвичку, женщину лихую, хоть и замужнюю.

Удача никогда не бывает полной, наверно оттого, что всегда приходит в неудачное время. Приняв в тридцать лет войсковую часть, Ращупкин гордился, но не ощущал себя счастливым. Ему нравилось шагать по поселку, где все при виде его длинной, ладной фигуры вытягивались, причем не для порядка или из подобострастья, а потому, что душа радовалась глядеть на такого молодого подтянутого офицера. К нему относились чуть ли не с любовью. Власть и вообще притягательна, а Константин Романович к тому же не кичился, не перегибал палки, был справедлив и вежлив.

Долговязый, тощий, худощекий Костик Ращупкин в юности не собирался в офицеры. Шестой ребенок в семье, поскребыш, он рос при школе, где его отец с конца нэпа служил завхозом. Городишко был хоть и областной, но не крупный. Школа стояла на окраине. Рядом был огород, и большая семья как-то перебивалась. Один за другим,

не задерживаясь дальше седьмого класса, уходили на производство братья, да и сестры держались немногим дольше. Один Костик прилип к школьному двору, к учителям и к учебе. Уже почти вся стена вокруг портрета товарища Сталина была обклеена похвальными грамотами, и никто не сомневался, что впереди у поскребыша столичный институт и появится среди Ращупкиных первый образованный — инженер или там ученый, но на пороге десятого класса случилось непредвиденное. В тот 40-й год, когда Костик стал десятиклассником, окраинную десятилетку отдали под авиационную спецшколу, и завхоз, оставшись при прежней должности, не отпустил от себя сына, хотя нормальная школа была всего в четырех кварталах. Так и не стал Костя Ращупкин студентом, зато остался жив. А ведь иначе — скорее всего сложил бы голову после первого курса в московском ополчении или просто в пехоте. Но в авиационном училище, куда он попал после спецшколы, Ращупкина забраковали (нашли какие-то шумы в сердце) и сплавили в зенитно-артиллерийское, где он проучился полгода, после чего сторожил небо приволжских городов, за что в конце войны, уже командиром батареи, не получив ни единой ссадины, награжден был орденом Красной Звезды.

За войну Константин Романович основательно подзабыл школьную премудрость, зато окреп и стал на редкость красивым парнем. Весь женский состав (в полку во время войны в основном служили зенитчицы) обмирал по длинноногому комбату, но у капитана еще не погасла мечта демобилизоваться, и Победу он встретил неженатым.

Однако с демобилизацией ничего не вышло. Имей Ращупкин за плечами хоть курс института, его бы отпустили на гражданку, а офицеров с десятилеткой оставляли в армии. Жизнь в разрушенном городе, на Украине, куда полк передислоцировался с Волги, была не сахар. А тут еще и командир полка приревновал к молодому капитану свою жену. Запахло большими неприятностями, и Константин Романович с тоски и безнадеги стал захаживать к молодой агрономше в ближайший от батареи совхоз. Тут же у него родился первый сын, а через полтора года второй. Правда, в той же дивизии, хотя и в другом полку, освободилась должность комдива [1], и Ращупкины переехали в большой областной центр.

Жить вчетвером на комдивское жалованье было нелегко, а двигаться дальше Ращупкину без «поплавка» не светило, и Константин Романович под визг и рев младенцев засел за учебники. Теперь стало ясно, что идти надо по командной линии, что в двадцать семь лет начинать осваивать технику поздно. Да и привык Ращупкин к командирской должности. Впрочем, и генерал, настоящий комдив (командир дивизии), оценивший Константина Романовича, посоветовал подавать в Академию Фрунзе, и Ращупкин попал туда с первого захода.

И все бы сложилось лучше не надо, если б не Москва, город, в котором Ращупкин раньше нигде, кроме вокзалов и Мавзолея, не бывал.

Константин Романович помнил, что Москва — столица мира, центр социализма и рабочего движения, город, где живет Сталин и похоронен Ленин. Знал, что Москва — твердыня мира, мост в будущее, форпост науки, в том числе военной, самой передовой науки побеждать. Но он никогда не думал, что Москва — это еще и город молодых, красивых, хорошо одетых женщин.

Даже при сверхзагруженном академическом дне они попадались ему на каждом шагу, прежде всего в скверике напротив академии, где он гулял с сыновьями. Там паслись девушки из двух медицинских, педагогического и института тонкой технологии. Это было молодое, невоенное племя. В нем чувствовалась некая тайна, волновавшая Ращупкина, привыкшего в основном к зенитчицам, которые вызывали у него лишь брезгливость и жалость, потому что после каждого воздушного налета их исподнее приходилось сдавать в стирку. Правда, и среди зенитчиц попадались презанятные девчонки, но и в них ничего загадочного не было.

Москва была городом женщин, а женщины влекли Ращупкина, и не только потому, что он был еще молод, здоров, пылок, а прежде всего неясностью, каким-то секретом; для себя он называл это интеллигентностью. Они его волновали так же, как директорская дверь, за которой шли удивительные и загадочные для завхозовского отпрыска споры. И хотя потом, когда Косте сравнялось пятнадцать, он сам поселился за этой дверью (директора и директоршу арестовали), все равно память о чем-то неясном, неразгаданном, недостижимом, хоть под спудом, но жила в нем; и теперь, в Москве, освободилась из-под спуда.

Он был уже опытный офицер. Знал, что почем, и понимал, что интеллигентность связана с беззащитностью, с неким недостатком жизненных сил, волевого напора. И дело было вовсе не в том, что директора с женой арестовали. Арестовывали людей и более защищенных. Просто интеллигентность подразумевала невозможность целого ряда действий, необходимых для служебного благополучия.

[1] Командир дивизиона; то же, что в пехоте командир батальона.

Потому-то Ращупкину казалось, что женщины интеллигентнее, духовнее мужчин, бескорыстней, во всяком случае. И те девушки, что шептались в скверике, не глядя в толстые учебники, представлялись Константину Романовичу воплощением всего лучшего в этом раздираемом злобой мире.

Да и помимо студенток вокруг хватало женщин. Хватало их и в академии, и с одной из них, немкой Кларой Викторовной Шустовой, Ращупкин сдружился, а через нее проник в круг штатских молодых мужчин и женщин. С самой немкой у него ничего не вышло: Марья Александровна была начеку. В общежитии, которое отделяло от академии не более ста метров, не только всё видели, но и слышали.

Ращупкин любил жену. Всего двумя годами старше, она была неглупая, надежная, распорядительная и служила верно и уважительно, как старшина-сверхсрочник. Жена ради него бросила работу, расползлась, рожая ему сыновей, и постепенно опустилась умственно и физически именно потому, что он поднимался и рос. Он ее любил из благодарности и еще потому, что она была ему нужна. Он тосковал по ней с третьего дня ее отъезда (она часто, хотя с большой неохотой, увозила сыновей на Украину к родителям). Но она у него была. Была, как Вчера, как, в лучшем случае, Сегодня, как в свое время батарея, дивизион, как сейчас полк, и не было в ней никакой мечты, ничего непознаваемого, высшего. Просто она была, всегда была и даже понемногу становилась хуже, в чем Ращупкин сам себе не признавался. Она была реальная, а Константина Романовича тянуло к чему-то смутному, неопределенному. Она была своя, а его тянуло к чужому. Ему хотелось чего-то такого, как писал Есенин, чтобы «мечтать по-мальчишески — в дым».

Преподавательница немецкого тоже не была загадочной, но зато он побывал с ней на нескольких сборищах у Крапивникова, где нагляделся на кандидатов наук, аспирантов, начинающих журналистов и литераторов, но ни с кем не сошелся — наоборот, многих даже напугал. Штатских раздражала его четкая и непоколебимая уверенность в себе. Сказывалась давняя привычка повелевать людьми и отвечать за них. Еще не дослушав собеседника, он, сам того не желая, начинал его поучать. Штатские, привыкшие к легким, неуставным разговорам, посмеивались над ним.

Поэтому с тамошними мужчинами он не сошелся, за что себя очень ругал. Ведь у этих штатских было то, чего он покуда лишен, надо было слушать их и набираться ума. Но желание верховодить въелось так сильно, что он с порога начинал их перебивать; штатские замолкали или задирались, и он уходил ни с чем.

Зато с женщинами Константину Романовичу могло повезти. Несколько замужних или полузамужних дамочек были явно непрочь закрутить с ним легкий роман, но он, на свою беду, влюбился в подругу немки, лихую юристку Марьяну. Любовь была бесплодной и мучительной, какая бывает только у пятнадцатилетних подростков. Короткие встречи в метро, прогулки под дождем, объятия в чужих подъездах. У Марьяны не было своей квартиры, она жила у родных за городом. К тому же — это Ращупкин понимал и от этого еще больше тянулся к ней — Марьяна Фирсанова его не любила, предпочитая ему другого ухажера, молодого занозистого аспиранта Сеничкина.

— Костенька, оставьте надежды,— смеялась Марьяна.— У вас положение хуже, чем у католика. Папа Римский может еще и развести, а ваш министр — никогда! Так что ловите кайф и не терзайте себя.

Но кайфа-то как раз и не было.

Я у нее на запасном пути,— злился Ращупкин и рад был послать ее подальше, да не получалось. Все его мечты заземлились на этой задорной, несносной, жесткой, нежной, очаровательной, смелой и робкой, на словах безоглядной, но в последний миг выскальзывающей из его вовсе не слабых рук Марьяне.

— Я не голодающая женщина,— вдруг вспоминала она, поправляя прическу.

Б... ты, вот ты кто,— думал он.

Но не в его характере было отступать на полдороге. Брак Марьяны с защитившимся аспирантом Ращупкина не отпугнул. Как ни странно, тут-то они и стали близки.

У немки Клары Викторовны умерла мать, и Клара Викторовна завербовалась в ГДР. Так сыскалась комната. Клара Викторовна сдала ее Марьяниной подруге, а та, в благодарность за комиссию, время от времени оставляла Марьяне ключ.

От этих дневных свиданий у Ращупкина, как у мальчишки, шла кругом голова, и он все больше запутывался.

— Лучшего мужика, чем ты, не надо,— признавалась Марьяна.— Даже в половину лучше — и то чересчур... Ведь калекой оставишь. Жену ведь изуродовал, а? — дразнила она Ращупкина, а он все ей прощал, надеясь, еще одна-другая встреча — и он освободится. Но свободы не было, наоборот, последняя свобода убывала, как вода из дырявой фляги.

Несмотря на несчастную любовь, Константин Романович превосходно учился — при его способностях и собранности это было несложно. Кончил с отличием и правом выбора места службы. Он мог бы остаться при кафедре, но должность была не перспективной, и поэтому взял себе особый полк, новую многообещающую войсковую

единицу. Правда, в будущем предполагалось, что эти полки отдадут выпускникам инженерных академий. Но Ращупкин и сам не собирался тут засиживаться.

Кроме всего прочего, он выбрал эту подмосковную часть, потому что ездить в штаб армии придется часто. Но выбираться удавалось куда реже, чем хотелось, да и, выбравшись, не всегда дозвонишься в прокуратуру. Однако они с Марьяной встречались — аа год с таком таких встреч набралось ровно одиннадцать, и тут, как раз в среду, в февральский День пехоты, Марьяна ему сказала, что всё... Кларка вернулась из Германии. Встречаться негде. Да и, честно говоря, ей сейчас не до того...

Все это Марьяна говорила обиняками, видно, кто-то был в кабинете, а под конец бросила в трубку:

— Позвоните позже.

Но когда он позвонил позже, ему ответили, что Сеничкина уже ушла.

В штабе армии дело у него отняло десять минут. Он велел Ишкову дожидаться начфина, а в шестом часу подъехать к Академии Фрунзе. Ишков всегда стоял там, потому что Клара Викторовна жила неподалеку, сразу за клубом «Каучук».

Шофер с начфином подъехали к академии в четверть шестого, но Ращупкина не было. Они прождали его часа полтора. Без малого в семь он приехал на такси, жутко бухой — таким ни Ишков, ни начфин его еще не видели,— с двумя четвертинками в кармане и, презрев увещевания начфина, допил их по дороге.

Позорнее этого дня в жизни Ращупкина не было. Дважды позвонив в прокуратуру, он рассердился, пошел от штаба к трамвайной остановке и там, у ларька, принял свои первые двести грамм. Затем доехал на трамвае до людной улицы, где тихо выпил вторые двести. И тут он понял, что не удержится и позвонит Марьяне домой. Накупив закусок и шесть четвертинок (приличней было бы взять коньяку, но хуже нет смешивать!), Константин Романович помчался на такси к клубу «Каучук». У Шустовой его развезло. Он пил, плакал и пересказывал немке в подробностях свой злосчастный роман. Немка удивлялась, сочувственно кивала, вежливо ахала. Она была потрясена. Ну и Марьяна! Всюду поспевает!

Когда прошлым летом у нее затевался флирт с Алешей Сеничкиным, Марьяна чего только не предпринимала, чтобы помешать ему. Даже взяла на Кавказ этого чудака лейтенанта. Нет, непостижимая женщина!

Кларе Викторовне стало жаль себя, и этого очаровательного глупыша подполковника, и весь мир. Она, хотя ей это было категорически запрещено, даже выпила с ним.

Наконец, испугавшись, что подполковник, переберая, останется у нее, Клара Викторовна тайком стащила со стола две чекушки и сунула ему в карман шинели. Но он ничего не заметил и продолжал пить, не закусывая.

Когда же часы пробили пять, Ращупкин, похоже, протрезвел, сорвал с вешалки шинель, но его качнуло, и он рухнул на тахту. Клара Викторовна все-таки уговорила его подняться, вывела на лестницу. Идти он не мог, ей пришлось тащить его вниз и сажать в такси. Таксист не хотел везти пьяного, и тогда Клара Викторовна села рядом с Ращупкиным, и они полтора часа колесили по городу.

У подполковника случилось выпадение памяти. Он забыл, куда ему следует ехать. Они помчались на окраину: Ращупкин, засыпая, повторял это название. Но когда они подъехали к войсковой части, он промычал:

— Нет, не то... На-азад... В Академию Фрунзе.

— Куда вы в таком виде в академию? — чуть не рыдала Клара Викторовна.

Когда такси промчалось вдоль фасада академии, подполковник очнулся:

— Вот она́ ждет меня...

На этом, собственно, эпопея и кончилась, но немка получила на свою закадычную подругу нешуточный компромат.

Личная жизнь у Клары Викторовны Шустовой не задалась. Проходив до двадцати шести лет в девицах, она неожиданно, уже в Германии, выскочила за юного, столь же неопытного техника-геодезиста Диму и прожила с ним полгода. У них, как и у всех советских за границей, были тряпки, казенная квартира с приемником и магнитофоном, но чего-то главного не вышло, и они тихо расстались. Техник вернулся в Москву, а следом за ним воротилась Клара Викторовна.

Деньги у нее пока были. Поэтому прежде, чем вернуться на службу, Клара Викторовна хотела прооперировать щитовидную железу.

Именно в ней, в этой мерзкой щитовидке, она видела причину своих бед — неудачного замужества и еще менее удачных коротких романов, которые и романами-то назвать нельзя.

— С Димкой мы так ничего и не поняли,— призналась она на юге Курчеву.

Дело было августовской ночью. В распахнутое окно лезли большие абхазские звезды

и кривая турецкая луна. Курчев и Клара Викторовна лежали на узкой койке и курили сигарету за сигаретой. Говорить им было не о чем, молчать — тоже. Они не подходили друг другу, но отпуск только начался, деваться некуда. Через стенку спали Сеничкины, и, похоже, у тех ночами не возникало проблем.

— С Димкой мы ничего не понимали,— повторила Кларв Викторовна,— а с тобой все понятно. Это — не то, не то и не то... Ты нетерпелив, все время спешишь. Это вообще редко удается. Но когда удается, это чудесно. Это праздник тела...

Именины сердца,— чуть не ляпнул Курчев, вспомнив Манилова. Но крыть было нечем. Рядом лежала женщина, и ей было плохо, хотя его тянуло к ней и днем, и каждую ночь. Но едва он к ней подступался, она нервничала, дергалась, и Курчеву хотелось сбежать к морю или далеко в горы. Он жалел Клару Викторовну. Если бы не спать вместе, они стали бы добрыми друзьями. А так, не высыпаясь, они мучались, ссорились.

Зоркая Марьяна давно догадалась, что у Кларки с лейтенантом не клеится, и, перестав опасаться, что та умыкнет Алешку, шутливо задирала Курчева, прижималась к нему на пляже и в менее многолюдных местах, очевидно, а надежде расшевелить заскучавшего мужа.

Курчев воли себе не давал, но это было непросто. Марьяна ему нравилась больше, чем Клара Викторовна. Она была красивей — это и слепой бы разглядел. Кожа у нее была чистая, да и характер, несмотря ни на что, легкий. Наверное, спала с мужчинами без трагедий.

Борис и Клара Викторовна кое-как дотянули отпуск и с облегчением расстались. Она воротилась еще на полгода в ГДР, а он — к Ращупкину в полк.

В Германии, на объекте, рвботы уже сворачивались, преобладало чемоданное настроение. Все понимали, что на родине как следует не погуляешь, и напоследок пошли в разнос, но «праздника тела» тоже не вышло. Может быть, его вообще не существовало, может быть, о нем насочиняли западные писатели, а всякие гулящие личности, вроде Марьяны, им поверили.

— Ты пей меньше, а то глаза вылезать начали,— сказала Кларе Викторовне геодезистка, соседка по коттеджу,— у тебя ж базедка.

И Клара Викторовна, не пожалев дефицитных марок, отправилась к местному эскулапу. Тот сказал, что нет никаких сомнений: базедова болезнь, по всем признакам. Зря она ездила в августе на раскаленный юг; лечить уже поздно — надо резать.

Но из трусости Клара Викторовна тянула с операцией. Вчерашнее появление Кости Ращупкина несколько растормошило и развлекло ее в унылом ничегонеделанье.

Выскочив из пропахшего водочным перегаром такси, она, не снимая шубки, позвонила Мвръяне.

У Марьяны кто-то был, и она разговаривала неохотно.

— Дело твое,— Клара Викторовна начала обижаться.— Только у меня потрясающие новостишки.

— Тогда давай завтра.

— Завтра я хотела наконец-то добраться до льда. После операции не покатаешься.

— Не ной. Катайся себе на здоровье. Я тебя окликну.

И вот они сидели в кабаке возле катка. «Потрясающие новостишки» не смутили Марьяну.

— Ну и что? — скривилась она.— Думаешь, великая радость?

— Но он же потрясающий мужчина.

— Слизняк.

Ожидая бифштекса с луком, подруги пили сладкое вино. Сухое уже кончилось, а от коньяка Марьяна отказалась: привыкла платить за себя, а денег было в обрез.

— Не знаю... Грех жаловаться, но жизнь у меня собачья,— сказала Марьяна.— Сегодня опять убийство при попытке изнасилования. Демобилизованный солдат напился и полез, представляешь, к стрелочнице. Тетке сорок восемь. Сидела на путях кулема кулемой, в платке и ватнике. Стала орать, так он ее ломом... Пахнет вышкой, особенно если пустят показательным...

— Ужас,— вздохнула Клара Викторовна, не зная, как вернуть разговор к Ращупкину.

Но Марьяна раскурила длинную сигарету и, словно угадав ее мысли, сказала:

— Боюсь, подполковник тоже меня пришьет. Плохо их в Вооруженных Силах обуздывают. Сам министр, говорят, большой селадон.

— Куда ему — он уже седенький, с бородкой,— улыбнулась Клара Викторовна.— Хотя моськой ничего.

— И Ращупкин ничего...— сказала Марьяна.— Вообще-то, я зря... Он парень что надо. Только я устала от него и от всех. Не у тебя одной, Кларка, все шиворот-навыворот и еще раз навыворот. Черта лысого потянуло меня на этот говенный юрфак. И денег тут — на три дня после получки, и работа — сплошь чужие слезы. Война

была — не рассуждали. Четыре года — и в дамках. После войны преступлений, мол, будет навалом. Дело перспективное, расти сможешь. Насчет преступлений — не обманули, а все равно себе дороже...

— Но ведь растешь!..

— Хм... Расту?! Вон Борька, лейтенант без училища — и то гребет на полторы сотни больше. Что мне — взятки брать?

— Бери,— улыбнулась Клара Викторовна.

— После тебя,— отмахнулась Марьяна.— Свекровь, жадина, получку отбирает. Свекор пятнадцать тыщ, не считая пайка, приносит, и все равно с меня и Алешки за жратву и домрабу отстегивает. Кого-нибудь пригласишь — корми разговорами. Чаю для гостя — и то не выпросишь. Вчера Алешкина новая прибыла. Я ее из Ленинки сама за руку привела. Наврала, мол, Алешка зовет. Так даже не покормила. Представляешь, новый тип. Одета — не то, что мы с тобой — расфуфыр! — а ничего лишнего. В общем, не простой орешек. Скромняга. Алешка ее закадрил на Новый год у Крапивникова.

— Того поля ягода?..

— Что — того поля?..— рассердилась Марьяна.— Я тоже того поля?..

— Прости,— сказала Клара Викторовна.— Я не хотела... Честное слово, я уже забыла...

— Я тоже,— усмехнулась Марьяна.— Так вот, она не того поля. С ней Жорочка даже расписался. Только — увы и ах — брак — не психлечебница и Жорочку не вылечил. И через три месяца дал ей лысенький красавец отворот...

— Бедная.— Клара Викторовна вздохнула и чокнулась с подругой.

— И тут мой ненаглядный супруг разлетелся. Представляешь, не обычный подзаход, а большое чувство, возвышенные антимонии. Думаю, по кабакам ее таскает. Гонорары приносит куцые.

— Жека всегда узнает последней,— хихикнула Клара Викторовна, умолчав, что час назад встретила Алешу Сеничкина возле ресторана.

— Это — смотря какая жена. Дура — та последней,— нахмурилась Марьяна и взяла у Клары Викторовны вторую сигарету.

— К вам можно подсадить двух товарищей? — Над ними склонился официант. Все столики уже были заняты, в дверях толпились страждущие, а ресторанный зал стал дымным и тесным.

— Нельзя. Мы мужей ждем,— сказала Марьяна, не поворачивая головы.

Молодой официант что-то пробурчал себе под нос.

— Стажироваться — стажируйся, а хамить не хами,— добавила Марьяна достаточно громко.

— Здесь? — Клара Викторовна удивленно вскинула близорукие глаза.

— А не все равно, где учиться не бить тарелок?.. Дура — та узнает последней, а не хочешь в соломенных вдовах бегать, следи в оба. Эх, пошла бы на философский, давно бы докторскую написала.

— Ты?

— А кто? Ты что, думаешь, философы, они особенные? Типичные олухи. Только умеют, что цитат отовсюду надергать, а приглядишься,— так обычные павлины. Распустят хвосты: «я — философ, я — элита», и цитатами махать. Все на один фасон. Только что у моего морда симпатичная и язык без костей. Зато амбиции: мамочки! Этот не понял, тот — не вскрыл, третий — исказил, Мальтус (он с Мальтуса начал)... «английский мракобес выступил со своей человеконенавистнической теорией на рубеже XVIII и XIX веков. Его основная работа „Опыт о законе народонаселения" появилась...» и так далее. Вчера Борька издевался над ним, да и я сегодня с тобой душу отвожу, но дома — ни-ни. Стой по струнке. Изображай восторг, работай зеркало. «Ах, замечательно! Ну куда до тебя этим старым перечницам Юдину и Константинову?! Ты, Алешка, наша надежда...» И знаешь, что самое уморительное? Кафедра от Алешки без ума, даже Жорка Крапивников и тот его печатает. Но с Жорки что взять? Для него нет ничего святого. Печатает, но все равно за спиной Алешку на смех поднимает. Этого еще не хватало! — Марьяна вздрогнула, потому что уже привычное жужжание ресторанного зала разорвал барабанный грохот, на затемненной прежде эстраде зажегся свет, и пианист, взбивши набриолиненный кок, отчаянно залабал «Я иду не по нашей земле», ее подхватила, загудев низким надтреснутым голосом в микрофон, пожилая женщина в длинном, переламывающемся на полу платье.— Не поговоришь. Поехали к тебе или плясать хочешь? — спросила Марьяна.

— Ты что? У меня нога, кажется, распухает.

И тут же с шамкающим: «Разрешите пригласить!» — к Кларе Викторовне подскочил пьяный субъект с усталым, морщинистым лицом.

— Брысь! — зашипела Марьяна.

— Простите, я не вас...— Любитель танцев попятился.

Это был Гришка Новосельнов. Он уже третий час томился в углу зала в компании

абрикосочника Игната Трофимовича и квартирного маклера. Они нарочно выбрали неприметный ресторан, потому что Игнат не уважал такие глупости.

Деловая часть встречи закончилась. Все вспрыснули, обговорили, и Гришка ерзал в кресле. Хотелось чем-нибудь необычным отметить демобилизацию и грядущий обмен. Из двух неподалеку сидевших женщин ему куда больше нравилась пухлогубая красотка, но даже в большой пьяни он оставался реалистом. Поэтому при первых звуках танго, рассчитывая на верняк, подскочил не к красотке, а к ее подслеповатой подруге и теперь обиженно терся у стола.

— У меня нога подвернулась,— пропищала Клара Викторовна. Она не хотела ни за что ни про что обижать ничем не провинившегося перед ней человека.

— Иди, пока трамваи ходят...— Марьяна пустила в Гришку дымком.— Я сказала — иди! — повторила зло и резко.

— Что, нервная?

— В другой раз не отпущу.

— Че-го?! — Новосельнов пьяно раззявил рот. Он не испугался этой шмары — ему было любопытно.— Слушай, не строй из себя лягашку,— сказал, уверенный, что красивая фря всего лишь неудавшаяся актерка.

— Интересно. А ну, садись.— Марьяна отодвинула справа от себя стул.— Садись, садись.

Гришка сел без особого удовольствия.

— Так вот, слушай. Если две симпатичные бабы пришли в зачуханный кабак, значит, у них разговор. Так же, как у тебя с твоими мордатыми. Ты не ерзай, а слушай. Пока не сел, гуляй тихо. А с теми...— Она кивнула на абрикосочника и маклера,— совсем не гуляй. Угробят и передачи не принесут.

— Ты что, гадать подрядилась?

— Отгадывать.— Марьяне вдруг стало жаль незадачливого мужика и самой скучно.— Иди, желаю не скоро загреметь.

Гришка, стирая с круглого голого лица глупую ухмылку, побрел к своему столику.

— Зачем ты? — спросила Клара Викторовна.

— Нервы.

Снова ударили тарелки, залабал пианист.

— За день на таких насмотришься. Уйду в аспирантуру на шестьсот восемьдесят рэ. Буду какой-нибудь древней мурой заниматься. Римскими сервитутами. Я всегда любила учиться. Вон Алешкина новая — горя не ведает, никому сроков не паяет, английского классика почитывает. А всякую муру-идейность для нее мой алюбленный антропос сочиняет. Ему — не привыкать. Он ее целый день студиозам мурлычет, а вечером для журналов перелопачивает. Ох, и устала я...

— Ты?

— Я самая. Вертись, крутись, поворачивайся. Вечно начеку. Надеялась, выскочу за Алешку — отдохну. Вышло наоборот. Что ни день — выдумывай новенькое, как Шехерезада.— Она невесело усмехнулась, вспомнив, как вчера в передней вминалась в мужа.— Устала. Хочется, чтобы кто-нибудь пожалел, поухаживал. Не так...— Она кивнула на сидевшего с приятелями Гришку.— А чтобы одеялом накрыл, чай с печеньем в койку принес. Надоело быть сильной.

— Алешка разве слабый?

— Алеша — нарцисс. Алеше зеркало нужно — во всю стену, на всю жизнь. Чтобы вечно ахала: какой ты гениальный да какой смелый. И главное, вечно — начеку. Вчера аспирантку отшила. Отшила, а самой же ее жалко. Ну чего, глупышка, тянешься к такому оболтусу? Даже крикнуть хотелось: «Да бери его себе! Думаешь, радость великая?» Господи, нету больше мужчин.

— А Костя? — не вытерпела Клара Викторовна.

— Не знаю. Я его в полку не видела. Может, он там и хорош, а со мной — размазня. Нет, я не про койку. Это дело нехитрое.

— Хитрое,— твердо сказала Клара Викторовна.

— Ты, наверное, много об этом думаешь, ну и щитовидка дает о себе знать... Ты скоро в больницу ляжешь?

— Если решусь — на той неделе или через одну...

— Я к тебе ездить буду,— сказала Марьяна. Ей было неловко, что разговор зашел о ее бедах, а Кларке небось в ее одиночестве еще хуже.

— Тебе ведь некогда...

— Буду. И не думай, что я злая. Я просто закрученная. Дома — черт-те что, на работе — подследственные хамят втихую, начальники — в открытую. Прежде, до Алешки, приставали сплошь. Случалось, и не выдерживала... Знаешь, в кабинете... вспоминать противно. Теперь — вроде замужняя и должность не маленькая, все равно редкий не пристанет...

— Поэтому на армию переключилась? — Клара Викторовна все старалась вернуть разговор к Ращупкину. Подумать только — они встречались в ее комнате!..

— Кто про что, а вшивый про баню,— усмехнулась Марьяна.— Да ничего особенного. Обыкновенный пересып днем. Что ни говори, но когда по тебе страдают, взбадривает. Свободней себя с мужем чувствуешь...
— Хороший левак?..
— Ну, не обязательно... А в общем, в святые мы не годимся. И ты, Клерхен, тоже...
— Я на чужое не зарюсь...— обиделась Клара Викторовна.
— Ну-ну... Сочтемся. Казаться лучше всем хочется, да не всем удается.

Курчев пришел в себя лишь в воскресенье утром. Голова болела, как после долгой пьянки, и, как после пьянки, комната не стояла на месте — то вдруг суживалась, и стены подступали к глазам, то, наоборот, отдалялась, и Курчев опять бредил.
Так тянулось до воскресенья, когда градусник вдруг застрял на тридцать шести и шести, Курчеву захотелось жрать и разговаривать. Солнце обложило окна, наледь на них сверкала. Офицеры разъехались кто куда, и никого, кроме Федьки, в комнате не оствлось. Курчев поглядел на его птичью голову со взъерошенной шевелюрой и улыбнулся:
— Борща охота.
Федька в незастегнутом кителе сидел за столом. Он оторвал голову от книги, взглянул на будильник (свои часы давно пропил), почесал в затылке и вылез из-за стола.
— Волхов,— крикнул он в коридор.— Пошли в камбуз. Пусть принесут лазаретному.
— Ладно,— послышался голос Волхова и следом стук подкованных, грубых, неофицерских сапог. По-видимому, парторг сам отправился запитываться.
— Доставят,— сказал Федька.— Смотри, как здорово у Толстого! Хоть наизусть учи! — И он с чувством прочел абзац из «Воскресения».
— Раньше, что ли, не знал? — улыбнулся Курчев.— У нас в батарее многие это выучили.
— И как такое разрешают? — удивился Федька.
— Толстого не запретишь.
— А ты не того... от температуры? — Федька повертел пальцем у виска.— Живых запрещают, а мертвого и вовсе пара пустяков... Знаю, знаю. Срывание масок... Читал. Грамотный. Только все равно бы этого не печатал. Где маски срывает, оставлял, а это,— он ткнул пальцем в абзац,— заклеивал.
— Тогда бы уж точно обратили внимание.
— А запретить можно все. «Швейка» ведь запретили?
— Не запретили, просто давно не переиздают, а старого издания нигде нету.
— Ну как с рефератом? — спросил Федька.— Брат одобрил?
— Уехал он.
— Я поглядел,— кивнул Федька на курчеаскую тумбочку.— Там конца нет, но в целом, куда гнешь, понятно. Пишешь ничего, но не для аспирантуры. Больно отвлеченно, и цитаты не те. Другие надо. А ты из одного Толстого... А Толстой — что? Писатель,— с напускным презрением скривился Федька, словно только что не радовался толстовскому абзацу.— У тебя же не про литературу, а про серьезное, и надо либо так написать, чтоб на стипендию зачислили, либо уж во всю дуть и не в тумбочку прятать. А у тебя — ни туда ни сюда. И туману напустил — фурштатский солдат. Обозник. То в воздух пуляешь из-за него, то бумагу изводишь.
Курчев тихо и счастливо засмеялся. Было радостно, что и в жизни поступаешь как на бумаге. Он об этом прежде не думал.
— Да нет, смешного мало,— тоже почему-то улыбнулся Федька.— Я не спорю: соображалка у тебя работает, только не оттуда начинаешь. Ну какой дурак начнет отсчет от бездельника и на бездельнике все общество построит?!
— Не о бездельнике разговор.
— Слабосильный все равно что бездельник. А кто взял палку, тот и начальник. Сам знаешь...
— И все-таки все валилось, когда слабосильный кончал вкалывать. Вон и их прошлый год из-за этого распустили.— Борис махнул рукой на окно, выходившее в сторону стройбата и бывшего лагеря.
— Это не потому.
— Нет, по тому самому. Тебя еще не было. В прошлом ноябре, уже шкафы мои завезли, к монтажу подбирались, и вдруг — бах! — шкафы назад, лак-муар покарябали и стенку погнули. Оказывается,— нате вам! — грунтовые воды вышли. Представляешь, температура в бункере строго постоянная. На десятую градуса — и уже режим ламп другой. А тут тебе вода в грунте. Ну, пригнали солдат с пневматическими молотками. Дыр-дыр — весь бетон исковыряли. Потом через антенный вывод воду выкачивали. И надолго ли? А все потому, что заключенные строили.

— Гражданские строят не лучше.
— Все ж таки... Нет, все на распоследнем слабосильнике держится. Из-за него рабский строй пал.
— И капитализм пришел?
— Нет, капитализм не из-за него. Капитализм из-за лихости не отсталых, а самых ловких и сильных. А в моем обознике какая лихость?
— Согласен,— кивнул Федька.— Только не верю, что из-за последнего засранца все меняется. А что у нас лагеря разогнали, причина другая. Политика. Кто-то кого-то подсидеть хочет.
— Так ведь все — политика.
— Нет, тут счеты. Раз Берию съели, так и лагеря его туда же.
— Лагеря потрясли раньше.
— То уголовные. А теперь и врагов народа потихоньку стали отпускать... Только не из-за того, что зеки плохо работают. И на обычном производстве груши околачивают...
Вошел посыльной с горкой оловянной посуды.
— Вам тоже принес, товарищ младший лейтенант,— объяснил он Федьке.— Буфетчица в город уехала.
— Ладно, погуляй пока,— сказал Павлов. Ему не хотелось прерывать разговор, но Курчев, приподнявшись, уже взял со стола миску с остывающим картофельным супом и стал жадно хлебать.
— Открытка вам, товарищ лейтенант,— вспомнил посыльной. Ему не хотелось на мороз, к тому же он рассчитывал стрельнуть у офицеров курева.
Он протянул Курчеву Ингину праздничную открытку с женщиной в косынке и большой восьмеркой.
Борис опустил миску на пол, схватил открытку, прочел раз, аторой, третий — и тут же выучил наизусть.
— Хорошее? — спросил Федька, лениво ворочая ложкой.
— Да нет, так...— сказал Курчев и опять поглядел в открытку.— Второе сам съешь,— кивнул посыльному.— Больше не хочу,— крутнул по полу миску с недоеденным супом. У него и впрямь пропал аппетит.
— Папиросы есть? — спросил Борис Федьку, отрываясь от праздничной открытки.— Дай ему.
Федька отодвинул свою миску с почти не тронутым супом, достал смятую пачку «Прибоя» и, щелкнув по ней, пустил по столу. Посыльной вытащил две папиросы, оставив последнюю, сломанную.
— Здравствуйте, товарищи! — раздался голос откуда-то с потолка. Курчев остался лежать. Федька поднялся в распахнутом кителе, а посыльной вскочил и замер с миской в руках.
— Вольно,— брезгливо сказал Ращупкин.— Приятного аппетитв.
— Пшел,— прошипел Федька. Посыльной с мисками юркнул в дверь.
— Опомнились, Курчев? — спросил Ращупкин.
Борис не ответил, не поняв, к чему относится вопрос — к стрельбе или к ангине.
— Везет вам, лейтенант, а то бы взводным походили,— сказал Ращупкин.
Курчев сжался под шинелями, и открытка упала на пол. Он вытянул руку, пошарил по полу и засунул открытку под подушку.
— Выкрутились, Курчев,— повторил Ращупкин. Он видел, что лейтенанту не по себе, и ему было жаль его, но, как часто с ним случалось, говорил вовсе не то, что имел в виду, и обижал людей, которых хотел ободрить.

Нынче, в воскресенье, подполковник особенно томился: заняться было нечем. Изводя себя самоанализом, Ращупкин с утра заперся в служебном кабинете, вытащил лист бумаги, разделил продольной чертой надвое и стал писать: справа — достоинства Марьяны, слева — недостатки.
Константин Романович не жалел ни себя, ни лихой прокурорши, старался, сколь возможно, быть циничным, но ничего не вышло. Только растравил себя, даже голова разболелась.
Зазвонил телефон. Он ответил жене:
— Занят, Маша, занят. Погоди.
Но писать дальше не стал и сжег бумагу над пепельницей. Расплеваться с Марьяной было непросто, особенно в воскресенье. Но душа изнывала, хотелось с кем-нибудь поделиться, хоть не болью, а мыслями о несчастной любви и ее последствиях: а Курчев знает эту гражданскую публику, все-таки закончил институт, и потом у него какие-то родичи то ли в ученом, то ли в чиновном мире.
Сидя сейчас у слабо нагретой печки, Ращупкин глядел на лейтенанта, и ему хотелось сказать:

«Не горюй, парень. Мне самому хреново»,— но вместо этого снова спросил:
— Ну как? Осознали, Курчев?
Курчев по-прежнему молчал.
— Разрешите, товарищ подполковник? — Федька влез в дверь и, не ожидая ответа, прошел мимо Ращупкина, сел за стол и раскрыл Толстого.
— Что там у вас начеркано? — спросил Ращупкин.
Он взял грязно-серый, похожий на учебник, том огоньковского издания и прочел вслух абзац, около которого стояли четыре восклицательных знака:
«Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над людьми, а с другой — рабскую покорность высшим себя начальникам».
Он прочел абзац четко, без всякого выражения, как штабной циркуляр, и уставился на Федьку.
— Так. Понятно. И что вы хотели доказать, Павлов?
— Ничего,— ответил Федька.
— Это о царской армии,— твердо, исключая всякую насмешку, сказал Ращупкин.
— Так точно, товарищ подполковник,— согласился Федька.
— А вы себе черт-те чего вбили в голову. Намеки, понимаете ли... И нечего библиотечную книгу портить. Солдаты ее тоже читают.
— Это моя,— сказал Курчев.
— Та́к вы демонстрируете любовь к армии?
— К царской,— усмехнулся Курчев.— Я купил ее у букиниста. Там разное подчеркнуто.
— Стереть надо было,— сказал Ращупкин, понимая, что несет ерунду.
— Сотрите, младший лейтенант,— сказал Курчев.
— Слушаюсь,— отчеканил Федька и перевернул страницу.
— У вас не соскучишься,— посуровел Ращупкин.
— Стараемся,— сказал Борис.
— Беззаботно живете,— вздохнул Ращупкин. Любопытно было узнать, чем дышат эти никудышные офицеры — один с чирьями на шее, другой с ангиной в горле и еще черт-те чем за пазухой.
Впрочем, Павлов Ращупкина не тревожил. Конченый тип, вот-вот сопьется, и самое простое — сплавить его куда подальше. Но все равно обидно, что живет на твоей территории сопляк, которому на тебя начхать. Пьет сам по себе, играет в карты сам по себе, и — умри завтра Константин Романович — он даже не почешется. Для него Ращупкин не батя, никакой не пример и указ. Вот сейчас уткнул худую морду в книгу, словно не он, Ращупкин, а Лев Толстой для него начальство. Правда, сегодня воскресенье. Но возьми даже не армию, а просто общежитие, студенческое хотя бы, и то, когда приходит в гости директор или декан, книгу откладывают. А младший лейтенант читал, даже не демонстративно (если бы так, сбить спесь — дело нехитрое), а так, словно подполковника вовсе в комнате не было. Ращупкин еле сдерживался, чтобы не накричать на нахала и не поднять по стойке «смирно». Но не затем он сюда пришел. Сейчас ему хотелось узнать, как писал все тот же язвительный старик Толстой, чем люди живы. Даже вот такие, как этот с чирьями, из которого армия не сделала человека (и уж, верно, не сделает!) и в котором осталась та сволочная «гражданка», которая, как ты ее ни ругаешь, все равно нет-нет да выскочит в тебе самом: то тоской по московской юристке, то еще чем-то вроде воспоминания о директорской двери, за которой шли чудны́е разговоры. И хотя в 37-м юный Костя Ращупкин проник за ту дверь, и не гостем, а полномочным хозяином, тайна ушла из комнаты вместе с ее прежними обитателями.
Вот так же будет с этими двумя. Курчев сам удерет из полка. А младшего лейтенанта Павлова — пусть только чирьи заживут — придется сплавить во ВНОС[1] или куда-нибудь еще как не соответствующего занимаемой должности.
И все равно Константин Романович чувствовал, что, как бы он ни избавился от этих типов, тайна их, их особость, отрывающая их от прочих офицеров полка, уйдет вместе с ними, а он так и останется с нерешенной загадкой. А все неясное, недорасследованное угнетало его и мучило.
Константин Романович не был злым человеком. Он не любил наказывать подчиненных, тем более издеваться над ними. Ему важно было не подчинение, а лишь сама возможность такого подчинения. Но точно так же, как он не любил унижать подчиненных, он не терпел в них независимости. Свобода — это пожалуйста! В рамках устава ты свободен. Сорок минут личного времени у солдата всегда есть. Восемь часов сна — тоже. Обмундирование, питание — все должно быть как положено. И офицер

[1] Войска наблюдения, обнаружения, связи.

тоже свободен, когда не занят. Офицер осознанно и необходимо свободен. А эти двое еще чего-то лишнего желают себе ухватить — и вот сейчас один прячет под подушку любовную открытку, а другой демонстративно уткнулся в роман беспартийного писателя.
Но и сам он, Ращупкин, при своем росте 192 сантиметра, тоже не очень умещался в короткой формуле необходимости, а также на двух с половинной страничках (с 27-й по середку 29-й) Устава внутренней службы (глава 3-я — «Обязанности должностных лиц», параграфы 64—66). Ему еще многого хотелось сверх: сверх устава и сверх жены, сверх штабного расписания и сверх мечты об Академии генштаба. Он чувствовал, что в свои тридцать два года еще не закоснел и кроме ясных и необходимых материальных достатков ему еще нужно что-то непознаваемое, неясное, вроде стихов или философии, что-то не очень уважаемое, даже скорей презираемое среди военных. Но оно необходимо ему, Константину Романовичу, чтобы не чувствовать себя ниже штатских, особенно острословов вроде Крапивникова, Бороздыки и мужа Марьяны, Сеничкина.
Да, он хотел власти. Но не простой армейской, субординационной, а власти сложной, где подчинение не только и не столько физическое, сколько духовное, основано на интеллекте. Поэтому-то Ращупкину нравилось, глядя на портрет Сталина, о котором он еще год назад ничего не мог сказать лишнего, отпустить нынче в присутствии кое-кого из офицеров несколько неопределенных фраз, говорящих о независимости его мысли, а также о том, что командир столь особого и особенного полка может еще много чего сказать, но покамест воздерживается, и не из страха, а оттого, что офицеры не подготовлены и не поймут его.

— Да, беззаботность... Слишком беззаботно живете,— повторил Константин Романович.— А женщина у вас, Павлов, есть?
Федька вздрогнул и злобно полоснул глазами Курчева: не проболтался ли про сестру? Но Курчев, поймав Федькин взгляд, сам ответил:
— Они ему остолбенели, товарищ подполковник.
— Так не бывает,— довольный, что разговор все-таки вышел на нужную линию, благодушно улыбнулся Ращупкин.— Женщины надоесть не могут.
— Как взяться,— ответил Борис. Разговор начинал занимать и его.
— Излишествовали, что ли?— Подполковник уставился на Федьку, пытаясь оторвать его от книги.
— По-всякому,— ответил Федька, толком не зная, как говорить с Ращупкиным, и одновременно не желая, чтобы за него отвечал Курчев.
— Ну и напрасно,— не удержался от поучений подполковник.— Женщина — великая сила.
— В колхозе?— работая наивного, спросил Федька.
— И в армии тоже,— не позволил себя сбить Ращупкин.— Женщина — даже если она не участвует в работе, по-вашему, по-бывшему химическому, Павлов, в реакции, то все равно ускоряет ее как катализатор. Стимулирует, короче.
— Да, их только пусти,— откликнулся Федька.— И ускорят, и без чего-то оставят.
— Без часов, например?— спросил Ращупкин, который, конечно, слышал, что Федька обменял свою новую ручную «Победу» на шесть поллитровок, то есть отдал за треть цены.
— Что часы? Часы — мура...— Федька даже не обиделся.— Последней свободы жалко.
— Чего-чего? Свободы? А какая у вас, разрешите, Павлов, узнать, свобода? И на кой черт вам она? Что вы с ней делать собираетесь?
— А ничего. Свобода как раз на то, чтобы ничего не делать.
— Оригинальный взгляд. Новое в философии. Что до марксизма, то тут им и не пахнет. Но, по-моему, Курчев, в этом и здравого смысла нет?
— Нет, почему же?— Борис даже приподнялся на локтях.— Свобода, товарищ подполковник, это свобода. Это, знаете, как девственность. Либо она есть, либо ее нету. А если есть, можешь вполне свободно ничего не делать. Вот я́ как понимаю.
— Анархизм какой-то и вообще хрен знает что!..— Ращупкин хотел разозлиться, но все же осадил себя.— Лучше бы уж вместо копеечной философии девок портили...
— А мы, товарищ подполковник, жениться не любим,— парировал Борис.
— Можно и не жениться. Вон Залетаев буфетчицу подцепил, а что-то не женится.
— Ну, это еще смотря как выпутается...— зевнул Федька.— А потом, чего Залетаеву жениться, он Зинку не портил.
— Нехорошо говорите, Павлов,— помрачнел Ращупкин.— Не по-офицерски, не по-мужски. Каша у вас в голове порядочная. Посмотрим, что скажет старший по званию.— Он повернулся к Борису.
— А ничего, товарищ подполковник. Женитьба, сами знаете, шаг серьезный. А жениться сюда, а полк, вообще последнее дело. Солдаты здешних женщин глазами обглаживают. Если меня не демобилизнете, холостым подохну.

— Холостым и взводным,— поправил Ращупкин.

— Ну и что! Переведу, то есть сублимирую, половой потенциал а политико-моральный. Ать-два, левой, левой!..

— Не частить!— скомандовал Федька.

— Желторотые,— вздохнул Ращупкин, чувствуя, что говорит вовсе не то. Если они желторотые, зачем с ними откровенничать? Нет, разговор явно не вышел, а все оттого, что он не поставил себе четкой и ясной задачи: чего, собственно, ему нужно от этих нерадивых типов? Лучше бы сходу им выложил: так, мол, и так, была у меня, ребята, женщина. Встречались с ней днем на одной квартире, выпивали и все такое... А тут она ни с того ни с сего закобенилась — и от ворот на сто восемьдесят.

Но не было на земле такого человека (кроме Клары Викторовны, да и то в большой пьяни), которому можно было в этом открыться. И, мучась от одиночества, он сидел у слабо нагретой печки и не знал, кому нести свою печаль.

— А вы, Курчев, почему на этой монтажнице не женитесь? Глядите, прозеваете. Инженер свое ухажерство прочно поставил, -на все четыре колеса,— улыбнулся Ращупкин собственной шутке.— Девчонка красивая. Жалко, если отобьет.

— От судьбы не уйдешь,— сказал Борис, нисколько не удивляясь осведомленности Ращупкина.

— У вас кто-нибудь еще есть?— спросил Ращупкин, вспомнив спрятанную под подушку открытку.

— Ага,— соврал Курчев.

— Значит, в Москве женитесь?

— Если отпустите.

— Да я вас лишнего дня не задержу. Только помните — никто вас сюда не звал. Сами напросились.

— Ошибка молодости.

— Хорошо, если последняя... Значит, план у вас — в аспирантуру. На шестьсот рублей в месяц? Три года. Нет, не три, в три никто не укладывается. В тридцать лет станете кандидатом наук с окладом нашего техника-лейтенанта. Так?

— Примерно.

— Когда ж жениться?

— Одновременно.

— Невеста красивая? Карточки нет? — спросил Ращупкин Курчева.

— Нет. Не люблю, когда засматривают.

— И сюда не привезете?

— Нет.

— Он Вальки боится. Она кислотой окатить может,—подал голос Федька.

— Бросьте, Павлов,— рассердился Ращупкин, все надеясь на серьезный разговор.— Значит, в примаки пойдете?

— Как выйдет,— сказал Борис.

Скоро ли Журавль испарится?— думал он, а Ращупкин все сидел и сидел, и одна надежда была, что воротятся преферансисты. И в самом деле, как только Секачев с Моревым ввалились в финский домик, Ращупкин поднялся, пожелал Курчеву быстрого выздоровления и, пригнувшись, вышел.

— Чего заходил?— напуская важность, спросил Секачев.

— А ер его знает,— отозвался Федька.

— Чего печку проморгал?— накинулся на Федьку Морев.— Затухла, мать ее и твою...

— На, разожги.— Борис открыл тумбочку и достал третий экземпляр «Фурштатского солдата».— Тьфу ты,— удивился,— тощий. Вы что, на пульку употребляли?— Не хватало многих листов.

— Давай, давай, не жмись, раз очухался,— усмехнулся Морев.

— Берешь, так клади на место! — напустился Борис на Федьку.

— Я назад положил,— обиделся тот.

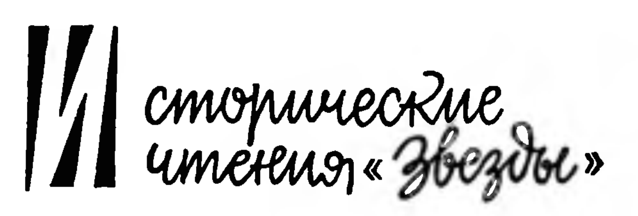
— Ты, что ли, брал?— Борис покосился на Морева.

— Нужны мне твои бумажонки: вон у меня «Звездочки» навалом. Да не расстраивайся. Кто-нибудь взял на двор сходить.

— Сволочи,— нехорошо усмехнулся Борис.

Домашнего ареста еще оставалось трое суток, и хотелось протянуть их на койке. Вдруг ответят из Кремля. Почему-то верилось, что Инга Рысакова в красном башлыке принесет ему счастье. Ведь на розыгрыши государственных займов ставят невинных младенцев в пионерских галстучках, и они вытаскивают номера из вертящихся барабанов. У них нет облигаций, им безразлично, кто выиграет. Наверно, и Инга так. Что ей Курчев? Она просто сунула письмо в окошечко. Никакой личной заинтересованности.

Продолжение следует



Норман Кон

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ГЕНОЦИД, ИЛИ МИФ О ВСЕМИРНОМ ЗАГОВОРЕ ЕВРЕЕВ И «ПРОТОКОЛАХ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ»

Главы из книги

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет интерес в нескольких отношениях. Прежде всего она дает ответ на вопрос о подлинности документа, который до сих пор имеет хождение в качестве одного из оснований для черносотенной антисемитской пропаганды.

Н. Кон, основываясь на значительном числе документов, прослеживает историю создания фальшивки, которая под названием «Протоколы сионских мудрецов» была пущена в ход в начале XX века погромщиками в России, а затем использована в Германии в период подготовки прихода к власти нацистов.

Мне самому пришлось услышать о новом появлении этой фальшивки в «самиздате» черносотенцев начиная с 1977 года, во позднее «Протоколы сионских мудрецов» стали у нас в стране достаточно широко известны. К сожалению, история фальшивки подробно освещалась только в иностранной печати. Хотя неподлинный характер документа общепризнан, что находит отражение, например, во всех последних изданиях «Британской энциклопедии» и в других стандартных западноевропейских и американских справочных изданиях, тем не менее наш читатель до сих пор не обладает достаточно подробным и обстоятельным описанием истории создания этого подложного текста.

Основные вехи в раскрытии того, как был сфабрикован документ, были намечены еще выдающимся исследователем новейшей русской истории Бурцевым. Опираясь на разоблачения Бурцева и работу, проделанную другими исследователями, Кон убедительно прослеживает этапы сочинения текста. Он возник на основе блестящего французского политического памфлета прошлого века. Методы того типа исследований, которые в современной науке называются «интертекстуальными», приводят к установлению неопровержимой преемственности исходного текста и его последующих видоизменений, обусловленных использованием документа в целях черносотенной пропаганды.

Одним из основных приемов этой пропаганды было и остается до сих пор распространение выдумки о якобы существующем еврейском (в нацистской терминологии «жидомасонском») заговоре, ставящем целью поработить другие народы. Одним из недавних проявлений этой общей тенденции явились наводнившие нашу печать рассуждения о русофобии, к сожалению, связанные с именем И. Р. Шафаревича, известного математика.

К сожалению, это — лишнее свидетельство актуальности книги Кона, воссоздающей ту мрачную атмосферу сперва в России начала века, потом в предфашистской Германии, которая сделала возможным зарождение фальшивки.

Книга Кона с пользой будет прочитана всеми читателями.

Вячеслав Иванов,
народный депутат СССР,
доктор филологических наук,
профессор

Глава I

«ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ» И «ДИАЛОГ В АДУ»

1

«Протоколы сионских мудрецов» состоят из докладов или заметок для докладов, в которых некий член тайного еврейского правительства — «Мудрецов Сиона» — излагает план достижения мирового господства.

Число «протоколов», докладов или глав, в обычном, стандартном варианте — двадцать четыре; они собраны в брошюру, в которой в обоих английских изданиях около ста страниц небольшого формата [1]. Содержание «Протоколов» передать не так просто, поскольку они многословны и изложены напыщенным стилем, а аргументация их уклончива и лишена логики. Однако, прилагая известное старание, в них все же можно различить три главные темы: критика либерализма, анализ методов, якобы позволяющих евреям добиться мирового господства, и описание их будущего всемирного государства. Эти темы излагаются в самом беспорядочном виде, но в целом можно сказать, что первые две преобладают в первых девяти «Протоколах», в то время как остальные пятнадцать посвящены, главным образом, описанию грядущего царства. Если попытаться упорядочить аргументацию «Протоколов», то она в общих чертах выглядит следующим образом.

Расчеты «Мудрецов» строятся на специфическом понимании политики. По их мнению, политическая свобода — это лишь идея — идея, обладающая огромной привлекательностью для народных масс, но которая на практике никогда не осуществлялась. Либерализм, который берется за выполнение этой неразрешимой задачи, приводит в итоге лишь к хаосу, ибо люди не способны управлять собой, они не знают, чего на самом деле хотят, их легко обмануть показной видимостью, они не способны принять правильное решение, когда необходимо выбирать. Когда у власти находилась аристократия и свобода, по справедливости, была в ее руках, она пользовалась ею для всеобщего блага — например, заботилась о рабочих, трудом которых жили аристократы. Но аристократия ушла в прошлое, а тот либеральный порядок, который ее сменил, нежизнеспособен и неизбежно должен привести к деспотизму. Только тиран может навести порядок в обществе. Более того, поскольку в мире больше порочных, чем добропорядочных людей, сила остается единственно приемлемым средством правления. Сила всегда права, а в современном мире основой такой силы является капитал и контроль над ним. Сегодня в мире правит золото.

На протяжении многих столетий существует заговор с целью сосредоточения всей политической власти в руках тех, кто способен правильно ее использовать, то есть в руках «Сионских Мудрецов». Уже многое сделано, хотя сам заговор еще не достиг своей цели. В соответствии с очень точно сформулированными планами «Мудрецов» в период, предшествующий установлению их господства над всем миром, еще существующие, но уже в достаточной степени ослабленные нееврейские государства должны быть уничтожены.

Сначала для этого необходимо добиться усиления в каждом государстве чувства недовольства и беспокойства. К счастью, средства для этого заключены в самой природе либерализма. Уже сейчас, поощряя бесконечную пропаганду либеральных идей и беспрерывную болтовню в парламентах, «Мудрецы» помогают добиться полной сумятицы в умах простого народа. Замешательство и разброд усилятся благодаря многопартийной системе: «Мудрецы» заботливо углубляют разногласия, тайно оказывая поддержку всем партиям. Они позаботятся об увеличении разрыва между народом и его руководителями. В частности, они будут раздувать в среде рабочих постоянное недовольство, притворяясь, что поддерживают их требования, но в то же время тайно делать все возможное, чтобы снизить их жизненный уровень.

В любом государстве необходимо дискредитировать власть. Аристократия в конце концов должна быть уничтожена с помощью усиленного налогообложения на землю; так как аристократы никогда не расстанутся с роскошным образом жизни, то необходимо помочь им запутаться в долгах. В результате должна быть введена президентская форма правления, которая предоставляет возможность «Мудрецам» выдвинуть на президентские посты своих марионеток. Отдавать предпочтение следует людям с «темным прошлым», чтобы легче контролировать их деятельность. Масонство и тайные общества необходимо сделать послушными орудиями в руках «Мудрецов», любого масона, который окажет сопротивление, необходимо физически уничтожить. Индустрия сконцентрируется в руках гигантских монополий, чтобы собственность неевреев можно было мгновенно уничтожить, когда это понадобится «Мудрецам».

Следует также подрывать отношения между государствами. Необходимо обострять национальную рознь до тех пор, пока международное взаимопонимание между нациями совершенно не утратится. Запасы оружия должны постепенно увеличиваться, и необходимо как можно чаще развязывать войны. Эти войны, однако, не должны вести к окончательной победе какой-либо страны, а лишь способствовать созданию еще большего экономического хаоса. Тем временем надо постоянно подрывать нравственные устои неевреев. Широко пропагандировать атеизм, роскошный образ жизни, распутство и порок; для этой цели «Мудрецы» уже внедряют в дома неевреев в качестве своих агентов специально подобранных воспитателей и гувернанток. Следует особо старательно поощрять пьянство и проституцию.

«Мудрецы» признают, что неевреи еще в состоянии воспрепятствовать осуществлению их заговора, но они вполне уверены, что способны сломить всякое сопротивление. Они могут использовать для свержения правителей простой народ, доведя массы до такой степени обнищания, что те одновременно восстанут сразу во всех странах и под полным контролем со стороны «Мудрецов» уничтожат всю частную собственность, за исключением, конечно, собственности, принадлежащей евреям. Они могут натравливать одно правительство на другое; после долгих лет искусно плетущихся интриг и поощрения взаимной враждебности они смогут легко добиться развязывания войны против любой нации, противящейся их воле. Если даже случайно вся Европа объединится против них, они смогут обратиться к поддержке пушек Америки, Китая и Японии. Кроме того, существует еще и метро: подземные железнодорожные линии были выдуманы с единственной целью — дать возможность «Мудрецам» противостоять серьезной оппозиции, взорвав любую столицу. После этого остатки оппозиции в любой момент можно уничтожить с помощью страшных болезней. Предусматривалась даже такая возможность: если некоторые евреи проявят строптивость, с ними покончат с помощью антисемитизма.

Оценивая современное положение в мире, «Мудрецы» подготавливают почву для своих далеко идущих планов. Уже сейчас они могут констатировать, что уничтожили религии, особенно христианство. Теперь, когда влияние иезуитов сведено на нет, а папство беззащитно,— его можно уничтожить в любой момент. Престиж светских правителей также падает; убийства и угрозы покушений заставляют их появляться на публике только в окружении телохранителей, а убийцы прославляются как истинные мученики. Ни правители, ни аристократы теперь не могут полагаться на преданность простого народа. Экономические беспорядки расшатали общественные устои. Хитроумные финансовые манипуляции привели к упадку экономики, к огромным государственным долгам; финансы пришли в состояние полной неразберихи, золотой стандарт [1] повсюду привел к национальной катастрофе.

Недалеко то время, когда нееврейские государства, доведенные до отчаяния, будут только рады передать бразды правления «Мудрецам», которые уже сумели заложить фундамент своего будущего господства. Аристократию они заменили плутократией или властью золота, а золото находится полностью под их контролем. Они установили контроль над законотворческой деятельностью и привели законы в состояние полной неразберихи; изобретение арбитража является наглядным примером их дьявольских ухищрений. Систему образования они тоже надежно прибрали к своим рукам. Здесь их губительное влияние проявляется в том, что они изобрели преподавание с помощью наглядных пособий; смысл этого изобретения — превратить неевреев в «недумающих покорных животных, ожидающих, пока перед их глазами появятся предметы, чтобы сформулировать о них соответствующее понятие».

«Мудрецы» уже осуществляют контроль над политикой и политиками; все партии — от самых консервативных до крайне радикальных — по существу являются просто орудиями в их руках. Скрываясь за спиной масонства, «Мудрецы» проникли в тайны всех государств и, как это известно любому правительству, обладают достаточной силой, чтобы вызвать к жизни общество с новыми социальными порядками или, наоборот, разрушить общество, когда им этого захочется. После столетий борьбы, стоившей тысяч жизней неевреев и даже многих евреев, возможно, всего сто лет отделяет «Мудрецов» от окончательного достижения цели.

Их целью является наступление «мессианского века», когда весь мир будет объединен одной религией, то есть иудаизмом, и им станет править иудейский властитель из рода Давида. Этот век освящен свыше, ибо сам Бог избрал евреев для мирового господства, но его устройство будет отличаться вполне определенной политической структурой. Общество будет организовано в полном соответствии с принципом неравенства; массы в нем отделены от политики, образование и пресса будут пресекать малейший интерес к политике. Все публикации подвергнутся жестокой цензуре, а свобода слова и союзов — строгому ограничению. Эти ограничения будут преподнесены под видом временных мер, кото-

---

[1] В русском издании 1917 года 83 страницы.— *Примеч. ред.*

[1] Золотой стандарт — система золотого монометаллизма, т. е. денежной системы, при которой один металл служит необходимым эквивалентом и основой обращения. Установлена в Великобритании в XVIII веке, а в большинстве других капиталистических стран в конце XIX века. В России эту роль играло серебро. В 1897 году введен золотой стандарт, при котором золотые монеты свободно обращались и обменивались на банкноты.— *Примеч. ред.*

рые якобы будут отменены после того, как покончат со всеми врагами народа, но на самом же деле они закрепятся навечно. Историю будут преподавать лишь в качестве наглядного пособия, которое подчеркнет различие между хаосом прошлого и идеальным порядком в настоящем; успехи новой мировой империи будут постоянно противопоставляться политической слабости и провалам прежних нееврейских правительств. За каждым членом общества установят слежку. Многочисленная тайная полиция навербована из всех слоев населения, и каждому гражданину будет вменено в неукоснительную обязанность доносить о всех критических замечаниях, касающихся режима. Антиправительственная агитация окажется приравненной к самому позорному преступлению, сравнимому лишь с кражей или убийством. Со всяким проявлением либерализма будет покончено, основным требованием станет безоговорочное повиновение. В неопределенном будущем обещают свободу, но это обещание эфемерно.

С другой стороны, будет обеспечен высокий жизненный уровень населения. Безработицу ликвидируют, а налоги поставят в зависимость от доходов. Заинтересованность «маленького» человека будет подстегнута развитием мелкого производства. Образование будет спланировано так, чтобы готовить молодых людей в зависимости от их происхождения. Пьянство подвергнется самому серьезному осуждению, как и всякое проявление независимой воли.

Все это даст массам удовлетворение и покой, и примером для них послужат вожди. Законы будут понятными и неизменными, а судьи — неподкупными и непогрешимыми. Все еврейские руководители будут подбираться из способных, деловых и доброжелательных людей, а Верховный вождь будет человеком выдающихся достоинств; неподходящих наследников безжалостно устранят. Этот еврейский правитель станет свободно общаться с людьми, принимать их петиции; никто не догадается, что он постоянно окружен агентами тайной полиции. Он должен вести безукоризненную частную жизнь, не опекая своих родственников; он не будет владеть никакой собственностью. Он станет постоянно трудиться по заданию правительства. В результате воцарится мир без насилия и несправедливостей, в котором все будут наслаждаться подлинными благами общества. Народы мира возрадуются и восславят прекрасное правление, и поэтому Сионское царство просуществует долго.

Таков замысел, который приписывают этим таинственным господам — «Сионским Мудрецам».

* * *

Впервые широкая публика узнала о «Протоколах» после нескольких изданий в России в период с 1903 по 1907 год. Самым ранним, несколько сокращенным печатным вариантом является тот, что появился в петербургской газете «Знамя» с 28 августа по 7 сентября 1903 года. Редактором-издателем «Знамени» был известный антисемит П. А. Крушеван. За несколько месяцев до появления «Протоколов» он организовал погром в Кишиневе, во время которого было убито 45 евреев и более 400 ранено. 1300 еврейских домов и лавок разрушено.

Крушеван не сообщает, кто переслал или передал ему эту рукопись; он только упоминает, что это — перевод документа, написанного во Франции, который озаглавлен переводчиком так: «Протоколы заседаний всемирного союза франмасонов и сионских мудрецов»; сам Крушеван озаглавил их так: «Программа завоевания мира евреями».

Два года спустя та же версия, но на этот раз без сокращений, появилась в форме брошюры под названием «Корень наших бед» с подзаголовком «Где корень современной неурядицы в социальном строе Европы вообще и России в частности. Отрывки из древних и современных протоколов Всемирного союза франкмасонов». Это произведение было передано в Санкт-Петербургский цензурный комитет 9 декабря 1905 года; разрешение на публикацию было тут же получено, и в том же месяце брошюра появилась в Санкт-Петербурге с выходными данными Императорской гвардии. Имя редактора не упоминалось, но вполне вероятно, что в действительности это был офицер в отставке по фамилии Г. В. Бутми, близкий друг Крушевана. Оба они — выходцы из Бессарабии.

В то время, с октября 1905 года, Бутми и Крушеван принимали активное участие в создании крайне правой организации — «Союза русского народа», известной под названием «Черная сотня», которая создала вооруженные отряды для борьбы с радикалами, либералами и для массовых кровавых расправ над евреями. В январе 1906 года эта организация вновь опубликовала брошюру «Корень наших бед», но на этот раз на обложке стояло имя редактора — Бутми — и новый заголовок «Враги рода человеческого». Основная часть книги имеет подзаголовок «Протоколы, извлеченные из тайных хранилищ Сионской Главной Канцелярии (Где корень современной неурядицы в социальном строе Европы вообще и России в частности)». Эта брошюра появилась на сей раз с выходными данными не Императорской гвардии, а училища глухонемых. Три новых издания этого варианта «Протоколов» появились в 1906 году, и еще два — в 1907-м, все в Петербурге; кроме того, они в то же время были напечатаны в Казани с подзаголовком «Выдержки

из древних и современных протоколов Сионских Мудрецов Всемирного общества Франмасонов».

«Корень наших бед» и «Враги рода человеческого» — это дешевые брошюры, предназначенные для массового читателя.

Совершенно по-иному преподнесены «Протоколы» в книге, появившейся под названием «Великое в малом и Антихрист как близкая политическая возможность». Ее автором был писатель-мистик Сергей Нилус. В первое издание его книги «Протоколы» не вошли. Они были включены во второе издание, увидевшее свет в декабре 1905 года, с выходными данными местного отделения Красного Креста в Царском Селе. Как мы впоследствии увидим, это издание было подготовлено с определенной целью: произвести впечатление на Николая II. Потому оно несло на себе отпечаток таинственности первоисточника. Прекрасно изданная книга была закамуфлирована под те мистические сочинения, которые царь так любил читать. Кроме того, она содержала ссылки на события во Франции и в других странах, издание же Крушевана — Бутми более ориентировано на события, происходившие в Российской империи.

Вернемся немного назад. Итак, книга Нилуса была одобрена Московским цензурным комитетом 28 сентября 1905 года, но все еще оставалась в рукописи; тем не менее она появилась в печати примерно в то же время, что и «Корень наших бед». Но еще до этого она привлекла к себе внимание. Поскольку Сергей Нилус пользовался тогда благосклонностью императорского двора, Московский митрополит отдал распоряжение прочитать проповедь, содержащую изложение его версии «Протоколов», во всех 368 церквах Москвы. Это было исполнено 16 октября 1905 года; кроме того, проповедь была поспешно перепечатана в правой газете «Московские ведомости», став еще одним изданием «Протоколов». Именно вариант Нилуса, а не Бутми, оказал влияние на мировую историю. Но это случилось не в 1905 году, и даже не в 1911 и не в 1912 годах, когда появились новые издания «Великого в малом». Это случилось лишь тогда, когда книга появилась вновь в несколько измененном и пересмотренном виде, в большем объеме, под названием «Близ есть, при дверех». Это произошло в 1917 году.

2

Когда встречаешься с совершенно секретным документом, представляющим собой целую серию докладов, то, естественно, трудно не задаться вопросом: кто же писал эти доклады, кому, по какому поводу; а также каким образом этот документ попал к тем, для кого, очевидно, вовсе не предназначался? Различные издатели «Протоколов» сделали все возможное, чтобы удовлетворить законное любопытство, но их ответы — увы! — далеки от ясности и согласованности.

Даже самое раннее издание, появившееся в газете «Знамя», вызывает недоумение. В то время как переводчик утверждал, что этот документ был добыт «из тайных хранилищ Сионской Главной канцелярии» во Франции, издатель признается: «Как, где, каким образом могли быть списаны протоколы этих заседаний во Франции, кто именно списал их, мы не знаем...». Но это еще не все. Переводчик в постскриптуме сообщает: «Изложенные протоколы написаны сионскими представителями» и настойчиво предупреждает нас, чтобы мы не смешивали «сионских представителей» с представителями сионистского движения,— но это не останавливает издателя, который утверждает, что «Протоколы» являют угрозу сионизма, «призванного объединить всех евреев на земле в один союз, еще более сплоченный и опасный, чем иезуитский орден».

Бутми также растолковывал, что «Протоколы» изъяты из секретных архивов «Главной Сионской канцелярии», но излагает куда более красочную историю:

«Протоколы эти, как тайные, были добыты с большим трудом, в отрывочном виде, и переведены на русский язык 9 декабря 1901 года. Почти невозможно вторично добраться до тайных хранилищ в секретные архивы, где они запрятаны, а потому они не могут быть подкреплены точными указаниями места, дня, месяца, года, где и когда они были составлены».

Основным доводом в пользу того, что «Протоколы» не были подделаны, автор называет «сквозящие в каждой строке протоколов бесстыдное самохвальство, презрение ко всему человечеству, а также беззастенчивость в выборе средств для достижения своих целей, то есть качества, которые присущи в такой мере одним только иудеям» [1].

Нилус запутывается в своих утверждениях и, в конце концов, противоречит не только Бутми, но и самому себе. В издании «Протоколов» 1905 года после текста следует примечание:

«Эти „Протоколы“ были тайно извлечены (или похищены) из целой книги протоко-

[1] Г. Бутми. Враги рода человеческого. Издание Союза русского народа. Спб., 1906, с. V.

лов. Все это добыто моим корреспондентом из тайных хранилищ Сионской Главной канцелярии, находящейся ныне на французской территории»[1].

Этот вымысел вполне перекликается с версией Бутми, но, к несчастью, то же издание «Протоколов» предварено примечанием, в котором говорится, что они были выкрадены какой-то женщиной у весьма влиятельного, занимавшего очень крупный пост лидера масонов после одного из тайных сборищ «посвященных» во Франции, этом гнезде масонского заговора. А в издании 1917 года Нилус еще больше запутывает вопрос о происхождении «Протоколов»:

«...только теперь мне достоверно стало известным по еврейским источникам, что эти „Протоколы" не что иное, как стратегический план завоевания мира под пяту богоборца Израиля, выработанный вождями еврейского народа в течение многих веков его рассеяния и доложенный совету старейшин „князем изгнания" Теодором Герцлем во дни I Сионистского конгресса, созванного им в Базеле в августе 1897 года».

Автор ничего не мог придумать получше! Оригинал рукописи якобы был найден написанным по-французски, но на I Сионистском конгрессе не было ни одного французского делегата, а официальным языком был немецкий. Сам Герцль, основатель современного сионизма, был австрийским журналистом; вся работа конгресса протекала при участии публики, а город Базель был наводнен журналистами, которые вряд ли могли пропустить столь необычную встречу. Но в любом случае сам Нилус в издании 1905 года категорически утверждал, что доклады были прочитаны не в Базеле, а во Франции, этом современном гнезде франкмасонского заговора.

В атмосфере всеобщего замешательства издатели «Протоколов» продолжали изобретать все новые истории. Издатель первого немецкого перевода (1919), известный под именем Готтфрид цур Бек, утверждал, что «Сионские Мудрецы» были просто делегатами Базельского конгресса; он также объясняет, как были разоблачены их махинации. По его словам, русское правительство, давно обеспокоенное активной деятельностью евреев, послало на конгресс своего шпиона для наблюдения за ними. Еврей, которому было поручено отвезти стенографическую запись (несуществующих) тайных встреч из Базеля «еврейско-масонской ложе» во Франкфурте-на-Майне, был подкуплен русским шпионом и передал ему рукопись на одну ночь в каком-то городке по пути. К счастью, под рукой у шпиона оказался целый взвод переписчиков. За ночь лихорадочной работы они сумели снять копии со многих протоколов, которые затем были отосланы в Россию к Нилусу для перевода их на русский язык.

Так утверждал Готтфрид цур Бек. Но Теодор Фритш, «патриарх немецкого антисемитизма», в своем издании «Протоколов» (1920) предлагает совершенно другую версию. Для него этот документ тоже был сионистской продукцией — он даже назвал их «Сионистские протоколы»,— но он был выкраден не на Базельском конгрессе русской полицией, а в каком-то неназванном еврейском доме. Более того, они были написаны не по-французски, а на древнееврейском языке, так что полиция передала их для перевода «профессору-ориенталисту Нилусу» (который в действительности, как мы увидим, не был ни профессором, ни ориенталистом, ни даже переводчиком «Протоколов»).

Совсем другую историю приводит Роже Ламбелен — автор наиболее популярного французского издания; по его словам, «Протоколы» были выкрадены из шкафа в каком-то эльзасском городке женой или невестой руководителя франкмасонов. После таких красочных историй утверждение польского издателя, что «Протоколы» были просто похищены из квартиры Герцля в Вене, звучит серой прозой.

Дама, известная как американка Лесли Фрей, а по мужу как мадам Шишмарева, начиная с 1922 года немало писала о «Протоколах». Ее главным вкладом в дискуссию были аргументы, доказывающие, что автором «Протоколов» был не кто иной, как Ашер Гинцберг, который писал под псевдонимом «Ахад Гаам» (то есть «один из народа»)[2],— автор по существу настолько аполитичный, что другого такого даже трудно себе представить. По словам мадам Фрей, «Протоколы» были написаны Гинцбергом на древнееврейском языке, прочитаны им на тайном заседании «посвященных» в Одессе в 1890 году, затем переправлены во французском переводе во Всемирный еврейский союз в Париже, а затем, в 1897 году,— на Базельский конгресс, где, как, очевидно, следует предположить, они были переведены на немецкий для удобства делегатов. Слишком запутанная гипотеза, но тем не менее она имеет достаточно влиятельную поддержку.

---

[1] С. Нилус. Великое в малом. Царское Село, 1905, с. 394.

[2] Политический сионизм не был единственной формой еврейского национального движения. В конце XIX века получил развитие некий «духовный» сионизм, главный идеолог которого Ахад Гаам (псевдоним А. Гинцберга) резко критиковал программу территориально-политического решения еврейского вопроса, выдвинутую Т. Герцлем. Он считал, что страна Израиля будет играть роль лишь духовного центра в жизни евреев, и выступал против идеи политических сионистов «собирать всех евреев мира на родине предков — в еврейском государстве». Основной целью Ахада Гаама было духовное возрождение еврейского народа.— *Примеч. ред.*

Таким образом, у различных авторов, пишущих о «Протоколах», нет единого мнения об их происхождении. Даже убеждение, что «Сионские Мудрецы» — это делегаты Базельского конгресса, разделяется не всеми. Неизвестный русский переводчик французского текста, по словам Крушевана и Бутми, недвусмысленно утверждает, что «Мудрецов» нельзя отождествлять с представителями сионистского движения. Для Нилуса, до его запоздалого открытия, Главная Сионская канцелярия являлась штаб-квартирой Всемирного еврейского союза в Париже; Урбен Готье, один из первых издателей «Протоколов» во Франции, был тоже убежден, что «Мудрецы» были членами союза. Другие, следуя за миссис Фрей, попытались объединить обе гипотезы — нелегкая задача, так как союз — это чисто филантропическая, аполитичная организация, которая все свои надежды связывала с адаптацией евреев с их соотечественниками и была настолько враждебно настроена по отношению к сионизму, что вызывала всеобщее удивление. Конечно, оставались еще и масоны, которых очень часто упоминают в связи с «Протоколами»...

Тем временем в 1921 году на поверхность всплыло нечто, самым решительным образом подтвердившее, что «Протоколы» были фальшивкой...

8 мая 1920 года газета «Таймс» писала:

«Что такое эти „Протоколы"? Достоверны ли они? Если да, то какое злокозненное сборище составило подобные планы и радуется их бурному распространению?.. Не избежали ли мы, напрягая все силы нашей нации, Всегерманского союза, чтоб попасть в тенета Всеиудейского союза?»

Год спустя, 18 августа 1921 года, «Таймс» поместила сенсационную передовую статью, в которой признала свою ошибку. В номерах от 16, 17 и 18 августа она опубликовала подробное сообщение своего корреспондента в Константинополе Филиппа Грейвса, в котором сообщалось, что «Протоколы» в основном являлись копией памфлета против Наполеона III, памфлета, датируемого 1864 годом. Вот что сообщал Филипп Грейвс:

«Должен признаться, что, когда открытие дошло до меня, я поначалу отказывался ему верить. Г-н Х., который предоставил мне доказательства, был убежден в них. „Прочтите эту книгу,— сказал он мне,— и вы найдете неопровержимые доказательства, что „Протоколы сионских мудрецов" являются плагиатом".

Г-н Х., не желающий открыть для публики свое имя,— русский помещик, родственники которого живут в Англии. Будучи православным по религиозным убеждениям, по политическим он — конституционный монархист. Он прибыл сюда как беженец после окончательного провала белого движения в Южной России. Его давно интересовал еврейский вопрос в России. С этой целью он изучал „Протоколы" и во время правления генерала Деникина попытался выяснить, действительно ли на юге России существовала какая-то тайная „масонская" организация, подобная той, о которой говорится в „Протоколах". Оказалось, что там существовала только одна организация — монархическая. На разгадку появления „Протоколов" он напал совершенно случайно.

Несколько месяцев назад он купил стопку старых книг у бывшего офицера охранки, который бежал в Константинополь. Среди этих книг г-н Х. обнаружил небольшой томик на французском языке без титульного листа размером 15 × 9 сантиметров, в дешевом переплете. На кожаном корешке большими латинскими буквами оттиснуто слово „Жоли". Предисловие, озаглавленное „Просто объявление", помечено: Женева, 15 октября 1864 года... И бумага, и шрифт были очень характерны для шестидесятых-семидесятых годов прошлого столетия. Я привожу эти детали в надежде, что они могут привести к открытию названия книги...

Г-н Х. считает эту книгу библиографической редкостью, так как иначе „Протоколы" немедленно были бы признаны плагиатом всяким, кто прочел оригинал.

Подлинность книги не вызывает ни минуты сомнения у всякого, кто видел эту книгу. Ее первый владелец, офицер охранки, не помнил, откуда он ее взял, и не придавал этому никакого значения. Г-н Х., однажды просматривая книжку, был поражен сходством между фразой, на которой остановился его взгляд, и фразой французского издания „Протоколов". Он продолжил сравнительное изучение и вскоре понял, что „Протоколы" были в основном... парафразом женевского оригинала...

До получения книги из рук г-на Х. я этому не верил. Я не считал протоколы Сергея Нилуса подлинными... Но я никогда бы не поверил, если бы не видел собственными глазами, что писатель, который снабдил Нилуса оригиналом, был беззастенчивым и бессовестным плагиатором.

Женевская книга представляет собой тонко замаскированный памфлет против деспотизма Наполеона III и состоит из 25 диалогов... Собеседниками являются Монтескье и Макиавелли...»

Перед тем как напечатать сообщение своего корреспондента из Константинополя, «Таймс» предприняла розыски в Британском музее. Напечатанное на обложке имя «Жоли» дало ключ к разгадке. Таинственный томик был опознан: «Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли» был написан французским юристом Морисом Жоли. Впервые он был опубликован в Брюсселе (хотя и с выходными данными Женевы) в 1864 году.

В своей автобиографии, написанной в 1870 году, Морис Жоли рассказал, как однажды

он гулял по набережной Сены в Париже и ему в голову неожиданно пришла идея написать диалог между Монтескье и Макиавелли. Прямая критика режима Наполеона была запрещена. Таким же образом становилось возможным, хотя и устами Макиавелли, раскрыть причины действий императора и его методы, освободив их от обычного камуфляжа и притворства. Так думал Жоли, но он недооценил своего противника. «Диалог в аду» был напечатан в Бельгии и тайно доставлен во Францию. Но в момент пересечения границы груз был захвачен полицией, а вскоре и автора книги выследили и арестовали. 25 апреля 1865 года Жоли предстал перед судом и был приговорен к пятнадцатимесячному тюремному заключению. Его книга была запрещена и конфискована.

Дальнейшая жизнь Жоли складывалась столь же неудачно. Ироничный, агрессивный, не проявляющий почтительности к властям, он все больше и больше разочаровывался в жизни и в 1879 году покончил жизнь самоубийством. Конечно, Жоли заслуживал лучшей судьбы. Он был не только блистательным стилистом, но и обладал великолепной интуицией, даром предвидения. В своем романе «Голодающие» он проявил редкое понимание тех напряженных отношений в современном мире, которые породили революционные движения как правого, так и левого толка. Но прежде всего в своих размышлениях о дилетантском деспотизме Наполеона III он достиг таких высот предвидения, которые сохранили свою актуальность по отношению к различным авторитарным режимам нашего времени. Более того, некоторые предвидения Жоли ожили вновь, когда «Диалог в аду» был превращен в «Протоколы сионских мудрецов», и это является причиной того, как мы увидим позже, почему «Протоколы» часто кажутся предсказанием авторитаризма XX века. Но, в конце концов, это незавидное бессмертие, и жестокая ирония судьбы заключается в том, что блистательная, но давно забытая защита либерализма послужила основой для кошмарно написанной реакционной галиматьи, которая ввела в заблуждение весь мир.

Памфлет Жоли — это действительно замечательное произведение, точное, безжалостное, логичное, прекрасно выстроенное. Спор начинает Монтескье, который утверждает, что в нынешнем веке просвещенные идеи либерализма породили деспотизм, который всегда был аморален. Макиавелли отвечает ему с таким красноречием и настолько пространно, что одерживает верх в остальной части памфлета. «Народные массы,— говорит он,— не способны управлять собой. Обычно они инертны и счастливы только в том случае, когда ими правит сильная личность; в то же время, если что-то пробуждает их, то они проявляют способность лишь к бессмысленному насилию, и тогда им необходима сильная личность, чтобы осуществить над ними контроль. Политика никогда не имела ничего общего с моралью, а что касается практической стороны дела, то еще никогда не было так просто, как сейчас, установить деспотическое правление. Современный правитель должен только притвориться, что соблюдает формы законности, он должен убедить свой народ в простейшей видимости самоуправления — и в этом случае у него не возникнет ни малейших трудностей в достижении и осуществлении абсолютной власти. Народ охотно соглашается с любым решением, которое он посчитает своим собственным; поэтому правитель должен только передать решения всех вопросов народной ассамблее, предварительно, конечно, обставив дело так, что ассамблея примет именно те решения, которые ему нужны. С силами оппозиции, которые могут воспротивиться его воле, легко покончить: стоит лишь ужесточить цензуру, а также дать указание полиции следить за своими политическими противниками. Ему не страшны ни власть церкви, ни финансовые проблемы. До тех пор, пока государственный деятель ослепляет народ силой своего авторитета и одерживает военные победы, он может быть полностью уверенным в поддержке».

Такова книга, которая вдохновила автора фальшивых «Протоколов». Он беззастенчиво занялся плагиатом,— а о том, до какой степени бесстыдно и бесцеремонно это проделано, можно судить по параллельным текстам, помещенным в конце книги [1]. Более 160 отрывков в «Протоколах» — две пятых всего текста — откровенно взяты из книги Жоли; в девяти главах заимствования достигают более половины текста, в некоторых — до трех четвертей, а в одной (протокол VII) — почти целиком весь текст. Более того, за некоторыми исключениями порядок заимствованных отрывков остается точно таким, как у Жоли, и создается впечатление, что автор работал над «Диалогом» механически, переписывая в свои «Протоколы» страницу за страницей. Даже расположение по главам почти то же самое — 24 главы «Протоколов» почти целиком совпадают с 25 главами «Диалога». Только в конце, где преобладают пророчества «мессианского века», переписчик позволяет себе некоторые отступления от оригинала. Это — поистине бесспорный случай плагиата и подделки.

Автор фальшивки выстроил свои доказательства на выкладках, извлеченных из спора двух противостоящих друг другу сторон в «Диалоге»: защита деспотизма Макиавелли и защита либерализма Монтескье. Но его заимствования сделаны главным образом у Макиавелли. То, что Жоли вкладывает в уста Макиавелли, автор фальшивки этими же словами заставляет говорить безымянного «Сионского Мудреца» — но с некоторыми имеющими важное значение добавлениями. В книге Жоли Макиавелли, олицетворяющий позицию Наполеона III, описывает положение дел, которое существовало всегда, в «Протоколах» же это описание подается в форме пророчества о будущих временах. Макиавелли утверждает, что деспот может отыскать в демократических формах правления полезное прикрытие для своей тирании; в «Протоколах» этот аргумент поставлен «с ног на голову», и в результате получается, что все демократические формы правления являются лишь прикрытием тирании. Но плагиатор заимствует некоторые отрывки и у Монтескье, и здесь они у него приобретают специфический смысл,— что, мол, идеи либерализма — это изобретение евреев, и они распространяют их с единственной целью: дезорганизовать и деморализовать неевреев.

Располагая свободным временем, на таком материале можно было бы выстроить блестящую подделку, но когда вчитываешься в «Протоколы», создается впечатление, что они были сфабрикованы в спешке. Например, в «Диалоге» проводится четкое различие между политикой Наполеона III, когда он только стремился к захвату власти, и его политикой, когда он уже твердо держал власть в своих руках. «Протоколы» ничего не подозревают о подобных нюансах. В одном месте докладчик говорит так, словно «Мудрецы» уже обладают абсолютным контролем, а в другом — складывается впечатление, что им предстоит ждать этого еще сотню лет. Иногда он хвастает, что нееврейские правительства уже запуганы «Мудрецами», а иногда признается, что о заговоре «Мудрецов» им ничего не известно и что о их существовании они даже никогда не слышали. Другие нелогичности объясняются тем, что описываемый Жоли деспот стремится добиться господства над Францией, «Мудрецы» пытаются добиться господства над всем миром. Автор фальшивки не заботится о том, чтобы хоть как-то согласовать подобные расхождения,— более того, ему нравится разрывать словесную ткань «Диалога» несуразностями собственного изобретения, например, такой, как угроза взорвать мятежные столицы, используя для достижения этой цели метро.

Еще более странно, что автор фальшивки сохраняет все отрывки, которые посвящены нападкам на либеральные идеи и восхвалению земельной аристократии как необходимого оплота монархии... Эти отрывки настолько не еврейские по своему характеру, что вызвали замешательство даже среди издателей «Протоколов». Некоторые издатели просто исключили их, другие попытались объяснить это тем, что ярый русский консерватор Сергей Нилус, должно быть, вставил сюда свои собственные рассуждения. Их трудности можно понять. Нилус не был автором подделки, однако, как мы скоро увидим, проклятия в адрес политической свободы и восхваление аристократического и монархического строя помогут нам обнаружить истинную природу и причины появления этой фальшивки.

[1] См.: Приложение.

Приложение

ОБРАЗЦЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕСТ В «ПРОТОКОЛАХ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ» И ПАМФЛЕТЕ М. ЖОЛИ «ДИАЛОГ В АДУ»

Тексты из книги М. Жоли «Диалог в аду» цитируются по английскому переводу 1935 года (левый столбец; в скобках указан номер страницы). «Протоколы», с указанием порядкового номера главы, цитируются по их последнему дореволюционному изданию (1917). Пояснения в тексте взяты из статьи католического священника о. Пьера.

«Диалог» М. Жоли	«Протоколы»
Оставим слова и сравнения и обратимся к идеям. Вот как я формулирую мою систему (83).	Отложив фразерство, будем говорить о значении каждой мысли. Итак, я формулирую нашу систему... (I).
В человечестве дурной инстинкт сильнее доброго (83).	Люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых... (I).
Каждый человек стремится к власти, каждый был бы угнетателем, если бы смог; все, или почти все, готовы принести права других в жертву собственным интересам (83).	Каждый человек стремится к власти; каждому хотелось бы сделаться диктатором, если бы только он мог, но при этом редкий не был бы готов жертвовать благами всех ради достижения благ своих (I).
Что сдерживает этих хищных животных, которых называют людьми (83)?	Что сдерживало хищных животных, которых зовут людьми (I)?

На первых ступенях социальной жизни они подчинялись грубой силе, потом — закону, то есть опять же силе, но упорядоченной (83).	В начале общественного строя они подчинялись грубой и слепой силе, потом — закону, который есть та же сила, только замаскированная (I).
Политическая свобода есть понятие относительное (83).	Политическая свобода есть идея, а не факт (I).
Государство разрушается, будучи либо разъединено, либо расчленено своими же собственными распрями, либо становясь добычей чужих народов (83).	Истощается ли государство в собственных конвульсиях или же внутренние распри отдают его во власть внешним врагам, во всяком случае оно может считаться безвозвратно погибшим (I).
Сформировавшееся государство имеет два рода врагов: внутренних и внешних. Какое орудие употреблять ему в войне против внешних врагов? Будут ли два враждующих полководца сообщать планы своих кампаний друг другу и тем облегчать другу защиту? Можно ли ждать, что они откажутся от ночных нападений, засад, ловушек, сражений с превосходящими силами? И эти засады, и эти хитрости, всю эту стратегию, необходимую для ведения войны, вы не хотите использовать против внутренних врагов, против нарушителей общественного порядка (83—84)?	Если у каждого государства два врага и если по отношению к внешнему врагу ему дозволено и не почитается безнравственным употреблять всякие меры борьбы, как, например, не ознакомлять врага с планами защиты или нападения, нападать на него ночью или неравным числом людей, то почему же такие меры в отношении худшего врага, нарушителя общественного строя и благоденствия, можно называть недозволенными и безнравственными (I)?
Можно ли руководить, опираясь только на здравый смысл, неистовыми толпами, движимыми только чувствами, страстями и предрассудками (84)?	Может ли здравый логический ум надеяться успешно руководить толпами при помощи разумных увещаний? ...Руководствуясь исключительно мелкими страстями, поверьями и обычаями, традициями и сентиментальными теориями, люди в толпе и люди толпы поддаются партийному расколу (I).
Имеет ли политика что-либо общее с моралью (84)?	Политика не имеет ничего общего с моралью (I).
Я учредил бы, например, громадные финансовые монополии — резервуары государственного богатства, от которых все частные состояния зависели бы настолько, что они были бы поглощены вместе с государственными кредитами на другой день после любой политической катастрофы. Вы экономист, Монтескье, взвесьте значение этой комбинации (118)!	Скоро мы начнем учреждать громадные монополии — резервуары колоссальных богатств, от которых будут зависеть даже крупные гоевские состояния настолько, что они потонут вместе с кредитом государств на другой день после политической катастрофы... Господа экономисты, здесь присутствующие, взвесьте-ка значение этой комбинации (VI)!
[Я бы поставил целью] всемерное развитие господства государства, представляя его суверенным защитником, покровителем и воздаятелем (118).	Всеми путями нам надо развивать значение нашего Сверхправительства, представляя его покровителем и вознаградителем (VI).
Аристократия как политическая сила мертва, но владеющая землей буржуазия все еще опасна правительству тем, что она самостоятельна; необходимо лишить ее средств или совсем разорить. Для этого достаточно увеличить налоговое бремя на земельную собственность, чтобы привести сельское хозяйство в состояние относительного упадка (119).	Аристократия гоев [1] как политическая сила скончалась... но как территориальная владелица она вредна для нас тем, что может быть самостоятельна в источниках своей жизни. Нам надо ее поэтому во что бы то ни стало обезземелить (VI).
С крупными промышленниками и фабрикантами можно иметь выгодные сделки, поощряя их к чрезмерной роскоши (119).	Для разорения гоевской промышленности мы пустим... развитую нами среди гоев сильную потребность в роскоши, всепоглощающей роскоши (VI).
Необходимо добиться, чтобы в государстве были только пролетарии, несколько миллионеров и солдаты (119).	Необходимо достичь того, чтобы кроме нас во всех государствах были только массы пролетариата, несколько преданных нам миллионеров, полицейские и солдаты (VII).

[1] Гой *(древнеевр.)* — народ (множ.— гоим). В еврейских текстах слово «гой» употребляется и в отношении евреев, например, в сочетании «гой-эхат — единый народ». В обиходной речи «гой» — «иноверец».— *Примеч. ред.*

Фальсификатор, нанятый для того, чтобы представить евреев ненавистниками, не всегда тщательно выполнял свое задание. Он небрежно читал фразы из «Диалога». Приведем примеры:

«Диалог» М. Жоли	«Протоколы»
Необходимо возбуждать за рубежом, с одного конца Европы до другого, революционное брожение... Это даст два преимущества: либеральная агитация за рубежом поможет оправдать внутренние репрессии. Более того, так можно будет подчинить все государства и по желанию создавать в них порядок или конфликты. Важно также запутать кабинетными интригами все нити европейской политики (119).	По всей Европе, а с помощью ее отношений и на других континентах, мы должны создать брожения, раздоры и вражду. В этом двоякая польза: во-первых, этим мы держим в решпекте все страны, хорошо ведающие, что мы, по желанию, властны произвести беспорядки или водворить порядок... Во-вторых, интригами мы запутаем все нити, протянутые нами во все государственные кабинеты (VII).
Власть, о которой я мечтаю... должна привлечь к себе все силы и таланты цивилизации, в недрах которой она существует. Она должна окружить себя публицистами, юристами, администраторами (120).	Наше правление должно окружать себя всеми силами цивилизации, среди которых ему придется действовать. Оно окружит себя публицистами, юристами-практиками, администраторами (VIII).
Народы питают огромную тайную любовь к жестоким гонениям. Обо всех насильственных действиях, отмеченных талантом, с восторгом, перекрывающим любой упрек, говорят: «Верно, это нехорошо, но это ловко, это здорово сделано, это сильно!» (129).	Народ питает особую любовь и уважение к гениям политической мощи и на все их насильственные действия отвечает: «Подло-то подло, но ловко!.. Фокус, но как сыгран, сколь величественно нахально!» (X).

У Жоли Макиавелли предсказывает государственный переворот. Это, очевидно, относится к перевороту Наполеона III, осуществленному 2 декабря 1851 года. Русский же автор предписывает этот переворот «Сионским Мудрецам», не объясняя, как может быть достигнута такая цель, как всемирный переворот. Макиавелли идет дальше, и полицейский-фальсификатор неизменно следует по его стопам:

«Диалог» М. Жоли	«Протоколы»
Государственный переворот, который я совершу, я ратифицирую народным голосованием. Я буду говорить народу примерно так: «Происходящее было ужасно, я все это уничтожил, я спас вас, поддержите ли вы меня? Вы свободны осудить или оправдать меня» (130).	Когда мы совершим наш государственный переворот, мы скажем тогда народам: «Все шло ужасно плохо, все исстрадались. Мы разбиваем причины ваших мук: народности, границы, разномонетность... Конечно, вы свободны произнести над нами приговор» (X).
Макиавелли: С помощью голосования без различия классов и имущественного ценза я установлю абсолютизм одним росчерком пера. Монтескье: Да, так как этим цензом одним	Нам надо привести всех к голосованию без различия классов и ценза, чтобы установить абсолютизм большинства. Мы сломаем значение гоевской семьи... Мы создадим такую слепую мощь, которая никогда

росчерком вы также разрушите единство семьи... и вызовете к жизни множество слепых сил, которые будут действовать по вашей воле (130).

не будет в состоянии двинуться помимо руководства наших агентов (X).

Голосование, о котором говорит Макиавелли,— прозрачный намек на наполеоновский плебисцит. Со своей же стороны автор «Протоколов» добавляет чудовищную нелепость — «абсолютизм большинства». Вся парламентская система, которой посвящены 10 и 11 протоколы, скопирована с «Диалога», и здесь вновь не очень умный фальсификатор оставляет следы собственной работы:

Повсюду под разными названиями, но почти с одной и той же юрисдикцией, можно найти министерства, сенат, законодательные органы, государственный совет, кассационный суд [1]. Я освобожу вас от совершенно бесполезного пояснения, касающегося этих сил, секреты которых вам известны лучше меня (132).

Под разными названиями во всех странах существует примерно одно и то же. Правительство, министерство, сенат, Государственный совет, законодательный и исполнительный корпус. Мне не нужно пояснять вам механизм отношений этих учреждений, так как вам это хорошо известно (X).

Как бог Вишну, моя пресса будет иметь тысячу рук: и эти руки будут дотягиваться до самых разных оттенков мысли (153).

Они (газеты), как индийский божок Вишну, будут иметь сто рук, из которых каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений (XII).

Глава II

ОХРАНКА И ОККУЛЬТИСТЫ

1

После прихода Гитлера к власти «Протоколы» в Германии приобрели особое значение, и за их распространение по всему миру взялись как германские нацисты, так и сочувствующие им организации в других странах. Против этого активно выступили еврейские общины в Швейцарии, которые возбудили судебное дело против руководства швейцарской нацистской организации и некоторых отдельных нацистов. Им было поставлено в вину печатание и распространение предосудительной литературы, но судебное разбирательство, проходившее в Берне в октябре 1934 и мае 1935 годов, на самом деле превратилось в расследование, поставившее своей целью выяснение подлинности или поддельности «Протоколов». Неправдоподобным может сейчас показаться, что тогда это расследование привлекло широкое внимание всего мира и на нем присутствовали многочисленные журналисты со всех концов света.

Большой интерес разбирательство в Берне вызывало в связи с тем, что оно могло пролить свет на деятельность охранки — царской тайной полиции — и ее возможную связь с «Протоколами» [2]. В качестве свидетелей истцы вызвали в суд нескольких русских эмигрантов, придерживающихся либеральных взглядов. Одним из них был профессор Сергей Сватиков, бывший социал-демократ из меньшевиков. При Временном правительстве Сватиков был направлен в Париж, чтобы распустить зарубежное отделение русской тайной полиции, штаб-квартира которой находилась во французской столице. Одним из агентов, с которым он беседовал, был Анри Винт, француз из Эльзаса, находившийся на русской службе с 1880 года. В соответствии с показаниями Винта, «Протоколы» были сфабрикованы по указанию главы зарубежного отделения охранки в Париже Петра Ивановича Рачковского. Другой свидетель, известный журналист Владимир Бурцев, дал сходные показания. Он заявил, что ему известно от двух бывших директоров департамента полиции, что Рачковский был замешан в фабрикации «Протоколов» [3].

О Рачковском, темной личности и толковом начальнике охранки за пределами России в конце XIX века, известно многое. «Если бы вы встретили его в обществе,— писал один француз, который знал его лично,— я сомневаюсь, почувствовали ли бы вы хоть малейший испуг, ибо в его облике не было ничего, что говорило бы о его темных делах. Полный, суетливый, с постоянной улыбкой на губах... он напоминал скорее добродушного, веселого парня на пикнике... У него была одна приметная слабость — он страстно охотился за нашими маленькими парижанками, но он — один из самых талантливых агентов во всех десяти европейских столицах».

Русский соотечественник Рачковского дает такое описание: «Его слегка заискивающие манеры, мягкость в разговоре напоминали большого зверя, старательно прячущего свои когти, они лишь на мгновение затмили мое представление о том, что оставалось главным в этом человеке,— его тонкий ум, твердая воля, глубокая преданность интересам императорской России».

Рачковский начал свою карьеру как мелкий служащий и даже поддерживал отношения со студентами более или менее революционных взглядов... Поворотным пунктом в его карьере стал 1879 год, когда он был арестован тайной полицией за деятельность, угрожающую безопасности государства. Произошло покушение на жизнь генерал-адъютанта Дрентельна, и хотя Рачковский был только приятелем человека, обвиненного в укрытии преступника, этого было достаточно, чтобы он попал в руки Третьего отделения Императорской канцелярии — будущей охранки. И как это часто происходило в подобных случаях, перед Рачковским встал выбор: либо ссылка в Сибирь, либо доходная служба в самой полиции. Он избрал последний путь, на котором достиг положения человека, обладающего огромной властью.

К 1881 году Рачковский развернул широкую деятельность в правой организации «Священная дружина», которая впоследствии стала называться «Союзом русского народа», в 1883 году был адъютантом начальника тайной полиции в Петербурге, на следующий год он уже в Париже возглавлял зарубежное отделение тайной полиции. Рачковский занимал этот пост в течение 19 лет и добился больших успехов (1884—1903). Он создал агентурную сеть во Франции и Швейцарии, Англии и Германии и именно поэтому осуществлял тайный надзор за деятельностью русских революционеров не только в самой России, но и за границей.

Вскоре у Рачковского обнаружилась поразительная способность к интригам. В 1886 году его агенты, среди которых находился и Анри Винт, взорвали типографию русских революционеров «Народная воля» в Женеве и представили дело так, как будто типографию взорвали предатели из числа самих революционеров. В 1890 году он «раскрыл» организацию, которая якобы изготавливала в Париже бомбы для проведения террористических актов в России. В самой России в результате этого разоблачения охранка арестовала не меньше 63 террористов. Только 19 лет спустя журналист Бурцев — тот самый Бурцев, который давал показания на суде в Берне,— обнародовал правду об этом деле: бомбы подкладывались людьми Рачковского по его личному указанию.

В 90-е годы изготавливали бомбы и бросали их как в Европе, так и в России; это было золотое время анархистов и нигилистов, хотя не все акты, которые расценивались как террористические, на самом деле являлись таковыми. В 1893 году достаточно безобидная бомба, начиненная гвоздями, была брошена в палату депутатов французского парламента; в 1894 году произошла целая серия куда более опасных взрывов в Льеже. Не вызывает сомнения, что Рачковский намеренно устроил эти акты насилия, но вполне вероятно, что он стоял и за первым взрывом. Рачковский не был удовлетворен ролью начальника зарубежной агентуры охранки и пытался влиять на ход международной политики. В организации беспорядков во Франции и Бельгии он видел возможность сближения между французской и русской полицией как первый шаг, предшествующий заключению русско-французского военного союза, который был так мил сердцу Рачковского и ради достижения которого он так много сделал.

Он устанавливал личные отношения с ведущими французскими политиками, включая президента Лубе, и с русскими сановниками, особо приближенными к царю. Но он был крайне честолюбив, и это отмечали многие, особенно те, кому пришлось сталкиваться с его честолюбием,— от генерала Селиверстова, который был направлен в Париж в 1890 г., чтобы расследовать деятельность Рачковского, до министра внутренних дел Плеве, который отозвал его в 1903 году из Парижа, поскольку Рачковский вывел из подчинения министра свою тайную агентуру. Рачковский искал счастье в спекуляциях на бирже, и они давали ему возможность жить роскошно.

Этот прирожденный интриган любил заниматься подделкой документов. Будучи начальником охранки за рубежом, он в основном занимался слежкой за русскими революционерами, нашедшими убежище за границей. Один из его излюбленных методов — фабрикация письма или памфлета, в котором тот или иной революционер нападал на свое руководство. В 1887 году в парижской прессе появилось письмо некоего П. Иванова, который объявил себя разуверившимся революционером, якобы утверждавшим, что большинство террористов — евреи. В 1890 году появился памфлет, озаглавленный «Признания старого революционера», в котором укрывшиеся в Лондоне революционеры были обви-

[1] В царской России не было учреждений, соответствующих французскому кассационному суду, поэтому в «Протоколах» его нет.— *Примеч. ред.*

[2] Охранка была основана императорским декретом после убийства Александра II в 1881 году для «защиты общественного порядка и безопасности». Ранее ядром тайной полиции считалось Третье отделение при Императорской канцелярии, которое было учреждено в 1826 году после восстания декабристов. Департамент полиции имел свои охранные отделения во всех главных городах России и зарубежное отделение в Париже. Он, как и другие подразделения, подчинялся министру внутренних дел.— *Примеч. авт.*

[3] Протокольная запись этого свидетельства, данного на Бернском процессе, находится в Вейнеровской библиотеке (Лондон).— *Примеч. авт.*

нены в том, что они — британские агенты. В 1892 году появилось письмо, будто бы подписанное именем Плеханова, в котором тот обвинял руководителей «Народной воли» в опубликовании этих признаний. Спустя некоторое время появилось еще одно письмо, в котором Плеханов подвергался резким нападкам со стороны других мнимых революционеров. На самом деле документы были подделаны одним и тем же человеком — Рачковским.

Рачковский также внес большой вклад в разработку тактики, которую затем в широком масштабе использовали нацисты. Она заключалась в том, чтобы представить все прогрессивные движения — от самых умеренных либералов до самых ярых революционеров — просто как орудие в руках евреев. Его целью было дискредитировать прогрессивное движение одновременно в глазах и русской буржуазии, и пролетариата, а также направить против евреев широкое недовольство масс, порожденное царским режимом. Среди материалов, представленных истцами на суде в Берне, находилось письмо, посланное Рачковским в 1891 году из Парижа в Россию директору департамента полиции, в котором шла речь о его намерении начать кампанию против евреев.

Тогда же появилась книга «Анархия и нигилизм», опубликованная в Париже в 1892 году под псевдонимом Жан-Превань. «Анархия и нигилизм», вне всякого сомнения, написана под влиянием Рачковского, в ней помещена одна из его печально известных фальшивок — некоторые страницы очень напоминают отрывки «Протоколов». В книге повествуется, как в результате французской революции евреи стали «абсолютными хозяевами положения в Европе... осторожно управляя и монархиями, и республиками». Единственным препятствием на пути к мировому господству евреев остается «Московская крепость», и чтобы одолеть ее, международный синдикат богатых и могущественных евреев в Париже, Вене, Берлине и Лондоне якобы готовится к созданию коалиции против России. И здесь мы с изумлением наталкиваемся на фразу, которая затем встречается в бесчисленных аналогах «Протоколов»: «Истинную правду следует искать именно в этой формуле, которая дает ключ ко многим якобы неразрешимым загадкам», то есть из нее, говорится далее, необходимо извлечь практический урок: должна быть создана франко-русская лига, чтобы вести борьбу с «тайной, темной и безответственной» властью евреев.

В 1902 году Рачковский действительно пытался создать такую лигу, но действовал привычными методами. Он распространил в Париже призыв к французам поддержать Русскую патриотическую лигу, которая якобы имела свою штаб-квартиру в Харькове. Этот призыв был обманом, так как составлен якобы от лица лиги, которой на самом деле не существовало. Но это еще не все: в этом призыве приводились многочисленные жалобы на Рачковского, который обвинялся в неверном освещении целей лиги и ее деятельности и в лживых утверждениях, что такой лиги вовсе не существует. «Но чего,— звучит далее в призыве,— можно ожидать от шефа охранки, который в ряды своих агентов вербует бывшего революционера, авантюриста от литературы и шантажиста... на чьих щеках все еще горят следы полученных им оплеух при попытке вымогательства в 1889 году». Он завершается надеждой, что Рачковский еще может признать свою ошибку и оценить лигу по достоинству. Вся эта замысловатая стряпня — дело рук самого Рачковского, который все сочинил так искусно, что ему удалось провести не только видных французских деятелей, но и русского министра иностранных дел! [1]

На этот раз, однако, Рачковский перестарался, и когда очередная «утка» была разоблачена, его отозвали из Парижа. Он потерпел временную неудачу. Когда же в 1905 году вспыхнула революция и генерал Д. Трепов получил почти диктаторские полномочия, он назначил Рачковского заместителем директора департамента полиции. В этом качестве он вполне мог приступить к фабрикации документов в более широком масштабе. Было отпечатано огромное число брошюр от имени несуществующих организаций, которые призывали население и даже солдат убивать евреев. Теперь наконец он смог оказать помощь в создании антисемитской организации «Союз русского народа», члены которого от Бутми в 1906 году до Винберга и Шабельского-Борка в 20-х годах сыграли столь важную роль в распространении «Протоколов». Вооруженные банды, финансируемые «Союзом русского народа», устраивая массовые еврейские погромы, ввели в практику политического терроризма такие формы, которые, как мы увидим впоследствии, применялись нацистами. Во всяком случае, неудивительно, что Готтфрид цур Бек, издатель первого иностранного перевода «Протоколов», заявил, что Рачковский, который умер в 1911 году, был на самом деле убит по приказу «Сионских Мудрецов».

Таким образом, есть довольно веские основания обвинять Рачковского в фабрикации тех фальшивок, которые впоследствии породили «Протоколы». Свидетельства Сватикова и Бурцева, книга «Анархия и нигилизм», деятельность самого Рачковского в качестве воинствующего антисемита и организатора погромов, его страсть к составлению невероятно запутанных фальшивок — все это указывает на него как на инициатора. Стоит обратить внимание на то, что Рачковский именно в 1902 году, пытаясь организовать Русскую

[1] Фотокопия этого документа — на французском языке — была послана советскими властями в Берн во время процесса и хранится в Вейнеровской библиотеке в Лондоне.— *Примеч. авт.*

патриотическую лигу, был впутан в придворную интригу в Петербурге вместе с будущим издателем «Протоколов» Сергеем Нилусом. Интрига плелась против француза по имени Филипп, который, подобно Распутину, унаследовавшему место Филиппа, прижился при императорском дворе как целитель-чудотворец и стал кумиром и наставником царя и царицы. В интриге, направленной против Филиппа, приняли участие Рачковский и Нилус.

Полное имя этого человека — Филипп-Низье-Антельм Вашо, хотя он обычно называл себя Филиппом. Родился он в 1850 году в семье бедных крестьян в Савойе. Когда Филиппу исполнилось шесть лет, местный священник счел его одержимым; в тринадцать он начал заниматься знахарством; позже осел в Лионе в качестве «месмериста» [1]. Так как он не имел медицинского образования, врачебная практика была ему запрещена, но он продолжал заниматься этим ремеслом и трижды был судим за это. Тем не менее Филипп ухитрялся продолжать лечение. Несомненно, он обладал какими-то исключительными способностями и мог с помощью внушения добиваться удивительных результатов.

Когда царь с царицей в 1901 году посетили Францию, две «черногорские принцессы» Милица и Анастасия, дочери князя Николая Черногорского, вышедшие замуж за великих русских князей и всеми силами желавшие очаровать императорскую чету, представили им Филиппа. Царь, человек слабый, робкий, изнемогавший под бременем императорской власти, мечтал о каком-нибудь святом человеке, который мог бы стать посредником между ним и Богом, чьим несомненным, но мало достойным помазанником он себя ощущал. Царица отличалась неуравновешенным характером, страшилась заговоров, которые угрожали ей и ее супругу; яростных террористов-бомбометателей; она со своей стороны также готова была довериться любому шарлатану, который мог бы рассеять ее страхи или, по крайней мере, хоть как-то обезопасить. Кроме того, царь с царицей, хотя и имели четырех дочерей, мечтали о сыне — наследнике трона. Всякий связанный с медициной человек, который заявлял, что может разрешить эту проблему, имел на чету огромное влияние — как позже Распутин, который вознесся, эксплуатируя их желание спасти сына, страдавшего гемофилией.

Неудивительно, что Филипп получил приглашение посетить Царское Село и был осыпан милостями. Еще находясь во Франции, царь обратился с личной просьбой к французскому правительству вручить этому неучу медицинский диплом. Во Франции это казалось немыслимым, но в России, где царь был полновластным господином, он приказал Петербургской военной академии назначить Филиппа армейским врачом. Он также назначил его государственным советником в чине генерала. Но хотя Филиппа любила, боготворила и чуть ли не поклонялась ему императорская чета вместе с «черногорскими принцессами» и их мужьями, у него были и могущественные враги — на самом деле он попал в такое же двусмысленное и опасное положение, как впоследствии Распутин. Окружение двух влиятельных женщин — императрицы Марии Федоровны и великой княгини Елизаветы Федоровны — его не любило и презирало. Чтобы обезвредить Филиппа, эти люди обратились к Рачковскому.

Рачковского попросили навести справки о прошлом Филиппа. Благодаря доверительным отношениям с французской полицией, он составил подробный и, несомненно, весьма лживый доклад, который и привез с собой во время посещения Петербурга в 1902 году. Первый же человек, которому он показал этот документ,— министр внутренних дел Сипягин — посоветовал бросить его в огонь. Но Рачковский упорствовал. Он отнес доклад коменданту императорского дворца и, кажется, написал даже императрице Марии Федоровне личное письмо, разоблачая Филиппа — агента масонов. Но дурные предчувствия Сипягина оправдались. Хотя царь в конце концов, уступив давлению, запретил Филиппу навсегда поселиться в России, он был вне себя от гнева. В октябре 1902 года Рачковский был отозван из Франции, на следующий год смещен со своего поста, отправлен в отставку без пенсии, с запретом возвращаться во Францию — нет никакого сомнения в том, что если это и произошло частично из-за его манипуляций с воображаемой Русской патриотической лигой, то не меньшую роль сыграла в этом его кампания против Филиппа. Даже впоследствии, когда Филипп уже навсегда вернулся во Францию, а Рачковский жил в России как частное лицо, он использовал свои связи с французской полицией для преследования неудачливого целителя. Мстительный и беспощадный, он травил виновника своего падения до тех пор, пока, в конце концов, не отправил его в могилу. Филиппа день и ночь преследовали шпики, почту досматривали, его самого постоянно высмеивали в печати. Не выдержав, Филипп скончался в августе 1905 года, за неделю до того, как Рачковский, вновь оказавшийся в фаворе, достиг вершины карьеры, получив назначение на пост заместителя директора департамента полиции.

В интригу против Филиппа был втянут также Сергей Нилус. Об этом рассказал некий француз Александр дю Шайла, многие годы проживший в России и тесно общавшийся с Нилусом в 1909 году во время их совместного пребывания в Оптиной пустыни. Известно, что дю Шайла в 1910 г. поступил в Петербургскую Духовную академию, в которой про-

[1] Последователи Антона Месмера, лечившие гипнозом, «животным магнетизмом».— *Примеч. ред.*

слушал четырехлетний курс. Написал несколько исследований на французском языке по истории русской культуры, по славянским и церковным вопросам. С 1914 г. дю Шайла был начальником передового перевозочного отряда при 101-й пехотной дивизии. За непосредственное участие в боях был награжден георгиевскими медалями всех 4-х степеней. С конца 1916-го по август 1917 г. служил в 8-м броневом автомобильном дивизионе. Затем перешел на службу в штаб 8-й армии. В 1918 г. поступил на службу в штаб Донской армии. С 1919 г. занимал последовательно должности штабного офицера для поручений по дипломатическим делам и начальника политической части. После эвакуации из Крыма через Константинополь в апреле 1921 г. прибыл во Францию.

В газете «Последние новости» (под редакцией П. Н. Милюкова) за 12 и 13 мая 1921 г. впервые поместил свою публикацию «С. А. Нилус и „Сионские протоколы"».

Он рассказал, как Нилус, бывший богатый помещик, потерял состояние во время жизни во Франции. В 1900 г., возвратившись в Россию, он начал вести жизнь вечного странника, кочуя из одного монастыря в другой. В это время Нилус написал книгу о своем обращении из интеллектуала-атеиста в глубоко-верующего православного мистика. Эта книга — «Великое в малом», но еще без «Протоколов» — получила благожелательные отзывы в консервативных и церковных газетах и привлекла внимание великой княгини Елизаветы Федоровны. Великая княгиня, женщина искренне верующая (впоследствии она стала монахиней), крайне подозрительно относилась к мистикам-проходимцам, которыми царь окружал себя [1]. Она винила в таком положении вещей протопресвитера Янышева, который был духовником царя и царицы, и задалась целью заменить его Сергеем Нилусом, которого восприняла как истинного православного мистика.

Нилус был привезен в Царское Село, когда главной задачей великой княгини было устранить Филиппа. Противники француза разработали следующий план: предполагалось, что Нилус женится на одной из фрейлин царицы Елене Александровне Озеровой, а затем будет рукоположен. После этого его попытаются сделать духовником царя и царицы. В случае удачи Филипп, как и прочие «святые» люди, утратит свое влияние. План был хорош, но союзники Филиппа его разгадали. Они привлекли внимание духовного начальства к некоторым фактам жизни Нилуса, которые исключали рукоположение. (В основном они касались его длительной любовной связи с Натальей Афанасьевной К., с которой он уезжал во Францию и не порывал впоследствии в России.) Нилус впал в немилость и был вынужден покинуть двор. Несколько лет спустя он действительно женился на Озеровой, но надежда стать духовником царя не сбылась.

Были ли использованы «Протоколы» в интриге против Филиппа, и если да, то были ли они использованы по инициативе самого Рачковского? Если верить дю Шайла, то на оба вопроса следует ответить утвердительно. «Нилус,— рассказывает он,— был убежден, что general'у этому прямо удалось вырвать ее (рукопись) из масонского архива». По его мнению, Рачковский был «хороший деятельный человек, много сделавший в свое время, чтобы вырвать жало у врагов Христовых», самоотверженно боровшийся «с масонством и дьявольскими сектами» [2].

На что рассчитывал Рачковский, посылая «Протоколы» Нилусу? В «Протоколах» разоблачается дьявольский заговор масонов, отождествляемых с евреями. Филипп был мартинистом, то есть членом кружка, который следовал учению оккультиста XVIII столетия Клода де Сен-Мартена. Мартинисты, по сути дела, не были масонами, но царь вряд ли мог знать эти тонкости. Если бы царь поверил, что Филипп был агентом заговора, о котором говорится в «Протоколах», то он, разумеется, отослал бы его немедленно. Расчет был совершенно точным, а подобные расчеты были вполне в духе Рачковского.

Насколько можно верить дю Шайла? Порой он допускает неточности, например, когда утверждает, что Нилус опубликовал первое издание «Протоколов» в 1902 году, но в целом проявляет хорошую осведомленность. В своей статье, опубликованной в 1921 году, он, в частности, утверждает, что в 1905 году Нилус опубликовал еще одно издание «Протоколов» в Царском Селе, на котором были обозначены выходные данные отделения Красного Креста. Действительно, книга, о которой идет речь,— второе издание «Великого в малом», в которое включены и «Протоколы». Более того, он отмечает, что это издание стало возможным благодаря усилиям Елены Озеровой. Много лет спустя, когда советские власти предоставили в распоряжение суда в Берне фотокопии документов, это вполне подтвердилось. Среди указанных документов находилось несколько писем как в Московский цензурный комитет, так и ответов оттуда, из которых становится ясно, каким образом Озерова использовала положение придворной фрейлины, чтобы добиться публикации книги своего будущего супруга.

Эти документы проливают свет еще на одно обстоятельство, которое, конечно, не могло быть известно дю Шайла. Среди фотокопий есть один документ, настолько трудный для понимания, что он до сих пор не прокомментирован, но который подсказывает, что Рачковский встречался либо с Нилусом, либо с рукописной копией «Протоколов», находившейся у Нилуса. Московский цензурный комитет на своем заседании 28 сентября 1905 года заслушал сообщение государственного советника и цензора Соколова, в котором цитируется фраза, собственноручно присоединенная Нилусом к рукописи «Протоколов»:

«Естественно, начальник русского агентства в Париже еврей Эфрон и его собственные агенты, тоже из евреев, не сообщили ничего по этому поводу русскому правительству».

Комитет, давая разрешение на публикацию, постановил устранить из рукописи все имена собственные, включая Эфрона. Это имя было снято из рукописи, но можно легко определить тот отрывок, где оно должно было фигурировать,— в эпилоге «Протоколов». Этот эпилог появился во всех других более ранних русских изданиях «Протоколов», как в «Знамени», так и в изданиях Бутми. Ни одно из них не было связано постановлением Московского цензурного комитета об изъятии всех имен собственных. Например, вариант, опубликованный в «Знамени», появился за два года до постановления комитета, однако на его страницах нет упоминания Эфрона. Мы можем только предположить, что это имя было специально вставлено в рукопись Нилуса. И это мог сделать или подсказать какой-то враг Эфрона.

Но кто же такой этот Эфрон, и кто был его врагом? Аким Эфрон, или Эфронт, был тайным агентом русского Министерства финансов в Париже. После его смерти в 1909 году французская пресса писала о нем как о начальнике политического отдела при русском посольстве. Эфрон, несомненно, не принадлежал к организации Рачковского, а пользовался услугами собственных агентов, самостоятельно направляя донесения в Петербург. Естественно предположить, что уже одно это могло вызвать к нему ненависть Рачковского, и хотя это остается предположением, мы все же располагаем доказательствами. Об Эфроне известно, что во время международной выставки в Париже в 1889 году он публично получил пощечину в русском павильоне за попытку шантажа. Другими словами, Эфрон был тем самым человеком, которого Рачковский описал в сфабрикованном призыве Русской патриотической лиги, человеком, «на чьих щеках все еще горят следы оплеух, полученных им при попытке вымогательства в 1889 году». Что же касается утверждения, что Эфрон был одним из людей Рачковского, то это была заведомая ложь, то есть та хитроумная коварная ложь, к которой любил прибегать Рачковский. Таким образом, упоминание об Эфроне в рукописи Нилуса действительно наводит на мысль о возможных прямых или косвенных встречах между преследователем и соперником Филиппа.

2

Прояснив для себя, что за человек был Рачковский, попробуем пристальнее посмотреть также и на жизнь Нилуса. Все тот же Александр дю Шайла оставил нам подробное описание его жизни. Движимый религиозным искательством, отправился он в январе 1909 года в знаменитую Оптину пустынь, расположенную близ города Козельска. Оптина пустынь играла значительную роль в духовной жизни России; один из ее старцев послужил прототипом старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»; Л. Н. Толстой часто посещал этот монастырь и одно время даже жил в нем. Около монастыря находилось несколько дач, на которых жили миряне, пожелавшие в той или иной степени приобщиться к монастырской жизни. Дю Шайла снял квартиру в одном из этих домов. На следующий день после его приезда настоятель архимандрит Ксенофонтий познакомил его с одним из соседей; им оказался Сергей Александрович Нилус.

Нилус, которому в то время было лет сорок пять, по описанию дю Шайла — «типичный русак, высокий, коренастый, с седой бородой и глубокими голубыми, слегка замутненными глазами, он был в сапогах, а на нем была русская косоворотка, подпоясанная тесемкою с вышитой молитвою». Со своими домочадцами он занимал четыре комнаты в большом 8—10-комнатном доме; остальные служили пристанищем для калек, юродивых и бесноватых, которые проживали там в надежде на чудесное исцеление. Вся семья существовала на пенсию, которую императорский двор выплачивал Озеровой как бывшей фрейлине. Озерова, или мадам Нилус, поразила дю Шайла беспрекословным подчинением мужу. Она поддерживала самые дружеские отношения с прежней любовницей Нилуса, Натальей Афанасьевной К., которая, утратив состояние, жила на ту же пенсию мадам Нилус.

Во время своего девятимесячного пребывания в Оптиной пустыни дю Шайла узнал о Нилусе многое. Бывший помещик Орловской губернии, он был образованным человеком и в свое время окончил юридический факультет Московского университета; в совершенстве владел французским, немецким и английским языками и прилично знал современную иностранную литературу. Но характер имел неуживчивый, бурный, крутой и капризный, что вынудило его уйти в отставку с должности следователя в Закавказье. Пытался заняться хозяйством в имении, но безуспешно. В конце концов он уехал со своей любовницей за границу и жил в Биаррице до того времени, пока однажды его управляющий не сообщил, что он разорен.

[1] Впоследствии она стала противницей Распутина.— *Примеч. ред.*

[2] А. М. дю Шайла. С. А. Нилус и «Сионские протоколы».— «Последние новости», 12 и 13 мая 1921 г. (Париж).

Это известие вызвало у Нилуса сильное душевное потрясепие, и он коренным образом изменил взгляды на жизнь. До сих пор он увлекался нищеиством, теоретическим анархизмом. После духовного перелома Нилус стал рьяным приверженцем православной церкви, страстным защитником царского самодержавия и Святой Руси. Из прежнего своего анархического мышления Нилус сохранил отрицание современной культуры; восставал оп против духовных академий, тяготел к «мужицкой вере», высказывал большие симпатии к старообрядчеству, отождествляя его с верою без примеси науки и культуры. Современная культура, по словам дю Шайла, отвергалась Нилусом «как мерзость запустения на месте святом» и как орудие грядущего Антихриста. Подобное отношение к жизни в той или иной степени мы будем постоянно встречать в среде поклонников «Протоколов».

Дю Шайла довольно ярко описал, как чтение «Протоколов» оказало воздействие на знаменитого издателя: Нилус «взял свою книгу и стал переводить мпе на французский язык наиболее яркие места из „Протоколов" и толкования к ним. Следя за выражением моего лица, он полагал, что я буду ошеломлен откровением, а сам был немало смущен, когда я ему заявил, что тут нет ничего нового и что, по-видимому, данный документ является родственным памфлетам Эдуарда Друмона...

С. А. заволновался и возразил, что я так сужу потому, что мое знакомство с „Протоколами" носит поверхностный и отрывочный характер, а кроме того, устный перевод понижает впечатление. Необходимо цельное впечатление, а впрочем, для меня легко будет познакомиться с „Протоколами", так как подлинник составлен на французском языке.

С. А. Нилус рукописи „Протоколов" у себя не хранил, боясь возможности похищения со стороны „жидов". Помню, как он меня позабавил и какой был переполох у него, когда еврей-аптекарь, пришедший из Козельска с домочадцами гулять в монастырском лесу, в поисках кратчайшего прохода через монастырь к парому как-то попал в Нилусову усадьбу. Бедный С. А. долго был убежден, что аптекарь пришел на разведку. Я узнал потом, что тетрадь, содержащая „Протоколы", хранилась до января 1909 года у иеромонаха Даниила Болотова (довольно известного в свое время в Петербурге художника-портретиста), после его кончины в Оптинском Предтеченском Скиту в полверсте от монастыря у монаха о. Алексия (бывшего инженера).

Несколько времени спустя после нашего первого разговора о „Сионских протоколах", часа в четыре пополудни, пришла ко мне одна из калек, содержащихся в богадельне на даче Нилуса, и принесла мне записку: С. А. просил пожаловать по срочному делу.

Я нашел С. А. в своем рабочем кабинете; он был один: жена и г-жа К. пошли к вечерне. Наступали сумерки, но было еще светло, так как на дворе был снег. Я заметил на письменном столе большой черный конверт, сделанный из материи, на нем был нарисован белый осьмиконечный крест с надписью: „Сим Победиши". Помню, еще была также наклеена бумажная иконочка Архангела Михаила, по-видимому, все это имело заклинательный характер.

С. А. трижды перекрестился перед большой иконой Смоленской Божьей Матери... он открыл конверт и вынул прочно переплетенную кожей тетрадь.

Как я узнал потом, конверт и переплет тетради были изготовлены в монастырской переплетной мастерской под непосредственным наблюдением С. А., который сам приносил и уносил тетрадь, боясь ее исчезновения. Крест и надпись на конверте были сделаны краской по указанию С. А. Еленой Александровной.

— Вот она,— сказал С. А.,— Хартия Царствия Антихристова.

Раскрыл он тетрадь... Текст был написан по-французски разными почерками, как будто бы даже разными чернилами.

— Вот,— сказал Нилус,— во время заседания этого Кагала секретарствовали, по-видимому, в разное время разные лица, оттого и разные почерки.

По-видимому, С. А. видел в этой особенности доказательство того, что данная рукопись была подлинником. Впрочем, он не имел на этот счет вполне устойчивого взгляда, ибо я другой раз слышал от него, что рукопись является только копией.

Показав мне рукопись, С. А. положил ее на стол, раскрыл на первой странице и, пододвинув мне кресло, сказал: „Ну, теперь читайте".

При чтении рукописи меня поразил ее язык. Были орфографические ошибки, мало того, обороты были далеко не чисто французскими. Слишком много времени прошло с тех пор, чтобы я мог сказать, что в ней были „руссицизмы"; одно несомненно — рукопись была написана иностранцем.

Читал я часа два с половиной. Когда я кончил, С. А. взял тетрадь, водворил ее в конверт и запер в ящик письменного стола...

Между тем Нилусу очень хотелось знать мое мнение, и, видя, что я стесняюсь, он правильно разгадал причину моего молчания... Я открыто сказал ему, что остаюсь при прежпем мнении: ни в каких мудрецов сионских я не верю, и все это взято из той же фантастической области, что „Satan démasqué", „Le Diable au XIX Siécle" и прочая мистификация.

Лицо С. А. омрачилось:

„Вы находитесь прямо под дьявольским наваждением,— сказал он.— Ведь самая

большая хитрость сатаны заключается в том, чтобы заставить людей не только отрицать его влияние на дела мира сего, но и существование его. Что же вы скажете, если покажу вам, как везде появляется таинственный знак грядущего Антихриста, как везде ощущается близкое пришествие царствия его?"

С. А. встал, и мы перешли в кабинет.

Нилус взял свою книгу и папку бумаг; притащил он из спальной небольшой сундук, названный потом мною „Музеем Антихриста", и стал читать то из своей книги, то из материалов, приготовленных к будущему изданию. Читал он все, что могло выразить эсхатологическое ожидание современного христианства; тут были и сновидения митрополита Филарета, предсказания пр. Серафима Саровского и каких-то католических святых, цитаты из Энциклики Пия X и отрывки из сочинений Ибсена, В. С. Соловьева, Д. С. Мережковского и пр. Читал он очень долго, затем перешел к вещественным доказательствам, открыв сундук. В неописуемом беспорядке перемешались в нем воротнички, галоши, домашняя утварь, значки различных технических школ, даже вензель императрицы Александры Федоровны и орден Почетного Легиона. На всех этих предметах ему мерещилась „печать Антихриста" в виде либо одного треугольника, либо двух скрещенных. Не говоря про галоши фирмы „Треугольник", но соединение стилизованных начальных букв „А" и „Ѳ", образующих вензель царствовавшей императрицы, как и пятиконечный Крест Почетного Легиона, отражались в его воспаленном воображении как два скрещенных треугольника, являющихся, по его убеждению, знаком Антихриста и печатью „Сионских Мудрецов".

Достаточно было, чтобы какая-нибудь вещь носила фабричное клеймо, вызывающее даже отдаленное представление о треугольнике, чтобы она попала в его музей [1].

С возрастающим волнением и беспокойством, под влиянием мистического страха С. А. Нилус объяснил, что знак „грядущего Сына Беззакония" уже осквернил все, сияя в рисунках церковных облачений и даже в орнаментике на запрестольном образе новой Церкви в скиту.

Мне самому стало жутко. Было около полуночи. Взгляд, голос, сходные с рефлексами движения С. А.— все это создавало ощущение, что ходим мы на краю какой-то бездны, что еще немного, и разум его ***растворится в безумии*** (выделено дю Шайла)».

Затем дю Шайла рассказывает, как в 1911 году, после выхода книги, Нилус обратился к восточным патриархам, к Святейшему Синоду и папе римскому с посланием, требуя созыва Вселенского Собора для принятия согласованных мер для защиты христианства от грядущего Антихриста. Он же начал проповедовать монахам Оптиной пустыни, что в 1920 году явится Антихрист. В монастыре началась смута, вследствие которой ему велели навсегда покинуть монастырь.

Нет никакого сомнения, что в то время Нилус действительно верил во всемирный заговор. И все же он иногда и сам был готов признать, что «Протоколы» являются подделкой. Однажды в 1909 году дю Шайла спросил, не думает ли он, что Рачковского могли ввести в заблуждение и что Нилус имеет дело с фальшивкой.

«Всем известно,— ответил С. А.,— мое любимое выражение у апостола Павла: „Сила Божия в немощи человеческой совершается". Положим, что „Протоколы" подложны. Но может ли Бог и через них раскрыть готовящееся беззаконие? Ведь пророчествовала же Валаамова ослица! Веры нашей ради Бог может превращать собачьи кости в чудотворные мощи; может Он и лжеца заставить возвещать правду...»

Рассказ дю Шайла и М. Д. Кашкиной можно сопоставить с биографией Нилуса, опубликованной в Югославии в 1936 году. Автор этой книги, князь Н. Д. Жевахов, был страстным почитателем Нилуса; в его глазах «Протоколы», бесспорно, были произведением какого-то еврея, писавшего под диктовку дьявола, открывшего ему способы разрушения христианских государств и тайну, как завоевать мир [2].

Знаменательно, что биографические данные, приведенные автором, почти полностью совпадают со сведениями дю Шайла. Более того, мы узнаем, благодаря воспоминаниям Жевахова, об одном намерении Нилуса, когда тот работал в монастырских архивах. Одним из трудов Нилуса было издание дневника отшельника, в котором, согласно Жевахову, чрезвычайно реалистично описывалась посмертная жизнь. Он рассказывал о юноше, который был проклят матерью и был вознесен неизвестными силами в безвоздушное пространство над землей, где в течение сорока дней жил как духи, смешавшись с ними и живя по их законам... Короче говоря, этот дневник представлял собой чрезвычайную ценность, подлинное руководство к достижению святости.

Жевахов также рассказывал о последних годах жизни Нилуса, когда тот совершенно исчез из поля зрения дю Шайла и М. Д. Кашкиной и когда «Протоколы», изданные им, заполонили мир, о чем издатель не имел ни малейшего представления. Судя по всему, после того как он вынужден был покинуть Оптину пустынь, Нилус жил в поместьях у друзей.

---

[1] Почти все эти его наблюдения вошли в издание «Протоколов» 1911 года.— *Примеч. авт.*

[2] Н. Д. Жевахов. Сергей Александрович Нилус. Нови Сад, 1936.

На протяжении шести лет после большевистского переворота, когда Россия сотрясалась революционными катаклизмами, гражданской войной, террором, контртеррором и голодом, Нилус с Озеровой жили где-то на юге России в доме вместе с бывшим отшельником Серафимом, который служил в храме, постоянно переполненном беженцами. После нескольких лет странствий и двух коротких тюремных заключений в 1924-м и 1927-м годах Нилус умер в селе Крутец от сердечного приступа на 68-м году жизни 14 января 1929 года.

Из Фрейенвальдских документов в Вейнеровской библиотеке в Лондоне мы знаем о судьбе некоторых людей, близких Нилусу. В письме одного из деятелей русского правого крыла, известного Маркова 2-го, говорилось, что Е. Озерова была арестована во время массовых репрессий 1937 года и выслана на Колыму, где умерла от голода и холода на следующий год. Сохранилась также довольно обширная корреспонденция сына Нилуса, вероятно, от первой жены. Сергей Сергеевич Нилус, польский гражданин, предложил свои услуги нацистам, когда они в 1935 году готовили апелляцию против суда в Берне. Письмо, которое он написал Альфреду Розенбергу в марте 1940 года, заслуживает того, чтобы привести его здесь:

«Я — единственный сын человека, открывшего „Протоколы сионских мудрецов“, Сергея Александровича Нилуса... Я не могу, не должен оставаться в стороне в то время, когда судьба всего арийского мира висит на волоске. Я верю, что победа фюрера, этого гениального человека, освободит мою бедную страну, и я считаю, что мог бы содействовать этому в какой угодно форме. После блестящей победы великой германской армии я... сделаю все, чтобы заслужить право принять активное участие в ликвидации еврейской отравы...»

Кажется, вполне подходящий штрих, завершающий наше исследовние о жизни Сергея Александровича Нилуса.

3

И Рачковский, и Нилус, несомненно, были втянуты в интригу против Филиппа; вполне вероятно, что они плели заговор, чтобы использовать «Протоколы» в общих интересах. Как предполагают многие исследователи «Протоколов», фальшивка была изготовлена с целью повлиять на царя и настроить его против Филиппа. Но это предположение малоправдоподобно. Филипп был мартинистом и знахарем, и если «Протоколы» были сфабрикованы, чтобы помочь Нилусу в его борьбе с Филиппом, в них должно содержаться хоть какое-то указание на то, что мартинизм или знахарство являются хотя бы частью еврейского заговора. Но «Протоколы» содержат все, кроме этого,— от банков и прессы до войн и метро. Одно дело — использовать уже существующую фальшивку — а Рачковский, бесспорно, не очень стеснялся в выборе оружия, и совершенно другое дело — сфабриковать целую книгу, которая не имеет абсолютно никакого отношения к сиюминутной задаче. Мог ли цинизм Рачковского зайти так далеко?

Следовательно, необходимо обратить внимание на любое свидетельство, говорящее что-либо о существовании «Протоколов» до 1902 года. Действительно, есть немало свидетельств, некоторые принадлежат русским белоэмигрантам, но не всем им можно верить. Вот письменное показание, данное под присягой, Филиппа Петровича Степанова, бывшего прокурора Московской Синодальной Конторы, действительного статского советника, проживавшего в Старом Футоге, в Югославии, от 17 апреля 1927 года. В нем говорится:

«В 1895 году мой сосед по имению Тульской губернии отставной майор Алексей Николаевич Сухотин передал мне рукописный экземпляр „Протоколов сионских мудрецов“. Он мне сказал, что одна его знакомая дама (не назвал мне ее), проживавшая в Париже, нашла их у своего приятеля (кажется, из евреев) и, перед тем как покинуть Париж, тайно от него перевела их и привезла этот перевод, в одном экземпляре, в Россию и передала этот экземпляр ему, Сухотину.

Я сначала отпечатал его в ста экземплярах на гектографе, но это издание оказалось трудно читаемым, и я решил напечатать его в какой-нибудь типографии без упоминания времени, города и типографии; сделать это мне помог Аркадий Ипполитович Келеповский, состоявший тогда чиновником особых поручений при В. К. Сергее Александровиче; он дал их напечатать губернской типографии; это было в 1897 году. С. А. Нилус перепечатал эти протоколы полностью в своем сочинении со своими комментариями».

Кроме мимолетной ссылки на «приятеля (кажется, из евреев)», приведенный документ по существу не расширяет наших знаний по этому вопросу; вероятно, Степанов пытался изложить факты, как он их запомнил по прошествии 30 лет. Однако существовало и даже, может быть, сохранилось доныне весьма серьезное свидетельство, подтверждающее его подлинность. Хотя мы не располагаем ни одним экземпляром изданной Степановым книги, во время Бернского суда в 1934 году гектографическая копия на нем фигурировала. В это время она находилась в собрании Пашуканиса в Библиотеке имени Ленина в Москве, и советские власти послали в Бернский суд фотокопию четырех страниц. На титульном листе дата не указана, но покойный Борис Николаевский [1], внимательно ознакомившись с ними, был убежден, что это действительно гектографическая копия Степанова. Она была сделана с рукописного русского текста, озаглавленного «Древние и современные протоколы встреч сионских мудрецов». К сожалению, в дальнейшем оказалось невозможным изучить весь текст — два года старательных поисков, предпринятых позже в Ленинской библиотеке, ничего не дали; даже следов рукописи найти не удалось. Однако в Вейнеровской библиотеке есть немецкий перевод тех отрывков, которые были посланы в Берн. Изучение их показало, что они практически идентичны тексту, позже изданному Нилусом и являющемуся основой для всех последующих изданий во всем мире.

Среди белоэмигрантов существовало твердое убеждение относительно той дамы, которая привезла русский рукописный вариант «Протоколов» и передала его Сухотину. Это была Юлиана (или, по-французски, Юстина) Глинка. О ней тоже многое известно, и все свидетельства совпадают. Юлиана Дмитриевна Глинка (1844—1918) была дочерью русского дипломата, который завершил свою карьеру, будучи послом в Лиссабоне. Сама она была фрейлиной императрицы Марии Федоровны; принадлежала к высшему свету, прожила большую часть жизни в Петербурге, вращалась в кругу спиритов, группировавшихся вокруг мадам Блаввтской [2], и растратила все свое состояние, оказывая им материальную поддержку. Но существовала и другая, тайная сторона ее жизни. Находясь в Париже в 1881—1882 годах, она принимала участие в той игре, которую впоследствии так блистательно вел Рачковский,— выслеживании русских террористов в изгнании и выдаче их местным властям. Генерал Оржеевский, который был заметной фигурой в тайной полиции и потом стал заместителем министра внутренних дел, знал Юлиану с детства. Но на самом деле она мало подходила для подобной работы, постоянно враждовала с русским послом и наконец была разоблачена левой газетой «Le Radical».

Судя по статье, опубликованной в газете «Новое время» от 7 апреля 1902 года, эта дама тогда же предприняла неудачную попытку заинтересовать «Протоколами» сотрудника этой газеты.

Существуют веские основания полагать, что Юлиана Глинка и Филипп Степанов действительно принимали участие в первой публикации «Протоколов».

Следует, наконец, разобраться с самим названием этой фальшивки. Вполне логично ожидать, что в «Протоколах» загадочных правителей-заговорщиков называли «мудрецами еврейства» или «мудрецами Израиля». Но должна же существовать какая-то причина для столь абсурдного названия, как «Сионские Мудрецы», и такая причина, конечно, существует. Как мы знаем, I Сионистский конгресс в Базеле был расценен антисемитами как гигантский шаг к мировому господству. Бесчисленные издания «Протоколов» связывали этот документ с самим конгрессом; вполне вероятно, что если конгресс и не послужил причиной фабрикации этой фальшивки, то, по крайней мере, дал ей название. Конгресс состоялся в 1897 году [3].

В общем, не подлежит сомнению, что «Протоколы» были сфабрикованы между 1894-м и 1899-м, а точнее, между 1897-м и 1899-м годами. Страной, где они были сфабрикованы, бесспорно, была Франция, как об этом свидетельствуют многочисленные ссылки на французские события. Местом фабрикации, как можно предположить, был Париж, но в этом уточнении можно пойти и дальше: одна из копий книги Жоли в Национальной библиотеке испещрена заметками, которые удивительно совпадают с заимствованиями в «Протоколах». Таким образом, эта работа была проведена в то время, когда в суде рассматривалось дело Дрейфуса, между его арестом в 1894 году и оправданием в 1899-м, а возможно, как раз во время споров, которые буквально раскололи Францию [4].

---

[1] Б. И. Николаевский — меньшевик, историк, собиратель книг и материалов по истории русской революции. После революции жил за границей, окончательно обосновался в США.— *Примеч. перев.*

[2] Елена Петровна Блаватская (1831—1891) — русская теософка и спиритка.— *Примеч. ред.*

[3] В конце XIX века возник и развился так называемый политический сионизм — движение, выдвинувшее своей целью создание еврейского «национального очага» (впоследствии — государства) в Палестине. Создателем политического сионизма принято считать венского журналиста Теодора Герцля. В своей программной брошюре «Еврейское государство» (1896) он провозгласил идею о необходимости создания еврейского государства как единственного средства разрешения так называемого еврейского вопроса. Он стал инициатором создания Всемирной сионистской организации (ВСО). Первый конгресс ВСО состоялся в 1897 году в Базеле, где была принята программа политического сионизма (Базельская программа). Она определила задачи создания для евреев правоохранного убежища в Палестине, развития там еврейской общины, укрепления еврейского национального чувства и самосознания, имея в виду, конечно, в качестве основной цели создание в будущем еврейского государства.— *Примеч. ред.*

[4] Обвинение офицера французской армии еврея Дрейфуса в государственной измене послужило в те годы поводом для широкой антисемитской кампании.— *Примеч. ред.*

И все же фабрикация фальшивки — дело рук кого-то из России или человека, принадлежащего к русскому правому политическому крылу. Можно ли быть уверенным, что это сделано именно по приказу главы охранки в Париже, зловещего Рачковского?

Как мы уже говорили, существуют довольно веские основания так считать, и тем не менее вопрос не так прост, как кажется. Политическим покровителем и начальником Рачковского был Сергей Витте, всемогущий министр финансов России, и враги Витте, естественно, становились врагами Рачковского. Несомненно, однако, что именно враги Витте приложили руку к «Протоколам». Когда Витте в 1892 году занял пост министра финансов, он поставил своей задачей продолжение миссии, начатой Петром Великим, а затем забытой его наследниками: он решил превратить отсталую Россию в современную державу, не уступающую странам Западной Европы. В течение десятилетия производство в стране стали, угля и чугуна возросло более чем вдвое; строительство железных дорог, которое в те времена было самым верным показателем индустриальной мощи, шло такими быстрыми темпами, которые были достигнуты только в Соединенных Штатах. Но быстрый экономический рост принес серьезные лишения тем классам, чьи доходы были связаны с сельским хозяйством; в этих кругах Витте ненавидели. Кроме того, в 1898 году наступил серьезный экономический спад, который принес немалые потери даже тем, кто уже получил значительные выгоды от экономических достижений. На Витте оказывали сильное давление, добивались, чтобы он отказался от политики сдерживания инфляции, даже если это будет означать отказ от только что введенного золотого стандарта. Он сопротивлялся и все больше терял популярность.

Возможно, «Протоколы» использовали в кампании против Витте. В них, например, утверждается, что спады и кризисы используются «Мудрецами» как средство достижения контроля над денежным обращением и возбуждения недовольства среди пролетариата и, как мы уже отмечали, что золотой стандарт приводит к банкротству любую страну, которая его устанавливает. Более того, если сравнить «Диалог в аду» с «Протоколами», то обнаруживается, что единственными экономическими и финансовыми рассуждениями, заимствованными из книги Жоли, являются именно те, которые можно приложить к особенностям развития России в период правления Витте, чтобы представить Витте как инструмент в руках «Сионских Мудрецов».

«Протоколы сионских мудрецов» — это не единственный образчик пропаганды, направленной одновременно против евреев и Витте. Существует еще более странный документ, который называется «Тайна еврейства»[1]. На нем стоит дата — февраль 1895, он кажется первой неуклюжей попыткой фабрикации «Протоколов». «Тайна еврейства» выплыла на свет, когда по указанию министра внутренних дел Столыпина в первый год нынешнего столетия были открыты архивы полиции, чтобы засвидетельствовать подлинность «Протоколов». Это — неуклюжее описание какой-то воображаемой тайной религии, которую сначала проповедовали ессеи во времена Иисуса, а теперь разделяют неведомые правители еврейства. Но тут, как и в одном из «Протоколов», предупреждается, что тайное еврейское правительство в данный момент пытается превратить Россию из аграрной, полуфеодальной страны в современное государство с капиталистической экономикой и либеральной буржуазией.

«Испытанным боевым оружием масонства уже послужил на Западе новейший экономический фактор — капитализм, искусно захваченный в руки еврейством.

Естественно, возникло решение применить его и в России, где самодержавие опирается всецело на дворян-помещиков, тогда как детище капитала — буржуазия тяготеет, наоборот, к революционному либерализму».

Как и «Протоколы», «Тайна еврейства» содержит нападки на нововведение Витте — золотой стандарт.

Из одного белоэмигрантского источника известно, что эта невероятная стряпня была переправлена все той же Юлианой Глинкой ее другу генералу Оржеевскому, который передал ее начальнику личной охраны императора генералу Черевину, а тот, в свою очередь, должен был передать ее царю, но не сделал этого. Несомненно, «Протоколы» тоже предназначались для прочтения царю, и на то была особая причина. По сравнению с суровым отцом, Александром III, Николай II был мягким, добродушным человеком, который в первые годы царствования выступил против всяких преследований — даже евреев — и, кроме того, стремился к модернизации России и, возможно, даже к незначительной либерализации. Ультрареакционеры были весьма озабочены этим, они хотели во что бы то ни стало избавить царя от этих неудобных взглядов, убеждая его, что евреи организовали гибельный заговор с целью подрыва основ русского общества и православия и что избранным орудием для достижения этой цели является великий реформатор Витте.

Кто же, в конце концов, сфабриковал «Протоколы»? Борис Николаевский и Анри Роллан утверждали, что большая часть текста «Протоколов» могла принадлежать перу выдающегося физиолога и журналиста-международника, известного как Илья Цион в России и как Эли де Цион во Франции. Де Цион был непримиримым противником Витте, и многие отрывки из его политических статей действительно напоминают те части «Протоколов», которые прямо направлены против Витте и его политики. Однажды он даже напал на Витте с помощью метода, используемого в «Протоколах», то есть взял забытую французскую сатиру на давно умершего государственного деятеля, заменив в ней имена. Кроме того, будучи русским изгнанником, он жил в Париже, входя в кружок, группировавшийся вокруг Жюльетт Адам, близкой подруги Юлианы Глинки. Но все же необходимо сделать важную оговорку: если де Цион действительно сфабриковал фальшивку, то отнюдь не «Протоколы», которые мы знаем сегодня.

Немыслимо, чтобы серьезный человек такого интеллектуального уровня, как Цион, мог опуститься до написания грубой антисемитской фальшивки. Кроме того, будучи еврейского происхождения, он принял христианство и никогда не нападал на евреев. В своей книге «Современная Россия» (1892) Илья Цион продемонстрировал глубокую симпатию к российским евреям, подвергавшимся преследованиям властей, требовал предоставления им равных прав и возможностей, яростно нападал на антисемитских пропагандистов и подстрекателей еврейских погромов. Если де Цион на самом деле причастен к фабрикации документов, известных под названием «Протоколы сионских мудрецов», тогда, значит, кто-то воспользовался его сочинением, переработав его и заменив русского министра финансов «мудрецами Сиона».

Здесь явно не обошлось без Рачковского, так как в 1897 году он и его люди по приказу Витте взломали виллу де Циона в Швейцарии в Территете и унесли многие бумаги. Они искали материалы, направленные против Витте, и, возможно, обнаружили там вариацию на тему книги Жоли. Остается загадкой, как Рачковский, преданный слуга Витте, мог распространять документ, который даже в переработанном виде все еще таил серьезную опасность для его покровителя. Не входило ли в его намерения приписать всю книгу де Циону? Такой шаг послужил бы сразу двум целям: антисемиты могли заявить, что всемирный еврейский заговор разоблачен евреем по происхождению, а де Цион будет морально уничтожен и какое-то время не сможет защитить себя от обвинений. А если вспомнить, что в России де Цион назывался просто Цион, то название «Протоколы сионских мудрецов» начинает звучать как зловещая шутка-розыгрыш. Все это — вполне в стиле Рачковского.

Во всяком случае, вполне вероятна гипотеза: сатира Жоли на Наполеона III была переделана де Ционом в сатиру на Витте, которая затем под руководством Рачковского подверглась переработке, став в конце концов «Протоколами сионских мудрецов».

Но некоторая завеса таинственности остается, и не похоже, что скоро она будет сорвана. В архивах охранки, хранящихся ныне в Гуверовском институте и Стэнфордском университете, нет ничего; личный архив Рачковского в Париже (ныне исчезнувший) также ничего не сохранил: Борис Николаевский просматривал его в 1930 году. Архивы де Циона, которые хранила его вдова в Париже до начала второй мировой войны, исчезли. Загадочна и «Тайна еврейства», пристальное изучение которой вряд ли позволяет приписать авторство де Циону или Рачковскому. И все это можно объяснить лишь одним — преследуемый агентами в 1890-е годы, Цион все уничтожил.

Что касается ранних изданий «Протоколов», то сравнение с гектографическими фрагментами, находящимися в Вейнеровской библиотеке, показывает, что вариант Нилуса является наиболее близким к первоисточнику, хотя он и не был первой публикацией. Сергей Нилус на самом деле является ключевой фигурой, давшей жизнь фальшивке. Каким образом она попала к нему в руки, остается неизвестным, как и многое другое. Сам он в предисловии к изданию 1917 года говорит, что копию «Протоколов» передал ему Сухотин в 1901 году, в то время как в письме сына Филиппа Степанова, которое хранится в собрании Фрейенвальда в Вейнеровской библиотеке, говорится, что там ошибочно назван Степанов. Во всяком случае, достоверно известно, что в 1901 году Нилус жил в непосредственной близости от поместий Сухотина, Степанова и Глинки. Как мы уже говорили, существуют веские основания считать, что Рачковский либо лично встречался с Нилусом, либо имел непосредственное отношение к копии «Протоколов», принадлежавшей Нилусу.

Пытаясь разгадать тайну первоисточника «Протоколов», исследователь вновь и вновь встречается с двусмысленностями, разночтениями, загадками. Не следует относиться к ним слишком серьезно. Нам важно было лишь более пристально всмотреться в тот странный исчезнувший мир, который дал жизнь этой фальшивке — «Протоколам»,— мир агентов охранки и псевдомистиков, который процветал в самой сердцевине разлагавшегося царского режима.

Уникальное значение «Протоколов» заключается в том огромном влиянии, которое они впоследствии — хотя это и невероятно — оказали на всю историю XX столетия.

Перевод с английского С. Бычкова

---

[1] Текст приведен в кн.: Ю. Делевский. Протоколы сионских мудрецов. История одного подлога. Берлин, 1923, с. 138—158.

Из литературного наследия

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ЮЛИАНА ОКСМАНА И ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО

Начало переписки Ю. Г. Оксмана и В. Б. Шкловского относится к 1930-м годам. Объем переписки, особенно участившейся в 1950—1960-е годы, несмотря на то, что с 1956 года оба живут в одном городе, значителен и выходит далеко за рамки журнальной публикации.

Юлиан Григорьевич Оксман (1895—1970) был выдающимся знатоком литературно-общественной борьбы в России XIX в., творчества Пушкина и Белинского, Герцена и Добролюбова, его неисчерпаемые познания в этой области снискали в литературных кругах славу, которой он был лишен в официальной науке. Путь его характерен для многих представителей научной интеллигенции, закладывавших фундамент советской культуры и оказавшихся под прессом сталинской террористической машины. Связанный по работе с Л. Б. Каменевым, Оксман, будучи зам. директора Пушкинского дома (ИРЛИ), был в 1936 году арестован и получил два срока по 5 лет, которые отбывал на Колыме. Драматические подробности биографии ученого раскрыты в «Четвертых тыняновских чтениях» (Рига, 1988) М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддесом, которым также принадлежит заслуга первой значительной публикации материалов из архива Оксмана («Первые тыняновские чтения», Рига, 1985).

С В. Б. Шкловским Оксман был знаком скорее всего через Ю. Н. Тынянова, своего университетского товарища, друга на всю жизнь обоих корреспондентов.

Деятельность и самый облик Шкловского с годами становились предметом особого внимания Оксмана, что и отразилось в набросках к предполагавшимся мемуарам, сохранившимся в архиве Оксмана. Эти заметки относятся к периоду разрыва корреспондентов, последовавшему осенью 1966 года по инициативе Оксмана (в связи с публикацией воспоминаний Шкловского «Жили-были», 2-е издание, вызвавшей принципиальное несогласие Оксмана с тем, как Шкловский обращается с историей ОПОЯЗа). Хотя записи носят преимущественно конспективный и библиографический характер, в них содержатся отдельные оценки, которые хотелось бы привести. Рассматривая научное творчество героя своих заметок, Оксман отмечает: «Шкловский 10-х—20-х годов не может быть противопоставлен Шкловскому 30-х—40-х годов, равно как и Шкл⟨овскому⟩ 50-х—60-х годов. Он продолжал давать работы первого ранга. Он рос». И в другом месте: «Из современных писателей секретом сохранения молодости и свежести обладал лет до 65—70 только Виктор Шкловский (сейчас уже он этот секрет потерял), м. б., потому, что слишком часто заходит себе в тыл...»

Оксман был последним после Б. М. Эйхенбаума и Б. В. Казанского из ближайших современников и конфидентов Шкловского, и небольшая выборка из их переписки призвана дать представление об их взаимоотношениях и об общественной и литературной атмосфере, которая в письмах Оксмана проявляется более открыто и эмоционально, а у его адресата, как правило, уходит в подтекст рассуждений о литературе. В этой связи хотелось бы предварить замечаниями некоторые моменты недоумения Оксмана по поводу тех или иных умолчаний в книгах Шкловского. У большинства пишущих ныне о Шкловском (в основном без особого доброжелательства) как-то отсутствует понимание того, что он сам называл своим существованием «в дискуссионном порядке». Известно, во что выливались иные дискуссии, даже если они не имели изначально какой-либо политической окраски, в 1920—1950-е годы. Судьба творчества Шкловского — это лишь приоткрываемая сегодня страница нашей литературной истории. Тынянова и Эйхенбаума

удалось переиздать в немалой степени благодаря подвижнической настойчивости В. А. Каверина и 100-летнему юбилею Эйхенбаума. Лучшие книги Шкловского также необходимо издавать — они нужны всем, интересующимся литературой! Их отсутствие показательно и говорит о неблагополучии, издавна сложившемся в нашей гуманитарной сфере. Реплики Оксмана на этот счет в письмах мы должны расценивать как до сих пор актуальные сигналы.

Письма Оксмана публикуются по рукописям из домашнего архива семьи Шкловских, недавно переданного в ЦГАЛИ. Письма Шкловского — по рукописям ЦГАЛИ (фонд Оксмана, 2567), кроме письма от 23.10.1955 (машинописная копия из домашнего архива). Письма печатаются с сохранением авторского стилистического своеобразия. В соответствие с принятой грамматической нормой приведена только орфография, раскрыты также некоторые сокращения.

Шкловский — Оксману

Дорогой Юлиан!

Твое письмо получил в Тбилиси.

Спасибо за письмо.

Воля в неволе видней, чем ее потом видишь. Так писал Достоевский. Друзья в разлуке желанней. Мне нужны друзья. Мне не нужны степень, кафедра. Нужны книги, нужна последовательная мысль.

Само нахождение факта не нужно. Оно мнимо.

Русская литература на самом деле отдельна, определена судьбой.

История не знает случайности. Пушкин. Лермонтов. Толстой. Достоевский. Гоголь. Чехов. Нет.

Пушкин Гоголь Лермонтов Толстой Тургенев Толстой Достоевский Толстой Чехов. Эти разорванные в своей биографии и связанные с чужой биографией люди создают иной сюжет.

Уравнение искусства имеет разные значения, которые при исследовании могут быть подставлены, как корни уравнения. Биография объясняет мало, так как она может быть по ⟨помещении⟩ в искусство барьером стиля.

Идеология переосмысливается и не равна значимости, не равна идейной значимости.

Вечно и нетленно тело — форма произведения. Вечно уже созданное, то, что переосмысливается.

Книгу я напишу.

Написал еще статью о Веселовском (против Фадеева), сдал в «Октябрь» [1].

Прочел Веселовского, и он мне все же не понравился.

В Тбилиси было солнце, а сейчас дождь. Я почти отдыхал и узнал, как устал.

Твой *Виктор Шкловский.*

24 ноября 1947 г.

Скоро буду в Москве. Хотел бы попасть в Саратов [2].

Ну что же, попробуем.

Еще раз, еще раз.

Твоей жене поклон. Большой поклон.

Проходит, или уже прошла жизнь. А душа не состарилась, и всего хочется, а больше всего счастья. Хочу работать, писать, любить и разговаривать.

Серафима Густавовна [3] тебе кланяется.

Привет Волге и твоим студентам.

Приходи к нам. Пиши нам.

Виктор.

---

[1] Статья «Александр Веселовский — историк и теоретик» («Октябрь», 1947, № 12). Фадеевым и его сторонниками Веселовскому инкриминировались пренебрежение к самобытности славянской культуры и разрыв с революционно-демократической критикой. Научным последователям или защитникам Веселовского предъявлялся упрек в буржуазном космополитизме. В статье В. Я. Кирпотина подчеркивалось, что дело не в самом Веселовском, а в том, что «именем Александра Веселовского пользуются для того, чтобы притупить революционную и социальную остроту наследия русской классической критики, и для того, чтобы мимикрию под марксизм выдать за подлинный марксизм» («Октябрь», 1948, № 1). Самого Шкловского кампания борьбы с «буржуазной наукой» привела к многолетнему «отсутствию в теории», как он позже говорил. После новомировской статьи К. М. Симонова в № 3 за 1949 г., направленной против театральных критиков — «антипатриотов», идейным вдохновителем которых, по мнению автора статьи, был Шкловский с его книгой «Гамбургский счет», 1928 г., доступ к печатанию для него практически был закрыт. В это время Шкловский работает над книгой «Заметки о прозе русских классиков», опубликованной лишь в 1953 г. Годы 1949—1952 были одними из самых трудных лет в его биографии.

[2] После возвращения из заключения Оксман живет в Саратове, работает в университете.

[3] С. Г. Нарбут, урожд. Суок (1902—1982),— вторая жена Шкловского.

Шкловский — Оксману

1954.II

Дорогой Юлиан!

Ждал тебя в Москве. Вероятно, ты не приехал. Завтра еду недели на две в Баку. Если не приедешь в начале марта, мы разъедемся.

Спасибо тебе за письмо [1].

Книга моя в редактуре была растерзана. Сняты не только упоминания Юрия, но и Бори [2].

Изорван Чехов. Снято «Воскресение». Будем надеяться на второе издание.

Сейчас читаю (взял с полки) твои статьи. Очень точно, очень интересно и всегда не дописано в выводах. Я говорю прежде всего о письме Белинского [3].

Читаю 14 том юбилейного Л. Толстого. Мне кажется, что Толстой предполагал использовать в сценах плена масонство Пьера. Очень интересны все снятые куски: насурьмленная женщина, которая помогла Пьеру, и подчеркивание условности приезда Николая тем, что Мари ждет рыцаря гусара, который ее спасет. Надо, Юлиан, мне решать вопрос о новой книге. Если бы 15 и 16 том уже были бы у меня в руках, я написал бы книгу или «Война и мир», или «Романы Толстого» с таблицами, с анализом последовательности глав и законов переделок. Все время изменяются не столько результаты (события), сколько мотивировки поступков.

Серафима Густавовна болеет вирусным гриппом. Я стою в своей работе на перекрестках.

Литературное будущее неясно и теперь.

(На обороте первого листа письма — поперек страницы:

Формалисты ошибались, и это ясно. Ошибки.)

№ 1. Искусство эмоционально и ⟨направлено⟩ вне, в миропознание, а не только в форму. Форма — это математика, за которой мир, к нему не надо все время апеллировать. Он существует уже в самом произведении, которое для этого и существует. Вот как.

№ 2. Происходит не смена форм, а смена жизнеотношений.

№ 3. Существуют какие-то как бы заболевания искусства, когда оно самоповторяется. Смотри детективы. Люди, с которыми мы спорим, ошиблись больше нашего.

---

[1] В письме от 18.01.1954 Оксман писал Шкловскому:

«...писали мне о твоих „Заметках" очень уж по-разному: одни негодовали, что ты якобы „прежний", другие возмущались, что ты совсем стал „другим". Думая о тебе (а я почему-то думаю о тебе часто, и не только тогда, когда мне не спится), я всегда вспоминаю изумительное лирическое отступление в статье Пушкина о Радищеве: „не изменяется только глупец, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют". Нет, ты продолжаешь идти вперед, не стареешь, мысли у тебя не „моложавые", а по-настоящему молодые, облеченные в плоть и кровь без старческого склероза, которого так много у наших младших современников и учеников. Пушкин имел в виду, впрочем, и людей типа Мейлаха и Орлова, Ермилова и Паперного, Тимофеева и (не хочу ставить фамилии — угадай сам!), с их „слабоумным изумлением перед своим веком и частными поверхностными сведениями, наобум приноровленными ко всему, о чем можно писать в „Лит. Газ.". ⟨...⟩

Студенты уверяли меня, что те 20—30 экз-ов твоих „Заметок", которые поступилв в продажу в Саратове, расхватаны были в 20 минут.

⟨...⟩ мне больше всего понравилось твое „Вступление" — одновременно и мудрое и наглое, писанное и для друзей, и для врагов...»

[2] «Заметки о прозе русских классиков». М., 1953. Юрий — Ю. Н. Тынянов, Боря — Б. М. Эйхенбаум.

[3] «Пвсьмо Белинского к Гоголю как исторический документ».— Ученые записки Саратовского увиверсвтета. 1952, т. 31.

Оксман — Шкловскому

(окт. 1955)

Дорогой Виктор, так давно тебя не видел, что и писать трудно — отвык с тобой разговаривать, а потому и спора не получится. Очень благодарен тебе за книгу — ее еще нет в Саратове (второго издания), а мне твои мысли и факты очень сгодились для лекций. Широко их пускаю в оборот, особенно то, что о Толстом (и старое звучит, и новые страницы о «Воскресении» сильно действуют), о Чехове, кое-что в главе о Пушкине («Онегин», «Арзрум»), много интересного в «Введении». Впервые прочел о «Фрегате Палладе», хотя где-то видел этот очерк (или часть его?), если не вру, видел, но не читал.

Меньше мне нравится Гоголь, Лермонтов, Тургенев, м. б., потому, что уже хорошо все это знал. Задержал ответ, так как хотел прочесть книгу всю — не листать, а читать, от начала до конца. А читать для души некогда, сезон в разгаре, лекции, семинары, диссертации (не только саратовские, а и ленинградские, московские, казанские), редактуры, «Учен. записки», статьи, книги. Хочу в январе забраться куда-нибудь месяца на два — иначе не справлюсь с самыми неотложными договорами.

Так вот — только сегодня дочитал. Когда-то каждая твоя статья была для меня большой радостью, каждую твою книгу переживал как письмо от любимой девушки — ты мне нужен был как живая вода, как зарядка. Сейчас совсем иначе ты входишь в сознание — менее будоражишь, не волнуешь, а иногда даже огорчаешь. В твоих писаниях появился скучный упаковочный материал — всякого рода цитаты и цитатки, от которых прохода нет во всех наших статьях и книгах. Неужели ты сам не чувствуешь, что Добролюбов и Чернышевский, Чернышевский и Добролюбов — в таких пропорциях, (какими?) ты угощаешь читателя, невыносимы. Я верю, что ты выписываешь эти строчки всерьез, для тебя они свежи и не имеют того душка, который они получили в нашей массовой лит.-критической жвачке,— и все-таки досадно. Досадую не только как твой читатель и почитатель, но и как специалист, потративший не мало лет на работу над рев. демократами. Моего Добролюбова ты цитируешь даже в прямых скобках, как черновики Пушкина или записные книжки Ленина. Кстати, выбрось эти скобки — они ни к чему, это мой старый педантизм, который будет ликвидирован в ближайшем переиздании шеститомника.

Мне было грустно читать твои изъявления чувств в адрес литературных капитанов второго ранга вроде Храпченко [1] (стр. 157) или Ермилки [2] (стр. 138),— при полном молчании о других современниках. Еще грустнее было читать о том, каким тоном ты говоришь о себе (стр. 309, 408), т. е. о своих прежних работах. Я верю, что ты от них давно отошел, я знаю, что некоторые их положения ты считаешь неверными, что они нуждаются в уточнениях и поправках — на время, на место, на эмоции,— и тем не менее самокритика здесь должна быть иною (тон не тот!), если тебя уж так потянуло во (1 слово *нрзб*).

Ты скажешь, что все мои упреки не по существу. Что ж — ты будешь прав. В твоей книжке больше удач, чем недочетов, ее читают и будут читать, она умна, остра, занимательна, полезна, расширяет горизонты того, что выдается нашими тимофеевыми [3] и тарасенковыми [4] за теорию литературы. (Но почему ты останавливаешься на полдороге, переходишь в бормотание, когда говоришь о переменной значимости жанрового термина «повесть» или хочешь сбросить со счетов проблему конкретно-исторического и «прототипа»?)

Из письма моего ты увидишь, что я старею, становлюсь бестактным * и злым. Самое страшное — это процесс старения. Не хочу стареть, не хочу стушевываться, не хочу никаких скидок... «Хочу любить, хочу молиться»... нет, молиться, конечно, не хочу.

Сердечный привет Серафиме Густавовне, если она меня помнит.

Твой *Ю. Оксман* ⟨...⟩

Зачем ты пользуешься такими нехорошими словами, как «отображение» и «отобразил»? Оставь их С. Я. Штрайху [5] и Паперному! [6]

* не знаю, «з» или «с» теперь

---

[1] Храпченко М. Б. (1904—1986) — литературовед, общественный деятель, академик.

[2] Ермилов В. В. (1904—1965) — критик, литературовед.

[3] Тимофеев Л. И. (1904—1984) — литературовед, критик.

[4] Тарасенков А. К. (1909—1956) — критик, литературовед, коллекционер поэтических сборников.

[5] Штрайх С. Я. (1879—1957) — историк русской литературы и общественной мысли, исторический писатель.

[6] Паперный З. С. (р. 1919) — критик, литературовед.

Шкловский — Оксману

Дорогой Юлиан!

Я твое письмо получил сегодня, исправил небрежности и опечатки, в частности о Блудове. В главе о Чехове неточно рассказал сюжет «Шведской спички». Исправь.

Теперь будем говорить о деле.

Начнем с прототипов. Я убежден, что писательский ход от явлений, взятых из так называемой жизни, в искусство настолько сложен, что его пытаться устанавливать не надо.

Поиски прототипов обычно еще основаны на элементарном представлении, что ход

творчества всегда один. Но если ты возьмешь «Портрет», то там у художника, классика-академиста прототипом является Психея.

У Иванова Христос выведен из Юпитера [1]. У классиков вообще берется канон, который осложняется чертами конкретного портрета. То, что сделал Чертков [2], было не злоупотреблением, а ходом творчества, законным для определенного периода развития искусства.

О прототипах можно говорить, но для этого нужно не прилежание, а ум. Ведь что получается? Вы ковыряетесь в замке художественного произведения реальными отмычками, не понимая устройства замка.

Вещь, явление, становясь частью композиции, переосмысливается, принимает на себя отблески других вещей, и важно не ее мнимое происхождение, не то, откуда она взята первоначально, а то, куда она поставлена и для чего она поставлена.

Работы о заимствовании, работы с прототипами — вся эта сложность подбирания книги к книге ничтожны, пока не поняты законы подбирания, изменения, превращения.

Ты много работал, у тебя превосходное знание фактов, ты обременен этими фактами, как обитатель одного из гулливеровских островов, который отменил слова и носит с собой вещи, для того, чтобы разговаривать вещами. Факты содержатся, как и слова, в словаре, но оживают только в речи.

О чем я написал книгу? Она написана о том, что так называемый сюжетный ход, так называемые действия даются традицией и занимают мало времени, но это только одна сотая, а все остальное до ста — это переосмысление нахождения мотивировок, изменение взаимоотношения вещей, а тем самым и изменение самих вещей.

Какая ошибка была у Виктора Шкловского? Его теория была двойственна, он утверждал внеэмоциональность искусства, его замкнутость в самом себе, и одновременно он говорил об остранении [3].

Мы пишем письма, говорим — дорогой товарищ, мы говорим — покорнейше просим, мы говорим — разрешите отобразить,— все это условно, как правила игры в вист и в двадцать одно, а надо найти законы азарта, понять карты как судьбу и причины возникновения увлечения картами.

В книге моей много мертвых слов, я там шаркаю ножкой: мне неудобно было не шаркать, но главное не в этом: главное — мои первоначальные ошибки, которые я преодолевал когда-то только слепым вдохновением и молодым опытом художника, которые нарушают (1 слово *нрзб.*) теорию *.

Существует мир и существуют слова, которыми мы мыслим, и слова, и наша система мыслей превращают нас в вычислительные машины, которые пишут статьи-письма, исследования, не прикасаясь к внутренности жизни, к ее крови, к ее запаху, к ее наслаждению, к ее оскорбительности.

Слова, как клин, отрывают живущего от жизни и подымают его над ней, и заключают его в бутылку: он сидит в бутылке, как муха, сидит так, как Каверин сидит в старой литературной форме. Об этом я ему недавно рассказывал.

Существует искусство пророчества, призвания. Оно нужно человечеству потому, что оно преодолевает слова, раскалывает привычные отношения, разъясняет нам самим наши отношения друг к другу, к себе самому, оживляет раны, изменяет память, обновляет упреки.

Искусство — нечаяя поправка к так называемой жизни. Без него бы человек был значительно ниже других живых существ.

Я об этом написать не смог и не сумею, но я об этом пишу всю жизнь, стараясь процарапать тот лак, которым покрыто само понятие «искусство»; выяснить, что это за жизнеотношения. Я придумываю, и то, что я придумываю, мне приходится развешивать на чужих цитатах. Ты ведь знаешь, что такое псевдопереводы, о том, как принуждено говорить старыми словами, и это во многом неизбежно, что случилось не с нами одними.

Я не знаю, что был Добролюбов, кто был Чернышевский, не знаю, как у них стоят скобки, но я видал сотворение нового искусства, знаю вдохновение и иногда маскирую его, а иногда и раскрываю ход мышления художника.

Я не хочу старости и думаю, что мы, художники, насильно приговорены к молодости. Она у нас как сердце. Это молодое сердце ломает наши старые сосуды, заставляет нас иногда бредить. Мы больны высокой болезнью — желанием понять свое время.

Факты можно брать какие угодно, как можно брать любые краски на палитру, если есть внутренний опыт, если есть способность смешать их и выразить ими то, что живет невыраженным, невыявленным, а разбивающим сердце.

Вот так мы живем и грубо точим режущий край времени, и изменяемся, и топчем в конных атаках самих себя, если падаем под копыта.

Да здравствует Волга, которая впадает в Каспийское море и течет мимо тебя. Да здравствуют лошади, которые едят сено, если это им доставляет удовольствие. Да здравствует отображение действительности и что угодно, кроме учености, которую можно надевать как пальто, которую нужно знать и еще лучше забывать, а знать нужно только для того, чтобы подставить крыло под восходящий ток воздуха.

Милый Юлиан, мы не старые люди, если мы можем сердиться друг на друга и упрекать друг друга.

Осенью на юг летят птицы, туда, где Волга впадает в Каспийское море. Они летят целыми семинарами, факультетами, перестраиваясь в воздухе. Впереди летят самые сильные, за ними летят самые слабые, они машут крыльями в такт колебаний воздуха, раскачанного большими крыльями.

Раскачаем небо крыльями, будем лететь.

Небо синее, леса золотые, внизу пустые поля, такие пустые, как пусты статьи, из которых вырвали все цитаты. Потом приходит зима, и она тоже красива.

Видишь, я улетел к птице-тройке: с одной стороны русские избы, с другой — Италия.

Я думаю, что ты неправ, неправ методологически. Новая моя методология еще не созрела в книге, замаскированв благоразумием. Но она рождается, и воздух весело колеблется. И пускай старые наши книги не будут нашими прототипами.

Целую тебя. Копию твоего письма и своего я отправляю Боре. Жалко — людей мало. Мы бы еще поспорили, полетали.

Доброй осени, друг.

Виктор. Москва в полете. Осень.

(приписка от руки в конце письма):

Посылаю, пока не раздумал.

Витя. 23 октября 1955.

Буду жить под Москвой.

Приезжай, будет комната. Адрес для писем старый. Серафима Густавовна тебя помнит и тебе кланяется.

* Приписка карандашом Оксмана: «А сейчас иначе?»

«Заумь тяжела и в поэзии, но в теории литературы абсолютно недопустима» (NB Оксмана на полях письма).

[1] Имеется в виду картина А. А. Иванова (1806—1858) «Явление Христа народу».

[2] Герой повести Гоголя «Портрет».

[3] Важнейшее положение теории искусства Шкловского: художник пишет о предмете или явлении как о впервые увиденном, «странном».

Оксман — Шкловскому
7.X.1959

Дорогой Виктор,

воображаю, как ты скучаешь сейчас в холодной и неуютной (1 слово *нрзб*) Ялте, куда тебя занесла «охота к перемене мест» или, точнее, какая-то «нелегкая». То ли дело Аэропортовский питомник [1] окололитературных евреев и всяких жизнеустойчивых гусей и гусон! [2] То ли дело столица нашей родины — Москва!

А мои планы все полетели к чертям. Начать с того, что я не поехал на юбилей Саратовского университета и не сделал на юбилейной сессии доклада о Федине, несмотря на то, что доклад этот стоял в печатной повестке, несмотря на то, что Федин меня ждал в Саратове, несмотря на то, что я раб своих слов и обещаний *, несмотря, наконец, на то, что меня очень ждали мои ученики, друзья, знакомые и почитатели **. Этих почитателей у меня больше, чем читателей. Но тебя, например, я читаю и почитаю, ты меня почитаешь, но не читаешь, а Гудзия [4] и не читаешь и не почитаешь. Каждому, как говорится, свое!

Посмотрел на днях последний номер «Нового мира». Ты очень умно и тонко беседуешь по поводу книжки Смирнова-Сокольского [5]. Говоришь о многих интересных вещах, говоришь весело и даже не без озорства, но придраться не к чему. Ираклий [6] на эту тему бубнил нечто совсем унылое. Далеко куцему до зайца!

Кстати, о зайцах, которые варят пиво. В четверг мы в институте обсуждали вопрос о выдвижении на Ленинские премии. Я совершенно всерьез предложил книгу Н. П. Смирнова-Сокольского, как получившую *единодушное* признание советской научной и лит-ой общественности...

А где же твоя книга? Конечно, Ираклий о ней не напишет ни в «Правде», ни в «Юности». Но писать о ней будут много, а говорить еще больше. Если бы, кроме Ленинских премий, были еще и какие-нибудь пушкинские или толстовские ***, то ты эти премии получал бы ежегодно, ежели по справедливости. Конечно, следовало бы посмертно дать премию Г. А. Гуковскому [7] и за Пушкина, и за Гоголя. Но эти книги (спорные, неровные, нервные, но *книги*!) написаны десять лет назад и на полуслове обрызганы кровью в одной из пыточных камер. Члены-корреспонденты этих камер блаженствуют на

свете, и никто не захочет портить им настроения, кроме разве меня. Но и я очень устал, хочу «свободы и покоя», надо хотя бы на седьмом десятке обеспечить крышу над головою.

Отменив Саратов, я отменил и поездку в Армению и доклад в Тбилиси. Смотаюсь туда лучше весною, когда зацветет миндаль. А забраться надо будет к концу этого месяца куда-нибудь в Мвлеевку или в Узкое да поработать. Иначе вылетаю в трубу.

Дорогая Серафима Густавовна — душа моя мрачна, хотя я не имею права роптать ни на судьбу, ни на те скупые дары, которые она мне посылает. Дары есть дары!

Через месяц выходит в свет мой сборник [8]. Золотник мал и совсем не дорог. Но замолчать его не смогут ни друзья, ни враги. Особенно друзья.

Весь ваш
Ю. Оксман.

* А надо быть хозяином этих самых слов, как говаривал Н. О. Лернер [3].
** А не поехал потому, что грипп как-то контузил сердце — и все стало ни к чему.
*** Как, напр., гонкуровские!

---

[1] Аэропортовский питомник — кооператив МОСП на Аэропортовской ул. в Москве.
[2] Гус М. С. (1900—1984) — критик, литературовед.
[3] Лернер Н. О. (1877—1934) — литературовед, пушкинист.
[4] Гудзий Н. К. (1887—1965) — литературовед.
[5] Ст. о книге Н. П. Смирнова-Сокольского «Рассказы о книгах» — «О пользе личных библиотек и о пользе собирания книг в первых изданиях в частности».— «Новый мир», 1959, № 10.
[6] Ираклий — Андроников И. Л. (р. 1908) — литературовед, мастер устного рассказа.
[7] Гуковский Г. А. (1902—1950) — литературовед. Арестован по «Ленинградскому делу», умер в тюрьме. Книги, о которых говорит Оксман, изданы посмертно: «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957) и «Реализм Гоголя» (М.-Л., 1959).
[8] Ю. Оксман. «От „Капитанской дочки" к „Запискам охотника"» (Саратов, 1959).

Оксман — Шкловскому
23.X.1959

Дорогой Витя, твое письмо шло бесконечно долго, даже учитывая разницу дат написания и почтового штемпеля.

Меня очень тревожит твое самочувствие, твои мысли о бессмертии и твоя неуверенность в том, достоин ли ты этого. Я не склонен к переоценкам внутренних и внешних качеств своих друзей, но твоей дружбой гордился и горжусь, хотя вижу и тебя насквозь.

Без тебя мне было бы очень тоскливо в этом мире, а в мир иной, как ты знаешь, я не верю. Мне часто тебя недостает, и обидно, что так редко мы встречаемся. Телефона я не люблю, это как девушка в наглядку (?), только ненужное раздражение.

Книгу твою [1] все ждут с великим нетерпением. Писать о ней будут меньше, чем о Смирнове-Сокольском, но все-таки будут, «не сумлевайся». Яков Эльсберг [2] меня уверил, что книга твоя уже печатается, но о тираже не мог мне ничего сказать *. Кстати, «Литературка» хочет твоего отзыва о книге Виноградова [3], выдвигаемого на Ленинскую премию. Именно *твоего*, но в крайнем случае Кузнецов [4] согласен и на Андроникова.

Вот наши «меры вещей»!

Ты пишешь воспоминания. Это очень нужно. Ты в долгу перед своими современниками, о которых писал очень хорошо, но страшно скупо. Я имею в виду и Юрия Тынянова. Загляни в те странички, которые о нем уже написал, и заполни пробелы. Скажи и о том, с чем не согласен. Он выдержит, особенно мертвый. Скажи и о том, как строилась советская литер. наука, и не только о своих, но и о чужих, начиная с дяди Семена [5] и Пушкинского кружка. Я хотел бы, чтобы ты сказал в этой связи что-нибудь членораздельное и обо мне. Кто же еще об этом может сказать лучше? У меня есть свои мемуарные замыслы — расскажу при встрече.

25-го уезжаю в Дом творчества в Переделкино — до 20 ноября. Надо сдавать тома подписного Пушкина (у меня их два своих и семь чужих), а в Москве я мало вменяем! Да и без воздуха мне плохо, надо больше прогуливаться по первопутку — у нас ведь осень со снежком.

Рад, что Симочка довольна Ялтой, точнее, свободой от хозяйства.

Ант. Петровна [6] вас обоих целует. Я тоже.

Твой *Ю. Оксман.*

Продолжается у нас шум вокруг книги престарелого Иванова 7-го [7] «Даль свободного романа». Окололитературные обыватели сделали этому роману всесоюзную рекламу. Издавать его, м. б., и не следовало, а уж если издали, то осуждать можно лишь после обсуждения, а не за горло беря старика.

Писать лучше на Черемушки, чем в Переделкино. Ант. Пет. будет меня извещать, да и я нет-нет да заверну в город.

Москва, В 296,
1 Черемушкинский, 4/39, корпус А, кв. 36.
Можно добавить: Ю. Г. Оксману.

* Но о книге говорит восторженно!

---

[1] Виктор Шкловский. «Художественная проза. Размышления и разборы». М., 1959.
[2] Эльсберг Я. Е. (1901—1976) — литературовед, критик, с 50-х гг. сотрудник ИМЛИ, где в то время (с 1956 г.) работал Оксман.
[3] Виноградов В. В. (1895—1969) — лингвист, литературовед, академик. Речь идет о книге «О языке художественной литературы» (М., 1959).
[4] Кузнецов Ф. Ф. (р. 1931) — критик, литературовед, общественный деятель, в то время работал в «Литературной газете».
[5] Венгеров С. А. (1855—1920) — историк русской литературы и общественной мысли, библиограф. В 1906 г. в Петербургском университете создал пушкинский семинарий, в котором участвовали многие молодые филологи, впоследствии ставшие видными деятелями советской науки. Шкловский бывал на этих семинарах.
[6] Антонина Петровна Оксман (1894—1984) — жена Оксмана.
[7] Иванов Вс. Н. (1888—1971) — писатель. С 1922 по 1945 г. жил в Китае (в 1931 г. получил советское гражданство).

Оксман — Шкловскому
23.VI.1960

Дорогой Виктор, надеюсь, что все у вас обоих благополучно, но обидно, что из Саратова все были виднее, чем сейчас в Москве.

Я был за это время раза три в Ленинграде, падал, поднимался, недомогал, перемогал и т. п.

Очень устал от Герцена (не ладятся письма, стоят корректуры, не придумали, как быть с приписками Герцена на чужих письмах, которые в 5—6 раз больше того, что приписывает он, и т. п.). Читаю рукописи комедий Тургенева, примечаю крит. прозу Пушкина, пишу отзывы на десятки скучных чужих работ. Был один только приятный день — я больно ударил Ермилку в одной своей немецкой статье — читал и приговаривал: «Ай да Оксман, ай да сукин сын!» На даче у нас очень удобно жить — я рад за Ант. Петровну (она все же прихварывает) и за себя.

Когда же я вас обоих видал? Неужели еще на похоронах Олеши? [1] Когда же это было?

Читаю только газеты, даже на «Октябрь» меня уже не хватает.

Что ты написал? Как твои «Казаки»? [2] Моя казачка в хорошей форме.

Что же ты все-таки придумал еще?

А Володя Огнев — парень правильный. О тебе написал с большим подъемом и во весь голос! [3]

Ермилка, вероятно, чуть не сдох от зависти!

Поздравляю тебя, Виноградова и АН СССР с новыми членами-кор-ми Берковым [4], Бушминым [5] и Анисимовым [6] — «Угрюмых тройка есть певцов». «Уму есть тройка супостатов».

Симочке почтительно целую ладошки. Вас обоих обнимаем и ждем к себе.

На полях: 30-го в ИМЛИ диспут об Онегине и Татьяне (Бурсов [7] против Макогоне⟨нко⟩ [8]). Приезжайте! Выпьем!

---

[1] Олеша Ю. К. (1899—1960) — умер 10 мая.
[2] «Казаки» — киносценарий Ш. по одноименной повести Л. Н. Толстого, фильм поставлен в 1961 г.
[3] Огнев В. Ф. (р. 1923) — критик, литературовед. Статья о Шкловском в «Лит. газете», 7.IV.1960 г.
[4] Берков П. Н. (1896—1969) — литературовед.
[5] Бушмин А. С. (1910—1983) — литературовед, с 1955 по 1983 г. директор ИРЛИ (Пушкинский дом).
[6] Анисимов И. И. (1899—1966) — литературовед, с 1952 по 1966 г. директор ИМЛИ.
[7] Бурсов Б. И. (р. 1905) — критик, литературовед.
[8] Макогоненко Г. П. (1912—1986) — литературовед.

Оксман — Шкловскому
9.IV.(1961?)

Дорогой Витя,
мы с 4-го уже полным ходом ворвались в быт Дома творчества. Выбором Ялты мы очень довольны — во-первых, весна в Крыму это не снежные бураны в Черемушках, а Дом творчества не академ. больница. Во-вторых, здесь сейчас зелено, цветет вишня, в цвету персики, скоро зацветут даже кипарисы.

Каждый день, а иногда и дважды, мы у моря, на бульваре. Мое пальто обдает морскою водою — и мне кажется, что я молодею, что я буду еще долго работать, что я в Ялту буду приезжать часто, что царству рабочих и крестьян не будет конца...

Я ничего не делаю, мне просто ничего не хочется делать, я бесконечно устал. Размеренный санаторно-бездельный быт мне сейчас очень по душе. Я вижу, что все это очень нужно, и Ант. Петровна тоже блаженствует по-настоящему, а я только приемлю всю здешнюю благодать, предвкушая еще большую...

Людей здесь мало, из настоящих один К. Г. Паустовский, которого, наконец, освоил (не первый день!). Очень он тебя любит, а Симу — не меньше. Меня и это трогает.

За столом мы объединены с Смирновыми [1]. Сергей Васильевич все же поэт, хотя и очень небольшой. Пишет сейчас пародии, эпиграммы, басни. Все это посредственно, но мне нравится, что он не любит ни Ермилова, ни Перцова [2], ни К. Зелинского [3], ни всех прочих топтунов, подхалимов, предателей. Впрочем, он, кажется, никого не любит. Женщин здесь нет — так как Галину Серебрякову [4] трудно считать женщиной, несмотря на молодого мужа (субчик лет тридцати), есть еще Я. Смеляков [5], но он больше прохлаждается в портовых пивнушках и биллиардных.

Читаю старые журналы, плохие романы Сергеева-Ценского, второй том «Вопросов текстологии». На днях начну твою книжку [6], кот. здесь никто, конечно, не знает *. Даже А. Бек [8]. Читать буду с карандашом в руках, чтобы потом пристраивать хорошие мысли в свои работы, разумеется, не присваивая твоих наблюдений и формулировок.

Прочел полный вариант статьи Бори о «Герое нашего времени» [9]. Работа прекрасная, свежая, богатая самыми неожиданными находками, но чувствуется уже усталость, я бы сказал — даже старость. Много лишнего, иерархия фактов не всегда правильно учитывается, прежний блеск только в постановке вопросов, но не в их разрешении. Сужу так строго только потому, что Боря писал лучше всех нас, своих друзей, старших и младших соратников... Он умел писать, умел и отписываться, как настоящий литератор.

Я не очень уверен, что буду когда-нибудь еще здоров. Диагнозы, которые я получил в день отъезда, ужасающие. Дело, конечно, не в диабете, в церебральных сосудах, в коронарной системе, разрушенной, не восстановимой. Мне досадно, что я уже ничего не умею дописать, доделать из того, что давно начато и даже набросано. Не успею переиздать статей о Пушкине, об агитац. песнях декабристов, о восстании Черниговского полка, о Раевском, о Белинском и Пушкине. И никто этого не докончит.

Мы пробудем здесь до 26 апреля, хотя я с удовольствием остался бы здесь на майские праздники — не люблю их проводить в Москве.

Сердечный привет Симочке и тебе от нас обоих.

Весь твой *Ю. Оксман.*

* А я ее яростно пропагандирую, как и твои статьи о кино в «Лит⟨ературе и жизни⟩» [7].

---

[1] Смирнов С. В. (р. 1913) — поэт.
[2] Перцов В. О. (1898—1980) — критик, литературовед.
[3] Зелинский К. Л. (1896—1970) — критик.
[4] Серебрякова Г. И. (1905—1980) — писательница, автор книг о Марксе и Энгельсе.
[5] Смеляков Я. В. (1912—1972) — поэт.
[6] Виктор Шкловский. «Художественная проза. Размышления и разборы». М., 1959.
[7] В этой газете Шкловским в 1959—1960 гг. были опубликованы статьи: «„Война и мир" и Одри Хепберн», «Классика и кино», «Сценарий — основа фильма» (о своем сценарии «Казаки»).
[8] Бек А. А. (1903—1972) — писатель.
[9] Ст. Б. М. Эйхенбаума о «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова частично опубликована в «Вопросах литературы», 1959, № 3. Полный текст в фонде ученого в ЦГАЛИ.

Шкловский — Оксману
(1962)

Дорогой Юлиан!
Твое письмо из холодно-ласкового Комарова получено. Мне кажется, что ты ⟨нечаянно⟩ доволен. Поклон всем. Поклон Анне Андреевне Ахматовой.

Дай Бог тебе покоя. Я тревожен.

Просидеть много лет в клетке скучно. Но сидеть, будучи хотя бы волком, в клетке с надписью «петух» обидно. Начинаешь кричать птичьи слова к тому же.

Написал еще несколько листов. Сейчас не менее 27. Диктую трудно, и материал, чем дальше, труднеет. Я теряю с Толстым контакт [1]. Какой великий, обширный, иногда однообразно скучный человек. Бедная Софья Андреевна. Он пах потом и был утром скучен.

Но сколько знает. Сколько людей кругом. Как хорошо можно было бы писать. О если бы у меня были бы не Ясная Поляна, а покой и ясные перспективы на полгода.

Шью книгу, как сапог, но из собственной кожи. Кажется, много нового. Оно рождается из того, что мне повезло с предшественниками. Быть бы им сейчас академиками.

Какую книгу можно написать, если отнестись к Толстому, ну, например, как к протопопу Аввакуму.

Целую тебя, мой последний, мой единственный друг.

Много работаю. Читаю. На даче почти не живем ⟨...⟩

---

[1] Шкловский писал книгу о Толстом для ЖЗЛ. Вышла двумя изданиями — в 1963 и 1967 гг.

Оксман — Шкловскому
11.XI.65

Дорогой Витюша,
утром получили твое первое ялтинское послание, как всегда, без даты. В будущем собрании писем оно пойдет по дате почтового штемпеля, и притом не ялтинского (его нет), а московского.

Радуемся за вас обоих — хорошо отогреваетесь после северяых непогод! Но при чем же здесь «мурашки», и как это на таком солнце «радикулит»? А в Москве хорошо-тепло, уютно, изредка «осадки», но они ласковые.

Позавчера, говорят, появился в продаже Федотов [1] — покупают, но спокойно, без боев. Когда-то твоя повесть о Федотове была моей любимой книгой. У меня сохранилась вырезка из «Звезды» [2], которую ты презентовал мне с очень хорошей надписью. Когда это было? Лет 30 назад, а то и больше! Никогда не чувствовал я так приближения конца, как сейчас. Очень устал жить. Не скажу, чтобы мне не хотелось работать,— работаю с удовольствием, но сознание того, что не успею доделать даже 90 % старого, давно начатого и даже почти законченного,— как-то парализует вдохновение. Ведь *нового* я последние 10 лет не писал — вся эта реализация давно накопленного и продуманного превращала работу в ремесло — высокой квалификации, но ремесло. Ты жалуешься на то, что мало знаешь. Нет, я считаю тебя одним из самых *сведущих* людей, которых я знал в своей долгой и трудной жизни. Может быть, и одним из самых вдохновенных писателей СССР. Больше знал, пожалуй, только Алексей Максимович, но я уверен, что статьи Лосева [3] о Платоне и для него были бы китайской грамотой. Я не поклонник Лосевых — и потому не завидую их зауми. Мне совсем не интересны и структуралисты, хотя я их уважаю. Вся Москва читает роман Булгакова о МХАТе [4]. Это в самом деле сатира потрясающей силы, убивающая наповал. Но так как роман этот для современных читателей не ассоциируется с его прототипами, то потрясения святынь не происходит. Читателю очень смешно, но он не ощущает конкретной направленности удара. Другое дело — люди нашего поколения, помнящие и Станиславского, и Немировича, и Лилину, и Хмелева. Срывание всех и всяческих масок ощущается нами острее и страшнее, чем нашей молодежью.

А с глазами у меня опять очень плохо. Окулисты грозят операцией — и даже двумя — в октябре. Что ж? Надо перейти и через эту муку.

Ант. Петровна и я обнимаем и целуем вас обоих. Как далеко ушло от меня время наших последних встреч в Ялте. А ведь это было только полтора года назад.

Ваш *Ю. Оксман.*

---

[1] Виктор Шкловский. «Повесть о художнике Федотове». 3-е изд. (испр. и доп.). М., 1965. ЖЗЛ.
[2] Ошибка: повесть напечатана в «Знамени», 1935, № 12 (первая законченная редакция книги).
[3] Лосев А. Ф. (1893—1988) — философ, специалист по античности.
[4] «Театральный роман» М. А. Булгакова.— «Новый мир», 1965, № 8.

Оксман — Шкловскому
22.I.1966

Дорогой Витя, поздравляем тебя с днем рождения, и Симочку с новорожденным. Было время, когда мне хотелось быть старше тебя, потом я детски радовался, что моложе тебя на два года, сейчас я об этом вообще не думаю, но постоянно чувствую, что мы оба неожиданно состарились, перешли какие-то рубиконы, от чего-то безнадежно оторвались, к чему-то не приствли, но оба мы прожили большую жизнь, очень устали, а сейчас «покоя сердце просит», прежде всего покоя, да еще немножечко «свободы» (я почти цитирую — это Лермонтов: «Я ищу свободы и покоя»).

А вот другая цитата, из интимного дневника Герцена: «Я ужасно устал — видно, это-то и есть старость. Всякий удар, всякое усилие оставляет след. Нету силы сопротивляться, не достает утешений и, главное, хочется не победы, а отдыха.— Оставили бы в покое». Писано это 15 июня 1860 г., а мне кажется, что это записал свои настроения я...

13 января мне разрешили немножко читать и писать. Я сразу же кинулся на книги, газеты, стал править корректуру какой-то залежавшейся статейки из «Ученых записок». Разумеется, надо было бы не жадничать, читать небольшими порциями, не спешить, но я надеюсь, что ничего себе всерьез не повредил, дня через три-четыре глаз перестанет чесаться, а Ант. Петровна перестанет меня упрекать за легкомыслие и сравнивать с Алешкой Степановым...[1]

Каждый день я гуляю, но за десять последних дней был только один солнечный и без ветра — я и гулял два часа, а обычно ковыляю с палочкой (зато без провожатых). Не более 20—30 минут. Работать еще не начинал, разбираю старые бумаги. Устаю от людей — их приходит многовато, а хочется показать себя «лицом» — вот и устаю.

«Библиотека поэта» расторгла, наконец, договор на Рылеева. Надо будет возвратить 300 рублей. Я знал, что благородства хватит у них не надолго, и жалею, что потратил около года на доработку рукописи. Понимаю, что никто сейчас Рылеева им не сделает, что они перепечатают мое издание 1934[2], слегка подпортив и сократив. Но ведь у меня сотни листов неизвестных частей архива Рылеева, с которыми никакие ямпольские[3] не справятся!

Буду писать книжку о Рылееве для потомства или для Бельчикова[4], а деньги верну Лесючевскому[5] после того, как получу за Добролюбова из изд. Ак. наук. На Орлова[6] не сержусь — он пытался сделать все, что можно. Подвела меня операция.

Прочел в одном из номеров «Иностр. литер.» за конец 1965 г. очень хороший роман Вольфганга Кёппена «Смерть в Риме»[7]. Перелистай, если не прочел его.

Миша и Лида[8] чуть было не замерзли в вашем вигваме с двумя балконами. Сейчас отогреваются, перечитывая твои книжки. Я с ними перезваниваюсь. Ант. Петровна дней пять не болела, но сейчас опять слегла. Она вас обоих нежно целует. Хорошо, что в Крыму цветет миндаль, мне даже не верится, что это может быть в январе.

Дорогая Симочка, не болейте, Бога ради, а радуйтесь морю, редкому солнцу и вольному ветру!

Целую Вас и Витю!

Всегда Ваш
Ю. Оксман.

---

[1] Степанов А. Н. (1892—1965) — писатель, автор «Порт-Артура».
[2] Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений. «Библиотека поэта». Большая серия. Л., 1934. Ред., предисл. и прим. Ю. Г. Оксмана.
[3] Ямпольский И. Г. (р. 1902) — литературовед.
[4] Бельчиков Н. Ф. (1890—1979) — литературовед.
[5] Лесючевский Н. В. (1908—1978) — критик, литературовед, издательский работник, в 1960-е годы возглавлял издательство «Советский писатель».
[6] Орлов В. Н. (1908—1985) — литературовед, в это время главный редактор «Библиотеки поэта».
[7] Вольфганг Кёппен (р. 1906) — западногерманский писатель.
[8] М. П. Громов и Л. Д. Опульская — литературоведы, ученики Оксмана.

Оксман — Шкловскому
21.VII.1966

Дорогой Витюша,

лето в Москве установилось жаркое. Поэтому стараюсь до вечера никуда не выходить, а за город уезжаю рано утром, если есть охота. Бываю в Переделкине, а 18-го ездил в гости к Эренбургам в Истру. Давно собирался и очень доволен поездкой. Место — чудесное, хозяева — интересные и радушные. Но Илья Григорьевич заметно постарел, очень потолстел, производит впечатление уствлого человека. Занимается своим цветником, ничего не пишет, но жизнью интересуется. Судит обо всем спокойно, собратьев своих не очень жалеет, но повестью Катаева доволен[1]. Прочел он рукопись последнего романа Солженицына[2] (не предпоследнего, который залежался). Роман посвящен лечебнице, где изучают больных раком. Безысходный мрак!

Позавчера Юрий Николаевич[3] привез первый том «Прометея», который должен был выйти еще в январе. Альманах поражает разнообразием (не скажу «богатством») материала, хорошо иллюстрирован, отпечатан на добротной бумаге. Замыкается книга твоей статьею об А. Родченко[4]. Ствтья — умная, поучительная, свежая во всех отношениях.

Думаю, что «Прометей» будет иметь успех. Такой альманах нужен, и не только всем нам, но и тем, кто читает, а не пишет. Он хорошо пропагандирует прошлое на конкретном документальном материале. Недостает в нем «рецензий и обзоров», но со второго тома этот отдел начнет развертываться.

У нас дома все благополучно, но без Тамары[5] стало как-то грустнее. Разобрали мы не более 15 полок и 10 пакетов, но разобрали основательно.

Крепко вас обоих обнимаем и целуем.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш *Ю. Оксман.*

---

[1] Повесть Катаева «Святой колодец».
[2] Роман А. И. Солженицына «Раковый корпус».
[3] Коротков Ю. Н.— ред. альм. «Прометей».
[4] Родченко А. М. (1891—1956) — художник и фотограф, друг Маяковского.
[5] Ленинградская знакомая Оксмана.

Шкловский — Оксману
1.IX.1966, Ялта

Милый Юлиан!

Пишу (отвечаю) тебе быстро. Так как, вероятно, переписка наша кончается.

Свои отношения с Романом[1] я сохранял сорок лет, но сохранять их стало нельзя.

Вопрос о том, кто родил Володю[2], с кем он,— этот вопрос решает история, а не склоки.

Роман захотел переселить Володю к себе.

Володе было плохо, но он сам знал, чей он.

Я не написал о тебе в «Опоязе».

Мне сократили то, что я написал.

Пишу ясно и подробно для тебя.

Был «Опояз», его тезис:

«искусство существует, создавая ряд переосмысляемых и сопоставляемых систем».

Был «Московский лингвистический кружок». Его тезис: «Искусство есть явление языка».

Это мнение Романа и Виноградова.

Оказалось, что сам язык — одна из систем.

Тезис Москвы снят.

Были главными в «Опоязе» твой бывший друг, я и Юрий[3].

Был (и есть) ты. Ты лучший представитель старой школы.

Прежде всего ты историк-литературовед. Вопросы, которыми ты занимаешься, интересны и важны, но для «Опояза» в целом не характерны. В область Юрия они входили как материал.

Обстановка, в которой я живу, деловая.

Мне очень жаль, что нам приходится расходиться. Людей той школы, к которой ты принадлежишь и мог бы прославить, если бы иначе работал, много.

Разлуки ты не заметишь.

Желаю тебе покоя. Справедливость придет к тебе. Ты будешь опять признан.

Все, что с тобой произошло, результат только ошибки.

Желаю тебе покоя.

Пора перестать мучить занятых людей.

Виктор Шкловский.
1 сентября 1966 г.

---

[1] Якобсон Р. О. (1896—1982) — русский и американский лингвист, литературовед, в молодости активный участник ОПОЯЗа.
[2] Маяковский.
[3] Тынянов.

Оксман — Шкловскому
18.IX.66

Дорогой Витя, мне очень больно было огорчить тебя своим последним письмом (на которое ты уже ответил), и я долго не решался тебе его отправить (первые два варианта я оставил у себя — они представляют развернутую редакцию того, что ты уже прочел).

Но ты ведь старый боец, большой человек и хоть в редких случаях должен учитывать последствия своих ошибок со всей трезвостью. Малодушие страуса тебе вовсе не к лицу, равно как и та тепличная обстановка, которая отрезала тебя от живой жизни.

Поверь, что мне очень нелегко даже написать об этом, а сказать я так и не смог, хотя повод для этого был при нашей последней встрече. Я пожалел тебя еще раз...

А в Москве осень с каждым днем более явная. Может быть, *последняя* моя осень. В хороших условиях (или хотя бы в нормальных) я мог бы еще хорошо поработать, но в тех страшных обстоятельствах, в которых мне приходится бороться за жизнь, долго выстоять нельзя. На прошлой неделе установлено было резкое ухудшение моего физич. состояния, следствием которого было нечто вроде кровоизлияния в оперированный глаз. Мне грозит новая «госпитализация» в глазной больнице, на что я уже не пойду. Диабет и глаукома — «две вещи несовместные», т. е. невыносимые в мои годы и в моих условиях. Конечно, некоторые тартюфы скажут, что я сам во всем был виновен и т. д. и т. п., но это едва ли будет так уж правильно. Дело не в «веке», а в «сердцах».

Сердечный привет Симочке и тебе от нас обоих.

Будьте благополучны.

Твой *Ю. Оксман.*

Оксман — Шкловскому
21.IX.66

Дорогой Витюша, читал твое первое письмо из Ялты — и очень потянуло меня в Крым — захотелось морского прибоя, южного ветра, запаха степи. Захотелось и сладкого безделья, бездумного быта, разговора не на ходу, не при гостях, без строгого отбора слов, а хоть немножко начистоту. Ведь ты прав — нас, людей первых десятилетий нового века, понявших «музыку революции» и строивших самоотверженно новую культуру, осталось не более пяти-шести человек, если говорить о петербургском круге писателей и ученых, не учитывая тех, кто гниет на корню или «продал шпагу свою». Я перелистал, кстати сказать, новое издание твоих мемуаров. Оказывается, в нем нет не только меня (по сути дела, это и не так важно — я ведь эпизодический персонаж в твоей эпопее), но ты даже не упомянул Романа Якобсона, без которого *не может быть* воспоминаний об ОПОЯЗе и твоей литературоведческой молодости. И как ты мог пойти на такое надругательство над историей, найдя едва ли не одновременно такие сильные слова для разоблачения фальши мемуаров К. Зелинского! [1] Я даже не знаком с Романом и не люблю его писаний, но в этой перестраховке (кстати, совсем не рациональной) не могу тебя оправдать. Говорят, что он в августе во время своей триумфальной поездки по Грузии очень резко в одной из своих вольных речей квалифицировал твое отношение к истории (по поводу страниц об ОПОЯЗе в «Жили-были») [2]. И что же — он был на этот раз прав. Прости, если хоть немножко огорчил тебя обращением к этим сюжетам, но сейчас они стали очень актуальными во многих аспектах.

Я недавно вернулся из Горького. В дороге простудился. Температура упала, но чувствую себя совсем разбитым. К тому же очень обострился диабет. Тянет в Ленинград, но сейчас это невозможно. Читаю корректуру нескольких заметок, которые печатаются в «Ученых записках». И на том — спасибо!

В Москве настоящая осень, но без скрипок. Людей вижу много, но они меня мало радуют. («Знакомых тьма, а друга нет».)

Дома все без перемен. Сердечный привет Симочке — представляю себе, как ей сейчас тяжело. Но у всех свой крест. Будьте здоровы и благополучны. Ант. Петровна вас обоих обнимает.

Твой *Ю. Оксман.*

---

[1] К. Зелинский. «На рубеже двух эпох. Литературные встречи 1917—1920 годов». М., 1960. Отзыв Шкловского — «Память и время».— «Новый мир», 1964, № 2.

[2] В письме Оксману от 22.IX.1966 Шкловский писал: «...Роман на меня нападает. Я не могу дать ему бой с открытым перечислением того, что нас разъединяет. Не то время. Я принужден работать молча».

Шкловский — Оксману
21.IV.1969

Дорогой Юлиан!

Мне казалось, что ты удивишься на то, что я, не видев материала, догадался об искусственности возраста Гринева. Ты пишешь, что заметил это раньше и напечатал об ⟨этом⟩ в «Лит. наследстве» [1]. Покажи мне номер, вернее, назови его; я в книге сошлюсь на тебя со всей точностью. Но дело не в этом. В книжке о Горьком [2] я подсчитал, что Тихону Вялову в «Деле Артамоновых» 110 лет (в конце), и разговор о судебной давности бессмыслен. Ты нашел в бумагах Пушкина записку о заячьем тулупчике. Я помню, что это выписки из второй части «Ложного Петра III-го». Вторая часть этой книги не переводная. Книга у Пушкина была, но он для «картотеки» сделал выписку. Иван Толстой [3] нашел в ирландском фольклоре сказку о воине, молящемся апостолу Фоме. Этот воин случайно подарил озябшему дьяволу теплое платье с капюшоном. Дьявол спас воина и принес его на «свадьбу жены» из Индии. Сказка (похожая) записана под Пер⟨мью⟩. Но это не важно. Важно, что в структурах сказки, в ее кристаллической решетке, в определенном месте нужен неожиданный помощник, платящий за давнюю услугу. Он может быть помощным «зверем», «дьяволом», «шотландским разбойником» и Пугачевым. Он же в китайской новелле чернобородый разбойник, платящий за то, что его накормили, возвращением невесты («Сказки ⟨1 слово *нрзб.*⟩ дракона»).

Дело не в фактах, а в найденной системе, в определении их необходимости.

У Пушкина в «Руслане и Людмиле» Финн помощник. Наина вредительница. Но она, так же, как и Черномор,— члены сказочной структуры, и прощенный карлик получает место при киевском дворе.

В «80 дней вокруг света» Паспарту помощник и сыщик-вредитель, но в конце романа Жюль Верна оба получают вознаграждение.

Я занимаюсь и занимался общими законами сюжета. Факты мне нужны в их повторяемости и как бы в предусмотренности. Роль их меняется. У Вольтера в Кунигунде они переосмыслены иронией. Меня интересует конвенция — договор между автором и воспринимающим.

Переосмысливание конвенции имеет свои законы. Это и есть моя работа. Пародия Теккерея, Айвенго и располневшая Наташа в конце «Войны и мира», и беззубый Пьер, и болезнь зубов Вронского — все это не случайности и все это было замечено (с неудовольствием) критикой.

Формулирую (1 слово *нрзб*).

Из теоретиков мне сейчас очень нравится Юрий Тынянов и не нравится Роман Якобсон. У Романа структура не переключается. В «Капитанской дочке» при помощи этой структуры пересматриваются исторические концепции, а у Жюль Верна в его «Детях капитана Гранта» или в «80 днях» перепоказывается география.

Притчи в «Панчатантре» и в «Евангелии от Матфея» похожи и специально оговорены: «Учитель, почему сегодня ты говоришь притчами?» — спрашивают ученики. Но они разнонаправлены.

Количество структур (уравненных к определенным формулам колебаний) ограничено.

Количество форм жизни бесконечно.

Переходим к фактам биографии. Мы живем в ком. 45. Сегодня солнце. Вороны пируют на балконе. Снег долеживается на горах. Тучи несколько раз меняют эти простыни.

В доме много больных. В доме очень много старых. Море пустынно. Люди и те и не те. Молодым писателям по 40 лет. Мы молоды были в 25. Тут старик Реформатский [4] с бородой. Он моложе меня на семь лет. ⟨...⟩

Твой *Виктор Шкловский.*
21 апреля 1969 года.

Будем жить здесь еще недели две-три. Устали мы.

---

[1] В письме от 18.IV.1969 Оксман писал Шкловскому:

«⟨...⟩ Позднейшие открытия установили правоту твоей гипотезы о том, что Пушкин вычислял возраст Гринева. Не могу не напомнить тебе, однако, что ты занялся этими цифрами не по наитию Божьему, а в результате разговора со мною о зачеркнутой в автографе первой главы „Капитанской дочки“ справке о дате выхода в отставку старика Гринева. (После чего только он и женился. Дата эта — 1762 г., год убийства Петра III и восшествия на престол Екатерины.) Таким образом, без моего „открытия“ (опубликовано в „Лит. наследстве“ в 1934 г., а затем много раз повторено во всех моих работах о „Капитанской дочке“) не было бы и твоего, более остроумного, чем исторически значимого. Прости, Бога ради, за это лирическое отступление ⟨...⟩».

[2] «Удачи и поражения Максима Горького». Тифлис, 1926.

[3] Толстой И. И. (1880—1954) — филолог-классик, фольклорист.

[4] Реформатский А. А. (1900—1978) — лингвист, знакомый Шкловского с 20-х гг.

Вступительная заметка, публикация и примечания А. В. Громова



С. Лурье

СВОБОДА ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА

Ну вот и дожили, дождались. Читаем Бродского беспрепятственно. Четверть века назад он под улюлюканье прессы и общественности был выслан из Ленинграда; через восемь лет, спасаясь от новых гонений, эмигрировал; с тех пор его стихи бродили из дома в дом нелегально; при обысках их изымали как крамолу.

А в 1988 году Шведская королевская академия присудила Бродскому Нобелевскую премию, а в июле 1989 года Верховный суд РСФСР объявил, что дело Бродского — то, давнее, ленинградское — «прекращено за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения». И журналы — толстые и тонкие, столичные и провинциальные — наперебой печатают его произведения. И первые книги Бродского наконец-то выходят на его родине.

Удивляться вроде бы нечему: такое время на дворе, что справедливость торжествует везде, где только можно, и особенно — в истории литературы. Пастернака посмертно приняли в Союз писателей, покойной Ахматовой сулят Ленинскую премию, и даже расстрелянного Гумилева того гляди помилуют. Как это еще никому не пришло в голову пересмотреть и отменить результаты поединков Пушкина с Дантесом и Лермонтова — с Мартыновым. Да и Кюхельбекера не худо бы вернуть из сибирской ссылки.

Но удача Бродского даже на фоне таких триумфов нового мышления выглядит прямо сказочной. Ведь он-то — вы только представьте себе — жив, и даже не стар еще, и не бросил сочинять тексты, и что-то не слыхать, чтобы поступился талантом и гордостью,— и вот, несмотря на это все, вопреки всему этому, стихотворения его (и проза отчасти) допущены обратно в русскую литературу, и нам дозволяется их читать! Воспользуемся же нечаянной поблажкой.

Перед нами пока что далеко не все. К моменту вынужденного отъезда Бродского за границу (1972 г.) основной корпус собрания его стихотворений уже состоял не менее чем из тысячи страниц (разумеется, машинописных: в печать прорвались не то две, не то три вещи). Да в Америке вышло с полдюжины книг. И еще многое не собрано или вовсе не издано.

По-видимому, слово «тунеядец» в судебном приговоре и газетных фельетонах и впрямь не совсем адекватно передавало образ жизни и тип дарования Бродского.

Но те, кто разыграли этот безумный эпитет как крапленую карту, были не просто циники и невежды. Избрав своей жертвой именно Бродского,— а в Ленинграде начала шестидесятых было из кого выбирать, у входа в официальную письменность толпилось немало молодых людей с душой и талантом,— так вот, отличив Бродского, специалисты выказали тонкий вкус и глубокое понимание литературного процесса.

Было что-то такое даже в его ранних стихах — и в голосе, который их произносил, и в юноше, которому принадлежал этот голос,— что-то такое, по сравнению с чем действительность, окружавшая горстку его читателей и слушателей, казалась ненастоящей. Стихи описывали недоступный для слишком многих уровень духовного существования. Поэтому, должно быть, Ахматова назвала их волшебными. По той же причине, надо полагать, их автор был признан особо опасным субъектом, подлежащим исключению из общества.

Теперешний читатель сам увидит, насколько прозорливым было такое решение; убедится, что двадцатитрехлетний, очень мало кому известный провинциальный поэт по заслугам удостоился приглашения на казнь.

Это неважно, что в ту далекую пору Бродский довольствовался иногда туманным оборотом, блеклой рифмой; слишком полагался на повтор, форсирующий звучание; скоростью вращения словесной массы дорожил больше, чем тяжестью отдельного слова (зато какая достигалась скорость! традиционный стихотворный размер опасно вибрировал, не поспевая за темпом разгоняющейся речи); и еще, кажется, не удавалось Бродскому — в крупных вещах — вписать безупречно в окружность сюжета свою многоугольную логику...

Это все не имело ни малейшего значения, потому что смысл и качество его стихов определялись тогда в первую очередь необыкновенной явственностью интонаций; точнее нотной записи, гораздо полнее, стихи воплощали жизнь голоса; голос же, яркий и горестный, был — поверх и помимо растворивших его слов — так увлекательно внятен, что вы готовы были принять его за свой собственный; в гортани чувствовался как бы резонанс, и волнение автора овладевало читателем.

Первопричина этого волнения была, конечно, та же, что всегда трепещет в глубине лирического дара,— сверхчувствительность к жизни.

Поэт переживает реальность как огромное событие и себя считает его центром. Любой фрагмент неудержимо вращающейся вокруг него панорамы — и ощущение необозримой ее глубины, создаваемой игрой фрагментов,— во всякое мгновение может осчастливить или ранить таким пронзительным импульсом, что молча перенести происходящее поэт просто не в силах. Так уж он устроен, что довольно обычные вещи его потрясают, а потрясение почти помимо воли преобразуется в нем, становясь концентрированной речью.

Это, так сказать, физиология лирики, но есть еще и метафизика. Поэта преследует иллюзия, будто эти разряды мирового электричества, от которых вздрагивает сердце, содержат какое-то шифрованное сообщение, адресованное всем, всем — но слышит он один, и он один способен, а стало быть, и должен прочесть шифровку, причем непременно вслух. Доставшаяся ему вселенная, полагает лирик, жаждет высказать свой таинственный смысл его голосом, его словами, тут, быть может, ее единственный шанс; в случае проигрыша она останется непонятой. Сочиняя высокоорганизованные, многозначные тексты, поэт не только утоляет потребность, но исполняет обязанность.

То и другое — оси координат подлинной лирики. В построенном вдоль них пространстве разворачивается личность автора, вычерчивается его неповторимая судьба. Тут все связано со всем, а взаимозависимости по большей части неизвестны — может статься, и непостижимы. Чем определяется, например, выбор точки зрения и роли? Пастернак смотрит на жизнь, как на небо,— запрокинув голову — и задыхается от счастья быть и чувствовать. Для Цветаевой жизнь — трагедия, в которой поэт главное погибающее лицо... Бродский с самого начала выбрал особенную, очень редкую позицию. В его ранних стихотворениях, как правило, совершается, подобный выходу в открытый космос, прорыв за пределы данной, исходной действительности; печальный восторг, пылающий в тексте, связан с результатом, которого он добивается; этот результат — состояние отрешенности, отчуждения от зависимостей и привязанностей, от конечных и, следовательно, обреченных вещей и чувств. Отказ от частностей ради прямого контакта с чем-то неизмеримо более важным. Взгляд на ситуацию из другой, объемлющей ее: взгляд на любовь из неизбежной вечной разлуки, на собственную молодость — из последнего одиночества, на родной город — со снежного облака. Взгляд на самого себя издали, с высоты, со стороны, с другого края судьбы. В прошлом веке все это называлось романтической иронией.

Неужели не я,
освещенный тремя фонарями,
столько лет в темноте
по осколкам бежал пустырями,
и сиянье небес
у подъемного крана клубилось?
Неужели не я?
Что-то здесь навсегда изменилось.

Стихотворение молодого Бродского раскручивается, ускоряясь, по расширяющейся спирали; обозначенные вначале немногочисленные реалии уносит прочь центробежная сила; голос растет, оплакивая любовь, в которой только что впервые признался, и прощаясь с жизнью, которая вся впереди.

Она так прекрасна, эта жизнь в этих стихах, что внушаемая ею радость неотделима от мучительной тревоги; возможно, это — предчувствие утрат или особая восприимчивость к давлению времени: так или иначе, тревога нестерпима, как несвобода. Одно спасение — взлететь из окружающего в прохладную сумрачную бездну отчуждения, где нет любви, а значит — совсем не больно.

Воротишься на родину. Ну что ж,
гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь?
Воротишься, купи себе на ужин
какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу:
во всем твоя, одна твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Отчуждение было для молодого Бродского единственным доступным, единственным осуществимым вариантом свободы.

Лурье Самуил Аронович (р. 1942 г.) — литературный критик, прозаик. Автор книги «Литератор Писарев» (1987). Член СП. Живет в Ленинграде.

Поэтому разлука — с жизнью, с женщиной, с городом или страной — так часто репетируется в его стихах.

Необходимо заметить, что свободу эту — от жизни, от времени, от страсти — Бродский добывает не только для себя; скорее, он проверяет на себе ее воздействие и возможные последствия. Он равнодушен к портрету и почти не трогает автобиографических обстоятельств. Его не интересуют, как уже сказано, частные случаи. Он чувствует себя испытателем человеческой судьбы, продвинувшимся в такие высокие широты, так близко к полюсу холода, что каждое его наблюдение и умозаключение, любая дневниковая запись рано или поздно кому-нибудь пригодятся. И если он одинок, то не назло и не вопреки, а подобно всем, как все, вместе со всеми.

Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и, полны темноты,
и, полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над холодной
блестящей рекою.

И читатель, увлеченный музыкой чужого сновидения, не сомневался, что взят в долю, включен в это «мы»: ведь и правда — как бы ни играли его жизнью иллюзия и случайность, он, читатель, не весь им принадлежит; в каком-то другом измерении он стоит в темноте над холодной рекой — и только; но это самое главное, что должно быть о нем сказано. У Чехова один персонаж признается другому ни с того ни с сего: «Я старше вас на три года, и мне уже поздно думать о настоящей любви, и, в сущности, такая женщина, как Полина Николаевна, для меня находка, и, конечно, я проживу с ней благополучно до самой старости, но, черт его знает, все чего-то жалко, все чего-то хочется и все кажется мне, будто я лежу в долине Дагестана и снится мне бал...» Бессмыслицу, казалось бы, бормочет этот Ярцев из повести «Три года»,— но высказывает тоску испошлившегося человека по истинному масштабу существования. Эту тоску стихи Бродского утоляли. О чем бы в них ни говорилось — в них говорилось сразу обо всем: о жизни и смерти; первый попавшийся сюжет стремительно восходил к судьбе человека во вселенной, и любое слово («куст», например, или «холмы») — стоило только повторить его, поставить под ударение,— любое могло превратиться в метафору этой судьбы. Тут не было установки на многозначительное иносказание, а был странный и трудный дар чувствовать мир как целое: всю его протяженность, всю прелесть, всю тяжесть, весь его — преломленный в человеке — трагизм.

Согласитесь, что никакое государство, занимающееся литературой всерьез, не могло бы отнестись к подобным стихам снисходительно или хотя бы равнодушно. И соблазн реализовать метафоры молодого поэта в его же собственной биографии был, вероятно, чем-то сродни художественному инстинкту. Помните, Пугачев повелел захваченного в плен астронома — повесить: поближе к звездам, авось лучше разглядит, вернее сосчитает... Так и тут. Вы пишете об одиночестве? Извольте же его отведать. Вы как будто без конца прощаетесь с кем-то или чем-то дорогим? Получайте вечную разлуку. И вообще — интересно, что станется с автором, ежели его предчувствия исполнить буквально?

Так Иосиф Бродский стал объектом сравнительно новой отрасли знания — экспериментальной истории литературы.

Как и другие подопытные (а их было немало: назовем хотя бы Заболоцкого, Ахматову...), он, по-видимому, перенес нечто вроде клинической смерти; вернулся к читателю совсем другим, почти неузнаваемым. Его стихи семидесятых годов похожи на ранние не более (верно, что и не менее), чем снег — на дождь. Утраты, унижения, разочарования переменили его стиль, то есть образ мыслей.

Прежний Бродский сочинял как бы закрыв глаза. Мир, клубившийся в стихотворении, был крайне разрежен; в сущности, это было мнимое пространство, возникающее из отблесков мелодии на сетчатке; пространство звуковой волны, в которой нет-нет да и мелькнет ярко окрашенная частица:

Вот и вечер жизни, вот и вечер идет сквозь город,
вот он красит деревья, зажигает лампу, лакирует
авто,
в узеньких переулках торопливо звонят соборы,
возвращайся назад, выходи на балкон, накинь
пальто.

Видишь, августовские любовники пробегают
внизу с цветами,
голубые струи реклам бесконечно стекают с
крыш,
вот ты смотришь вниз, никогда не меняйся
местами,
никогда ни с кем, это ты себе говоришь...

Теперь — все наоборот. Зрение наведено на резкость. Вещи разделены твердыми очертаниями и похожи одна на другую только в том случае, если расстояние между ними бесконечно. Светотень и перспектива тщательно проработаны. Взгляд движется не спеша, со скоростью слова, долго не давая внутренней речи оторваться от внешнего мира:

Пленное красное дерево частной квартиры в
Риме.
Под потолком — пыльный хрустальный остров.
Жалюзи в час заката подобны рыбе,
перепутавшей чешую и остов.
Ставя босую ногу на красный мрамор,
Тело делает шаг в будущее — одеться...

Театральная ремарка, не так ли? Декорация готова, сейчас актер заговорит. Так начинаются теперь многие эпизоды в поэзии Бродского, и лишь постепенно протокол осмотра превращается в стенограмму внутреннего монолога, словно бы помимо или даже против авторской воли, изо всех сил сосредоточивающей внимание на обстоятельствах места. Но усилия эти бесполезны, потому что обстоятельства безразличны: сами по себе не возбуждают ни удивления, ни радости: тусклы, как регистрирующая их интонация.

Бабочки Северной Англии пляшут над лебедою
под кирпичной стеной мертвой фабрики.
За средою
наступает четверг, и т. д. Небо пышет жаром,
и поля выгорают. Города отдают лежалым,
полосатым сукном...

Или вот венецианская строфа:

Мокрая коновязь пристани. Понурая садовая
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.
Скрипичные грифы гондол покачиваются,
издавая
вразнобой тишину.

И все такие зарисовки — в одной тональности. Как будто нейтронная бомба уже взорвалась, и единственный, кто пока не умер, слоняется меж руин цивилизации, рассматривая их пристально, но бесцельно и безучастно. Бояться нечего, надеяться не на что. В самом расчудесном пейзаже, как и в самой убогой трущобе, не встретишь подобного себе и не случится ничего действительно важного. Действительно важное — способное причинить сильную боль — осталось позади; не оборачиваться, не оглядываться, не вспоминать; вперяйся в пеструю поверхность минуты, до отказа набивай мозг ненужными подробностями, накачивайся пространством и опохмеляйся им; сквозь тоску и головную боль думай только о том, что само бросается в глаза; думай только в настоящем времени:

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

В ранних-то стихах пейзаж никак не мог обойтись без Иосифа Бродского, весь был обращен к нему; нечеткий был пейзаж, наполовину воображаемый, но кипел движением, и оно затягивало, вовлекало, обещая в глубине чуть ли не разгадку судьбы и тем волнуя до спазмы в горле; как тяготило тогда Бродского это волнение, как мешало добраться до разгадки, до смысла... И вот — прошло совсем. И весь видимый мир поражен тем самым отчуждением, которое прежде было условным приемом, как бы метафорой победы над личными обстоятельствами. Оказывается, что, одержав такую победу на самом деле, человек выпадает из времени, оставаясь лишь точкой в мировом пространстве. Можно сказать по-другому: человек, освобожденный от надежды и тревоги,— никто и окружен со всех сторон Ничем.

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него — и потом сотри.

Опустошительная душевная драма подразумевается в этих стихах. Неужто эмиграция? — спросит, чего доброго, простодушный читатель, разбалованный нынешними послаблениями.— А это отчаяние, неужели оно восходит к ностальгии?

Знаете: и да, и нет. Да — потому что по правилам железного занавеса эмигрант в момент отъезда теряет прежнюю жизнь навсегда, на всю вечность; все, что он любил, становится непоправимым воспоминанием; а если Судьба подыграет Государству и еще до отъезда отнимет у человека какую-нибудь абсолютно необходимую иллюзию... Тогда новая страна его пребывания — полюс одиночества.

В одном парижском журнале об этом написано так: «Говорят, если человек отравился цианистым калием, то он кажется нам мертвым, но еще около получаса глаза видят, уши слышат, сердце бьется, мозг работает. Поэзия Бродского есть в некотором смысле запись мыслей человека, покончившего с собой. Он дожидается исчезновенья. Он живет отчаянием, как, возможно, дышат на других планетах невообразимые существа фтором или углекислым газом. Он живет в этой отравленной атмосфере».

Но было бы грубой, страшно упрощающей ошибкой — толковать это отчаяние и эту тоску по конченной жизни лишь как автобиографические мотивы. Так прочтет стихи Бродского тот, кого они пока еще не касаются. Зато другие узнают в биографии автора описание своей собственной внутренней участи. Ведь соль опыта, поставленного Государством и Судьбой на поэте Иосифе Бродском, заключалась в том, чтобы перерезать все нити, прикреплявшие его к жизни. Следует признать, как уже говорилось выше, что поэт сам искушал своих могущественных мучителей, вслух мечтая о такой свободе. И вот она осуществилась. Уже не во сне, а наяву он очнулся в долине Дагестана — или на берегу Восточной реки,— неживой, но в здравом рассудке и твердой памяти, обладая зрением и речью. Тут и выяснилось, что напрасно романтики стремятся к этому состоянию, отождествляя его с покоем: оно мучительно. И очень похоже на будни всякого человека, утратившего веру и любовь.

Точка всегда обозримей в конце прямой.
Веко хватает пространство, как воздух — жабра.
Изо рта, сказавшего все, кроме «Боже мой»,
вырывается с шумом абракадабра.
Вычитанье, начавшееся с юлы
и т. п., подбирается к внешним данным;

паутиной окованные углы
придают сходство комнате с чемоданом.
Дальше ехать некуда. Дальше не
отличить златоуста от златоротца.
И будильник так тикает в тишине,
точно дом через десять минут взорвется.

Тут формулируется вроде бы конечный результат эксперимента, итоговая ситуация. Человеку не дано другой свободы, кроме свободы от других. Крайний случай свободы — глухое одиночество, когда не только вокруг, но и внутри — холодная, темная пустота. А мозг не умолкает.

И вот если прислушаться к тому, что такое он там бормочет, и почувствовать себя не бильярдным шаром, загнанным в лузу, но частью речи, ее лучом, обшаривающим реальность... Тогда отчаяние опять всплывает свободой — свободой выговорить все, что происходит в уме, охваченном катастрофой, когда он вглядывается в пейзаж ненужной, проигранной жизни,— свободой пережечь весь этот хлам и хаос в кристаллическое вещество стихотворения.

...сорвись все звезды с небосклона,
исчезни местность,
все ж не оставлена свобода,
чья дочь — словесность.
Она, пока есть в горле влага,
Не без приюта.
Скрипи, перо. Черней, бумага.
Лети, минута.

Стихотворение Бродского есть описание реакции поглощения пространства отторгающей его памятью. Это процесс болезненный; не всегда удается довести его до конца. Не удалось — получается ряд формул несовместимости, или история одного из поколений. Удалось — включается трагическое вдохновение, для которого нет во вселенной непроницаемых тайн.

Сам Бродский так сказал об этом в нобелевской лекции:

«Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее. Существуют, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки,— посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготея преимущественно ко второму и третьему), ибо все три даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал,— и дальше, может быть, чем он сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом».

...А все-таки дожили, дождались: читаем Бродского.

Петр Вайль, Александр Генис

ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ

Проза Татьяны Толстой

Название книги Татьяны Толстой — «На золотом крыльце сидели...» — служит ей одновременно и эпиграфом. Первая строчка известной считалки относит читателя к источнику всего творчества Толстой — к детству. Тут же скрывается и основной принцип построения рассказа — принцип свободного распределения ролей: «Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты такой?» Каждый персонаж сам назначает себе судьбу, но по правилам игры, единственным правилам, которые признает автор, тот, кто уже стал королевичем или портным, обязан нести свой жребий до конца. Ни жизнь, ни Толстая не простят измены — «так не играют».

Но есть в этом заголовке-эпиграфе и еще одна важнейшая особенность — считалка представляет собой замкнутую, кольцевую композицию. У нее нет ни конца, ни начала, она вечно ходит по кругу — как часовая стрелка. На образ-символ круга, кольца, повторяющегося действия, возвращающегося сюжета нанизаны все рассказы автора. В структуре любого из них центростремительная сила побеждает центробежную, потому что главная цель Толстой — защититься от мира, встать в круг и, повернувшись спиной к чужому и страшному внешнему миру, повторять бесконечные слова считалки: «На золотом крыльце сидели».

В беседе о творчестве В. Маканина Толстая, говоря об особенностях его метода, как бы подсказывает читателю и способ анализа ее собственных произведений. Она призывает искать «ключевую метафору», которая «разлита в тексте».

Не найдя этого ключа, читатель рискует заблудиться в густой и красивой словесной вязи Толстой, так и не проникнув в ее своеобразную философию жизни.

Сюжеты Толстой строятся по определенной, весьма жесткой схеме. Обычно это история преступления и наказания: герой изменяет своему детству и за это расплачивается бессмысленно прожитой жизнью — смерть почти всегда подстерегает его в финале. Ведь рассказы Толстой посвящены не эпизоду, а всей судьбе человека — от начала до конца. Это вот именно — история героя, в которой пунктиром запечатлена его внешняя биография, но зато ярко и подробно раскрыта эволюция, чаще — деградация, внутренняя.

Хорошо пишет Толстая только о неудачниках. Ее героини — несбывшиеся Золушки, герои — несостоявшиеся принцы.

Если же в прозу Толстой забредет посторонний герой — хамоватый, самоуверенный хозяин жизни,— то он и выглядит грубым пришельцем, разрывающим хрупкую ткань рассказа. Так, художественным провалом заканчивается попытка автора изобразить человека, променявшего — буквально — душу на успех («Чистый лист»). Герой, переставший быть неудачником, настолько мерзок Толстой, что она превращает его в плоскую карикатуру, говорящую на диком сленге молодежных журналов: «Ты чё, шеф, гляделки посеял?»

Однообразие сюжетной схемы, предсказуемость фабулы — естественное качество Толстой. Жизнь, истолкованная как ряд событий, у всех одинакова, как неотличимы автобиографии разных людей, собранных отделом кадров: родился — учился — женился, умер (добавляет Толстая уже от себя).

Вот против этого страшного, бессмысленного однообразия и восстает Толстая. Орудие ее бунта — прекрасный метафорический мир, выросший на полях биографии героя. На бегло прочерченном мелко́м сюжете она вышивает бесчисленные арабески. И вот уже не найти среди орнаментальных извивов, капризных узоров, причудливых завитков незатейливую, да и не очень-то важную историю героя, которую Толстая якобы взялась рассказывать.

Толстую упрекают за излишнюю метафорическую густоту, советуют проредить лес, чтобы можно было разглядеть деревья. Но на самом деле в незаписанных местах будут проглядывать скучные проплешины. Подлинный мир, по Толстой, только тот, что возникает из метафор-уподоблений.

Все, что попадает в рассказ, не остается

Петр Вайль (р. 1949 г.), Александр Генис (р. 1953 г.) — литературные критики, жили в Риге, с 1977 года — в США. Авторы книг «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай» (1983), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990). Живут в Нью-Йорке.

без сравнения. Но смысл этой метафорической истерики отнюдь не в том, чтобы поднести читателю более яркую, убедительную, достоверную картину, не в том, чтобы указать, что на что похоже. Метафора Толстой — это свернутая в тугой клубок сказка. В любом абзаце собирается пригоршня таких сказок, еще не рассказанных, но содержащих в себе потенциальную повествовательную энергию: «В углу стоит кудрявый конус запаха после покурившего „Беломор" соседа. Курица в авоське висит за окном, как наказанная, мотается по черному ветру. Голое дерево поникло от горя».

Конечно же, в этих оживающих вещах легко узнать источник Толстой — Андерсена и всю традицию литературной сказки, которая с таким искусством умеет создавать уютный, домашний, горькопато-ироничный мир умных разговорившихся вещей. Мир, в котором взрослые, серьезные, полезные вещи, такие, как Штопальная Игла, превращаются в игрушки вроде Оловянного Солдатика, люди становятся куклами, их дома — кукольными домиками, их города — городами в табакерке.

Метафора Толстой — волшебная палочка, обращающая жизнь в сказку. Единственный способ спастись от разрушительного, опошляющего вихря так называемой настоящей жизни — не поверить в то, что она настоящая, вернуться в безопасное «пещерное тепло детской», в светлый круг ясных и честных сказочных правил, которые всегда, даже среди чудовищ, порожденных детским страхом — «Индриков и Хиндриков»,— оставляют спасительную лазейку. «Туго с головой завернусь в одеяло, пусть один нос торчит — спереди не нападают».

Короче, автор — человек, который отказывается вырасти. Именно поэтому ее главный враг — неостановимый бег времени. Толстая его останавливает, встраивая ту самую «ключевую метафору» в каждый свой рассказ. Это — образ механического, заводного мирка, который с поворотом ключа, каждый раз заново, начинает свою размеренную, игрушечную, «ненастоящую» жизнь.

Рядом с неуютным, чужим взрослым миром у Толстой всегда коробка с игрушками. Вместо грязных и шумных настоящих паровозов — детская железная дорога: приветливые вагончики, аккуратная будка стрелочника, зеленые деревца. И поезд ходит только по кругу — побывав в пункте Б, он всегда возвращается в родное депо пункта А.

Эта кукольная алгебра — стремление к безмятежной, замкнутой, кольцевой вселенной — доминанта творчества Толстой.

В рассказе «Река Оккервиль» герой — Симеонов — в противовес хмурой реальности строит в своем воображении один из тех городков в табакерке, которые с упругим постоянством встречаются чуть ли не в каждом рассказе: «Нет, не надо разочаровываться, ездить на речку Оккервиль, лучше мысленно обсадить ее берега длинноволосыми ивами, расставить крутоверхие домики, пустить неторопливых жителей. Может быть, в немецких колпаках, в полосатых чулках, с длинными фарфоровыми трубками в зубах».

В таком городке, который помнит каждый, у кого были книжки с картинками, времени не существует. Ведь здесь только игрушечные люди, живых — нет и не надо. В них ведь и нет ничего хорошего, как обнаружили девочки из рассказа «На золотом крыльце сидели», открыв учебник анатомии и увидев голого мужчину, который «содрав по этому случаю кожу, нагловатый, мясной и красный, похваляется ключично-грудинно-сосковой мышцей... перед ученицами восьмого класса».

Вот и Симеонов из «Реки Оккерниль» сделал такое же печальное открытие, когда, влюбившись в голос Веры Васильевны, голос, вечно поющий с пластинки чудесное «нет, не тебя так страстно я люблю», решил найти живую певицу. Пока она в «круглых каблуках» ступала по вымощенной им брусчатой мостовой, мир был разумен, прекрасен, уютен. Но настоящая Вера Васильевна, грубая старуха, от которой на стенках ванны остаются «серые окатыши»,— ужасна. Только какая же из них настоящая? — спрашивает Толстая. Та, воздушная, изящная, с реки Оккервиль, или эта, жующая грибки и рассказывающая анекдоты? Настоящая она — та, чей голос удалось вырвать из-под власти времени и запереть на круглом диске грампластинки — навечно.

Только в мире механического повторения, только во вселенной, которая приводится в движение заводным ключом, можно вырваться из поступательного — и наступательного — хода времени.

Так в рассказе «На золотом крыльце» выросшая героиня обнаружила, что волшебный мир ее детства грубо порушен годами. От «пещеры Алладина» — комнаты соседской дачи — остались только «пыль, прах, тлен». Но среди разрухи уцелели заводные часы: «Над циферблатом, в стеклянной комнатке, съежились маленькие жители — Дама и Кавалер, хозяева Времени. Дама бьет по столу кубком, и тоненький звон пытается проклюнуть скорлупу десятилетий».

Такие часы, хитрая механическая игрушка, представляют авторский идеал — время, которое идет не вперед, в будущее, а по кругу.

Чаще всего герои Толстой — малые и старые. Только такие персонажи удовлетворяют ее тягу к вневременному существованию.

Дети — это другие (в рассказе «Свидание с птицей» даже выясняется, что у них

есть жабры). Жизнь не властна над ними: «Он еще маленький, и душа у него запечатана, как куриное яйцо: все с нее скатывается». Они существуют в измерении сказки. Того, что взрослые называют настоящим, они еще просто не знают.

Но и в старости люди приходят к восхитительной способности не различать подлинного и иллюзорного. А все потому, что они вырвались из времени. «Весна!!! Лето. Осень... Зима! Но и зима позади для Александры Эрнестовны — где же она теперь?» («Милая Шура».) Нигде, отвечает Толстая, *нигде*. Она выпала из жесткого хронологического времени, времени, в котором существуют все эти «раньше — позже, сейчас — потом, вчера — сегодня», в вечность.

Ненавидя время, Толстая нашла особый способ борьбы с ним. Вот ее героиня сидит в кино: «Александра Эрнестовна трещала мятым шоколадным серебром, склеивая вязкой сладкой глиной хрупкие антечные челюсти». Эти челюсти автор не может видеть, не может, глядя на них, вспомнить аптеку. Но она и без того уверена, что у старух «хрупкие антечные челюсти». Это она их вставила своей героине, потому что знает, что так бывает *всегда*.

Толстая пользуется тем временем, которое в английском называется Present Tense. Действие в ее рассказах происходит не в прошлом, не в будущем, не в настоящем, а в том времени, которое есть всегда. Дождь падает на землю — не вчера, не сегодня, а всегда падает на землю, потому что ему больше некуда падать.

Вот в таком, вечно повторяющемся времени и хотела бы поселить своих героев Толстая. Она не доверяет всему живому, меняющемуся вроде «недолговечных белых собачек», которые исчезли из жизни Милой Шуры. То ли дело ее верный Иван Николаевич, который все ждет и ждет свою возлюбленную Александру Эрнестовну. Поймав его в грамматический капкан этого самого Present Tense, Толстая сумела оградить Ивана Николаевича от ненавистного бега времени.

Поэтому Милая Шура, как застрявшая пластинка, повторяет историю про трех мужей и Ивана Николаевича, сумевшего проскочить сквозь годы, чтобы бестелесным призраком являться на перрон южного вокзала. Раз за разом, раз за разом, каждый раз, как открывается пухлый фотоальбом с замершей в вечности жизнью.

Вещи у Толстой вообще счастливее людей — они не меняются, как люди. Им она и завидует. То-то ей так жаль писем, оставшихся после смерти Александры Эрнестовны. Ведь там Милая Шура могла бы жить вечно — молодая, прекрасная, нестареющая.

По сути, Толстая занята только одним — она стремится остановить мгновенье, застыть в нем, как муха в янтаре. Но важнее всего — какое выбрать мгновенье, где или, точнее, когда должен замкнуться круг, чтобы никогда не надоедало вращаться в кольце прекрасной сказки.

«Мир конечен, мир искривлен, мир замкнут»,— повторяет она в одном из самых характерных рассказов, «Круг», в рассказе, посвященном трагической ситуации неузнавания «своего прекрасного мгновенья».

Герой «Круга» пытается найти «тайную тропку в запредельное», вырваться из «обыденного». Этот классический романтический конфликт между мечтой и действительностью Толстая разыгрывает по своим нотам.

Скучная жизнь Василия Михайловича потому и скучная, что он ищет выхода, не выходя за пределы обыденности. Ему нужно чудо, а он ищет женщин, занимается какой-то дурацкой йогой, вертит зачем-то до одури кубик Рубика. Василию Михайловичу все попадаются псевдоключи к псевдомиру, который он принимает за настоящий. Он вертится как белка в колесе, да не в том колесе, что надо.

И только однажды «он ощутил близкое присутствие чуда: за дерматиновой дверью, может быть, той самой единственной дверью на свете, зияет провал в иную вселенную». За этой дверью живет карлица-спекулянтка, бывшая цирковая лилипутка. Такой ее видит Василий Михайлович. Но мог бы, если бы сумел, увидеть не злобного тролля, торгующего дефицитом, а «крошечного, полупрозрачного эльфа», мог бы, как ему подсказывает автор, перенестись вместе с ней в очередной городок в табакерке, где бы его ждали и «зарешеченные замки», и «стража с алебардами», и «вороной конь».

Вот если бы он сумел вернуться в праздничный детский мир, где живут не люди, а куклы, маленькие, как эта лилипутка, несчастный Василий Михайлович смог бы проникнуть за черствую корку внешнего бытия к подлинной, то есть, по Толстой, сказочной реальности, чтобы счастливо застыть в ней.

Такие же непонявшие, обманувшиеся герои толпятся во всех рассказах Толстой. Как жители пещеры Платона, они не решаются обернуться, чтобы увидеть яркий мир, удовлетворяясь всего лишь его смутной тенью на склизкой стене.

Для Толстой норма — безумие, и только безумные — нормальны. Только они остаются в выигрыше, обменивая вымышленную жизнь на настоящую. Такова Светка-Пипка из рассказа «Огонь и пыль», которая «никому не завидует, у нее есть все, да только придуманное». Таков Филин из «Факира» — маленький (в противовес сказочной женщине-гиперболе, тридцатишестизубой Светке) аккуратный волшебник, «движением бровей преображающий мир до неузнаваемости». Такова, прежде

всего, сама Толстая, владеющая тем ключиком, с поворотом которого приходит в движение ее игрушечная вселенная.

Не то чтобы Толстая не знала, что так не бывает. Напротив, ее рассказы жестоки, даже безжалостны к тем, кто не желает подчиниться сказочным порядкам. Нет, Толстая отнюдь не добрый волшебник, и сказки у нее с плохим концом. Мир страшен сам по себе. Жизнь изначально трагична уже потому, что подчиняется Хроносу. (Поэтому, кстати, кажутся лишними специальные нагромождения ужасов, например, описание блокады в рассказе «Соня».)

Однако Толстая и не принимает *такую* жизнь. Наперекор ей она создает свой мир — прирученный, уютный, бессмертный. В нем живут умные говорящие вещи, такие, как «молодой, пугливый абажур» из рассказа «Любишь — не любишь», в нем всегда царит загадочный и праздничный рождественский дух, в нем говорят на языке щелкунчиков (немецком? — не зря герой рассказа «Петерс», человек с украденным детством, мечтает выучить именно немецкий).

Конечно, весь этот мир — невелик. Он умещается под детской кроватью. Зато он умеет пускать отростки в мир взрослых. Каждый раз, когда Толстая во что-нибудь всматривается, под ее взглядом распускаются метафоры. Они берут персонажа в волшебный плен, делают его героем сказки. Только никогда они не успевают схватить протянутую автором руку помощи — хищная жизнь окунет их с головой в Лету. Никому не удастся удержаться на зыбкой границе между подлинным миром и вымышленным, никому не удастся даже понять, какой из них — истинный. Маленькие вырастают, старые умирают, и только автор, как большой ребенок, от тоски и одиночества переселившийся в иллюзорный городок в табакерке, остается наедине с никому не нужными, всеми забытыми вечными вещами — выцветшими фотографиями, заезженными пластинками, пожелтевшими письмами, часами, в которых золотые дамы подносят золотым кавалерам золотые кубки.

Проза Татьяны Толстой — вид утонченного эскапизма. Мало сказать, что ее рассказы камерны,— они декларативно камерны. Большое тут — знак чуждого, враждебного мира, где не срабатывают законы ее кукольной вселенной. В ее рассказах помещаются только маленькие люди — не Башмачкины, а Стойкие Оловянные Солдатики. Только про них она знает всю подноготную, только их умеет любить и жалеть. Поэтому и не удаются Толстой отрицательные персонажи. Она не знает их языка (что видно по очень редкому в ее прозе диалогу), они не из ее круга.

Впрочем, и с ними — «отрицательными» — Толстая щедро делится своим видением мира. Ведь их истории она рассказывает своим голосом. Чужих слов у нее вообще немного. Рассказывая свои невеселые сказки, Толстая, как в детском кукольном театре, говорит за всех сама — единственная хозяйка измышленного ею простого и вечного мира, который хорош уже тем, что не похож на сложный и бесконечный мир настоящий.

Новые переводы

Стивен Кинг

СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК

Повесть

Он крутил педали своего велосипеда с изогнутым рулем, держась середины пригородной улочки,— американский подросток с рекламной картинки, а почему бы и нет: Тодд Боуден, тринадцать лет, нормальный рост, здоровый вес, волосы цвета спелой пшеницы, голубые глаза, ровные белые зубы, загорелое лицо, не испорченное даже намеком на возрастные прыщики.

При желании можно было завернуть домой, но он крутил педали, не сворачивая, он пролетел через частокол света и тени и улыбался, как можно улыбаться только летом, когда у тебя каникулы. Такой подросток мог бы развозить газеты, что, кстати, он и делал — доставлял подписчикам «Клэрион», выходившую в Санто-Донато. А еще такой подросток мог бы продавать, за небольшое вознаграждение, поздравительные открытки, что, кстати, он тоже недавно делал. На открытках впечатывали фамилию заказчика — ДЖЕК И МЭРИ БЕРК, или ДОН И САЛЛИ, или МЕРЧИСОНЫ. Такой паренек мог бы насвистывать во время работы, и, надо сказать, Тодд частенько насвистывал. Причем довольно приятно. Его отец, инженер-строитель, зарабатывал сорок тысяч в год. Его мать окончила колледж по специальности «французский язык» и познакомилась с будущим мужем при обстоятельствах, когда тому позарез нужен был репетитор. В свободное время она печатала на машинке. Все годовые аттестаты Тодда она хранила в специальной папке. С особым трепетом она относилась к аттестату за четвертый класс, на котором миссис Аншоу написала: «Тодд на редкость способный ученик». А разве нет? Всю дорогу одни пятерки и четверки. Он мог еще прибавить — учиться, скажем, только на пятерки,— но тогда кое-кто из его друзей мог бы подумать, что он «немножечко того».

Он затормозил у дома номер 963 по Клермонт-стрит. Неприметный домик прятался в глубине участка. Белые стены, зелененькие ставни и такого же цвета отделка. Перед фасадом живая изгородь, хорошо политая и подстриженная.

Тодд откинул со лба прядь волос и вручную покатил велосипед по цементной дорожке, что вела к крыльцу. Улыбка не сходила с его лица — открытая и обворожительная, она как бы предвосхищала приятную встречу. Носком кеда он опустил велосипедный упор и вытащил из-под багажника сложенную газету. Это была не «Клэрион»; это была «Лос-Анджелес таймс». Он сунул газету под мышку и взошел по ступенькам. Справа звонок, под ним две аккуратно привинченные дощечки, закрытые от дождя пластмассовыми на-

---

Печатается с сокращениями.

Стивен Кинг (р. 1947 г.) — американский писатель, автор многих романов, повестей, сборников рассказов. В «Звезде» в 1986 году был опубликован перевод романа С. Кинга «Воспламеняющая взглядом».

кладками. Немецкая предусмотрительность, подумал Тодд и еще шире улыбнулся. Такое могло прийти в голову только взрослому, и Тодд мысленно похвалил себя. Не в первый раз.

На верхней дощечке: АРТУР ДЕНКЕР.

На нижней: ПОЖЕРТВОВАНИЙ НЕ ПРОСИТЬ, ТОВАРЫ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

Тодд, улыбаясь, нажал на кнопку.

Звонок, едва слышный, отозвался в недрах дома. Тодд приложил ухо к двери — тишина. Он взглянул на свой «Таймекс» (часы, в числе прочего, ему вручили за распространение поздравительных открыток) — двенадцать минут одиннадцатого. Пора бы и встать. Сам Тодд вставал не позднее половины восьмого, даже в каникулы. Кто рано встает, того удача ждет.

Он подождал полминуты и, не дождавшись шагов, налег на звонок. Через семьдесят одну секунду, по часам, послышались шаркающие шаги. Домашние тапочки, определил он по звуку. Тодд постоянно прибегал к дедуктивному методу. Он мечтал, когда вырастет, стать частным детективом.

— Да слышу, слышу! — донесся сварливый голос человека, выдававшего себя за Артура Денкера.— Сейчас! Хватит трезвонить! Сейчас, говорю!

Тодд отпустил кнопку звонка.

Лязгнула цепочка, потом запор. Наконец дверь открылась. На пороге стоял старик в заношенном халате с лопоухо загнувшимся воротом и лацканом, выпачканным соусом, не то «чили», не то кетчупом. Между пальцев тлела сигарета. Тодд подумал, что старик похож на Альберта Эйнштейна и, одновременно, на киноактера Бориса Карлоффа. Длинные седые волосы, отдававшие в желтизну, которая вызывала ассоциацию, увы, не со слоновой костью, а с никотином. Лицо морщинистое, помятое после сна. Не без неприязни Тодд про себя отметил, что у старика двухдневная щетина. «Выбритое лицо — это солнышко в пасмурный день»,— любил говорить отец, брившийся и в будни, и по выходным.

На Тодда настороженно смотрели глубоко запавшие, с красными прожилками глаза. И опять секундное разочарование: этот тип в самом деле похож на Альберта Эйнштейна и на Бориса Карлоффа, но еще больше — на старого замызганного пьяницу вроде тех, что околачиваются на станции.

— Мальчик,— произнес он,— мне ничего не нужно. Прочитай, что там написано. Ты умеешь читать? Хотя, что я спрашиваю, все американские мальчики умеют читать. Так что постарайся впредь меня не беспокоить. Будь здоров.

Он начал закрывать дверь.

— Вы забыли свою газету, мистер Дюссандер,— сказал Тодд, предупредительно протягивая «Таймс».

Дверь остановилась на полдороге. В глазах Курта Дюссандера промелькнула какая-то настороженность, озабоченность и тут же исчезла. Возможно, там был замешан и страх. Молодчина, здорово он овладел собой, и все же Тодд в третий раз испытал разочарование. Он не ждал от Дюссандера хорошей реакции... он ждал от Дюссандера *блестящей* реакции.

«Слабак,— презрительно подумал Тодд.— Ну и слабак».

Паукообразная рука просунулась в щель и ухватилась за другой конец газеты.

— Давай ее сюда.

— Да, мистер Дюссандер.— Тодд выпустил свой конец. Паук втянул лапку внутрь.

— Моя фамилия Денкер,— сказал старик,— а не какой-то там Дю-зандер. Оказывается, ты не умеешь читать. Очень жаль. Будь здоров.

И снова дверь начала закрываться. Тодд одним духом выпалил в сужающуюся щель:

— Берген-Бельзен, с января по июнь сорок третьего. Аушвиц, с июня сорок третьего по июнь сорок четвертого, Unterkommandant[1]. Патэн...

Дверь приостановилась. Мешки под глазами на землисто-сером лице казались складками на съежившемся воздушном шаре, висящем в просвете. Тодд улыбался.

— Из Патэна вы бежали перед приходом русских. Добрались до Буэнос-Айреса. Говорят, там вы разбогатели, вкладывая вывезенное из Германии золото в торговлю наркотиками. Неважно. С пятидесятого по пятьдесят второй вы жили в Мехико. А потом...

— Мальчик, у тебя не все дома.— Скрюченный артритом палец описал несколько кругов у виска. Но при этом слишком уж явно задрожали губы.

— Что было с пятьдесят второго по пятьдесят восьмой — не знаю,— продолжал Тодд с еще более лучезарной улыбкой.— Никто, я думаю, не знает, во всяком случае, ни слова не просочилось. Но перед тем как власть на Кубе захватил Кастро, вас обнаружили в Гаване, вы работали консьержем в большом отеле. Вас потеряли из виду, когда повстанцы вошли в город. В шестьдесят пятом вы вынырнули в Западном Берлине. И там вас чуть не взяли за жабры.— Последнее слово у него прозвучало особенно сочно. При этом пальцы

[1] Помощник коменданта *(нем.)*.

сжались в кулаки. Взгляд Дюссандера невольно упал на его руки, подвижные, сноровистые, руки американского мальчишки, созданные, чтобы мастерить гоночные лодки из мыльниц и модели кораблей. Тодд отдал дань тому и другому. Всего год назад они с отцом построили модель «Титаника». На это у них ушло четыре месяца, модель и по сей день стоит в отцовском кабинете.

— Я не знаю, о чем ты,— сказал Дюссандер. Без вставной челюсти вместо слов во рту у него получалась каша, и это не нравилось Тодду. Выходило как-то... неубедительно, что ли. Полковник Клинк в фильме «Молодчики Хогана» и тот больше походил на нациста, чем Дюссандер. Но в свое время этот тип выглядел, конечно, будь спок. В статье, напечатанной в журнале «Менз экшн», автор назвал его «Упырь из Патэна».— Убирайся-ка ты лучше подобру-поздорову. Пока я не позвонил в полицию.

— А что, и позвоните, мистер Дюссандер. *Герр* Дюссандер, если вам так больше нравится.— Улыбка не сходила с его губ, обнажая великолепные зубы, по которым три раза в день проходилась зубная щетка и паста с богатым содержанием фтора.— После шестьдесят пятого вас уже никто не видел... только я, когда два месяца назад узнал вас в городском автобусе.

— Да ты помешанный.

— Так что если хотите позвонить в полицию,— продолжал с улыбкой Тодд,— валяйте. Я подожду на крыльце. Но если вам не к спеху, то почему бы мне не войти? Посидим, поговорим.

Несмотря ни на что, в голове Тодда шевелился червячок сомнения. А вдруг ошибка? Это тебе не упражнение в учебнике. Это настоящее. Вот почему он почувствовал огромную радость (*легкую* радость, как он уточнит для себя позднее), когда Дюссандер сказал:

— Ты, конечно, можешь зайти на минутку. Просто я не хочу, чтобы у тебя были неприятности, понятно?

— Еще бы, мистер Дюссандер,— сказал Тодд, переступая порог. Дюссандер закрыл за ним дверь, словно отрезав утро.

В доме пахло затхлостью и спиртным. Такие запахи иногда держались по утрам и у них дома, после вечеринки накануне, пока мама не открывала настежь окна. Правда, тут было похуже. Тут запахи въелись и все собой пропитали. Запахи алкоголя, подгоревшего масла, пота, старой одежды и еще лекарств — ментола и, кажется, валерьянки. В прихожей темнотища, и рядом этот Дюссандер — втянул голову в ворот, этакий гриф-стервятник, ждущий, когда раненое животное испустит дух. Сейчас, невзирая на двухдневную щетину и обвислую дряблую кожу, Тодд явственно увидел перед собой офицера в черной эсэсовской форме; на улице, при дневном свете, воображение не бывало столь услужливым. Страх, точно ланцет, полоснул Тодда по животу. *Легкий* страх, поправится он позднее.

— Имейте в виду, если со мной что-нибудь случится...

Дюссандер презрительно отмахнулся и прошаркал мимо него в своих шлепанцах, как бы приглашая за собой в гостиную. Тодд почувствовал, как кровь прихлынула к щекам. Улыбка увяла. Он последовал за стариком.

И вот еще одно разочарование, которого, впрочем, следовало ожидать. Ни тебе писанного маслом портрета Гитлера с упавшей челкой и неотступным взглядом. Ни тебе боевых медалей под стеклом, ни почетного меча на стене, ни «люгера» или «вальтера» на камине (и самого-то камина, сказать по правде, не было). Все правильно, что он, псих, что ли, выставлять такие вещи на обозрение. Тодд не мог внутренне не согласиться с этим резоном, и все же трудно было вот так сразу выкинуть из головы то, чем тебя пичкали в кино и по телевизору. Он стоял в гостиной одинокого старика, живущего на худосочную пенсию. Допотопный «ящик» с комнатной антенной — концы металлических рожек обмотаны фольгой для лучшего приема. На полу облысевший серый коврик. На стене, вместо портрета Гитлера, свидетельство о гражданстве, в рамке, и фотография женщины в чудной шляпке.

— Моя жена,— с чувством произнес Дюссандер.— Она умерла в пятьдесят пятом... легкие. Не знаю, как я пережил это.

К Тодду вернулась его улыбка. Он пересек комнату якобы затем, чтобы получше рассмотреть женщину на фотографии, а сам пощупал пальцами абажур настольной лампы.

— Перестань! — рявкнул на него Дюссандер. Тодд даже слегка отпрянул.

— Отлично,— сказал он с искренним восхищением.— Сразу чувствуется начальник. А кстати, это Ильза Кох придумала делать абажуры из человеческой кожи?

— Я не знаю, о чем ты,— сказал Дюссандер. На «ящике» лежала пачка «Кулз», без фильтра. Он протянул пачку.

— Хочешь? — Его лицо исказила жутковатая ухмылка.

— Нет. Это может кончиться раком легких. Мой папа раньше курил, а потом бросил. Даже вступил в общество некурящих.

— Ну-ну.— Дюссандер как ни в чем не бывало извлек спичку из кармана халата и чиркнул ею о пластиковую поверхность «ящика». Затянувшись, он сказал:

— Лично я не вижу причин, почему бы мне сейчас же не позвонить в полицию и не рассказать, какую чудовищную напраслину тут на меня возводят. А ты видишь? Только

отвечай быстро, мальчик. Телефон в прихожей. Представляю, как тебя выпорет отец. Неделю будешь подкладывать под себя подушечку.

— Мои родители всегда были против порки. Телесные наказания не решают проблемы, а только усугубляют ее.— Внезапно глаза Тодда заблестели.— А вы их пороли? Женщин? Раздевали их догола и...

Дюссандер издал какой-то сдавленный звук и направился в прихожую.

— Я бы не советовал,— произнес Тодд ледяным голосом.

Дюссандер повернулся. Он заговорил четко и размеренно. Если что и смазывало эффект, так это отсутствие вставной челюсти.

— Еще раз, последний, повторяю: меня зовут Артур Денкер. Артуром, кстати, отец меня назвал в честь Конан-Дойля, чьи рассказы приводили его в восхищение. Я никогда не был Дю-зандером, или Гиммлером, или Дедом Морозом. В войну я был лейтенантом запаса. Я никогда не принадлежал к нацистской партии. Мое участие в боевых действиях ограничилось тремя неделями боев в Берлине. Не скрою, в конце тридцатых, еще в первом браке, я симпатизировал Гитлеру. Он покончил с депрессией и в каком-то смысле восстановил нашу национальную гордость, которую мы потеряли в результате унизительного и бесчестного Версальского мира. Тогда, в тридцатых, он казался мне великим человеком. Он и был по-своему великим. Но под конец он безусловно свихнулся — посылать в бой несуществующие армии по указке звездочета! Отравить Блонди, свою любимую собаку! Поступки безумца. Они все обезумели — заставляли собственных детей глотать капсулы с ядом и при этом распевали «Хорст Вессель». Второго мая сорок пятого года мой полк сдался американцам. Помню, как солдат по фамилии Хакермейер угостил меня шоколадом. Я даже заплакал. Меня поместили в лагерь для интернированных в Эссене. К нам хорошо относились. Мы следили за Нюрнбергским процессом по радио, и когда Геринг покончил с собой, я обменял американские сигареты на бутылку шнапса и напился на радостях. После освобождения я устроился на завод «Эссен Мотор» — ставил колеса на автомобили. В шестьдесят третьем вышел на пенсию и вскоре переехал в Соединенные Штаты. Это была мечта моей жизни. В шестьдесят седьмом я получил гражданство. С тех пор я американец. Голосую на выборах. Никакого Буэнос-Айреса. Никакой торговли наркотиками. И Западного Берлина не было. И Кубы... А теперь иди, иначе я звоню в полицию.

Тодд не двигался с места. Старик вышел в прихожую, снял трубку. Тодд словно застыл возле настольной лампы.

Дюссандер начал набирать номер. Тодд не отрываясь смотрел на него, и сердце готово было выпрыгнуть из груди. После четвертой цифры Дюссандер обернулся и встретился с ним взглядом. Вдруг плечи старика поникли. Он положил трубку на рычаг.

— Как ты узнал?

— Много труда и чуть-чуть удачи,— скромно ответил Тодд, озаряя собеседника дружелюбной улыбкой.— У меня есть друг, Хэролд Пеглер, но вообще-то все его зовут Лис. У него нюх. Мы, когда играем в бейсбол, ставим его на вторую базу. А у отца Лиса не гараж, а клад. Горы журналов, и все про войну. Фотографии фрицев, в смысле немецких солдат, и япошек, пытающих разных женщин. Статьи про концлагеря. Я от всего этого прямо балдею.

— Что ты от них... балдеешь? — Дюссандер оторопело смотрел на него, потирая ладонью щеку. Звук был такой, будто он проходился по ней наждачной бумагой.

— Ну да. В смысле ловлю кайф. Получаю удовольствие.

«Это может произойти совершенно для вас неожиданно,— разглагольствовала миссис Андерсон, учившая их в пятом классе.— Вы столкнетесь с чем-то новым и вдруг поймете: вот он, мой ГЛАВНЫЙ ИНТЕРЕС. Это все равно что повернуть ключ в замке. Или в первый раз влюбиться. Вот почему, дети, так важен День выбора профессии — в этот день вы, может быть, найдете главный интерес в своей жизни». Тогда Тодд отнесся к словам миссис Андерсон как к полной галиматье, но много позже, в гараже у Лиса, ему вспомнились эти слова, и он подумал, что она была, возможно, не так уж далека от истины. Он переворачивал страницы старых слежавшихся журналов, и от смешанного чувства отвращения и непреодолимого любопытства у него разболелась голова, глаза же от напряжения начали слезиться, но он продолжал читать, и вдруг из текста под фотографией усеянного трупами места под названием Дахау на него выскочила цифра:

6 000 000

Он подумал: тут что-то напутали, кто-то по ошибке прибавил один-два нуля, во всем Лос-Анджелесе живет вдвое меньше людей! Но вот другой журнал, и вновь эта цифра: 6 000 000. Голова разболелась пуще прежнего. Во рту пересохло. Как в тумане он услышал, что Лису пора идти ужинать. Тодд спросил, можно ли ему пока почитать в гараже. Лис удивленно взглянул на него и сказал: «Валяй». И Тодд снова с головой ушел в старые журналы, пока в конце концов мать до него не докричалась.

Это все равно что повернуть ключ в замке...

В журналах говорилось, как это ужасно — все, что творили немцы. Но слова о том, как это было ужасно, терялись среди рекламы, предлагавшей немецкие финки, и ремни,

и каски бок о бок с заговорной травой и чудо-средством для восстановления волос. Рекламировались флаги со свастикой, и пистолет «люгер», и игра под названием «Танковая атака», в которой участвовали немецкие «пантеры», а рядом печатались уроки правильного ведения корреспонденции и дурацкие советы: «Хотите разбогатеть — продавайте специальные тапочки для лифта». Да, везде говорилось, как это было ужасно, однако создавалось впечатление, что все же не стоит по такому поводу огород городить.

Или в первый раз влюбиться...

Снова вспомнились слова миссис Андерсон. Она оказалась права. Он нашел в жизни свой ГЛАВНЫЙ ИНТЕРЕС.

...Дюссандер долго смотрел на Тодда. Затем пересек гостиную и тяжело опустился в кресло-качалку. И снова вглядывался в Тодда, пытаясь что-то разгадать и чуть отрешенном, чуть посталкогическом выражении его лица.

— Ну вот,— словно очнулся Тодд.— Началось с журналов, только я тогда подумал, что там половина фактов — лина. И я пошел в библиотеку. Сначала эта поганка не хотела ничего мне давать, у них такую литературу выдают только взрослым. Но я сказал, что мне надо для школы. Если для школы, они обязаны выдавать. А эта — сразу звонить отцу.— В глазах Тодда вспыхнуло презрение.— Испугалась, поганка, что он не в курсе, видали!

— А он был в курсе?

— Ясное дело. Чем раньше, говорит отец, дети познают жизнь, тем лучше... и хорошее, и плохое. Тогда они будут во всеоружии. Жизнь, говорит он, это тигр, и его нужно ухватить за хвост, а не знаешь его повадки, так он слопает тебя в два счета.

— М-м-м,— неопределенно промычал Дюссандер.

— И мама считает так же.

— М-м-м,— опять промычал Дюссандер, точно его ударили по голове и он пока не может сообразить, где находится.

— Короче, у них там этой литературы навалом. И, знаете, она пользуется большим спросом. Картинок, правда, поменьше, чем в журналах у отца Лиса, зато чернухи хватает. Стулья с таким сиденьем, утыканным шипами. Золотые коронки, вырванные плоскогубцами. Отравляющий газ, который вдруг пускали из душа вместо воды.— Тодд тряхнул головой.— Вы, конечно, все были шизанутые, тут и думать нечего.

— Как ты сказал?.. Чернуха? — с трудом выдавил из себя Дюссандер.

— Я даже написал реферат,— увлеченно продолжал Тодд,— и знаете, что я за него получил? Пять с плюсом. Пришлось, конечно, попотеть... Все эти авторы, они так пишут... ну, вроде как эта писанина у них весь сон отбила, и чтобы, значит, и мы не спали, а то еще те ужасы опять повторятся. Я тоже написал в таком духе, и вот результат! — Лицо Тодда озарила торжествующая улыбка.

Дюссандер делал затяжку за затяжкой. Кончик сигареты подрагивал. Он выпустил из носа дым и вдруг закашлялся по-стариковски.

— Вы знали Ильзу Кох? — спросил Тодд.

— Ильзу Кох? — едва слышно переспросил Дюссандер. И после паузы сказал: — Да, я знал ее.

— Она была красивая? — оживился Тодд.— Я имею в виду...— Он изобразил в воздухе подобие песочных часов.

— Разве ты не видел ее фотографий? — спросил Дюссандер.— Ты же у нас в этом деле гурман.

— Кто я?

— Гурман. Тот, кто любит получать удовольствие... ловить кайф.

— А-а. Клевое словечко.— Угасшая было улыбка вновь расцвела.— Еще бы не видел. Но все эти перепечатки, не мне вам говорить...— Интонация была такая, словно их у Дюссандера была целая коллекция.— Черно-белые, нечеткие... что вы хотите, любительские снимки. Кто тогда знал, что это, можно сказать, история... Что, она правда была пышка?

— Толстая, мосластая, со скверной кожей.— Дюссандер раздавил недокуренную сигарету в вазочке, наполненной бычками.

— Да-а? Надо же.— Лицо у Тодда вытянулось.

— Не все такие везучие,— раздумчиво произнес Дюссандер, глядя на Тодда.— Увидел мою фотографию в старом журнале — и на тебе!

— Ошибаетесь, мистер Дюссандер. Не все так просто. Я долго не верил, что вы это он, не верил, пока не увидел однажды, как вы садитесь в автобус в своем блестящем черном дождевике...

— Вот оно что,— выдохнул Дюссандер.

— Ага. У Лиса в гараже, в одном из журналов, вы были сфотографированы в таком же точно дождевике. И в библиотеке я раскопал книжку, вы там в эсэсовском плаще вроде этого. Я сразу сказал себе: «Курт Дюссандер, один к одному». Вот тут уже я сел вам на хвост...

— Что ты сделал?

— Сел на хвост. Начал следить за вами. Я, знаете, мечтаю стать детективом, таким,

как Сэм Спэйд в книжках... или как Мэнникс в телесериале. Я принял все меры предосторожности... Показать фотографии?

— Ты меня фотографировал?!

— А то как же. У меня «Кодак», помещается в кулаке. Если насобачиться, раздвинул пальцы — и вы в объективе. Остается нажать большим пальцем.— На этот раз улыбка Тодда как бы говорила, что сам он оценивает свои успехи достаточно скромно.— Поначалу, конечно, в кадр попадали одни пальцы. Но я настырный. Если стараться вовсю — чего хочешь добьешься. Звучит занудно, но верно.

Курт Дюссандер заметно побледнел и весь как-то усох.

— Ты что же, отдал проявлять пленку в фотоателье?

— Чего? — Тодд не сразу сообразил, а сообразив, презрительно скривился.— Вот еще! Что я, придурок? У отца есть темная комната. Я с десяти лет сам проявляю пленку.

Дюссандер ничего не сказал, однако спина его несколько расслабилась и кровь снова прилила к щекам.

Тодд достал сложенный вдвое конверт из заднего кармана и вынул из него несколько глянцевых фотографий с неровно обрезанными краями, что доказывало их домашнее происхождение. Дюссандер разглядывал снимки с мрачной сосредоточенностью. Вот он сидит, совершенно прямой, в автобусе у окна, в руках у него последний роман Джеймса Миченера. Вот он ждет автобуса на Девон-авеню, под мышкой зонтик, подбородок вздернут — ни дать ни взять премьер-министр в зените славы. Вот он стоит в очереди под козырьком театра «Мажестик», выделяясь среди привалившихся к стене подростков и безликих кудлатеньких домохозяек высоким ростом и осанкой. А вот он заглядывает в свой почтовый ящик...

— Я решил вас щелкнуть,— пояснил Тодд,— хотя боялся, что вы меня засечете. Я постарался свести риск до минимума. Снимал с противоположной стороны улицы. Эх, мне бы телескопические линзы...— Тодд мечтательно вздохнул.

— На всякий случай ты, конечно, заготовил дежурную фразу.

— Я бы спросил, не видели ли вы мою собаку. Короче, я отпечатал фотографии и сравнил их вот с этими.

Он протянул Дюссандеру три ксерокопированных снимка. Старику доводилось их видеть, и не раз. На первом он сидел в своем кабинете — начальник концлагеря Патэн; снимок был кадрирован таким образом, чтобы остался только он и флажок со свастикой у него на столе. Второй снимок был сделан в день призыва. На третьем он пожимал руку Генриху Глюксу, помощнику Гиммлера.

— Я уже не сомневался, что вы — это он, вот только... из-за ваших дурацких усов не видна была заячья губа. И тогда, чтобы окончательно убедиться, я раздобыл вот это...

Он извлек из конверта последний листок, многократно сложенный. Сгибы почернели от грязи, уголки пообтрепались. Это была копия распространенной израильтянами листовки: «Разыскивается военный преступник Курт Дюссандер». Глядя на этот листок, Дюссандер думал о неугомонных мертвецах, не желающих спокойно лежать в земле.

— Я снял ваши отпечатки пальцев,— улыбнулся Тодд,— и сравнил их с приведенными на этом листке.

— Врешь! — не выдержал Дюссандер. И выругался по-немецки.

— Снял, а как же. В прошлом году, на Рождество, родители подарили мне дактилоскоп. Не игрушечный, настоящий. С порошком, с набором щеточек для разных поверхностей и особой бумагой, чтобы снимать отпечатки. Мои предки знают, что я хочу стать частным детективом. Про себя они, конечно, думают, что это у меня пройдет.— Он отмахнулся от такого предположения как от несерьезного.— В специальном пособии я прочел про линии руки и тип ладони и участки для сличения. Называется «позиции». Для суда требуется не меньше восьми позиций. Короче, однажды вы пошли в кино, а я посыпал порошком ваш почтовый ящик и дверную ручку. А потом снял отпечатки. Ничего, да?

Дюссандер молчал. Он сжимал подлокотники кресла, подбородок у него так и прыгал. Тодда покоробило. Это уже ни в какие ворота. Упырь Патэна, того гляди, заплачет! Да это все равно как если бы обанкротилось «Шевроле» или «Макдональд» стал бы продавать икру и трюфеля вместо сандвичей.

— Отпечатки оказались двух видов,— продолжал Тодд.— Первые не имели ничего общего с образцами на листовке. Эти, я догадался, оставил почтальон. Остальные были ваши. Все сошлось... и не по восьми, а по четырнадцати позициям.— На губах Тодда заиграла ухмылочка.— Вот так я это провернул.

— Ну и стервец,— сказал Дюссандер, и глаза его угрожающе заблестели. Тодд почувствовал легкий озноб, как тогда в прихожей. Но Дюссандер уже откинулся в кресле.

— Кому ты об этом говорил?

— Никому.

— А дружкам? Своему Беглеру?

— Беглеру? Нет, Лис — трепло. Никому я не говорил. Тут дело такое.

— Чего ты хочешь? Денег? Боюсь, что не по адресу. В Южной Америке кое-что было, правда, наркотики тут ни при чем... ничего такого романтического. Просто существует — существовал — тесный кружок... свои ребята... Бразилия — Парагвай — Санто Доминго. Бывшие вояки. Я вошел в их кружок и сумел извлечь некоторую пользу из полезных ископаемых — медь, олово, бокситы... Но вскоре ветер переменился. Национализация, антиамериканские настроения. Может, я бы и дождался попутного ветра, но тут люди Визенталя напали на мой след. Одна неудача, мой мальчик, следует за другой по пятам, как в жаркий день кобели за сучкой. Дважды я был на волосок от гибели... я слышал, как эти *юде* переговариваются за стеной... Они повесили Эйхмана,— он перешел на шепот, прикрывая ладонью рот, глаза округлились — такой вид бывает у ребенка, когда рассказчик доходит до развязки «страшной-престрашной истории»,— старого безобидного человека. Далекого от политики. Все равно повесили.

Тодд покивал.

— В конце концов, когда я уже был не в силах спасаться бегством, пришлось прибегнуть к последнему средству. Другим, я знал, они помогли.

— Одесский квартал? — встрепенулся Тодд.

— Сицилийцы,— сухо уточнил Дюссандер, и оживление Тодда сразу улетучилось.— Все было сделано. Фальшивые документы, фальшивое прошлое. Ты пить не хочешь?

— Угу. У вас есть тонизирующий?

— Тонизирующего нет.

— А молоко?

— Сейчас.— Дюссандер прошаркал на кухню. Из ожившего бара полилось искусственное сияние.— Последние годы я живу на проценты с акций,— донесся голос из кухни.— Я купил их после войны... под чужой фамилией. Через банк штата Мэн, если тебе это интересно. Год спустя служащий банка, который приобрел для меня эти акции, сел в тюрьму за убийство жены... чего только в жизни не бывает, nein? [1]

Открылась и закрылась дверца холодильника.

— Шакалы сицилийцы ничего не знали про акции,— продолжал он.— Сегодня этих сицилийцев где только нет, а в те времена выше Бостона они не забирались. Узнай они про акции, пиши пропало. Обобрали бы меня как липку и отправили в Штаты подыхать на пенсионное пособие и продуктовые карточки.

Он зашаркал обратно в комнату. В руках у него были зеленые пластмассовые стаканчики — вроде тех, какие дают в день пуска новой бензоколонки. Заправил бак — получай бесплатную газировку. Дюссандер передал Тодду один стакан.

— Пять лет я жил припеваючи на проценты с этих акций, но потом пришлось кое с чем расстаться, чтобы купить вот этот дом и скромный коттедж на побережье. Потом инфляция. Экономический спад. Я продал коттедж, затем пришел черед акций...

Тоска зеленая, подумал про себя Тодд. Не затем он здесь, чтобы выслушивать причитания из-за каких-то там потерянных акций. Тодд поднес стаканчик к губам, вдруг рука его замерла. На лице опять засияла улыбка — в ней сквозило восхищение собственной проницательностью. Он протянул стаканчик Дюссандеру.

— Отпейте сначала вы,— сказал он с ехидцей.

Дюссандер вытаращился на него, потом закатил глаза к потолку.

— Grüss Gott!! [2] — Он взял стаканчик, сделал два глотка и вернул его Тодду.— Не задохнулся, как видишь. Не хватаюсь за горло. Никакой горечи во рту. Это молоко, мой мальчик. Мо-ло-ко. На коробке нарисована улыбающаяся корова.

Тодд пристально понаблюдал за ним, затем пригубил содержимое. В самом деле, на вкус — молоко, но что-то у него пропала жажда. Он поставил стаканчик. Дюссандер пожал плечами и, отпив из своего стакана, с наслаждением зачмокал губами.

— Шнапс? — спросил Тодд.

— Виски. Выдержанное. Отличная штука. А главное, дешевая.

Тодд в тоске затеребил шов на джинсах.

— Н-да,— отреагировал Дюссандер,— словом, если ты рассчитывал сорвать хороший куш, объект ты выбрал самый неподходящий.

— Чего?

— Для шантажа,— пояснил Дюссандер.— Разве это слово не знакомо тебе по телесериалу «Мэнникс»? Вымогательство. Если я тебя правильно...

Тодд захохотал — громко, по-мальчишечьи. Он мотал головой, пытаясь что-то сказать, но лишь давился от хохота.

— Значит, неправильно,— выдохнул Дюссандер. Лицо его сделалось еще более землистым, а взгляд еще более затравленным, чем в начале их разговора.

Тодд, просмеявшись, произнес с неподдельной искренностью:

— Да я просто хочу услышать про это. Вот и все, ничего больше. Честное слово.

---

[1] Здесь: не правда ли? *(нем.)*

[2] Привет! *(нем.)*

— Услышать про это?? — эхом отозвался Дюссандер. Он был совершенно сбит с толку.

Тодд подался вперед, уперев локти в колени.

— Ну, ясное дело. Про зондеркоманды. И газовые камеры. И смертников, которые сами вырывали себе могилы. Про...— Он облизнул губы.— Про допросы. И эксперименты над заключенными. Про всю эту чернуху.

Дюссандер разглядывал его с тупым любопытством, как мог бы ветеринар разглядывать кошку, только что родившую котят с двумя головами. И наконец тихо вымолвил:

— Ты чудовище.

Тодд хмыкнул.

— В книжках, которые я прочел, именно это говорилось про вас, мистер Дюссандер. Не я — вы посылали их в печь. Пропускная способность — две тысячи заключенных в день. После вашего приезда в Патэн — три тысячи. Три с половиной — перед тем как пришли русские и положили этому конец. Гиммлер назвал вас мастером своего дела и наградил медалью. Так кто из нас чудовище?

— Это все грязная ложь, придуманная Америкой! — Дюссандер резко поставил стаканчик, расплескав виски на стол и себе на руку.— По сравнению с вашими политиками доктор Геббельс — дитя, гукающее над книжкой с картинками. Рассуждают о морали, а тем временем по их указке обливают детей и женщин напалмом. Демонстрантов избивают дубинками средь бела дня. Солдатню, которая расстреливала ни в чем не повинных людей, награждает сам президент... А тех, кто потерпел поражение, судят как военных преступников за то, что они выполняли приказы.— Дюссандер изрядно отхлебнул, и тут же у него начался приступ кашля.

Тодду было столько же дела до политических взглядов Дюссандера, сколько до его финансовых затруднений. Сам Тодд считал, что люди придумали политику, желая развязать себе руки. Это напоминало ему случай с Шарон Акерман. Он хотел, чтобы Шарон показала ему кое-что, та, естественно, возмутилась, хотя голосок у нее зазвенел от возбуждения. Пришлось сказать, что он собирается стать врачом, и тогда она позволила. Вот и вся тебе политика.

— Если бы я отказался выполнять приказы, я бы здесь не сидел.— Дыхание Дюссандера сделалось прерывистым, он качался взад-вперед, пружины под ним так и скрипели.— Кто-то должен был воевать на русском фронте, nicht wahr? [1] Страной правили сумасшедшие, пусть так, но ведь с сумасшедшими не поспоришь... особенно когда главному из них везет, как самому Дьяволу. Только чудо спасло его от блестяще организованного покушения... Все, что мы делали тогда, было правильным. Правильным для того времени и тех обстоятельств. Если бы все повторилось сначала, я сделал бы то же самое. Но...

Он заглянул в свой стакан. Стакан был пуст.

—...но я не хочу об этом говорить, даже думать не хочу. Я жил как в джунглях, в ожидании кровавой расправы, наверно, поэтому и во сне меня обступают джунгли, и я всей кожей ощущаю угрозу. Я просыпаюсь в поту, с колотящимся сердцем, я зажимаю себе рот, чтобы не закричать. А сам думаю: сон — вот реальность. А Бразилия, Парагвай, Куба... это все сон. В действительности я там, в Патэне.

Сейчас Тодд ловил каждое его слово... Это уже было что-то. Но он верил — впереди ждут вещи поинтереснее. Надо только изредка давать Дюссандеру шпоры. Да, черт возьми, повезло. У других в его возрасте маразм крепчает, а этот хоть бы хны.

Дюссандер глубоко затягивался, не выпуская сигареты изо рта.

— Иногда мне мерещатся люди, которые были со мной в Патэне. Не охранники, не офицеры — заключенные. Помню случай в Западной Германии лет десять назад. На дороге произошла авария. Образовалась пробка. Я глянул направо — в соседнем ряду стояла «симка», за рулем совершенно седой человек. Он не сводил с меня глаз. На щеке у него был шрам. Лицо — как простыня. Патэн, решил я. Он там был, он узнал меня. Стояла зима, но я не сомневался: снять с него пальто и закатать рукав сорочки — обнаружится лагерный номер. Наконец движение возобновилось. Я оторвался от «симки». Еще десять минут, и я бы не выдержал, я бы вытащил его из машины и начал бить... есть номер, нет номера — все равно. Я бы начал бить его за то, что он так смотрел на меня... Вскоре я уехал из Германии. Навсегда.

— Вовремя смылись,— заметил Тодд.

— В других местах было не лучше. Рим... Гавана... Мехико... Только здесь я выкинул все это из головы. Хожу в кино. Решаю шарады. По вечерам читаю романы, все больше дрянные, или смотрю телевизор. И тяну виски, пока не начинает клонить в сон. Ничего такого мне больше не снится. Если ловлю на себе чей-то взгляд — на рынке, в библиотеке, у табачного киоска,— то только потому, что я кому-то напомнил его дедушку... или старого учителя... или бывшего соседа. А то, что было в Патэне, это было не со мной. С другим человеком.

---

[1] Не правда ли? *(нем.)*

— Вот и отлично! — подытожил Тодд.— Про все про это вы мне и расскажете.

— Ты, мальчик, не понял. Я не хочу об этом говорить.

— Никуда не денетесь. Иначе все узнают, кто вы такой.

Дюссандер, без кровинки в лице, внимательно посмотрел на Тодда.

— Я чувствовал,— произнес он после паузы,— я чувствовал, что кончится вымогательством.

Август 1974

Они сидели на заднем крыльце под безоблачным дружелюбным небом: Тодд — в футболке, джинсах и кедах, Дюссандер — в заношенной рубахе и мешковатых брюках на подтяжках. Ну и видочек, мысленно скривился Тодд, можно подумать, что все это ему пришло в посылочке от Армии спасения. Надо будет что-нибудь придумать. Таким тряпьем можно испортить все удовольствие.

Они закусывали сандвичами «Биг Мак», доставая их из корзинки; не зря Тодд накручивал педали — сандвичи были теплые. Тодд потягивал через соломинку тонизирующий напиток. Дюссандер пил свое виски.

Его голос шелестел, как газета, прерывался, набирал силу и тут же слабел, делался почти неслышным. Его выцветшим глазам с красными прожилками никак не удавалось остановиться на одной точке. Со стороны могло показаться, что на крыльце сидят дед и внук.

— Вот все, что я помню,— закончил Дюссандер и откусил от сандвича добрую треть. По подбородку потек соус.

— А если подумать? — мягко спросил Тодд.

Дюссандер изрядно отхлебнул.

— Пижамы были бумажные,— процедил он.— Когда заключенный умирал, его одежда переходила к другому. Иногда одну пижаму снашивали до сорока заключенных. Я удостоился лестной оценки за бережливое отношение к имуществу.

— От Глюкса?

— От Гиммлера.

— Постойте-ка, в Патэне была швейная фабрика, вы говорили неделю назад. Почему же там не шили пижамы? Заключенные могли сами шить их.

— Фабрика в Патэне выпускала обмундирование для немецких солдат. И вообще мы...— Дюссандер осекся, но усилием воли заставил себя закончить.— В нашу задачу не входило укреплять здоровье заключенных. Может быть, на сегодня хватит? Пожалуйста. У меня болит горло.

— Вы слишком много курите,— заметил ему Тодд.— Расскажите еще немного про одежду.

— Какую? — угрюмо спросил Дюссандер.— Лагерную или эсэсовскую?

Тодд улыбнулся.

— И ту, и другую.

Сентябрь 1974

Тодд делал себе в кухне сандвич с арахисовым маслом и джемом. Кухня находилась на некотором возвышении и вся сияла хромом и нержавейкой. Тодд недавно пришел из школы, а мать все никак не могла оторваться от своей электрической машинки. Она печатала диплом какому-то студенту. Студент — в очках с немыслимыми линзами, с торчащими во все стороны короткими волосами — казался Тодду пришельцем из космоса. А написал он что-то такое про распространение плодовой мушки в долине Салинас в послевоенный период... или еще какую-то муру в этом духе. Тут стрекот машинки оборвался, и мать вышла из кабинета.

— Вот и Тодд с мыса Код,— сказала она вместо приветствия.

— Вот и Моника из Салоников,— ей в тон сказал Тодд.

Для своих тридцати шести мать у меня будь здоров, подумал он. Высокая, стройненькая, светлые волосы чуть тронуты пепельным оттенком, темно-красные шорты, прозрачная блузка с янтарным отливом, небрежно завязанная узлом под самой грудью, достаточно открыта, чтобы каждый мог оценить эти маленькие, ничем не стесненные азгорки. Из волос у нее торчал ластик, а сами волосы были наспех схвачены бирюзовой заколкой.

— Что в школе? — Она поднялась по ступенькам в кухню и, мимоходом чмокнув сына, присела возле рабочего столика.

— Полный ажур.

— Снова будешь в списках лучших?

— Ясное дело.— Вообще-то Тодд чувствовал, что может в первой четверти несколько сдать позиции. Уж очень много времени он торчал у Дюссандера, и даже когда не торчал, в голову лезла вся эта дрянь, поведанная ему отставным воякой. Пару раз эта дрянь даже ему приснилась. Да ладно, было бы о чем говорить.

— Тодд Боуден, способный ученик,— с этими словами мать взъерошила его лохматую голову.— Как сандвич?
— Ничего.
— Сделай-ка мне тоже и принеси, пожалуйста, в кабинет.
— Не могу,— сказал он, вставая.— Я обещал мистеру Денкеру, что почитаю ему часок-другой.
— Опять «Робинзон Крузо»?
— Нет.— Он показал ей корешок толстой книги, купленной в буке по дешевке.— «Том Джонс».
— Мать честная! Тодд, лапка, тебе ж на это года не хватит. Взял бы опять адаптированное издание.
— Ему хочется услышать всю книгу целиком. Так он сказал.
— А-а.— Секунду она точно бы оценивала сына взглядом, потом привлекла к себе. Тодд смутился — мать редко выказывала свои чувства.— Ты ангел! Почти все свободное время читаешь ему вслух. Нам с папой кажется... да такого просто не бывает!
Тодд скромно потупился.
— И ведь никому ни слова. Прячешь, можно сказать, свои таланты.
— Да ну, этим только проговорись... совсем, скажут, завернутый. А то и с дерьмом смешают.
— Фу, какие слова,— машинально выговорила она сыну. И вдруг спросила: — Как ты думаешь, не пригласить ли нам мистера Денкера поужинать с нами?
— Может быть,— туманно ответил Тодд.— Слушай, мне пора рвать когти.
— Поняла. Ужин в половине седьмого. Не забудь.
— Ладно.
— Папа у нас сегодня опять допоздна на работе, так что мы ужинаем вдвоем, возражений нет?
— Я в восторге, лапка.
Она провожала его влюбленной улыбкой. Надеюсь, думала она, в «Томе Джонсе» нет ничего такого, о чем не следовало бы знать тринадцатилетнему подростку. Вряд ли, если учесть, в каком обществе мы живем. За доллар и двадцать пять центов ты можешь купить «Пентхаус» в любой книжной лавке, а какому-нибудь расторонному мальцу и денег не надо — схватил журнал с полки, только его и видели. Так что вряд ли книга, написанная двести лет назад, может дурно повлиять на Тодда... а старому человеку какое-никакое удовольствие. И потом, как любит говорить Ричард, для подростка весь мир — огромная лаборатория. Пусть понемногу разбирается, что к чему. При здоровой семье и любящих родителях, если он и узнает о теневых сторонах жизни,— это только закалит его.
А уж такому, как наш Тодд, ничего не страшно. Так думала Моника, прослеживая взглядом удаляющийся велосипед. Хорошо мы воспитали мальчика, мысленно отметила она и стала делать себе сандвич. Хорошо, ничего не скажешь.

Октябрь 1974

Дюссандер похудел. Они сидели в кухне, между ними, на клеенке,— потрепанный том Филдинга. Тодд, не упускавший из виду ни одной мелочи, не пожалел денег, которые ему выдавали на карманные расходы, и купил «Комментарий Клиффа» с кратким изложением содержания романа — если родители вдруг проявят интерес к «Тому Джонсу», Тодд сумеет удовлетворить их любопытство. Сейчас он приканчивал буше. Он купил два пирожных, себе и Дюссандеру, но тот к своему пока не притронулся. Изредка тупо поглядывал на него и знай отхлебывал виски.
— И как все это переправлялось в Патэн? — спросил Тодд.
— По железной дороге. На вагонах писали «Медикаменты». Содержимое укладывалось в длинные ящики наподобие гробов. В этом что-то было. Заключенные выгружали ящики и составляли их в лазарете. Потом наши люди переносили ящики в складское помещение. Они делали это ночью. Склад находился непосредственно за душевыми.
— И это всегда был «Циклон-Б»?
— Нет. Иногда присылали... экспериментальный газ. Высшее командование постоянно требовало повышать эффективность. Однажды нам прислали новинку под кодовым названием «Пегас». Нервно-паралитического действия. От него, слава богу, вскоре отказались. Уж очень...— Заметив, как мальчик подался вперед, как загорелись у него глаза, Дюссандер осекся, а затем с деланным равнодушием махнул рукой с зажатым в ней пустым стаканчиком.— Он себя, в общем, не оправдал.
Но Тодда не так-то просто было обвести вокруг пальца.
— Пожалуйста, поподробнее.
— Не могу.— Дюссандера даже передернуло. Сколько же лет он не вспоминал о «Пегасе»? Десять? Двадцать? — Про это не буду! Я отказываюсь!
— Я сказал: поподробнее.— Тодд облизал с пальцев шоколад.— Иначе сами знаете, что будет.

Да, подумал Дюссандер, *знаю. Еще бы мне не знать, маленький гаденыш.*
— Серьезное мероприятие превратилось в канкан,— с трудом выдавил он из себя.
— Канкан?
— Это были какие-то немыслимые па... Многие при этом хохотали...
— Мрак,— сказал Тодд и показал на буше Дюссандера.— Вы что, не будете?
Дюссандер не ответил. Взгляд его застилала дымка воспоминаний. Сейчас он был далек и недоступен, как обратная сторона Луны. Все чувства смешались — отвращение и... и... неужели, ностальгия?
— Казалось, этому не будет конца. И тогда я приказал открыть огонь. Узнай об этом начальство, мне бы не поздоровилось. Фюрер тогда объявил, что каждый патрон — наше национальное достояние. Но этот хохот... я не мог, не мог я больше...
— Еще бы,— согласился Тодд, приканчивая второе пирожное. «Остатки сладки», как любила повторять мама.— История что надо. Вообще вы рассказываете что надо, мистер Дюссандер. Вас только расшевели.
Тодд поощрительно улыбнулся. И Дюссандер — да-да! — Дюссандер, сам того не желая, улыбнулся в ответ.

Ноябрь 1974

Дик Боуден, отец Тодда, человек прямой и недалекий, отдавал предпочтение консервативному стилю одежды. Дома он надевал очки без оправы, имевшие обыкновение съезжать ему на нос, что делало его похожим на директора школы. В настоящий момент сходство довершал табель с оценками за первую четверть, этим листком он грозно постукивал по столу.
— Одна четверка, четыре тройки и одна двойка. Двойка! Это же черт знает что, Тодд, мама старается не подавать виду, но она совершенно подавлена.
Тодд стоял потупившись. Когда отец чертыхается, тут уже не до улыбок.
— У тебя никогда не было таких отметок. Двойка по алгебре! Как это прикажешь понимать?
— Сам не знаю, папа.— Тодд упорно разглядывал свои кеды.
— Мы с мамой считаем, что ты проводишь слишком много времени у мистера Денкера. А учеба побоку. Придется сократить ваши свидания... во всяком случае, пока не подтянешься.
Тодд резко поднял голову, и на мгновение Боуден-старший увидел в глазах сына холодную ярость. В следующую секунду взгляд уже был нормальный, открытый, ну разве что чуть-чуть несчастный. Не иначе — показалось. Чтобы Тодд разозлился на отца — такого не бывало. Они ведь друзья. Никаких секретов друг от друга. Что Дик Боуден изредка изменяет жене со своей секретаршей — это не в счет, не рассказывать же о таких вещах, в самом деле, подростку сыну... тем более что это ни в коей мере не отражается на семье. Да, его отношения с сыном были, можно сказать, образцовыми, еще бы не образцовыми, когда окружающий мир словно с катушек сорвался — старшеклассники балуются героином, а ровесники Тодда попадают в вендиспансер.
— Не надо, пап. Зачем наказывать мистера Денкера, когда во всем виноват я. Он же без меня совсем пропадет. А я подтянусь, правда. Эта алгебра... я просто сразу не врубился. А потом мы с Беном Тримейном позанимались, и я начал соображать. Честное слово.
Дик Боуден понемногу смягчался. На Тодда нельзя было долго сердиться. И его слова, что нельзя наказывать старика... с этим трудно не согласиться. Бедняга так ждет его всегда.
— Ты, кстати, не представляешь себе, как наш математик разбушевался. Он многим поставил пары. И даже три или четыре кола.
Боуден в задумчивости кивал головой.
— А к мистеру Денкеру я по средам, перед алгеброй, ходить не буду.— Отцовский взгляд словно бы подсказывал Тодду правильный ход мыслей.— Буду заниматься как бобик, вот увидишь.
— Тебе он так нравится, этот мистер Денкер?
— А что, он молодчина,— ответил Тодд вполне искренне.
— Ну хорошо. Будь по-твоему. Но чтобы к январю все вошло в колею, ясно? Я думаю о твоем будущем, а о нем, между прочим, надо думать уже сейчас. Уж я-то знаю.
Так же часто, как мать повторяла: «Остатки сладки», отец говорил: «Уж я-то знаю».
— Я понял,— серьезно, по-мужски произнес Тодд.
— Тогда за дело.— Дик Боуден хлопнул сына по плечу.— Полный вперед!
— Есть! — отозвался Тодд и изобразил на лице ослепительную улыбку.
Дик Боуден провожал глазами сына не без чувства гордости. Что там ни говори, а таких, как Тодд, еще поискать. И с чего это я взял, что он на меня разозлился, подумал

Боуден-старший. Мне ли не знать своего сына. Да я читаю его мысли, как свои собственные. У нас с ним полный контакт.
Исполнив отцовский долг, Дик Боуден развернул чертежи и, посвистывая, погрузился в работу.

Декабрь 1974

Тодд держал левую руку за спиной. Когда дверь открылась, он протянул Дюссандеру большой сверток.
— Веселого Рождества!
Дюссандер поморщился от его крика и сверток принял без видимого удовольствия. Он осторожно держал его на весу, точно боясь, что вот сейчас пакет взорвется. На улице шел дождь, и Тодду пришлось спрятать подарок под плащ. Зря, что ли, он заворачивал его в яркую оберточную бумагу и перевязывал цветной лентой.
— Что это? — без особого интереса спросил Дюссандер по дороге на кухню.
— Откройте и увидите.
Тодд достал из кармана банку тонизирующего и поставил на стол.
— Но сначала опустите жалюзи,— добавил он заговорщицким тоном.
Дюссандер сразу заподозрил неладное.
— Жалюзи? Это еще зачем?
— Мало ли... вдруг кто следит за вами,— улыбнулся Тодд.— Разве за столько лет это не вошло у вас в привычку?
Дюссандер опустил жалюзи. Затем налил себе виски. Затем развязал ленту. Подарок был завернут так, как может завернуть только мальчишка, у которого в уме вещи поважнее — посмотреть футбол или погонять во дворе шайбу. Бумага тут и там порвана, все сикось-накось, скотч налеплен где попало. Вот что выходит, когда за женское дело берутся нетерпеливые руки подростка. Но Дюссандер, к собственному своему удивлению, был все же тронут. Позже, когда прошел первый шок от увиденного, он подумал: «А ведь я мог бы и догадаться».
Это была форма. Черная эсэсовская форма. Вместе с сапогами.
Дюссандер растерянно переводил взгляд с содержимого на броскую наклейку: «ПИТЕР», МАГАЗИН МОДНОЙ ОДЕЖДЫ, С 1951 ГОДА К ВАШИМ УСЛУГАМ!
— Нет,— глухо произнес он.— Не надену. Это, знаешь, уже чересчур. Умру, а не надену.
— Вам напомнить, что они сделали с Эйхманом? — с металлом в голосе спросил Тодд.— Старым человеком, далеким от политики. Так, кажется, вы говорили? Кстати, я всю осень откладывал деньги на это дело. Восемьдесят долларов, между прочим, вместе с сапогами. Если не ошибаюсь, в сорок четвертом вы все это носили. И с удовольствием.
— Ну, гаденыш! — Дюссандер замахнулся кулаком. Тодд стоял не шелохнувшись, глаза блестели.
— А ну,— сказал он,— попробуйте ударьте. Только пальцем троньте.
Дюссандер опустил кулак. Губы у него подергивались.
— Исчадие ада,— пробормотал он.
— Надевайте,— сказал Тодд.
Дюссандер взялся за пояс халата... и остановился. Он смотрел на Тодда рабски, с мольбой.
— Ну пожалуйста. В мои годы. Мне трудно.
Тодд покачал головой — медленно, но твердо. В глазах все тот же блеск. Ему нравилось, когда Дюссандер молил о пощаде. Вот так же, наверно, когда-то молили о пощаде его самого. В Патэне.
Халат Дюссандера упал на пол, он стоял перед ним в одних трусах и тапочках. Впалая грудь, небольшой животик. Костлявые стариковские руки. Ничего, подумал Тодд, в форме все будет иначе.
Дюссандер начал облачаться.
Через десять минут он был одет. Хотя плечи висели и фуражка сидела кривовато, но зато эмблема — мертвая голова — безусловно смотрелась. Во всем облике Дюссандера появилось этакое мрачное достоинство... по крайней мере в глазах мальчика. Впервые он выглядел так, как, по мнению Тодда, он должен был выглядеть. Да, постаревший. Да, потрепанный жизнью. Но снова в форме. Не старпер, коротающий свой век перед «ящиком», обросшим пылью, с допотопными рожками, обмотанными фольгой,— нет, настоящий Курт Дюссандер. Упырь из Патэна.
Сам Дюссандер испытывал отвращение и чувство неловкости... и еще, пожалуй, не сразу осознанное облегчение. Он презирал себя за эту слабость, которая только подтверждала, что мальчик сумел прибрать его к рукам. Он был пленником Тодда, и с каждым разом, когда он смирялся с очередным унижением, с каждым разом, когда он испытывал это чувство облегчения, мальчишка забирал над ним все большую власть. Но факт оставался фактом: его чуть-чуть отпустило. Подумаешь... сукно, пуговицы, кнопки... и

жалкая, к тому же, имитация. Брюки почему-то на молнии, а не на пуговицах. Не те знаки различия, покрой скверный, сапоги из дешевого кожзаменителя. Словом, театр. Как говорится, с него не убудет. Тем более что...
— Поправьте фуражку! — громко сказал Тодд.
Дюссандер вздрогнул и вытаращился на него.
— Поправьте фуражку, солдат!!
Дюссандер поправил, бессознательным движением повернув козырек под этаким ухарским углом, как делали его обер-лейтенанты,— кстати, при всех своих погрешностях форма была обер-лейтенантская.
— Ноги вместе!
Он лихо щелкнул каблуками — это вышло у него автоматически, так, словно десятилетия, прошедшие со времен войны, были им отброшены вместе с домашним халатом.
— Achtung!
Он встал по стойке «смирно», и на мгновение Тодду стало страшно, действительно страшно. Он почувствовал себя... нет, не искусным чернокнижником, а скорее неопытным учеником, сумевшим вдохнуть жизнь в обыкновенную метлу, но не знающим, как теперь ее укротить. Исчез старик, влачивший жалкое существование. Воскрес Курт Дюссандер.
Но тут же секундный страх сменило ощущение собственного могущества.
— Кругом!
И словно не было принято изрядной дозы виски, и словно не было четырех месяцев унижений — Дюссандер четко выполнил команду. Он услышал, как снова щелкнули каблуки. Прямо перед ним оказалась грязная засаленная плита, но он не видел плиты, он видел пыльный плац военной академии, где он осваивал солдатское ремесло.
— Кругом!
На этот раз он сплоховал, потеряв равновесие. В иные времена он бы с ходу получил под дых костяшкой стека... плюс десяток нарядов вне очереди. Он мысленно улыбнулся. Мальчишка, видать, не знает всех тонкостей. Слава богу.
— А теперь... шагом марш! — Глаза у Тодда горели.
Неожиданно Дюссандер весь как-то обмяк.
— Не надо,— попросил он.— Ну пожа...
— Марш! Я сказал — марш!
Слово так и застряло у Дюссандера в горле. Он начал печатать гусиный шаг по вытертому линолеуму. Ему пришлось сделать поворот, чтобы не налететь на стол, и еще один, чтобы не врезаться в стену. Его лицо, слегка приподнятое, было бесстрастным. Руки сами делали отмашку. От его тяжелого шага в шкафчике над мойкой позванивал дешевый фарфор.
Тодд вновь подумал об ожившей метле, и в нем шевельнулся прежний страх. Вдруг он понял: ему бы не хотелось, чтобы Дюссандер получал удовольствие от этого спектакля, а хотелось совсем другого... может быть, кто знает, ему хотелось выставить Дюссандера в смешном виде даже больше, чем вернуть старику его истинный облик. Но, удивительное дело, ни преклонный возраст, ни эта нищенская обстановка ничуть не делали его смешным. Он сделался страшным. И то, что Тодд до сих пор видел на картинках, впервые приобрело вполне зримые очертания, это уже была не какая-нибудь там сценка в фильме ужасов, но самая что ни на есть будничная реальность — ошеломительная, непостижимая, зловещая. Ему даже почудился одуряющий запах гниения.
Его охватил ужас. «Стой!» — выкрикнул он.
Дюссандер с бессмысленным, отсутствующим взглядом продолжал печатать шаг. Подбородок еще больше, почти с вызовом, вздернулся, дряблая кожа на шее натянулась. Хрящеватый тонкий нос, казалось, сам по себе устремлялся вперед.
Тодда прошиб пот.
— Halt! — закричал он вне себя.
Дюссандер остановился и с резким щелчком приставил левую ногу. Какие-то мгновения лицо его оставалось бесстрастным, лицо робота, но вот на нем изобразилось смущение, затем обреченность. Он сразу сник.
Тодд с облегчением перевел дыхание. Он был зол на самого себя. *Кто, спрашивается, здесь главный?!* К нему уже возвращалась прежняя уверенность. *Я здесь главный! Он у меня по струнке будет ходить.*
Тодд улыбнулся.
— Неплохо для начала. Но если потренироваться, у вас еще лучше получится.
Дюссандер молчал, опустив голову и тяжело дыша.
— Можете снять форму,— великодушно разрешил Тодд. В эту минуту он совсем не был уверен в том, что еще когда-нибудь попросит Дюссандера снова надеть ее.

Январь 1975

Сразу после конца уроков Тодд выскользнул из школы, сел на велосипед и покатил в городской парк. Найдя пустую скамейку, он вытащил из кармана табель с оценками за

четверть. Он огляделся, нет ли поблизости знакомых лиц, но увидел лишь двух школьников возле пруда да еще каких-то отвратных типов, которые поочередно прикладывались к чему-то спрятанному в бумажный пакет. Алкаши чертовы, подумал он. Но не алкаши были главной причиной его раздражения. Он развернул листок.

Английский — 3. История — 3. Природоведение — 2. Обществоведение — 4. Французский — 1. Алгебра — 1.

Он не верил своим глазам. Он был готов к неутешительным итогам, но чтобы такое...

А может, оно и к лучшему. Может, ты нарочно все запустил, чтоб поскорей покончить с этим. Пока не случилось непоправимое.

Он прогнал эти мысли. Ничего не может случиться. Дюссандер у него вот где. Не пикнет. Старик думает, что Тодд кому-то из своих друзей отдал на сохранение письмо, только не знает, кому именно. Если с Тоддом, не дай бог, что произойдет, письмо окажется в полиции. В былые времена это бы Дюссандера, вполне возможно, не остановило, но сейчас он не то что быстро бегать, а и соображать быстро не способен.

— Он у меня вот где! — прошипел Тодд и вдруг со всей силы саданул себя по ляжке. Ну, псих... опять разговариваешь сам с собой.

Все началось месяца полтора назад, и он никак не мог избавиться от этой дурацкой манеры. Уже несколько раз на него поглядывали как-то странно. В том числе учителя. А этот сморчок Берни Эверсон так прямо и ляпнул: «Ну, ты совсем ку-ку». Ох как руки чесались врезать ему промеж глаз. Ссора, драка — нет, это никуда не годится. Нельзя такими вещами обращать на себя внимание. А уж разговаривать вслух — это вообще хуже некуда. Хуже...

— Хуже бывают только сны,— пробормотал Тодд и на этот раз себя даже не одернул.

В последнее время ему снились жуткие сны. Обычно он стоял в шеренге изможденных людей, одетых, как и он, в полосатые пижамы. В воздухе пахло паленым, где-то поодаль урчали бульдозеры. Мимо шеренги прохаживался Дюссандер и выборочно показывал на кого-то чем-то длинным. Этих не трогали. Остальных уводили. Кое-кто пытался сопротивляться, но большинство едва могли передвигать ноги. Наконец Дюссандер останавливался перед Тоддом. Мучительно долго они смотрели друг другу в глаза, после чего Дюссандер тыкал ему в грудь своим старым зонтиком.

— А этого в лабораторию,— произносил он, обнажая фальшивые зубы.— Уведите этого американского мальчика.

Иногда Тодду снилось, что он одет в эсэсовскую форму. Сапоги начищены до зеркального блеска. Тускло мерцает мертвая голова на фуражке. И стоит он не где-нибудь, а в самом центре родного города, у всех на виду. Кто-то уже показывает на него пальцем. Кто-то начинает смеяться. У других его вид вызывает шок, гнев, омерзение. Вдруг, скрипнув шинами, останавливается допотопный автомобиль, и из него выглядывает двухсотлетний старик, почти мумия, с пергаментным лицом — Дюссандер.

— Я узнал тебя! — пронзительно кричит он. Потом обводит взглядом зевак и вновь обрушивается на Тодда: — Ты был начальником лагеря в Патэне! Посмотрите на него! Упырь из Патэна! Это его назвал Гиммлер мастером своего дела! Смерть убийце! Смерть!

— Ерунда,— пробормотал Тодд, отгоняя нахлынувшие видения,— ерунда все это, он у меня вот где.

Он поймал на себе взгляды случайной парочки и с вызовом уставился на молодых людей, провоцируя их на какой-нибудь выпад. Те отвернулись. Им показалось, что губы мальчика были растянуты в ухмылке.

Тодд быстро сунул листок в карман и помчал на велосипеде в аптеку неподалеку. В аптеке он купил жидкость для выведения чернил и синюю авторучку. Вернувшись в парк (той парочки уже не было, но алкаши торчали на прежнем месте), Тодд исправил отметки: английский — на 4, историю США — на 5, природоведение — на 4, французский — на 3 и алгебру — на 4. Оценку по обществоведению он тоже стер и проставил заново, чтобы уж, как говорится, по всей форме.

Да уж, насчет формы он специалист.

— Ничего,— успокаивал он себя.— Главное, предки не узнают. Они еще долго не узнают.

В третьем часу ночи, парализованный страхом, Курт Дюссандер проснулся от собственного стона, ловя ртом воздух. Грудь точно придавило тяжелым камнем — а что если это инфаркт? Нашаривая в темноте кнопку, он чуть не сковырнул ночник.

Успокойся, сказал он себе, видишь, это твоя спальня, твой дом, Санто-Донато, Калифорния, Америка. Видишь, те же коричневые шторы на окне, те же книги из лавки на Сорен-стрит, на полу серый коврик, на стенах голубые обои. Никакого инфаркта. Никаких джунглей. Никто тебя не высматривает.

Но ужас словно прилип к телу омерзительной влажной простыней, и сердце колотилось как бешеное. Опять этот сон. Он знал — рано или поздно сон повторится. Проклятый мальчишка. Письмо, которым он прикрывается, это, конечно, блеф, и весьма неудачный...

позаимствовал из какого-нибудь телевизионного детектива. Найдется ли на свете мальчишка, который не распечатает конверт с доверенной ему тайной? Нет таких. *Почти* нет. Эх, знать бы наверняка...

Он осторожно сжал и разжал скрюченные артритом пальцы.

Вытащив из пачки сигарету, он чиркнул спичкой о ножку кровати. Настенные часы показывали два часа сорок одну минуту. Про сон можно забыть. Он глубоко затянулся и тут же закашлялся дымом. Да уж какой там сон, сойти, что ли, вниз и пропустить один-два стаканчика. Или три. Последние полтора месяца он явно перебирал. Разве так он держал выпивку в тридцать девятом, в Берлине, когда оказывался в увольнении, а в воздухе пахло лебедой, и со всех сторон звучал голос фюрера, и, казалось, отовсюду на тебя был устремлен этот дьявольский, повелевающий взгляд...

Мальчишка... проклятый мальчишка!

— Это все...— начал он и вздрогнул от звуков собственного голоса в пустой комнате. Вот так же вслух он разговаривал в последние недели в Патэне, когда мир рушился на глазах и на Востоке с каждым днем, а потом и с каждым часом все нарастал русский гром. В те дни разговаривать вслух было делом естественным. В результате стресса люди и не такое вытворяют...

— Это все результат стресса,— произнес он вслух. Он произнес это по-немецки. Он не говорил по-немецки много-много лет, и сейчас родной язык согрел его и размягчил. Так успокаивает колыбельная в нежных сумерках.

— Да, стресса,— повторил он.— Из-за мальчишки. Но давай начистоту. Не врать же самому себе в три часа ночи. Разве тебе так уж неприятно вспоминать прошлое? Вначале ты боялся, что мальчишка просто не может или не сможет сохранить это в тайне. Проговорится своему дружку, тот — своему, и так далее. Но если он столько молчал, будет молчать и дальше. А то заберут меня, и останется он без своей... живой истории. А кто я для него? Живая история.

Он умолк, но мысли продолжали вертеться. Одиночество... кто бы знал, как он погибал от одиночества. Даже подумывал о самоубийстве. Сколько можно быть затворником? Единственные голоса — по радио. Единственные лица — в забегаловке напротив. Он старый человек, и хотя он боялся умереть, еще больше он боялся жить, жить в полном одиночестве. У него было плохо с глазами — то чашку перевернет, то обо что-нибудь ударится. Он жил в страхе, что, если случится что-то серьезное, он не доползет до телефона. А если доползет и за ним приедут, какой-нибудь дотошный врач найдет изъяны в фальшивой истории болезни мистера Денкера, и таким образом доконаются до его настоящего прошлого.

С появлением мальчишки все эти страхи как бы отступили. При нем он безбоязненно вспоминал былое, вспоминал до немыслимых подробностей. Имена, эпизоды, даже какая была погода. Он вспомнил рядового Хенрайда, который залег со своим ручным пулеметом в северо-восточном бастионе. У Хенрайда был на лбу жировик, и многие звали его Циклопом. Он вспомнил Кесселя, носившего при себе карточку своей девушки. Она сфотографировалась на тахте, голая, с закинутыми за голову руками, и Кессель, небесплатно, разрешал сослуживцам ее рассматривать. Он вспомнил имена врачей, проводивших эксперименты... Имена, имена...

Обо всем этом он рассказывал, вероятно, так, как рассказывают старые люди, с той только разницей, что стариков обычно слушают вполуха, неохотно, а то и с откровенным раздражением, его же готовы были слушать часами.

Так неужели это не стоит нескольких ночных кошмаров?

Он раздавил сигарету, с минуту полежал, глядя в потолок, а затем свесил ноги с кровати. Хороша парочка, подумал он, ничего не скажешь... то ли подкармливаем друг друга, то ли пьем друг у друга кровь. Если ему, Дюссандеру, по ночам бывает несладко, каково, интересно, мальчику? Ему-то как, спится? Вряд ли. За последнее время он явно похудел и осунулся.

Дюссандер подошел к стенному шкафу, сдвинул все вешалки вправо и вытащил откуда-то из его глубины свой «театральный костюм». Форма повисла, как подбитая черная птица. Он коснулся ее свободной рукой. Коснулся... погладил.

Прошло немало времени, прежде чем он снял ее с вешалки. Он одевался медленно, не глядя на себя в зеркало, пока не застегнулся на все пуговицы (опять эта дурацкая молния на брюках) и не защелкнул поясную пряжку.

Только после этого он оглядел всего себя в зеркале и одобрительно кивнул.

Он снова лег и выкурил сигарету. Вдруг его потянуло в сон. Он выключил ночник. Неужели все так просто? Он не мог поверить, однако не прошло и пяти минут, как он спал, и в этот раз ему ничего не снилось.

Февраль 1975

После обеда Дик Боуден угощал коньяком — отвратительным, на взгляд Дюссандера. Разумеется, он не только не подал виду, но и всячески его расхваливал. Мальчику

поставили шоколадный напиток. За обедом Тодд двух слов не сказал. Может быть, волновался? Похоже, что так.

Дюссандер сразу очаровал Боуденов. Тодд, чтобы раз и навсегда узаконить ежедневные «читки», внушил родителям, что у мистера Денкера очень слабое зрение, значительно слабее, чем это было на самом деле (тоже мне, добровольная собака-поводырь, усмехнулся про себя старик), Дюссандер старался все время об этом помнить и, кажется, ни разу не сплоховал.

Он надел свой лучший костюм. Было сыро, но артрит вел себя на редкость миролюбиво — так, легкая боль. По непонятной причине мальчик просил его не брать зонтик, но он настоял на своем. В общем, вечер удался. Даже плохой коньяк не мог его испортить. Что там ни говори, а Дюссандер лет десять не выбирался в гости.

За обедом он говорил о немецких писателях, о послевоенном восстановлении Германии, о своей работе на заводе «Эссен Мотор». Дик Боуден задал ему несколько толковых вопросов и как будто остался доволен услышанным. Моника Боуден выразила удивление тем, что он так поздно решился переехать в Америку, и Дюссандер, близоруко щурясь, поведал о смерти своей жены. Моника была само сочувствие.

И вот, они попивали отвратительный коньяк, когда Дик Боуден вдруг сказал:

— Может быть, я вторгаюсь в личное, тогда, мистер Денкер, пожалуйста, не отвечайте... но что, хотелось бы знать, вы делали во время войны?

Мальчик напрягся — впрочем, едва заметно.

Дюссандер улыбнулся и начал нашаривать на столе сигареты. Он их отлично видел, но важно было сыграть без единой ошибки. Моника подала ему пачку.

— Спасибо, дорогая. Вы замечательная хозяйка. Моя покойная жена и та могла бы вам позавидовать.

Польщенная Моника рассыпалась в благодарностях. Тодд глядел на нее волчонком.

— Нет, не вторгаетесь,— обратился Дюссандер к Боудену-старшему, закуривая.— С сорок третьего я, по возрасту, находился в резерве. В конце войны стали появляться надписи на стенах... кто-то высказывался по поводу Третьего рейха и его сумасшедших создателей. В частности, одного — главного — сумасшедшего.— Спичка догорела. Лицо Дюссандера было почти торжественным.— Многие испытали облегчение, видя, как все оборачивается против Гитлера. Огромное облегчение.— Тут он обезоруживающе улыбнулся. Следующую фразу он адресовал непосредственно Дику Боудену — как мужчина мужчине.— Хотя никто, сами понимаете, не афишировал своих чувств.

— Ну еще бы,— со знанием дела сказал Боуден-старший.

— Да, не афишировал,— печально повторил Дюссандер.— Помню, как-то мы своей компанией, четверо или пятеро близких друзей, сидели в кабачке после работы. Тогда уже случались перебои со шнапсом и даже пивом, но в тот вечер было и то и другое. Наша дружба прошла испытание временем. И все же когда Ганс Хасслер заметил вскользь, что фюрера, вероятно, ввели в заблуждение, посоветовав ему открыть русский фронт, я сказал: «Побойся Бога, что ты говоришь!» Бедный Ганс побледнел и быстро сменил тему. Через три дня он исчез. Больше я его не видел, и остальные, по-моему, тоже.

— Какой ужас! — прошептала Моника.— Еще коньячку, мистер Денкер?

— Нет, нет, спасибо,— улыбнулся тот.— Хорошего понемножку, как говаривала моя теща.

Тодд нахмурился.

— Вы думаете, его отправили в лагерь? — подал голос Боуден-старший.— Вашего... Хесслера?

— Хасслера,— деликатно поправил Дюссандер. И помрачнел.— Многих постигла эта участь. Лагеря... позорная страница Германии, за которую наш народ будет казниться тысячу лет. Вот оно, духовное наследие, оставленное Гитлером.

— Ну, это уже вы чересчур,— заметил Дик Боуден, закуривая трубку и выпуская ароматное облачко.— Насколько мне известно, большинство немцев даже не подозревало о том, что происходит. В Аушвице, считали местные жители, работает колбасный завод.

— Фу, какая мерзость.— Взгляд Моники, обращенный к мужу, призывал его закрыть тему.— Вы любите запах табака? — улыбнулась она гостю.— Я обожаю этот запах!

— Я тоже...— поспешил согласиться тот, подавляя непреодолимое желание чихнуть.

Тут Боуден-старший перегнулся через стол и хлопнул сына по плечу. Тодд подскочил.

— Ты у нас сегодня тихий какой-то. Не заболел, а?

Тодд странно улыбнулся, одновременно и отцу и гостю.

— Да нет, пап. Просто я слышал про все это.

— Слышал?! — изумилась Моника.— Тодд, что ты...

— Мальчик сказал правду,— вступился за него Дюссандер.— В этом возрасте они могут себе позволить говорить правду. Нам, взрослым, это уже бывает не под силу, не правда ли, мистер Боуден?

Дик засмеялся, кивая в знак согласия.

— А что если я предложу Тодду прогуляться со мной до дома? — спросил Дюссандер.— Хотя ему, конечно, пора садиться за уроки.

— Тодд очень способный ученик,— словно по инерции похвалилась Моника, озадаченно глядя на сына.— Одни пятерки и четверки. В последней четверти он, правда, схватил тройку по французскому, но к марту, сказал, все будет тип-топ. Да, Тодд с мыса Код?

Ответом ей была все та же странная улыбка и легкий кивок.

— Зачем идти пешком,— возразил Дик Боуден.— Буду рад вас подбросить.

— Спасибо, но я предпочитаю пешие прогулки. Так как же?.. Нет, если не хочется...

— Ну что вы,— Тодд поднялся,— я с удовольствием.

Отец и мать дружно наградили его поощрительной улыбкой.

Почти всю дорогу старик и мальчик хранили молчание. Накрапывал дождик, и Дюссандер держал зонт над ними обоими. Поразительное дело, артрит по-прежнему не подавал голоса.

— Ты вроде моего артрита,— нарушил молчание Дюссандер.

— Чего? — задрал голову Тодд.

— Оба помалкиваете. Что это сегодня с тобой, мой мальчик? Переел?

— Ничего,— буркнул Тодд.

Они свернули на улочку, где жил старик.

— А что если я угадаю? — Дюссандер произнес это не без скрытого злорадства.— Когда ты зашел за мной, ты со страхом думал о том, как бы я не допустил за обедом какой-нибудь оплошности... не «раскололся» — так, кажется, вы выражаетесь? Но отступать было поздно, все предлоги, почему я не могу к вам прийти, ты давно использовал. Теперь ты злишься, потому что вечер прошел гладко. Я угадал?

— Не все ли равно,— огрызнулся Тодд.

— А почему, собственно, он не должен был пройти гладко? — не отступал Дюссандер.— Тебя на свете не было, когда я играл и не в такие игры. Вообще, ты тоже молодец, умеешь хранить тайну. Что да, то да. Но и ты должен признать: сегодня я был хорош! Я просто очаровал твоих родителей. Очаровал!

И вдруг Тодда словно прорвало:

— Никто вас не просил!

Дюссандер остановился.

— Не просил? Вот как? А я думал, ты в этом заинтересован, мой мальчик. Вряд ли они теперь будут возражать против того, чтобы ты приходил ко мне «почитать».

— Разбежались! — в запальчивости выкрикнул Тодд.— Может, мне от вас ничего больше не нужно! Никто меня, между прочим, не заставляет торчать в вашей конуре и смотреть, как вы поддаете не хуже, чем алкаши на вокзале. Никто, понятно! — В его голосе, пронзительном, дрожащем, звучали истерические нотки.— Хочу — прихожу, не захочу — не приду.

— Не кричи. Мы не одни.

— А мне плевать! — с вызовом бросил Тодд и зашагал дальше, демонстративно избегая зонта.

— Ты прав, никто тебя не заставляет.— Дюссандер помедлил, а затем рискнул пустить пробный шар: — Не хочешь — не приходи. Я ведь могу пить и в одиночестве, мой мальчик. Могу, представь себе.

Тодд злобно посмотрел на него.

— Знаю, к чему вы клоните.

Дюссандер изобразил на лице улыбку.

— Все, разумеется, будет зависеть от тебя.

Они остановились перед цементной дорожкой, что вела к дому старика. Дюссандер нашаривал в кармане ключ. Артрит напомнил о себе мгновенной вспышкой в суставах и тут же затаился в ожидании. Дюссандер начинал догадываться, чего он ждет: он ждет, когда я останусь один, вот тут-то он и развернется.

— Между прочим...— начал Тодд, словно задыхаясь,— если б мои про вас узнали... если бы я им только рассказал, они бы плюнули вам в лицо... они бы вам так накостыляли...

Дюссандер в упор разглядывал мальчишку. Тодд — бледный, осунувшийся, с воспаленными от бессонницы глазами — выдержал его взгляд.

— Ну что ж, я бы скорее всего вызвал у них отвращение,— промолвил Дюссандер, хотя у него было такое чувство, что Боуден-старший сумел бы, вероятно, на какое-то время подавить в себе отвращение, хотя бы затем, чтобы задать ему несколько вопросов... вроде тех, которые ему задал Боуден-младший.— Да, отвращение. Но любопытно, какие чувства вызовет у них сообщение, что их сын, все эти восемь месяцев зная, кто я есть, не сказал никому ни слова?

Тодд молчал.

— Короче, захочешь — приходи,— равнодушно сказал Дюссандер,— а нет — сиди себе дома. Спокойной ночи, мой мальчик.

Он повернулся и пошел к дому. Тодд, потерявший дар речи, стоял под моросящим дождем и тупо смотрел ему вслед.

Март 1975

В тот день мальчик пришел раньше обычного, гораздо раньше, чем заканчивались занятия в школе. Дюссандер в кухне пил свое виски из щербатой пивной кружки, на ободке которой было написано: «Кофейку не желаете?» Он перенес кресло-качалку на кухню, и теперь он пил и качался, качался и пил, отбивая такт шлепанцами по линолеуму. Он уже, что называется, «плавал». Ночные кошмары давно его не мучили. Но сегодня приснилось что-то чудовищное. Такого еще не было. Он успел вскарабкаться до середины холма, когда *они* настигли его и поволокли вниз. Чего только с ним не проделывали! Он проснулся — точно по нему прошлась молотилка. Но на этот раз самообладание быстро к нему вернулось: он знал противоядие от ночных кошмаров.

Тодд ворвался в кухню — бледный, возбужденный, с перекошенным лицом. Дюссандер про себя отметил, как заметно мальчик похудел. Но, главное, глаза у него словно побелели от ненависти, и это не понравилось Дюссандеру.

— Сами заварили, теперь расхлебывайте! — с порога выкрикнул Тодд.

— Что я заварил? — осторожно спросил старик, внезапно догадываясь, в чем дело. Однако он не подал виду, даже когда Тодд с размаху обрушил на стол учебники. Какая-то книжка, скользнув по клеенке, шлепнулась на пол.

— Да, вы! — пронзительно крикнул Тодд.— А то кто же? Вы заварили эту кашу! Вы! — Щеки у него пошли пятнами.— И расхлебывать это придется вам, или я вам устрою! Вы у меня тогда попляшете!

— Я готов тебе помочь,— спокойно промолвил Дюссандер. Он вдруг заметил, что скрестил руки на груди, в точности как когда-то, его лицо выражало озабоченность и дружеское участие. Ничего больше.— А что, собственно, случилось?

— Вот что! — Тодд швырнул в него распечатанный конверт — не такой уж легковесный прямоугольник плотной бумаги кольнул его в грудь и упал на колени. Первым побуждением Дюссандера было встать и залепить мальчишке пощечину, он даже сам поразился силе вспыхнувшего в нем гнева. В лице он, однако, не изменился... То был, наверно, школьный аттестат, не делавший, надо думать, школе большой чести. Нет, это был не аттестат, а не вполне обычный табель с оценками, озаглавленный «Прогресс в учебной четверти». Дюссандер хмыкнул. Из развернутого листка выпала бумажка с печатным текстом. Дюссандер временно отложил ее и пробежал глазами оценки.

— По-моему, ты увяз по самую макушку,— произнес он не без скрытого злорадства. Лишь две оценки в табеле — по английскому языку и по истории США — были удовлетворительные. Все остальные — двойки.

— Это не я,— сквозь зубы процедил Тодд.— Это вы! Вы и ваши рассказни! Они мне уже снятся. И учебник открываю, а в голове — они, только оглянулся — пора спать. Так кто виноват? Я, что ли? Я, да? Вы, может, оглохли?

— Я тебя хорошо слышу,— ответил Дюссандер и начал читать бумажку, выпавшую из табеля.

«Уважаемые мистер и миссис Боуден!

Настоящим уведомляю вас, что вы приглашаетесь для обсуждения успеваемости вашего сына во второй и третьей четверти. Поскольку еще недавно Тодд учился хорошо, его нынешние отметки наводят на мысль, что существует причина, отрицательно влияющая на его успеваемость. Откровенный разговор мог бы устранить эту причину.

Следует сказать, что, хотя Тодд закончил полугодие удовлетворительно, его отметки за год по ряду предметов могут оказаться ниже существующих требований. В этом случае придется подумать о летней школе, чтобы не потерять год и тем самым не осложнить еще больше создавшуюся ситуацию.

Следует также заметить, что Тодд находится в числе учеников, рекомендованных для получения среднего образования, однако его нынешняя успеваемость никак не отвечает требованиям колледжа. Она также не отвечает показателям, определяемым ежегодным тестированием.

Готов предварительно согласовать удобный день и час для нашей встречи. Ситуация такова, что чем раньше это произойдет, тем лучше. С уважением

Эдвард Фрэнч».

До чего профессионально эти американцы умеют пудрить мозги, подумал Дюссандер. Такое трогательное послание вместо одной фразы: ваш сын может вылететь из школы! Он вложил бумажку вместе с табелем в конверт и снова скрестил руки на груди. Никогда еще предчувствие катастрофы не говорило в нем так остро, и, несмотря на это, он отказывался признать, что это конец. Год назад, когда Тодд ворвался в его жизнь, он мог бы, наверное, признать это, год назад он был готов к катастрофе. Сейчас он не был к ней готов, и тем не менее проклятый мальчишка, судя по всему, устроит ему катастрофу.

— Кто этот Эдвард Фрэнч? Ваш директор?

— Кто, Калоша Эд? Какой он директор — классный наставник.

Своим прозвищем Эдвард Фрэнч был обязан привычке надевать в слякоть калоши. Еще он взял себе за правило появляться в школе исключительно в кедах, а их в его распоряжении было пять пар, от небесно-голубых до ядовито-желтых. Подобный демократизм, по его разумению, должен был расположить в его пользу добрую сотню учеников двенадцати-четырнадцати лет, которых он в поте лица своего наставлял на путь истинный.

— Школьный наставник? Это чем же он занимается?

— А то вы не поняли.— Тодд готов был сорваться в любую секунду.— Писульку-то его прочли! — Кружа по кухне, он метал в Дюссандера уничтожающие взгляды.— Так вот, я не допущу этой лажи. Не допущу, слышите! Ни в какую летнюю школу я не пойду. Летом родители улетают на Гавайи, и они берут меня с собой.— Он вдруг показал пальцем на конверт, лежавший на столе.— Знаете, что будет, если отец увидит его?

Дюссандер покачал головой.

— Он из меня все вытрясет. Все! Он поймет, что это все — вы! Больше не на кого подумать. Он меня так обработает, что я все выложу за милую душу. И тогда... тогда... я в дерьме.— Он уставился на Дюссандера ненавидящим взором.— Они начнут следить за мной. Или, еще хуже, потащат к врачу. А что, запросто! Но я не собираюсь сидеть в дерьме! И фиг я им пойду в эту долбаную летнюю школу!

— Если не в колонию,— сказал Дюссандер. Он сказал это вполголоса.

Тодд остановился как вкопанный. Лицо окаменело. И без того бледный, он стал просто белый. Казалось, он потерял дар речи.

— Что?.. Что вы сказали?

— Мой мальчик,— Дюссандер, похоже, сумел вооружиться терпением,— вот уже пять минут ты здесь рвешь и мечешь, а из-за чего? Из-за того, что *ты* попал в *беду*. ***Тебя*** могут вывести на чистую воду. ***Тебе*** грозят неприятности.— Видя, с каким вниманием — наконец-то — его слушают, Дюссандер, собираясь с мыслями, сделал несколько глотков.— Это крайне опасный подход, мой мальчик. И для тебя, и для меня. Ты бы подумал, чем это грозит *мне*. Сколько переживаний из-за какого-то табеля. Целая трагедия. Вот что такое твой табель.— Одним движением желтоватого пальца он сбросил конверт на пол.— А для меня это вопрос жизни.

Тодд молчал. Уставился на Дюссандера своими побелевшими полубезумными зрачками и молчал.

— Израильтян не смутит тот факт, что мне семьдесят шесть лет. У них, как ты знаешь, смертная казнь пока не вышла из моды, особенно охотно о ней вспоминают, когда речь заходит о бывшем нацисте в концлагере.

— Вы американский подданный,— возразил Тодд.— Америка вас не выдаст. Я сам читал, что если...

— Читал! Ты бы лучше внимательно слушал. Я не являюсь американским подданным. Мои документы оформляла «Коза Ностра». Я буду депортирован, и где бы ни приземлился самолет, у трапа меня будут поджидать агенты «Моссада».

— Вот и пусть они вас повесят,— пробормотал Тодд, сжимая кулаки.— Кретин, зачем я только с вами связался!

— Справедливо,— усмехнулся Дюссандер.— Но ты связался, и от этого никуда не уйти. Надо исходить из настоящего, мой мальчик, а не из всяких там «если бы да кабы». Пойми, мы повязаны одной веревочкой. Если ты вздумаешь, как говорится, заложить меня, можешь не сомневаться, я заложу тебя. Патэн — это семьсот тысяч погибших. В глазах мирового сообщества я преступник, чудовище... мясник, по выражению ваших борзописцев. А ты, дружок, мой пособник. Ты знал, кто я и по каким документам здесь живу, и не донес на меня властям. Так что, если меня схватят, весь мир узнает о тебе. Когда репортеры начнут тыкать мне в лицо микрофоны, я буду снова и снова повторять твое имя: «Тодд Боуден... да, вы правильно записали... Давно ли? Почти год. Он выпытывал у меня все подробности... лишь бы была чернуха... Да, это его выражение: „Была бы чернуха“...»

Тодд, казалось, перестал дышать. Кожа сделалась прозрачной. Дюссандер улыбнулся. Отхлебнул виски.

— Скорее всего тебя ждет тюрьма. Возможно, это будет называться иначе — исправительное учреждение или центр по коррекции самосознания... в общем, что-нибудь обтекаемое, вроде твоего «Прогресса в учебной четверти»...— при этих словах рот у него скривился в усмешке,— но как бы это место ни называлось, окна там будут в клеточку.

Тодд облизнул губы.

— Я скажу, что вы все врете. Что я только что узнал. Они поверят мне, а не вам. Можете не сомневаться.

Его возражения встречала все та же ироническая усмешка.

— Кто-то, кажется, сказал, что отец из него все вытрясет.

Тодд заговорил, медленно подбирая слова, как бывает, когда мысли формулируются на ходу.

— Может, не вытрясет. Может, я сразу и не расколюсь. Это же не окно разбить.

Дюссандер внутренне содрогнулся. То-то и оно: с учетом того, что поставлено на карту, мальчишка-то, пожалуй, сумеет переубедить отца. Да и какой отец перед лицом такого кошмара не даст себя переубедить?

— Ну, допустим. А книги, которые ты читал несчастному слепому мистеру Денкеру? Глаза у меня, конечно, уже не те, но в очках я пока разбираю печатный текст. И легко докажу это.

— Я скажу, что вы меня обманули!

— Да? Зачем, если не секрет?

— Чтобы... чтобы подружиться. У вас никого нет...

Да, подумал Дюссандер, это весьма похоже на правду. Скажи он об этом в самом начале, глядишь, тем бы дело и кончилось. Но сейчас он рассыпается на глазах. Сейчас он расползается по швам, как ношеное-переношеное пальто. Если кто-то выстрелит на улице из игрушечного пистолета, этот смельчак заверещит, как девчонка.

— Ты забыл про табель,— сказал Дюссандер.— Кто поверит, что «Робинзон Крузо» так сильно повлиял на твою успеваемость?

— Заткнитесь, слышите! Заткнитесь!

— Нет, мой мальчик,— сказал Дюссандер,— не заткнусь.— Он чиркнул спичкой о дверцу газовой духовки.— Не заткнусь, пока ты не поймешь простой вещи. Мы с тобой в одной связке — что вверх идти, что вниз.— Сквозь рассеивающийся сигаретный дым перед Тоддом раскачивалось нечто высохшее, морщинистое, жуткое, похожее на капюшон змеи.— Я потяну тебя за собой. Я тебе это обещаю. Если хоть что-то выплывет наружу — выплывет все. Все. Надеюсь, ты меня понял, мой мальчик?

Тодд молчал, поглядывая на него исподлобья.

— А теперь,— начал Дюссандер с видом человека, покончившего с неприятными формальностями,— теперь вопрос: как нам поступить в этой ситуации? Есть предложения?

— С табелем проблем не будет.— Тодд вынул из кармана куртки новый флакон с жидкостью для выведения чернил.— А как быть с чертовой писулькой, не знаю.

Дюссандер с одобрением посмотрел на флакон. Самому ему в свое время пришлось подделать не один счет, когда в разнарядках по ликвидации неполноценных рас замелькали цифры из области фантастики... чтобы не сказать, суперфантастики. Ну а если ближе к нынешней ситуации, то была история с описями почтовых вложений... длинные перечни военных трофеев. Раз в неделю он проверял ценные посылки для отправки в Берлин — их тогда увозили в специальных вагонах, напоминавших огромные сейфы на колесах. Сбоку на посылке приклеивался конверт, в конверт вкладывалась опись. Столько-то колец, ожерелий, колье, столько-то граммов золота. Дюссандер тоже собирал посылочку — ничего по-настоящему драгоценного, но и не совсем уж пустячки. Яшма. Турмалины. Опалы. Почти безукоризненный жемчуг. Алмазы. Ну а если в чьей-то описи его внимание привлекала особенно любопытная вещица, он подменял ее в посылке на свою и, сведя соответствующую надпись, вписывал новую. В этом искусстве он достиг известного мастерства... после войны, кстати, оно ему не раз пригодилось.

— Толково,— похвалил он Тодда.— Ну а записка эта...

Дюссандер привел в движение кресло-качалку, не забывая прикладываться к виски. Тодд, не говоря ни слова, поднял с пола конверт, сел к столу и, разложив табель, принялся за работу. Внешнее спокойствие Дюссандера передалось ему, и он трудился молча, сосредоточенно — образцовый американский подросток, всерьез делающий свое дело, будь то сеянье пшеницы, введение мяча в игру во время бейсбольного матча или подделка отметок в табеле.

Дюссандеру сзади хорошо видна была его шея, тронутая легким загаром. Старик переводил взгляд с этой узкой полоски на верхний ящичек кухонного стола, где лежали большие ножи. Один резкий удар — уж он-то бы не промахнулся,— и перебит позвоночник. Попробуй после этого поговори. Дюссандер горько улыбнулся. Исчезновение мальчишки повлечет за собой вопросы. Слишком много вопросов. И на некоторые придется отвечать ему, Дюссандеру. Даже если компрометирующее письмо — миф, он не может позволить себе роскошь свидания с государством.

Жаль, конечно.

— Скажи, этот Фрэнч,— Дюссандер постучал ногтем по конверту,— он сталкивался где-нибудь с твоими родителями?

— Кто? Калоша Эд? — презрительно переспросил Тодд.— Да кто его позовет туда, где бывают мои родители!

— А в школе? Он их раньше не вызывал?

— Вот еще. Раньше я был среди первых. Это сейчас...

— Тогда что он о них может знать? — Дюссандер в задумчивости рассматривал почти пустую кружку.— О тебе-то он знает предостаточно. Весь твой послужной список к его услугам. Начиная от детских баталий. А вот какой, интересно, он располагает информацией о твоих предках?

Тодд отложил ручку.

— Ну, он знает их имена — раз. Сколько им лет. Знает, что мы методисты. Вообще, про это в анкете писать необязательно, но мои всегда пишут. Мы и в церковь-то почти не ходим, но он так и так в курсе. И где отец работает — тоже... в анкете есть графа. Каждый год анкету надо заново заполнять. А больше там ничего и нет.

— Если бы твои родители плохо ладили, как думаешь, он бы знал об этом?

— То есть как это плохо ладили?

Дюссандер выплеснул в кружку остаток виски.

— Ругань. Ссоры. Отец спит на диване. Мать попивает.— Он оживился.— Назревает развод.

Тодд вскинулся:

— У нас ничего такого нет! Даже близко!

— Разумеется. Ну а если бы было? Если бы у вас в доме стояла пыль столбом?

Тодд, насупясь, ждал продолжения.

— Ты бы наверняка переживал за родителей,— развивал свою мысль Дюссандер.— Еще как переживал. Потерял бы аппетит, сон. Об учебе и говорить не приходится. Так ведь? Нелады в семье отражаются, увы, на детях.

В глазах Тодда забрезжило понимание... и что-то вроде молчаливой благодарности. Дюссандер это оценил.

— Что может быть печальнее, чем когда рушится семья,— патетически произнес он, снова наполняя кружку. Он был уже хорош.— Сколько таких драм, сам знаешь, нам показали по телевизору. Язвят, огрызаются, лгут. А сами страдают. Да, мой мальчик. Ты даже не представляешь, в каком аду живут твои папа и мама. Им даже некогда поинтересоваться, что там за неприятности у их единственного сына. Да и что они значат в сравнении с их неприятностями? Вот улягутся страсти, заживут рубцы — тогда и займутся сыном. Ну а пока с этим Фрэнчем пускай объяснится дедушка.

В продолжение монолога огонек в глазах Тодда разгорался все ярче.

— А что,— бормотал он,— может сработать, да, может, может срабо...— и вдруг оборвал себя на полуслове, и глаза вновь потухли.— Не сработает. Мы же ни капельки не похожи. Калошу не проведешь.

— Himmel! Gott im Himmel![1] — Дюссандер рывком вылез из кресла и прошествовал (не совсем твердо) к кладовке, откуда достал непочатую бутылку старого виски. Открутив колпачок, он широким движением плеснул в кружку.— Я думал, ты смышленый мальчик, а ты, оказывается, настоящий Dummkopf[2]. Давно ли внуки стали похожи на своих дедов? У меня волосы какие? Седые. А у тебя какие?..

Он подошел к мальчику и с неожиданной резвостью схватил его за вихры.

— Ладно вам! — огрызнулся Тодд, больше для виду.

— А вот глаза у нас обоих — голубые,— продолжал Дюссандер, опускаясь в кресло-качалку.— Ты мне расскажешь свою семейную хронику. Тетушки, дядюшки. С кем работает твой отец. Чем увлекается мать. Я запомню. Всю информацию. Через два дня я благополучно все забуду... память стала совсем дырявая... но на два дня меня хватит.— Он мрачно усмехнулся.— Людей Визенталя столько лет водил за нос, самому Гиммлеру очки втирал... уж как-нибудь одного наставника в начальных классах сумею обмануть. А не сумею — значит, зажился я на этом свете.

— Очень может быть,— раздумчиво сказал Тодд, и по его глазам старик понял, что он уже с ним внутренне согласен. Глаза Дюссандера радостно заблестели.

— Еще как будет!

И, видимо, представив себе, как это будет, он начал хохотать, раскачиваясь в кресле. Тодд несколько оторопел и даже испугался в первую секунду, а затем тоже прыснул. Так они на пару и хохотали — Дюссандер в своем кресле-качалке возле открытого окна, через которое в кухню врывался теплый калифорнийский ветер, и Тодд, поднявший стул на дыбы, так что спинка уперлась в эмалированную дверцу духовки, всю в угольно-черных штрихах, ни дать ни взять абстракция вдохновенного курильщика.

Когда дедушка Тодда Боудена переступил порог кабинета и закрыл за собой дверь из зернистого стекла, Калоша Эд предупредительно поднялся, однако не вышел из-за стола. Он помнил про свои кеды. Старички, они частенько не понимают, что это, может быть, психологический прием, рассчитанный на трудных подростков... старички встречают тебя по одежке, а до остального им и дела нет.

Орел, орел, подумал Фрэнч, разглядывая гостя. Седые волосы зачесаны назад. Костюм-

[1] Здесь: силы небесные! *(нем.)*.
[2] Дурень *(нем.)*.

тройка как из магазина. Сизоватого цвета галстук завязан безукоризненно. Черный зонт в левой руке (с воскресенья зарядил мелкий дождик) смотрится эдаким офицерским стеком. Пару лет назад Калоша Эд с женой, большие поклонники Дороти Сайерс, решили перечитать все, что вышло из-под ее пера. И вот сейчас он подумал: перед ним стоит живой лорд Питер Уимсей, словно сошедший со страниц высокочтимой писательницы. Да, семидесятипятилетний лорд Уимсей. Не забыть рассказать жене.

— Мистер Боуден,— почтительно сказал он и протянул руку.

— Очень рад,— сказал Боуден, в свою очередь протягивая руку.

Эдвард Фрэнч не стал сжимать ее изо всех сил, как он поступал, имея дело с отцами своих учеников. По тому, с какой опаской старик протянул руку, было очевидно, что у него артрит.

— Очень рад, мистер Фрэнч,— повторил Боуден и сел напротив, не забыв поддернуть на коленях идеально выглаженные брюки. Поставив зонт между колен, он оперся на него подбородком и сразу стал похож на очень старую и исключительно деликатную хищную птицу, пролетом приземлившуюся в кабинете школьного наставника. У него легкий акцент, подумал Фрэнч, но без характерной для английской аристократии и, в частности, для лорда Уимсея энергичной артикуляции, скорее континентальный, более плавный. Как, однако, Тодд похож на деда. Тот же нос. И глаза.

— Приятно, что вы смогли прийти,— сказал Фрэнч, садясь,— хотя в подобных случаях я рассчитываю, что мать или отец...

Заготовленный дебютный ход. За десять лет работы классным наставником Эдвард Фрэнч хорошо усвоил: если в школу приходит дедушка или кто-то из дальних родственников, значит, не все благополучно дома, и здесь почти наверняка кроется корень зла. В каком-то смысле Калоша Эд был даже рад подобному обороту. Неприятности в семье — само собой, не подарок, но, скажем, *наркотики* для мальчика с такими отличными мозгами, как у Тодда,— это было бы в сто раз хуже.

— Да, конечно...— Боудену удалось изобразить на лице одновременно скорбь и возмущение.— Мой сын и его жена... словом, я согласился пойти на этот разговор. Грустный разговор, мистер Фрэнч. Поверьте мне, Тодд — хороший мальчик. А оценки... это временное явление.

— Хотелось бы надеяться. Вы курите, мистер Боуден? В стенах школы это не одобряется, но мы сделаем так, что никто не узнает.

— Благодарю.

Мистер Боуден достал из внутреннего кармана мятую пачку «Кэмела», сунул в рот одну из двух оставшихся сигарет, оторвал от картонки спичку, чиркнул ею о каблук, закурил. После первой затяжки он глухо, по-стариковски, прокашлялся, загасил в воздухе спичку и положил обгоревший черенок в пепельницу, любезно ему подставленную. Эдвард Фрэнч наблюдал за этим ритуалом, столь же безукоризненным, как блестящие туфли гостя, точно завороженный.

— Не знаю даже, с чего начать,— сказал Боуден, пряча явную озабоченность за легким облачком дыма.

— Вы, главное, не волнуйтесь,— мягко сказал Фрэнч.— Уже то, что пришли вы, а не родители Тодда, наводит меня, знаете, на кое-какие мысли.

— Да, наверное. Тогда к делу.

Он скрестил на груди руки. Сигарета торчала между средним и указательным пальцами. Прямая спина, чуть приподнятый подбородок. В том, как он собрался одним волевым усилием, подумал Фрэнч, есть что-то от прусской решительности. Это напомнило ему трофейные фильмы, которые он видел в детстве.

— Между моим сыном и его женой возникли трения.— Боуден отчеканил каждое слово.— Я бы сказал, серьезные трения.— Глаза старика, ничуть не выцветшие, проследили за тем, как Калоша Эд раскрыл лежавшую перед ним папку. Внутри — листки. Не так уж много листков.

— Вы считаете, эти трения могут влиять на успеваемость Тодда?

Боуден приблизил лицо к Фрэнчу. Он смотрел ему прямо в глаза. После довольно значительной паузы он произнес:

— Его мать пьет.

И снова выпрямился.

— Да что вы?

— Представьте себе.— Боуден удрученно покивал головой.— Мальчик мне сам говорил, как он два раза застал ее на кухне, лежащей лицом на столе. Зная, как отец к этому отнесется, он сам разогрел в духовке обед и заставил ее выпить не одну чашку крепкого кофе, чтобы до возвращения Ричарда она хоть немного пришла в себя.

— Грустная история,— заметил Фрэнч, хотя ему доводилось выслушивать истории и погрустнее: про матерей, пристрастившихся к героину... про отцов, избивающих своих детей смертным боем.— А что, миссис Боуден не подумывала обратиться к врачу?

— Мальчик ее уговаривал, но... Мне кажется, она стыдится. Ей бы дать немного времени на разбег...— Он обозначил в воздухе необходимый временной отрезок, прочертив его курящейся сигаретой.— Вы, надеюсь, меня понимаете.

— Да-да,— кивнул Эдвард Фрэнч, втайне восхитившись замысловатым росчерком дыма.— А ваш сын... отец Тодда...

— Тоже хорош,— резко сказал Боуден.— Домой приходит поздно, обедают без него, даже вечером вдруг может куда-то сорваться... На все это посмотреть, так он женат не на Монике, а на своей работе. Я же вырос в твердом убеждении, что на первом месте для мужчины должна быть семья. А вы, мистер Фрэнч, что думаете?

— Совершенно с вами согласен,— с горячностью поддержал его Калоша Эд. Своего отца, ночного сторожа в лосанджелесском универмаге, он видел в детстве лишь по праздникам и воскресеньям.

— Вот вам другая сторона проблемы,— сказал Боуден.

Фрэнч глубокомысленно покивал.

— Ну а второй ваш сын? Э-э...— Он заглянул в папку.— Хэролд. Дядя Тодда.

— Хэрри и Дебора совсем недавно перебрались в Миннесоту,— сказал Боуден и не соврал.— Он получил место в медицинской школе при университете. Не так-то просто вдруг все бросить. Да и, признаться, было бы несправедливо просить вернуться.— На лице старика появилось выражение праведной убежденности.— У Хэрри замечательная семья.

— Понимаю.— Эдвард Фрэнч еще раз заглянул в свою папку, потом закрыл ее.— Мистер Боуден, спасибо вам за откровенность. Я тоже буду с вами откровенен.

— Благодарю,— сказал Боуден, весь сразу подбираясь.

— К сожалению, от нас не все зависит. В школе всего шесть наставников, и на каждого приходится по сто и более учеников. У моего нового коллеги Хэнберна — сто пятнадцать. А ведь они сейчас в том возрасте, когда так важно протянуть вовремя руку помощи.

— Золотые слова.— Боуден буквально расплющил в пепельнице сигарету.

— Проблем у нас хватает. Самые распространенные — наркотики и нелады в семье. По крайней мере, Тодд не балуется «травкой» или мескалином.

— Избави бог.

— Бывают случаи,— продолжал Эдвард Фрэнч,— когда мы просто бессильны. Ужасно, но факт. Как правило, из работы тяжелых жерновов, которые мы тут крутим, выгоду для себя извлекают как раз худшие из худших — хулиганы, лодыри, отсидчики. Увы, система дает сбой.

— Я ценю вашу откровенность.

— Но больно смотреть, когда жернова начинают перемалывать такого, как Тодд. Еще недавно он был в числе первых. Прекрасные отметки по языку. Явные литературные задатки, особенно удивительные в этом возрасте, когда для его сверстников культура начинается с «ящика» и кончается соседней киношкой. Я разговаривал с учительницей, у которой он в прошлом году писал сочинения. За двадцать лет, сказала она, ей не приходилось читать ничего подобного. Речь шла о контрольном сочинении за четверть — про немецкие концлагеря во время второй мировой войны. Она впервые тогда поставила пятерку с плюсом.

— Да,— сказал Боуден.— Очень хорошее сочинение.

— Ему, безусловно, даются природоведение, общественные дисциплины. Скорее всего, Тодд не поразит мир математическим открытием, но и тут дела у него обстояли вполне прилично... до этого года. *До* этого года. Вот так... в двух словах.

— Да.

— Мне *крайне* неприятно, мистер Боуден, что Тодд так резко покатил вниз. Что касается летней школы... что ж, я обещал говорить начистоту. Таким, как Тодд, она может принести больше вреда, чем пользы. Младшие классы в летней школе — это зверинец. Все виды обезьян, гиены, хохочущие с утра до вечера, ну и, для полного комплекта, несколько дятлов. Я думаю, не самая подходящая компания для вашего внука.

— Еще бы.

— Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Почему бы мистеру и миссис Боуден не обратиться в службу доверия? Разумеется, никто ничего не узнает. Там директором Гарри Акерман, мой старый друг. Только не надо, чтобы эту идею им подал Тодд. Я думаю, предложение должно исходить от вас.— Эдвард Фрэнч широко улыбнулся.— Кто знает, может быть, к июню все постепенно войдет в колею. Всякое бывает.

Мистера Боудена явно встревожил такой поворот.

— Предложить я, конечно, могу, но, боюсь, они мальчику это потом припомнят. Положение сейчас весьма шаткое. Возможен любой исход. А мальчик... он мне обещал всерьез налечь на предметы. Он сильно напуган плохим табелем.— Боуден как-то криво усмехнулся, и эта усмешка была Эдварду Фрэнчу непонятна.— Сильнее, чем вы думаете.

— Но...

— И мне они потом припомнят,— продолжал Боуден, не давая ему опомниться.— Еще как припомнят. Моника давно считает, что я сую свой нос куда не следует. Неужели бы я совал, посудите сами, когда бы не такая ситуация. Лучше всего, я думаю, оставить все как есть... до поры до времени.

— У меня в этих вопросах большой опыт,— сказал Фрэнч, кладя руки на папку с личным делом Тодда и глядя на Боудена более чем серьезно.— По-моему, им не обойтись без квалифицированного совета. Как вы понимаете, их семейные проблемы интересуют меня постольку, поскольку это влияет на успеваемость Тодда. А сейчас влияние налицо.

— А что если я выдвину контрпредложение? — сказал Боуден.— Если не ошибаюсь, у вас существует система оповещения родителей о плохих оценках их ребенка?

— Да,— осторожно подтвердил Калоша Эд.— Карточки, подытоживающие прогресс неуспевающих. Сами ребята их называют завальными карточками. Такая карточка дается в том случае, когда по какому-то предмету итоговая оценка — два либо единица.

— Прекрасно,— сказал Боуден.— А теперь мое предложение: если мальчик получит одну такую карточку... хотя бы одну,— он поднял вверх скрюченный палец,— я выйду с вашим предложением. Более того. Если мальчик получит такую завальную карточку в апреле...

— Вообще-то, мы их даем в мае.

— ...в этом случае я гарантирую, что они примут ваше предложение. Их, право же, волнует судьба сына, мистер Фрэнч. Но в настоящий момент они так увязли в собственных делах, что...— Он только рукой махнул.

— Понимаю.

— Давайте же дадим им срок во всем разобраться. Пусть сами вытащат себя из болота... это будет по-нашему, по-американски, не правда ли?

— Пожалуй,— после секундного раздумья сказал Эдвард Фрэнч. И, посмотрев на стенные часы, которые напомнили ему о предстоящем через пять минут свидании с очередным родителем, он поспешил добавить: — Что ж, договорились.

Он и Боуден встали почти одновременно. Пожимая старику руку, Фрэнч не забыл про его артрит.

— Но должен вас предупредить, мистер Боуден, шансы наверстать за какой-нибудь месяц то, что было упущено почти за полгода, прямо скажем, невелики. Тут нужно горы своротить. Так что от данного сегодня обещания вам все равно не уйти.

— Да? — только и сказал Боуден, сопровождая вопрос загадочной усмешкой.

В продолжение всего разговора что-то все время смущало Эдварда Фрэнча, но что именно, он понял только за завтраком, в школьном буфете, через час с лишним после того, как «лорд Питер» покинул его кабинет, элегантно зажав под мышкой свой черный зонт.

Калоша Эд беседовал с дедушкой Тодда минут пятнадцать, а то и двадцать, и, кажется, ни разу за все это время старик не назвал своего внука по имени.

Через пятнадцать минут после конца занятий Тодд, бросив велосипед у дома, одним махом взбежал по ступенькам знакомого крыльца. Он отпер дверь своим ключом и сразу направился в залитую солнцем кухню. Лицо Тодда как будто тоже озарял свет надежды, но свет этот пробивался сквозь мрак отчаяния. Он остановился на пороге, с трудом переводя дыхание, в горле ком, живот свело... а Дюссандер — этот как ни в чем не бывало раскачивался в своем кресле, потягивая доброе старое виски. Он был все еще в костюме-тройке, разве только чуть расслабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Его глаза, глаза ящерицы, смотрели на мальчика, ничего не выражая.

— Ну? — наконец выдавил из себя Тодд.

Дюссандер не спешил удовлетворить его любопытство, и эти секунды казались Тодду вечностью. Но вот старик поставил кружку и сказал:

— Этот болван всему поверил.

У Тодда вырвался вздох облегчения. А Дюссандер уже продолжал:

— Он предложил, чтобы твои родители походили на консультации в службу доверия. Он, собственно, настаивал на этом.

— Ну, знаете!.. А вы... вы что... что вы ему?

— Все решали секунды,— сказал Дюссандер.— Но я вроде той девочки из сказки, которая, чем серьезней момент, тем смелее на выдумки. Я пообещал вашему Фрэнчу, что, если в мае ты получишь хоть одну завальную карточку, твои родители непременно воспользуются его предложением.

Кровь отхлынула от лица Тодда.

— Да вы что! — вырвалось у него.— Да я *уже* схватил две пары по алгебре и одну по истории! — У него выступил пот на лбу.— Сегодня писали контрольную по французскому... тоже будет пара, и думать нечего. Весь урок думал, как вы там с Калошей Эдом... обработаете его, не обработаете... Обработали, называется! — воскликнул он горько.— Ни одной завальной карточки! Да я нахватаю их штук пять или шесть!

— Это максимум, что я мог сделать, не вызвав подозрений,— заметил Дюссандер.— Ваш Фрэнч хоть и болван, но свое возьмет. Если ты не возьмешь свое.

— Чего-чего? — Тодд, с перекошенным от злобы лицом, готов был наброситься на старика.

— Будешь работать. Эти четыре недели ты будешь работать как зверь. В понедельник ты пойдешь ко всем учителям и извинишься за наплевательское отношение к их предметам. А еще...

— Это не поможет,— перебил его Тодд.— Вы не врубились. По природоведению и истории они ушли, считай, недель на пять. По алгебре — вообще на десять.

— И тем не менее.— Дюссандер подлил себе виски.

— Смотрите, какой умник выискался! — заорал на него Тодд.— Нашли кому приказывать. Не то времечко, понятно?! — Он вдруг перешел на издевательский шепот.— Самое страшное оружие теперь у вас — морилка для крыс... вы, дерьмо засохшее, сморчок вонючий!

— Вот что я тебе скажу, сопляк,— тихо произнес Дюссандер.

Тодд дернулся ему навстречу.

— До сегодняшнего дня,— продолжал тот, отчеканивая каждое слово,— у тебя еще была возможность, весьма призрачная возможность выдать меня, а самому остаться чистым. Хотя при таких нервишках вряд ли бы ты справился с этой задачей, но допустим. Теоретически это было возможно. Но сейчас все изменилось. Сегодня я выступил в роли твоего дедушки, некоего Виктора Боудена. Любому человеку понятно, что это было сделано — как в подобных случаях выражаются? — с твоего попущения. Если сейчас все выплывет наружу, тебе не отмыться. Крыть будет нечем. Сегодня я постарался отрезать тебе пути к отступлению.

— Моя бы воля...

— *Твоя воля?!* — загремел Дюссандер.— Кому есть дело до твоей воли! Плюнуть и растереть! От тебя требуется одно: осознать, в каком положении мы оказались!

— Я осознаю,— пробормотал Тодд, до боли сжимая кулаки; он не привык, чтобы на него кричали. Когда он их разожмет, на ладонях останутся кровавые лунки. Могло быть и хуже, если бы в последние месяцы он постоянно не грыз ногти.

— Вот и отлично. Тогда ты перед всеми извинишься и будешь заниматься. Каждую свободную минуту. На переменах. В обед. После школы. В выходные. Будешь приходить сюда и заниматься.

— Только не сюда,— живо отозвался Тодд.— Дома.

— Нет. Дома ты витаешь в облаках. Здесь, если понадобится, я буду стоять над тобой и контролировать каждый твой шаг. Задавать вопросы. Проверять домашние задания. Тогда я смогу соблюсти собственный интерес.

— Вы не заставите меня насильно приходить сюда.

Дюссандер отхлебнул из кружки.

— Тут ты прав. Тогда все пойдет по-старому. Ты завалишь экзамены. Я должен буду выполнять свое обещание. Поскольку я его не выполню, Калоша Эд позвонит твоим родителям. Выяснится, по чьей просьбе добрейший мистер Денкер выступил в роли самозваного дедушки. Выяснится про исправленные в табеле оценки. Выяснится...

— Хватит! Я буду приходить.

— Ты уже пришел. Начни с алгебры.

— А вот это видали! Сегодня только пятница!

— Отныне ты занимаешься каждый день,— невозмутимо возразил Дюссандер.— Начни с алгебры.

Тодд встретился с ним взглядом на одну секунду — в следующую секунду он уже перебирал в своем ранце учебники,— но Дюссандер успел понять этот взгляд, в нем без труда читалось убийство. Не в переносном смысле — в прямом. Сколько лет прошло с тех пор, как он видел подобный взгляд — тяжелый, полный ненависти, словно бы взвешивающий все «за» и «против»,— но такое не забывается. Вероятно, подобный взгляд был у него самого в тот день, когда перед ним так беззащитно смуглела полоска цыплячьей шеи Тодда... Жаль, не было под рукой зеркала.

Да, я должен блюсти собственный интерес, повторил он про себя, сам удивляясь этой мысли. *Его неприятности ударят прежде всего по мне.*

Май 1975

— Итак,— сказал Дюссандер при виде Тодда, наливая в пивную кружку любимый свой напиток,— задержанный освобожден из-под стражи. С каким напутствием? — Старик был в халате и шерстяных носках. В них можно запросто поскользнуться, подумал Тодд. Он перевел взгляд на бутылку — Дюссандер хорошо поработал, содержимого оставалось на три пальца.

— Ни одной пары, ни одной завальной карточки,— отчитался Тодд.— Если продолжать в том же духе, к концу четверти будут сплошные пятерки и четверки.

— Продолжим, продолжим. За этим я как-нибудь прослежу.— Он выпил залпом и снова налил.— Надо бы это дело отметить.— Язык у него слегка заплетался; другой бы не заметил, но Тодду сразу было понятно, что старый пьянчужка здорово перебрал. Значит, сегодня. Сегодня или никогда.

Тодд был само спокойствие.

— Свиньи пускай отмечают,— сказал он.

— Я жду посыльного с белугой и трюфелями,— Дюссандер сделал вид, что пропустил выпад мальчишки мимо ушей,— но сейчас, сам знаешь, ни на кого нельзя положиться. Не изволите ли пока закусить крэкерами с плавленым сыром?

— Ладно. Черт с вами.

Дюссандер неловко встал, ударившись коленом о ножку стола, и, поморщившись, заковылял к холодильнику.

— Прошу,— сказал он, ставя перед мальчиком еду.— Все свежеотравленное.— Он осклабился беззубым ртом. Тодду не понравилось, что старик не вставил искусственную челюсть, но он все-таки улыбнулся в ответ.

— Что это ты такой тихий? — удивился Дюссандер.— На твоем месте я бы колесом ходил.

— Никак в себя не приду,— ответил Тодд и надкусил крэкер. Он давно перестал отказываться в этом доме от еды. Старик скорее всего догадался, что никакого разоблачительного письма не существует, но не станет же он, в самом деле, травить Тодда, не будучи в этом уверен на все сто.

— О чем поговорим? — спросил Дюссандер.— Один вечер, свободный от занятий. Ну как? — Когда старик напивался, вдруг вылезал его акцент, который обычно раздражал Тодда. Сейчас ему было безразлично. Сейчас ему все было безразлично. Кроме одного — спокойствия. Он посмотрел на свои руки: нет, не дрожат.

— Мне как-то без разницы,— ответил он.— О чем хотите.

— Ну, скажем, о мыле, которое мы делали? Об экспериментах в области гомосексуальных наклонностей? Могу рассказать, как я чудом спасся в Берлине, куда я имел глупость приехать.

— О чем хотите,— повторил Тодд.— Мне правда без разницы.

— Ты явно не в настроении.— Дюссандер постоял в раздумье и направился к двери, что вела в погреб. Шерстяные носки шаркали по линолеуму.— Расскажу-ка я тебе, пожалуй, историю про старика, который боялся.

Он открыл дверь в погреб. К Тодду была обращена его спина. Тодд неслышно встал.

— Старик боялся одного мальчика,— продолжал Дюссандер,— ставшего, в каком-то смысле, его другом. Смышленый был мальчик. Мама про него говорила «способный ученик», и старику уже представилась возможность убедиться в том, какой он способный... хотя и в несколько ином разрезе.

Пока Дюссандер возился с выключателем устаревшего образца, Тодд приближался сзади, бесшумно скользя по линолеуму, избегая мест, где могла скрипнуть половица. Он знал эту кухню, как свою собственную. Если не лучше.

— Поначалу мальчик не был его другом.— Дюссандер кое-как одержал верх над выключателем и с осторожностью алкоголика со стажем спустился на одну ступеньку.— И старик поначалу сильно недолюбливал мальчика. Но постепенно... постепенно он стал находить определенное удовольствие в его компании, хотя до любви тут еще было далеко.— Держась рукой за поручень, он высматривал что-то на полке. Тодд уже стоял сзади, по-прежнему сохраняя спокойствие,— пожалуй, в эти секунды правильнее было бы сказать: ледяное спокойствие,— и мысленно прикидывал, как он его сейчас изо всех сил толкнет в спину. Впрочем, стоило дождаться момента, когда тот наклонится вперед.

— Старик находил удовольствие в его компании, и объяснялось это, вероятно, чувством равенства,— вслух рассуждал Дюссандер.— Видишь ли, жизнь одного была в руках другого. Каждый мог выдать чужой секрет. Но со временем... со временем старик все больше убеждался в том, что ситуация меняется. Да-да. Ситуация выходила из-под его контроля, все уже зависело от мальчика — от его отчаяния... или сообразительности. И однажды, среди долгой бессонной ночи, старик подумал о том, что неплохо было бы чем-то поприжать мальчика. Для собственной безопасности.

Дюссандер отпустил поручень и весь подался вперед, но Тодд не шелохнулся. Лед спокойствия таял в его жилах, и уже накатывала горячая волна растерянности и гнева. Между тем Дюссандер нашел то, что искал, и в этот момент Тодд с омерзением подумал: ну и запах... более зловонного подвала, наверно, не бывает. Пахло мертвечиной.

— И тогда старик слез с кровати — что значит сон для старого человека? — и примостился за тесной конторкой. Он сидел и думал о том, как он хитро вовлек мальчика в свои преступления, за которые мальчик грозил ему, старику, расправой. Он сидел и думал о том, какие усилия, почти нечеловеческие, пришлось мальчику приложить, чтобы выправить положение в школе. И что теперь, когда он его выправил, старик для него — ненужная обуза. Смерть старика принесла бы ему желанное освобождение.

Дюссандер обернулся, держа за горлышко бутылку старого виски.

— Я все слышал,— сказал он миролюбиво.— Как отодвинул стул, как поднялся. У тебя, ты знаешь, не получается ходить совершенно бесшумно. *Пока* не получается.

Тодд молчал.

— Итак! — Дюссандер поднялся на ступеньку и плотно прикрыл за собой дверь в по-

греб.— Старик все написал. От первого до последнего слова. К тому времени почти рассвело, ныли пальцы, сведенные проклятым артритом, и все же впервые за многие недели он чувствовал себя хорошо. Он чувствовал себя — в безопасности. Старик снова лег в кровать и спал до полудня. Еще немного, и он проспал бы свою любимую передачу «Больница для всех».

Дюссандер уселся в кресло-качалку, вооружился обшарпанным перочинным ножом и начал долго и нудно соскабливать сургуч, которым была запечатана бутылка.

— На следующий день старик надел свой лучший костюм и отправился в банк, где лежали его скромные сбережения. Банковский служащий внес полную ясность. Старик забронировал камеру в сейфе. Старику объяснили, что один ключ будет у него, другой в банке. Чтобы открыть камеру, понадобятся оба ключа. Воспользоваться *его* ключом можно будет лишь с его собственного письменного разрешения, заверенного у нотариуса. За одним исключением.— Дюссандер беззубо улыбнулся Тодду, чье лицо сейчас напоминало гипсовую маску.— Исключение — это смерть вкладчика.— Продолжая улыбаться, Дюссандер сложил перочинный нож и сунул в карман халата, после чего отвинтил на бутылке колпачок и плеснул в кружку порцию виски.

— Что тогда? — спросил Тодд охрипшим голосом.

— Тогда камеру откроют в присутствии банковского служащего и представителя налоговой инспекции. Сделают опись содержимого. В данном случае — один-единственный документ на двенадцати страницах. Обложению налогом не подлежит... хотя интерес безусловно представляет.

Пальцы мальчика сами сплелись намертво.

— Это невозможно,— произнес он с интонацией человека, на чьих глазах другой человек разгуливает по потолку,— вы... вы не могли это сделать.

— Мой мальчик,— участливо сказал Дюссандер,— я это сделал.

— А как же... я... вы...— И вдруг отчаянное: — Вы же *старый!* Старый, неужели непонятно?! Вы можете умереть! В любую минуту!!

Дюссандер поднялся. Он вытащил из шкафчика детский стаканчик. В таких когда-то продавали желе. На стаканчике — хоровод мультяшек, знакомых Тодду с детства. Тодд смотрел, как Дюссандер, словно священнодействуя, протирал стаканчик полотенцем. Как поставил перед ним. Как налил символическую дозу.

— Зачем это? — процедил Тодд.— Я не пью. Нашли себе собутыльника.

— Возьми. Есть повод, мой мальчик. Сегодня ты выпьешь.

Тодд, после долгой паузы, поднял стаканчик. Дюссандер весело чокнулся с ним своей грошовой керамической кружкой.

— Мой тост — за долгую жизнь! Твою и мою! Prosit! — Он осушил кружку одним залпом... и захохотал. Он раскачивался в кресле, топоча ногами в шерстяных носочках по линолеуму, и хохотал, хохотал — диковинный стервятник, утопающий в домашнем халате.

— Ненавижу,— прошептал Тодд.

И тут со стариком начался форменный припадок: он кашлял, хохотал, давился — все разом. Лицо сделалось багровым. В испуге Тодд вскочил и принялся стучать его по спине.

— Prosit,— повторил Дюссандер, прокашлявшись.— Да ты выпей. Хуже не будет.

Тодд последовал совету. Жидкость, напоминающая микстуру от кашля в ее худшем варианте, обожгла ему все внутри.

— И эту мерзость вы пьете?! — Его даже передернуло. Он поставил стаканчик.— Может, хватит, а? Заодно бы и курить бросили.

— Какая трогательная забота о моем здоровье.— Из кармана, в котором исчез складной нож, Дюссандер достал мятую пачку сигарет.— А я, мой мальчик, о твоем беспокоюсь. Как ни открою газеты — «Велосипедист сбит на оживленном перекрестке». Брось ты это дело. Ходи пешком. Или, как я,— автобусом.

— Катитесь вы со своим автобусом знаете куда...

— Знаю, мой мальчик,— Дюссандер засмеялся и плеснул себе еще виски,— только покатимся мы туда вместе.

Осенью 1977-го Тодд, к тому времени старшеклассник, вступил в стрелковый клуб. В тот год он прогремел в футбольном чемпионате, помог своей бейсбольной команде выиграть пять матчей из шести и при всем этом окончил колледж с третьим результатом в его истории. Он послал документы в университет Беркли и был принят с распростертыми объятьями.

Однажды, незадолго до окончания колледжа, на него вдруг нашло странное желание, столь же пугающее, сколь и необъяснимое. Он без особого труда подавил его в себе, и слава богу, но уже одно то, что подобная мысль могла возникнуть, встревожило его. А ведь жизнь, казалось бы, опять бежала по накатанным рельсам. Ее можно было сравнить с просторной светлой кухней Моники, где все блестело и где каждый агрегат исправно начинал работать, стоило только нажать на соответствующую кнопку.

В четверти мили от дома Боуденов проходило восьмирядное скоростное шоссе. К шоссе спускался косогор, поросший густым кустарником, словно созданным для засады. На Рождество отец подарил ему «винчестер» с оптическим прицелом. В часы пик, когда шоссе напоминало растревоженный муравейник, можно было спрятаться в кустарнике и... а что, очень даже просто...

— О Господи!

Тодд остановился на пороге кухни, как громом пораженный. Локти Дюссандера разъехались, голова лежала на столе, глаза закрыты, веки — цвета пурпурных астр.

— Дюссандер! — заорал Тодд, чувствуя во рту противный привкус страха.— Только посмей умереть, старый хрыч!

— Тише,— прошептал старик, не открывая глаз.— Соседи сбегутся...

Тодд бросился в прихожую, к телефону, да так и застыл с трубкой в руке. Мысль, что он может упустить из виду какую-нибудь мелочь, занозой застряла в мозгу. Но что? Как назло раскалывалась голова. Видит бог, он никогда не страдал забывчивостью, а тут... Он набрал три двойки. После первого же гудка в трубке прорезался голос:

— Санто-Донато, «скорая». Чем могу помочь?

— Меня зовут Тодд Боуден. Клермонт-стрит, 963. Скорее приезжайте.

— А что случилось, парень?

— Мой друг, мистер Дю...— Он прикусил губу до крови. *Дюссандер.* Еще секунда, и он бы назвал настоящее имя.

— Успокойся, парень, все будет хорошо. Давай еще разок попробуем.

— Мой друг, мистер Денкер,— сказал Тодд.— У него, кажется, сердечный приступ.

— Какие симптомы?

Тодд только начал объяснять, как его остановили. Машина, сказали, будет через десять-двадцать минут, в зависимости от дорожной ситуации. Тодд повесил трубку и закрыл глаза ладонями.

— Ну что, вызвал? — еле слышно спросил Дюссандер.

— Да! — заорал Тодд.— Вызвал, вызвал! А вы заткнитесь, если не хотите сразу подохнуть!

Все, сказал он себе. Все, Тодд с мыса Код, спокуха. Как будто это нас не колышет. А сейчас самое трудное. Звонок домой. Он набрал номер.

— Аллё? — раздался в трубке вкрадчивый голос Моники. В эту секунду он был готов придушить ее.

— Мамочка, это я. Дай-ка мне отца, только быстро.

Он сто лет не называл ее мамочкой. Это должно было ее сразу насторожить... и насторожило.

— А что такое? Что-нибудь случилось, Тодд?

— Дай мне его!

— Но...

В трубке загромыхало. Мать что-то говорила отцу. Тодд собрался.

— Пап, мистер Денкер... у него, наверно, сердечный приступ... то есть наверняка.

— Господи! — Голос отца отдалился — это он повторял информацию жене.— Он жив? Или уже...

— Жив. Он в сознании.

— Ну, слава богу. Вызови «скорую».

— Уже.

— Три двойки?

— Да. Они скоро будут, только... я немного испугался, пап. Если бы ты...

— Какой разговор. Через пять минут приеду.

Там еще что-то говорила Моника, но отец повесил трубку.

Пять минут. Пять минут на все. Вспоминай, не забыл ли ты чего. Почему я должен был что-то забыть? Это все нервишки. Дурак, на кой ты позвонил отцу? Первое, что пришло в голову. Ладно, проехали. А что тебе *не* пришло в голову? Что ты...

— Кретин! — внезапно взвыл он и кинулся обратно в кухню. Голова старика по-прежнему лежала на столе, полуоткрытые глаза застил туман.

— Дюссандер! — Тодд грубо встряхнул его, старик застонал.— Эй, слышишь! Слышишь, сукин ты сын!

— Что? «Скорая»?

— Письмо! Где это чертово письмо?!

— Письмо... какое письмо?..

— Вы позвонили, сказали, что вам плохо, сказали — передай своим, что я получил важное письмо...— У Тодда упало сердце.— Я ляпнул, что письмо из Германии... О, ч-черт!

— Письмо.— Дюссандер с трудом приподнял голову. По лицу разлилась мертвенная желтизна, одни глаза голубели.— От Вилли. Вилли Франкель. Дорогой... дорогой мой Вилли...

Тодд глянул на часы: две минуты долой. За пять минут отец, конечно, не доберется, но, как ни крути, приедет он быстро. Вот именно — быстро. Все происходит слишком быстро.

— Так, годится. Я вам читал письмо от Вилли, вы разволновались, схватило сердце. Хорошо. Где оно?

Дюссандер тупо глядел на него.

— Где письмо, я спрашиваю?

— Какое письмо? — из своего тумана недоумевал Дюссандер. Тодд едва удержался от того, чтобы не придушить старого пьянчужку.

— Которое я вам читал! От Вилли Как-его-там! Где оно?

Оба уставились на стол, словно ожидая, что вот сейчас письмо материализуется.

— Наверху,— наконец выговорил Дюссандер.— В комоде. Третий ящик. Маленькая такая шкатулка. Разобьешь... я потерял ключ. Там старые письма. Без подписи, без даты. Все на немецком. Что-нибудь выберешь. Иди...

— Совсем, что ли, рехнулись?! — в бешенстве заорал Тодд.— Я ж не понимаю по-немецки! Как я мог читать вам его, дурья башка!

— Почему Вилли должен был писать по-английски? — заупрямился Дюссандер.— *Ты* не понимаешь, а *я* понял. Ты, конечно, коверкал слова, но я догадался...

Прав, опять прав. Инфаркт, а голова варит лучше моей. Тодд рванулся к лестнице. Он притормозил в прихожей ровно на одну секунду, прислушиваясь, не подъезжает ли отцовский «порш». Не слыхать. Но время уже взяло его в тиски: пять минут долой.

Осилив лестницу единым махом, он ворвался в спальню старика. Он никогда здесь не был — зачем? — и теперь обводил обезумевшим взглядом незнакомую территорию. Вот он, комод. Дешевка в стиле, который отец называет «комиссионным модерном». Упав на колени перед комодом, Тодд рванул на себя третий ящик сверху. Ящик, вылезая наполовину, скособочился и намертво застрял.

— Вот гад,— процедил Тодд сквозь зубы.— Ну, я тебя сейчас...

Он дернул с такой силой, что едва не опрокинул на себя комод. Ящик с треском выскочил из пазов. Носки, белье, носовые платки разлетелись веером. Он разворошил остатки барахла и наткнулся на деревянную шкатулку. Он попытался открыть ее. Как же. Ну да, она и должна быть заперта. Такой нынче день — все заперто.

Он затолкал вещи в ящик комода. На этот раз ящик отказывался входить обратно в пазы. Обливаясь потом, Тодд дергал его во все стороны. Наконец-то. Время, время!

Он огляделся и в следующее мгновение что было мочи шарахнул шкатулку о стойку кровати. Дикая боль в руках вызвала у него лишь брезгливую усмешку. Замок был цел. Погнулся, но не более того. Еще один мощный удар. От стойки отлетел кусок дерева, но замок не поддался. Тодд издал вопль, похожий на смех сумасшедшего, и, подняв шкатулку над головой, с сокрушительной силой обрушил ее на другую стойку кровати. Замок отлетел.

Он откинул крышку, и в этот момент по окну мазнули автомобильные фары.

Он перетряхивал содержимое шкатулки. Открытки. Медальон. Многократно сложенная карточка женщины в черных кружевных подвязках. Пожелтевший счет. Документы на разных лиц. Пустой бумажник. И — на самом дне — письма.

Свет от фар сделался ярче. Он услышал характерный звук «поршевского» двигателя. Звук нарастал... и вдруг заглох.

Тодд схватил три листка стандартной бумаги, исписанные с обеих сторон убористым готическим почерком, и выскочил из спальни. Уже у лестницы он сообразил, что на кровати осталась раскуроченная шкатулка. Он метнулся назад.

И опять проклятый ящик застрял на полдороге.

Он услышал, как открылась и захлопнулась дверца «порша».

У Тодда вырвался сдавленный стон. Он втиснул шкатулку в перекосившийся ящик и ударил по нему ногой. Ящик закрылся. Мгновение Тодд смотрел на него в каком-то оцепенении, а затем кинулся прочь. Он успел сбежать до середины лестницы, когда послышались быстрые шаги отца. Тодд лег животом на перила, беззвучно съехал вниз и — в кухню.

А в дверь уже барабанили.

— Тодд! Это я, открой!

А вдалеке уже звучала сирена «скорой помощи».

Дюссандер, кажется, снова впал в забытье.

— Сейчас, пап!

Он положил почтовые листки так, чтобы создавалось впечатление, будто их в спешке уронили на стол, и лишь затем пошел открывать дверь.

— Где он? — спросил на ходу отец.

— В кухне.

— Ты молодчина. Ты все сделал как надо.— Отец привлек его к себе, пытаясь грубоватыми мужскими объятиями скрыть некоторую растерянность.

— Надеюсь, что ничего не забыл,— скромно сказал Тодд и повел отца на кухню.

Боудены всей семьей навестили мистера Денкера в больнице. Тодд не знал, куда себя девать в продолжение всей этой тягомотины в стиле «вы-должны-беречь-себя» и «с-вашей-стороны-чрезвычайно-любезно», поэтому он был даже рад, когда его подозвал мужчина с соседней койки.

— Три минутки, молодой человек,— сказал мужчина извиняющимся тоном. Он лежал в гипсовом корсете, подвешенный на каких-то блоках и тросах.— Вы имеете дело с Моррисом Хейзелем, который сломал себе позвоночник.

— Неприятная штука,— сочувственно сказал Тодд.

— Неприятная штука, вы слышали? Молодой человек умеет выбирать деликатные выражения.

Тодд начал извиняться, но Хейзель с улыбкой остановил его жестом. У мужчины было бескровное измученное лицо, лицо старого человека, прикованного к больничной койке и готового к любым поворотам в своей жизни... а в основном малоприятным. В этом смысле, подумал Тодд, он и Дюссандер — два сапога пара.

— Не надо,— сказал Моррис.— Не надо отвечать на мой выпад. Я вам чужой человек. Почему вы должны переживать из-за чужого человека?

— Никто из нас не остров в этом мире...— начал Тодд.

Моррис засмеялся.

— Молодой человек знает наизусть Донна! Кто бы мог подумать! Скажи, а как дела у твоего друга и моего соседа?

— Врачи говорят, для своего возраста он довольно быстро идет на поправку. Ему ведь уже восемьдесят.

— Это таки возраст,— согласился Моррис.— Он у тебя совсем не разговорчивый. Но из того, что он сказал, я так понял, что он натурализованный. Вроде меня. Сам я поляк. То есть я родился в Польше. В Радоме.

— Правда? — из вежливости спросил Тодд.

— Представь себе. Знаешь, как в Радоме называют канализационные крышки?

— Нет,— улыбнулся Тодд.

— Беретки,— засмеялся Моррис, а за ним и Тодд. Дюссандер покосился в их сторону и слегка нахмурился, но тут Моника отвлекла его внимание каким-то вопросом.

— Значит, твой друг натурализованный.

— Да,— сказал Тодд.— Он из Германии. Из Эссена. Знаете такой город?

— Вообще-то, я мало где бывал в Германии,— ответил Моррис.— Интересно, что он делал во время войны.

— Не знаю,— уклончиво сказал Тодд.

— Ну да. В общем, неважно. Война, когда это было. Скоро в Америке подрастет поколение, из которого кто-то, может быть, станет президентом, да-да, президентом, и он уже ничего не будет знать про ту войну. Он уже может спутать чудо-победу при Дюнкерке с переходом Ганнибала на слонах через Альпы.

— А вы воевали? — спросил Тодд.

— Можно сказать, что воевал... Да, в наше время не каждый молодой человек будет навещать старика... даже двух стариков, если со мной вместе.

Тодд скромно улыбнулся.

— Что-то я устал,— сказал Моррис.— Попробую поспать.

— Поправляйтесь.

Моррис благодарно кивнул и закрыл глаза. Когда Тодд подошел к постели Дюссандера, родители уже собирались откланяться, отец поминутно поглядывал на часы и ахал, что они нарушают больничный режим.

Хейзель проснулся среди ночи, едва сумев подавить в себе крик.

Теперь он знал. Теперь он точно знал, где и когда судьба свела его с тем, кто в эти минуты спал на соседней койке. Только в те времена его звали не Денкер. Отнюдь.

Он проснулся после чудовищного ночного кошмара. Кто-то им с Лидией дал «обезьянью лапку», и они загадали желание: разбогатеть. В комнате откуда ни возьмись вырос американский мальчик в форме «Гитлерюгенда». Он вручил Моррису телеграмму: ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ ОБЕ ВАШИ ДОЧЕРИ ПОГИБЛИ ТЧК КОНЦЛАГЕРЬ ПАТЭН ТЧК ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМЕ КОМЕНДАНТА ЛАГЕРЯ ТЧК ПРИМИТЕ ЧЕК СТО РЕЙХСМАРОК ТЧК ПОДПИСЬ ЛОРД-КАЗНАЧЕЙ АДОЛЬФ ГИТЛЕР.

Истошный вопль Лидии. Никогда не видевшая дочерей Морриса, она взмахнула «обезьяньей лапкой» и пожелала, чтобы им вернули жизнь. Комната погрузилась в кромешный мрак. И вдруг за дверью послышались шаги.

Моррис полкал на четвереньках в темноте, обдававшей запахами газа, гари и тлена. Он нашаривал «лапку». В запасе последнее желание. Он знал, чего он пожелает: чтобы кончился этот чудовищный сон. Чтобы не видеть своих дочерей, живых скелетов с провaленными глазницами, с номерами, чернильно горящими на худосочных ручонках.

Бум, бум, бум — в дверь.

Отчаянные, бесплодные поиски. Казалось, время остановилось. Но вот дверь за его спиной с треском распахнулась. *Не буду*, подумал он, *нет, я не буду смотреть. Я закрою глаза. Я лучше вырву их, чем посмотрю.*

Но он посмотрел. Он должен был посмотреть. Во сне было такое чувство, будто его голову кто-то насильно повернул.

Это не были его дочери; это был Денкер. Молодой, в эсэсовской форме, в лихо заломленной фуражке с «мертвой головой». Начищенные пуговицы слоано просвечивали тебя насквозь, сапоги блестели до рези в глазах.

И во сне этот Денкер ему сказал со своей холодной вкрадчивой улыбочкой: *Сядьте и расскажите все по порядку — мы же друзья, nein? Нам известно про золото, которое кое-кто припрятал. И про нелегальное курево. И что Шнайбель умер два дня назад вовсе не оттого, что отравился чем-то за ужином, а просто ему подложили в еду толченое стекло. Только не надо наивных слов о том, что вы ничего не знаете. А теперь рассказывайте. Все по порядку.*

И в темноте, задыхаясь от тошнотворных запахов, он начал рассказывать. Слова сами отскакивали от языка. Это была полубессвязная исповедь помешанного, в которой переплелись ложь и правда.

... Он проснулся — его всего колотило — и уставился на спящего соседа. Черный провал рта. Не то обеззубевший тигр, не то одряхлевший боевой слон, растерявший свои мощные бивни. Вышедший в тираж монстр.

— Боже мой, боже мой,— беззвучно шевелил губами Моррис Хейзель. По щекам потекли слезы.— Убийца моей жены и моих детей спит со мной рядом, о боже ж ты мой, спит со мной в одной палате...

А слезы все текли, слезы гнева и потрясения, горячие, обжигающие слезы.

Он лежал, не в силах унять дрожи, и ждал утра, но утро не приходило.

Дюссандера мучили кошмары.

Они обрушились на проволочное ограждение. Их были тысячи, если не миллионы. Они грудью бросились на сетку из колючей проволоки, убивавшей током на месте, и под этим напором сетка неумолимо заваливалась. Кое-где лопнувшая проволока уже змеилась по утрамбованной земле и плевалась голубыми разрядами. А толпы все прибывали. Безумец фюрер, неужели он полагал, что с *этим* можно будет раз и навсегда покончить? Им несть числа, они заполонили земной шар, и вот сейчас им нужен один человек — *он*.

— Эй! Просыпайтесь. Вы слышите меня, Дюссандер? Просыпайтесь.

Голос, казалось ему, звучал во сне.

Немецкая речь. Конечно, это сон. Леденящий душу голос. Скорей проснуться и стряхнуть наваждение. Усилием воли он вырвался из ночного кошмара.

Возле его койки на стуле, повернутом задом наперед, сидел мужчина.

— Просыпайтесь, вот так,— говорил он.

Молодой, не больше тридцати. Темные пытливые глаза за стеклами очков в простой железной оправе. Длинные волосы. В первую секунду Дюссандеру даже показалось, что это «его мальчик» устроил небольшой маскарад. Незнакомец был в немодном синем костюме, явно не рассчитанном на теплую калифорнийскую погоду. На лацкане пиджака — серебристый значок с желтой звездой. Серебро... из него делали стилеты, которые потом вонзали в сердце вампирам и оборотням.

— Вы это мне? — спросил Дюссандер по-немецки.

— А то кому же. Соседа вашего перевели. Ну что, окончательно проснулись?

— Да. Но вы меня с кем-то путаете. Меня зовут Артур Денкер. Вы, наверное, ошиблись палатой.

— Меня зовут Вайскопф. А вас — Курт Дюссандер. Бывший комендант Патэна.

— Вы в своем уме? Я переехал в Штаты после смерти жены. А до этого я...

— Да ладно вам,— остановили его жестом.— Сосед по палате еще не забыл ваше лицо. Вот *это* лицо.

Точно из воздуха, явилась фотокарточка. Одна из тех, что принес ему когда-то мальчик. Молодой Дюссандер в лихо заломленной фуражке за своим рабочим столом.

Дюссандер перешел на английский. Он говорил медленно, тщательно подбирая слова:

— Во время войны я был механиком. Мы изготавливали детали для грузовиков, для бронированных машин... Позже для танков. Резервная часть, в которой я находился, эпизодически участвовала в битве за Берлин. После войны я устроился на завод «Меншлер Мотор» в Эссене, пока...

— ...пока не пришла пора рвануть в Южную Америку. Со слитками золота — вот и коронки пригодились, со слитками серебра — и драгоценная оправа не пропала. Должен вам сказать, мистер Хейзель пережил довольно тяжелые минуты, когда осознал, с кем он лежит в одной палате. Зато теперь на душе у него гораздо легче. У него такое чувство, будто господь Бог в своей безграничной милости позволил ему сломать позвоночник, с тем чтобы помочь изловить одного из самых гнусных палачей, каких только знала история.

— Во время войны я был механиком...
— Да слышал, слышал. Первая же серьезная проверка покажет, что вы жили по подложным документам. Вы знаете это так же хорошо, как и я. Игра сделана.
— Мы изготовляли...
— Трупы, да. Учтите, власти оказывают нам полное содействие.
— ...детали для грузовиков и бронированных машин, а позже для...
— Не надоело еще? Может, хватит?
— Резервная часть, в которой я находился...
— Ну, как хотите. Мы еще увидимся. И очень скоро.
Вайскопф вышел из палаты. Его тень на стене, словно помедлив, выскользнула следом. Дюссандер закрыл глаза. Можно ли верить словам, что власти оказывают им полное содействие? Похоже на правду. Да и не все ли равно? Так или иначе, легальным путем или нелегально, но этот Вайскопф и компания выцарапают его во что бы то ни стало. Когда дело касается нацистов, они непримиримы. Когда дело касается лагерей, они фанатики.
Дюссандера колотила дрожь. Но он знал, что надо делать.

В субботу Боудены проснулись поздно. К половине десятого мужчины уселись за стол, каждый со своим чтивом, а Моника, словно досыпая на ходу, молча ставила перед ними омлет, сок, кофе.
Тодд читал научную фантастику, Дик штудировал журнал по архитектуре. В прихожей шлепнулась на пол газета, опущенная в щель почтальоном.
— Принести, пап?
— Я сам.
Прежде чем развернуть газету, Дик Боуден пригубил кофе — и тут же закашлялся. Моника поспешила на выручку.
Тодд, отвлекшись от романа, без особого интереса наблюдал, как Моника стучит отца по спине, но вдруг взгляд ее упал на первую страницу... и она застыла. Глаза полезли на лоб, грозя выскочить из орбит.
— Боже милостивый! — кое-как выдавил из себя Дик Боуден.
— Так ведь это... не может быть...— Моника прикусила язык и посмотрела на сына.— Солнышко, ты...
Отец тоже смотрел на сына.
Тодд поднялся с тревожным чувством.
— Что там?
— Мистер Денкер,— только и сказал Боуден-старший.
Тодд прочел заголовок и все понял. БЕГЛЫЙ НАЦИСТ КОНЧАЕТ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ В БОЛЬНИЦЕ САНТО-ДОНАТО. Ниже две фотографии бок о бок, хорошо известные Тодду. На первой Артур Денкер был лет на шесть моложе и, соответственно, живее. Его щелкнул какой-то уличный фотограф, и старик купил карточку, чтобы она, чего доброго, не попала не в те руки. На второй Курт Дюссандер в форме войск СС, в заломленной черной фуражке сидел за столом в своем кабинете в Патэне.
Публикация первой фотографии означала, что они уже побывали в его доме.
Тодд пробегал глазами газетный материал, строчки прыгали, качнулся пол.
Где-то далеко-далеко крик матери:
— Дик, держи его! Это обморок!
Это слово
(*обморокобморокобморок*)
слилось в одну тягучую цепочку. Он смутно почувствовал, как отец подхватил его, а затем — когда уже ничего не чувствуешь, ничего не слышишь.

Когда допрос кончился и этот тип оставил его в покое, Тодд вышел в сад, прихватив из дома ружейное масло и кой-какую ветошь. В гараже он взял свой «винчестер». Устроившись поудобней на скамейке, он переломил ствол и, то бормоча, то насвистывая мелодию, принялся тщательнейшим образом чистить ружейный механизм. В воздухе был разлит сладковатый аромат цветов. Но вот со смазкой покончено. С таким же успехом он мог это сделать в полной темноте. Мысли его были далеко. Только минут через пять до него вдруг дошло, что он зарядил винтовку. Охотиться сегодня он как будто не собирался — тогда зачем же? Он и сам не знал.
Знаешь, Тодд с мыса Код, все-то ты знаешь. Просто пришло твое время.
И тут к их дому подрулил желтенький «сааб». Человек, сидевший за рулем, показался Тодду знакомым, но только когда он сделал несколько шагов ему навстречу, в глаза бросились его небесно-голубые кеды. Привет из прошлого. К Тодду приближался Калоша Эд собственной персоной.

— Здравствуй, Тодд. Давненько не виделись.
Тодд прислонил «винчестер» к скамейке и обворожительно улыбнулся.
— Здравствуйте, мистер Фрэнч. Каким ветром вас занесло в нашу глушь?
— Родители твои дома?
— Да нет вроде. А вам они нужны?
— Н-нет,— сказал Эдвард Фрэнч после глубокомысленной паузы.— Пожалуй, нет. Пожалуй, лучше нам потолковать на пару. Для начала. Вдруг ты сумеешь мне все объяснить. Хотя я в этом сильно сомневаюсь.
Из кармана брюк он достал газетную вырезку. Тодд догадался, что́ это, раньше, чем увидел: второй раз за сегодняшний день перед ним предстал Дюссандер в двух своих ипостасях. Снимок, сделанный уличным фотографом, был обведен чернилами. Смысл овальной рамки прочитывался сразу: Калоша Эд узнал «дедушку» Тодда. И теперь горел желанием оповестить весь мир об этом. Родить на свет божий маленькую пухленькую сенсацию. Вот он — Калоша Эд, балабол и сукин сын, в небесно-голубых кедах. Лучше бы в белых тапочках.
Его сообщение, надо думать, привлечет к Тодду внимание полиции... хотя они и так не обошли его вниманием. Теперь это яснее ясного. До сегодняшнего дня он словно летел себе на воздушном шаре, беспечно поглядывая вниз, но вдруг оболочку пробила стальная стрела, и теперь он неотвратимо падает. Главная его промашка — телефонные звонки. Ах, как они его взяли на живца. Да чего там взяли — сам набросился. *Точно, звонили. Один-два раза в неделю.* Денкер говорил с ними по-немецки. Сказал и при этом подумал: пусть побегают с высунутыми языками по всему югу Калифорнии, пусть поищут недобитых нацистов. Как я их! Одного не учел — на телефонном узле они уже могли это проверить. Он, правда, не уверен в том, что телефонный узел регистрирует все звонки, но... взгляд у этой ищейки был какой-то подозрительный... Потом письмо. Зачем-то ляпнул, что в дом никто не мог залезть. Этот тип наверняка подумал: знать это может только тот, кто сам туда залезал... что он, кстати, и делал, три раза: первый — чтобы забрать письмо, и еще два — проверить, не осталось ли чего такого... Нет, не осталось. Эсэсовская форма исчезла. Четыре года как-никак прошло — в какой-то момент Дюссандер, видимо, смекнул, что лучше будет от нее избавиться.
Тодд перевел взгляд с газетной вырезки на Калошу Эда, но тот смотрел куда-то в сторону, на улицу, как будто там могло произойти что-нибудь необычное.
Этот тип, конечно, может его подозревать в чем-то, но из подозрений шубы не сошьешь. Разве что всплывет нечто такое, что связывало его и старика одной ниточкой.
Теперь всплывет, будь уверен. Потому что есть Калоша Эд. Стоит рядом — дурак в своих дурацких кедах. И зачем такой дурак живет на свете? Тодд потянулся к «винчестеру».
Калоша Эд и есть для них то самое недостающее звено. Все ясно, скажут они, старик и мальчик были сообщниками. И что тогда? Тогда суд. Отец, само собой, наймет лучших адвокатов, и те, естественно, помогут ему выкрутиться. Улики-то все больше косвенные. К тому же он произведет благоприятное впечатление на присяжных. Но что толку, если на дальнейшей жизни можно будет поставить крест. Газетчики разденут его и бросят у всех на виду — точь-в-точь как Дюссандер своих жертв в Патэне.
— Человек, изображенный на этом снимке, однажды переступил порог моего кабинета,— вдруг заговорил Эдвард Фрэнч, поворачиваясь к Тодду,— и назвался твоим дедушкой. Сейчас выясняется, что это давно разыскиваемый военный преступник.
— Да,— согласился Тодд. Его лицо ничего не выражало. Это было лицо манекена.
— Как это могло произойти? — Вероятно, Эдаард Фрэнч рассчитывал, что его вопрос будет подобен громовому раскату, однако в нем прозвучала растерянность и еще обида, обида человека, которого ни за что ни про что обманули.— Я тебя спрашиваю, Тодд.
— Сначала одно, потом другое,— сказал Тодд, поднимая «винчестер».— Так и произошло. Сначала одно... потом другое.— Большим пальцем он спустил предохранитель и вскинул винтовку.— Я понимаю, звучит глупо, но именно так все и произошло. Ни убавить, ни прибавить.
Зрачки Калоши Эда расширились. Он попятился.
— Тодд, что ты... не надо, Тодд. Давай поговорим. Давай обсудим и...
— Обсуждайте это вместе с вонючим фрицем на том свете,— сказал Тодд и нажал на спуск.
Выстрел эхом прокатился в безветренном горячем воздухе полудня. Эдварда Фрэнча отшвырнуло к «саабу». Нашаривая опору, он сорвал рукой «дворник». Несколько секунд он отупело его разглядывал, не замечая, как на водолазке растекается красное пятно; потом выронил и поднял глаза на Тодда.
— Норма,— прошептал он.
— Норма так норма,— сказал Тодд.— Тебе виднее, парень.— Вторым выстрелом он размозжил ему голову.
Калошу Эда развернуло к машине. Он слепо тыкался в закрытую дверцу и слабею-

щим голосом снова и снова повторял имя дочери. Третий выстрел, нацеленный в основание позвоночника, свалил его на землю. Он еще несколько раз дернулся и затих.

Школьный наставник мог бы, конечно, умереть и поспокойнее, подумал Тодд с нервным смешком. И тотчас мозг пронзило ледяной иглой. От боли он даже зажмурился.

Когда он снова открыл глаза, ему вдруг стало так хорошо, как не бывало много-много месяцев, а то и лет. Все тип-топ. Все в норме. Его лицо, еще минуту назад совершенно неживое, озарила какая-то первобытная радость.

В гараже он сложил в старый рюкзак патроны, четыреста с лишним патронов, все, что было в наличии. Когда он снова вышел в залитый солнцем сад, глаза его горели от радостного возбуждения, а на губах блуждала улыбка — так в предвкушении подарков улыбаются мальчишки на Рождество или в день своего рождения. Такая улыбка обычно предвещает пальбу из ракетниц после триумфальной победы, когда игроков выносят со стадиона на своих плечах ликующие болельщики. С такой улыбкой уходят на войну светловолосые парни в защитных касках.

— Я властелин мира! — выкрикнул он в высокое прозрачное небо и вскинул над головой винтовку обеими руками. А теперь — туда, на косогор, спускающийся к шоссе, туда, где лежит мощное дерево, словно созданное для засады.

Снайперам удалось снять его лишь пять часов спустя, когда почти стемнело.

Перевод с английского Сергея Таска



Петро Григоренко

ВОСПОМИНАНИЯ

Последние годы были у меня чрезвычайно напряженными и в служебном, и в гражданском отношении. Я все больше и больше постигал жизнь, все критичнее относился к действиям властей. И все труднее мне становилось не реагировать на беззакония и благоглупости властителей. Прошла вторая послевоенная (хрущевская) девальвация. Но если первая, открыто грабительская, не вызывала во мне возмущения, то заявление Хрущева, что во второй девальвации никто ничего не выиграл и никто не проиграл,— встречено внутренним протестом. Я понимал, что дело не так просто, как говорит Хрущев. Его уверение, что дело лишь в том, что уменьшилась масса денег в 10 раз, но покупательная способность не изменилась, так как в 10 же раз подешевели и товары,— лживо. Лжив и сам пример, приведенный Хрущевым, хотя внешне он и убедителен: коробка спичек стоила 10 копеек, теперь — 1 копейку. Но я обращаю внимание не на эту, показную сторону, а на то, что обеспечение новых денег золотом уменьшилось вдвое.

Пишу в журнал «Коммунист», прошу разъяснить. В ответ — нечто запутанное, с главным мотивом: «В социалистическом обществе золотое обеспечение не имеет значения. Деньги обеспечиваются всем достоянием Советского Союза».

Пишу в ответ:

«Если золотое обеспечение не имеет значения, то зачем его уменьшать. Оставили бы прежнее или, наоборот,— увеличили бы».

На это не отвечают. Напоминаю несколько раз — молчат. А между тем доходит реакция народа. Первыми заговорили наименее обеспеченные. Соседка-пенсионерка говорит:

— Петр Григорьевич, а эти деньги обманчивые. Раньше я на десятку день жила, а теперь с рублем в магазин идти нельзя...

В троллейбусе армянин на весь вагон кричит:

— Прахадимец! Коробка спичек — капэйка! Прахадимец! Разве чэловек спичками жывет! Устроил грабиловку, а спичками очи закрыть хочэт.

Жизнь подбрасывала и другие факты. На научной конференции ВВС выступает главный конструктор туполевского бюро. И о чем же он просит, он, человек, вхожий во все бюрократические инстанции? Помочь внедрить новое в промышленное производство. Он рассказывает о совершенно необходимом компьютере, который был спроектирован, разработан и построен на опытном производстве. Проверен в эксплуатации, надо запускать в серию, но невозможно. Чтобы пустить, нужно решение Совета Министров, а чтобы поставить этот вопрос на Совете Министров, нужен не только заказчик, нужен исполнитель, который бы письменно подтвердил, что он согласен принять такой заказ. «Но кто же,— говорит Архангельский,— согласится добровольно взять на себя обузу производить новое, непривычное. Ведь гораздо выгоднее производить старое, к чему производство уже приспособилось».

А вот еще пример.

Знакомились с образцами новой боевой техники. Среди них — средства связи. Спрашиваю у генерала, ведущего показ:

Продолжение. Начало см.: «Звезда», 1990, № 1—7.

— А как с этой техникой в США?
— Ну, вы знаете, что мы примерно на 15 лет отстаем от них во всех отношениях. С этой техникой примерно так же.
— Так что же мы секретим?
— А вот это именно и секретим. Кому же выгодно показывать свою отсталость?
— Так ведь американцы, поди, знают, как у нас обстоит дело с этой техникой.
— Американцы-то знают, да секретим-то мы ведь не от них, а от своих...

Теперь все оседало в душе моей и, накапливаясь, просилось на выход. Знакомых было много, и притом из разных социальных слоев: директора крупных предприятий, руководящие работники Госплана, руководители сельскохозяйственных органов, учителя, рядовые служащие, рабочие, колхозники... И у всех было недовольство, все рассказывали о фактах бесхозяйственности, беззакония, бюрократизма, глупости. Сказать же об этом было негде, и недовольство начало прорываться в простых разговорах. По поводу одного моего высказывания в большой компании жена сказала мне: «Ну, теперь жди доноса». А бывший при этом один из близких наших друзей заметил: «Донесут или нет — это вопрос второй, может, и не донесут, а вот слушать еще не готовы. Так перед кем же вы выступать хотите? Неужели думаете, что у нас есть более сознательные слои народа? Нет, на сегодня вас никто слушать не захочет».

Тогда никто на меня не донес. И это не мелочь. Я думал, если мои друзья готовы не донести, но не готовы слушать мои суждения, то в этом есть и моя вина. Видимо, о том же следует сказать мягче и доступнее, то есть используя привычный в советском обществе политический жаргон. Но пока что всякие политические разговоры я прекратил и пытался подавить сомнения и недовольства, загружаясь научной и учебной работой. Тем более что работы было более чем достаточно.

Особенно тяжелым был 1958/59 г. На меня было возложено руководство авторским коллективом основного теоретического труда академии «Общевойсковой бой». Большинство глав к моменту назначения меня руководителем было в состоянии провала. А срок окончания близок. Приходилось непрерывно работать с авторами. И свои четыре главы писать. И весь труд редактировать, приводить к единству содержания и стиля.

Одновременно велась подготовка к открытию кафедры военной кибернетики. Помощник министра обороны по радиоэлектронике Аксель Иванович Берг вызвал меня. Была длительная деловая беседа, в которой обсуждались основные направления деятельности кафедры и связанные с этим вопросы материально-технического обеспечения и подбора кадров. Потом нас принял министр обороны Маршал Советского Союза Малиновский Родион Яковлевич. Он официально предложил мне должность начальника кафедры. При этом разрешил подобрать нужных для кафедры людей во всех Вооруженных Силах, а если надо, то и из гражданских вузов. Работа кафедры, сказал он, должна начаться с будущего учебного года, но создавать ее надо немедленно. И эта работа легла на меня дополнительным, тяжелым и весьма ответственным грузом. Отнимала она уйму времени.

Но ведь основная работа НИО тоже продолжалась. И у меня оставалось очень мало времени на нее. Меня начала охватывать тревога за судьбу отдела. Как и куда пойдет он после моего ухода на кафедру? Отдел практически ведет Кирьян. Если бы можно было оставить Кирьяна, с тоской подумал я. Но куда там. Когда меня назначили на эту должность, мне было 45. За плечами боевой опыт, работа на больших штабных должностях, командование бригадой и дивизией, преподавательская работа. К тому же поддерживал меня Жадов.

А полковнику Кирьяну Михаилу Митрофановичу всего 40. И ничем, кроме роты, он не командовал. И заместителем в НИО немногим более двух лет.

Теперь нам предстояло разлучиться. И это его беспокоило не меньше, чем меня. Поводы только разные. Меня беспокоила судьба сделанного мною. А его, кроме того, и личная судьба. Придет новый начальник. И если он изберет иное направление работы, а это наиболее вероятно, то стычка неизбежна и Кирьяну придется уходить. О том, чтобы занять мою должность, он и не помышлял. Я же, наоборот, чем ближе подходило время к моему переходу на кафедру, тем упорнее думал об этом. Наконец поставил вопрос перед Курочкиным. Он коротко ответил:

— Не пропустят.

Но я был готов к такому ответу.

— Тогда мне придется отказаться от кафедры. Я не могу так — браться за организацию нового дела, а старое покидать на развал.

— Почему непременно развал?

— Новый человек — обязательно развал. В том же направлении может повести дело только подготовленный мною человек. Новый пойдет по линии наименьшего сопротивления. Контролировать других легче, чем работать самому. В общем, прошу доложить министру обороны, что я связываю назначение меня на кафедру с тем, назначат ли на мое место моего заместителя или нет. Если нет, буду считать, что не сумел его подготовить к замещению моей должности, и останусь, чтобы подготовить.

Курочкин сказал, что это бесполезно, и никаких обещаний не дал. Но когда нас с ним вызвали к министру, там дело прошло совсем просто. После разговора о работе будущей кафедры — министра она, очевидно, очень интересовала как инструмент резкого улучшения управления войсками,— Курочкин довольно небрежно и даже осуждающе кинул:

— А вот будущего начальника кафедры больше интересует не кафедра, а вопрос о том, кто после него будет назначен начальником НИО.

Малиновский вопросительно посмотрел на меня.

— Видите ли, товарищ Маршал Советского Союза, я не могу рассуждать так — после меня хоть потоп. В НИО произошел резкий поворот к работе. Его надо закрепить. Я к этому готовил человека, назначенного вашим приказом на должность заместителя. Я считаю, что он подготовился к занятию моей должности, и я прошу его и назначить.

— А какие возражения? — обратился он к Курочкину.

— Да, собственно, принципиальных нет. Молод. Звание слишком отстает от должностного. Должность — генерал-полковничья.

— Ну, молодость не порок. А звание в наших руках. А как его деловые и политические качества?

— Человек очень дельный, разумный. Политически вполне благонадежен.

— Ну и представляйте. Григоренко прав: заместители для того и существуют, чтобы перенимать должность на ходу. Плох тот начальник, который не способен подготовить себе смену.

Когда был объявлен приказ министра обороны о назначении Кирьяна, это вызвало фурор, особенно в том управлении Министерства обороны, где он работал. Все его товарищи по работе были поражены таким взлетом и решили, что, по-видимому, у него очень высокие связи. Но сам Кирьян, оказывается, знал все перипетии дела через своего приятеля — начальника отдела кадров академии. Как только приказ на него прибыл, он прибежал ко мне и со слезами на глазах благодарил. Я сказал, что хоть я и очень люблю его, но старался не ради него, а для пользы дела. И я не ошибся.

Пока я мог наблюдать за работой Михаила Митрофановича, мне ни разу не пришлось краснеть за него или быть лично неудовлетворенным. Он не только ничего не утратил из того, над чем трудились мы оба, но многое значительно развил и открыл ряд новых научных направлений. Во время работы на кафедре я постоянно контактировал с ним, и бывало, что он оказывался значительно дальновиднее меня.

Вспоминается, например, такой случай. Научно-исследовательский институт связи закончил разработку машины для автоматического кодирования текстов и переговоров. Приказом министра обороны войсковые испытания возлагались на Академию Фрунзе. Председателем приемной комиссии и одновременно руководителем испытания был назначен я. В это время на кафедре работал изобретатель-одиночка из НИИ. Он по собственной инициативе разрабатывал кодировочный прибор. Не встречая нигде поддержки, добрался в конце концов к нам. Работа нас заинтересовала, и мы оказали всю возможную помощь изобретателю. Настойчиво трудясь во внеурочное время, он к моменту упомянутых испытаний успел создать лабораторный образец (макет) прибора. Я решил поставить на испытание и этот образец.

И что же вы думаете? Лабораторный прибор проверялся во всех штабах четырех участвовавших в учениях дивизий. Не было зафиксировано ни одного перебоя. Ему не требовалось никакого времени на развертывание. Он просто подключался к радиостанции и работал на стоянке и на ходу — в танке, автомашине, бронетранспортере, просто в руках. Этот 3,5-килограммовый ящичек не стоило труда переносить на себе. В общем, ни у кого не могло возникнуть никакого сомнения в превосходстве маленького электронного прибора над громоздкой электромеханической машиной — ненадежной, медлительной, за время испытаний не давшей ни одного положительного результата и в конце концов окончательно выбывшей из строя. Несмотря на это, зам. начальника связи, отозвав меня в сторону, предложил сделку. Записать в акт, что кодировочная машина после устранения обнаруженных на испытаниях недостатков может быть принята на вооружение. И что одновременно комиссия рекомендует усилить работу по доведению до готовности электронного кодировочного прибора, который в лабораторном образце показал прекрасные результаты на учении.

Я, разумеется, категорически отверг это предложение. Согласиться на закупку для Вооруженных Сил никому не нужной груды металла я не мог. Но когда я рассказал об этом разговоре Михаилу Митрофановичу, он не одобрил мое решение. Он сказал, что связисты своего добьются и заодно угробят хороший прибор. Очень скоро его прогноз подтвердился. Инженера-изобретателя отчислили из института, где он работал, а на новом месте запретили работу не по профилю. Я в ответ показал прибор в работе всем командующим округами и министру обороны. Все командующие начали атаковать просьбами дать прибор в войска. Но управление связи, ссылаясь на неготовность, отказывало. Одновременно распускался слух о том, что прибор — блеф. Командующий войсками Киевского военного округа (после Чуйкова) генерал армии Кошевой, пользуясь личными связями, заказал на «Арсенале» 50 приборов. Но об этом стало известно (откуда?) в Главном артил-

лерийском управлении (ГАУ), и директор «Арсенала» получил приказ снять образцы с производства. Так союз бюрократов навязал войскам дорогую, громоздкую и, главное, ненужную машину, угробив заодно прогрессивный прибор.

Я предпринял еще одну попытку спасения прибора — обратился в Научно-технический комитет (НТК) Генштаба. И вот разговор с председателем НТК генерал-майором Лобановым:

— Ты что же, думаешь, у меня реальная власть? Дам команду — и выполнят? Ошибаешься. Мне, дай Бог, как-то увязать общую научно-техническую политику. Что же касается конкретных вопросов, то, чтобы добиться чего-то, надо изворачиваться, хитрить, идти на уступки в чем-то. В гибели прибора виноват прежде всего ты сам. Связисты предлагали тебе хорошую сделку: оправдать ихние расходы и получить взамен хороший прибор. Они ведь 7 миллионов потратили на ту машину. Ты им не дал списать их. Вот они и добиваются этого другим путем, а прибор им мешает. Вот потому-то его и гробят.

— Но как же я мог согласиться добавить к 7 миллионам еще и расходы десятков миллионов на серийное производство никому не нужных машин?

— Ну, до серии мы бы их не допустили. Да им это и не нужно. Они сами увидели, что создали гроб, и они бы с удовольствием его ликвидировали и занялись перспективным прибором, если бы вы им дали возможность оправдать сделанные расходы. А теперь они тратят деньги на доводку ненужной машины и станут проталкивать ее в серию. А прибор будут душить.

— Ну а как же спасти прибор?

— Пока я вижу только один выход. Уговорить вашего Курочкина взять прибор себе. Они поймут, что этот прибор в ваших руках, а они уже знают, что вы не из тех, кто отступает, что вы доведете его до серии. А это для них удар, которого они получить не захотят, и потому затеят с вами новый торг. А мы им подскажем, посоветуем поторговаться.

Уговорить Курочкина мне не удалось («Зачем мне эта ерунда?»). А вскоре меня самого «ушли» из академии. Но два прибора на кафедре все же остались. И вообще, у нас собралось много технических средств управления войсками, которые имелись только у нас, в единственном экземпляре.

Мы непрерывно что-нибудь проверяем, используя для этого учения и военные игры. Поэтому, когда главком сухопутных войск наметил двухстороннюю фронтовую игру, я сразу же предложил создать исследовательскую группу и себя в качестве руководителя этой группы. Первое было принято, а второе отклонил сам главнокомандующий сухопутными войсками Маршал Советского Союза В. И. Чуйков. «Пусть покажет, как он командует войсками. А то учит управлению, а как сам командует, неизвестно. Назначьте командармом 2-й танковой армии»,— сказал он Курочкину.

«Ясно,— подумал я.— Рассчитаться хочет. Подобрать материал, чтобы уволить, как Тетяева, или хотя бы наказать».

Конфликт возник в первый же день.

Как обычно, получив директиву фронта, сидим над выработкой решения. Начальник штаба говорит:

— Нас явно в центр направляют.

— Нет,— говорю я,— мы в эту мясорубку не полезем. Надо иметь возможность маневра. Поэтому пустим по центру в первом эшелоне две дивизии, одну дивизию вдоль правой границы и одну за правым флангом двух центральных, в готовности к маневру в сторону правофланговой дивизии и в сторону центра. Пятую дивизию оставим в резерве и будем продвигать за правофланговой.

Только мы закончили предварительное обсуждение, заходит Чуйков с целой свитой, в том числе и мой посредник.

— С обстановкой разобрались? Директиву фронта получили? Доложите решение!

Докладываю.

— А как вы поведете дивизию по правому флангу?

— По дорогам.

— Какие там дороги?

— Очень хорошее дорожное направление на всю глубину боевой задачи армии. Посмотрите, пожалуйста.

Подходит, смотрит.

— Ну какие же это дороги. Проселки.

— Немецкие проселки. Шоссированные. Если б нам такие проселки на наших учениях, не о чем бы думать. Имеется не только одна дорога, но и обходы — почти в любом месте.

— Ну, хорошо. Пишите боевой приказ и оформляйте карту.

Уходят. Некоторое время спустя заходит посредник. Видимо, после совещания посредников. Развертывает карту, начинает давать обстановку. Мое решение совершенно не учтено. Дивизии, которые должны были двигаться по правому флангу, оказались в центре. Задал вопрос командиру 2-й танковой дивизии:

— Почему вы оказались там? Я вам приказал двигаться на крайнем правом фланге армии.

Посредник, генерал-майор из Военно-химической академии в роли командира танковой дивизии, отвечает:

— Я свернул на выстрелы.

— Вы что, ротный командир, что за выстрелами гоняетесь? Если вы еще позволите подобное, я отправлю вас ротой командовать. А сейчас сворачивайте,— указываю ориентиры,— и выходите на свое направление.

— Но передо мной противник.

— Плюньте на него. Отрывайтесь и выходите на свое направление.

Он пытается еще что-то возразить, входит Чуйков со свитой.

— Доложите обстановку,— обращается он ко мне.

— Я не могу докладывать, так как не знаю, где мои дивизии.

— Ну, как не знаете, ведь вот же у посредника нанесено.

— Их там нет. А если они там, то, значит, мои командиры дивизий выполняют не мои, а чьи-то другие приказы.

— Как же это вы не можете заставить ваших подчиненных выполнять ваши приказы?

— Своих бы я заставил, но посредники — это не мои, а ваши подчиненные.

— Пораспустили подчиненных, обстановки не знаете. Какой же вы командарм?

— Я-то командарм, но ваши подчиненные позволяют себе не считаться с решением командарма.

— Какой вы командарм, если с вашими решениями не считаются. Я отстраняю вас от должности.

— Не понимаю!.. То есть я понимаю, что вы отстранили меня от должности, но не понимаю, за что.

— Не понимаете? — совсем уж грозно говорит он.— Ну, так я вам объясню.

— Я этого именно и прошу.

— После объясню,— несколько снижает он тон и удаляется.

Свита со всех сторон набросилась на меня. На разные голоса галдят: «Что вы делаете? Он этого не любит».

— Я генерал, а не повар, чтобы его вкусы изучать.

Этот ответ мой разошелся с невероятной быстротой по всем сухопутным войскам. Причем было много вариантов. «Повар» присутствовал всюду, но сами вариации были значительно энергичнее, что свидетельствовало о большом желании людей услышать и узреть достойный отпор хамству. Думаю, что ответ этот дошел и до Чуйкова, но вызвал совсем иную реакцию, чем предполагало его окружение.

Все покинули мой кабинет, ушли к заместителю, которому я передал свои бумаги и порекомендовал добиться от руководства обстановки, соответствующей моему решению. Если по правому маршруту не пойдет хотя бы одна дивизия, армия попадет на втором этапе в очень тяжелое положение.

Я немного отдохнул, успокоил себя и подумал: «Ну что ж, тем лучше. Займусь теперь исследованием»,— и решил пойти и посмотреть, как работает недавнее изобретение топографов для автоматической передачи обстановки с одной карты на другую на расстоянии. Дверь из моей комнаты открывалась в коридор. Открыв ее, я шагнул через порог и чуть было не столкнулся с Чуйковым. В совершенно пустом коридоре мы стояли лицом к лицу только двое. Случайно мы столкнулись или он шел ко мне — это для меня остается тайной. Мирным тоном и даже несколько смущенно он спросил:

— Вы что же не отдыхаете? Я ведь отстранил вас только в порядке вводной по игре. Курочкина я тоже вывел из игры. Только другим способом. Под бомбежку попал. А за вас пусть заместитель покомандует, потренируется. Но ввести я вас могу в любой момент. Так что, пока есть возможность, отдыхайте.— Он повернулся и ушел, оставив меня в полном недоумении.

Я не знал, чего можно ожидать дальше. При вызове сторон для доклада решения можно было ждать чего угодно, и я был все время в напряжении. Передо мной докладывал командующий артиллерией фронта генерал-полковник Чернявский. Чуйков с ним так хамил, что я просто дрожал. Думал, если он попробует так и со мной себя вести, то дам отпор, не останавливаясь перед грубостью. Однако ничего такого не произошло. Вопросы задавались мне тактично, ответы выслушивались внимательно.

На разборе очень хвалил мое решение — пустить часть вдоль правой границы. На это направление я ко второму этапу операции вывел три дивизии из пяти. Ругал наших противников, что недооценили это направление и позволили нам почти без сопротивления развивать наступление.

Что я еще могу добавить? Потом, после моего выступления на партконференции, Чуйков был единственным из больших начальников в Вооруженных Силах, который безотказно принимал меня, говорил вежливо и даже сочувственно-благожелательно. Ему одному я обязан тем, что не был уволен из армии тогда, в 1961 году. Чем это объяснить, не знаю. Возможно, такие люди уважают тех, кто не боится отстоять свое достоинство. А может,

подобные хамствующие в душе трусы, встретив отпор, поджимают хвост. Мне не хотелось бы так думать о Чуйкове, поэтому я отмечаю только как факт: за мой отпор мстить он не стал. Наоборот, проявил уважительное отношение ко мне. Может, веди себя подчиненные с достоинством, и Чуйков был бы иным. Хамство начальников и трусость подчиненных — две стороны одной медали.

Я любил тогдашнюю свою работу, как любил всякое дело, которым приходилось заниматься. Но академию я любил и по-особому. Творческий коллектив, творческий характер работы давали огромное моральное удовлетворение. Но после XX съезда партии, после всех лицемерных разговоров о культе Сталина, при одновременном создании нового культа, в моей душе царил разлад. Мне трудно было молча терпеть лицемерие правителей, но одновременно я понимал, что выступление будет стоить мне крушения всего устоявшегося и вполне меня устраивающего уклада. Поэтому я старался давить свои протестные настроения волевым усилием и работой. Теоретический труд, о котором я уже упоминал, создание курса лекций для новой кафедры и работа над докторской диссертацией плюс текущая служебная деятельность забирали меня всего. Но постепенно обстановка разряжалась. В 1960 году вышел в свет теоретический труд. Учебные материалы на 1961/62 учебный год впервые кафедра закончила разработкой к началу августа. В последних числах этого же месяца я сдал в совет академии докторскую диссертацию и почувствовал себя освободившимся.

И тут с особой силой навалилась на меня уже давно преследовавшая мысль: «Надо выступать. Нельзя молчать. Тем более, что я могу иметь трибуну, с которой далеко прозвучит».

Меня уже в диссидентские годы очень часто спрашивали об ужасах, пережитых в тюрьмах и психушках, а я самые большие ужасы пережил в академии и дома в августе-сентябре 1961 года. Я прощался с академией. Я говорил ей: «Милая, родная, пережил я в тебе и с тобою самые лучшие годы моей жизни. Здесь я творил. 83 научные работы, из них 8 фундаментальных, оставляю тебе. Фамилии не будет. У нас умеют затирать фамилии, но мысли разберут мои ребята. Ничему стоящему не дадут потеряться. Не работать мне здесь больше. Это моя творческая смерть». И с людьми, которых любил, прощался. Вот и сейчас, когда пишу, стоят они передо мною, как стояли тогда, во время моего прощания. Хотелось бы назвать, записать имена особенно дорогих, но, как всегда, боишься нанести кому-нибудь вред. Они обо мне, может, и думать забыли, а напишу я — и «всевидительнейшее око» приметит: «Ах вот вы какие! Вас, оказывается, Григоренко до сих пор помнит».

Лучше не вспоминать. Да и больно это — воспоминание о друзьях на чужбине.

С семьей прощался, с женой любимой. Не пройдет мне даром это выступление, как они останутся без меня и без привычной среды. Тогда опасности мне представлялись преувеличенными. И готовился я к самому худшему. Страха не было. Было хуже страха. Жалость к близким людям. Жалость опустошающая, когда стоишь рядом с любимым человеком, видишь его муку и помочь ему не можешь. И отчаяние охватывает тебя: «Нет, к черту, никаких выступлений, простите меня, родные, за то, что хотел вам такое зло причинить». Но проходит время, и новые, не менее мучительные мысли. Начинаю с иронией: «Да, правильно. Зачем это тебе? Генеральские погоны надоели, высокие оклады, специальные буфеты и магазины? Какое тебе дело до каких-то там колхозников, рабочих, гниющих в тюрьмах и лагерях. Живи сам, наслаждайся жизнью... Подонок ты этакий, Петр Григорьевич». И так от одной до другой крайности. Все ищу ответа, как быть. *А ответа нет, нет до самой конференции, до самой трибуны конферентской.*

Часть III

ВЕТЕР ВСТРЕЧНЫЙ

РЫВОК К СВОБОДЕ

7 сентября 1961 года. День рождения нашего сына Андрея. Ему сегодня 16 лет. Сегодня же начинается партийная конференция Ленинского района г. Москвы, на которую я делегирован парторганизацией академии. Математическая средняя школа № 52, в которой учится Андрей, находится в 15—20 минутах ходьбы от помещения, где проводится конференция. И мы с женой договариваемся, что придем в школу и начерно поздравим Андрея.

Конференция открылась в 10 часов утра. Первый доклад «О Программе партии». Как только объявили повестку дня конференции, я подал записку с просьбой предоставить мне слово по первому докладу. Пока что это не вызвало никаких эмоций — подача записки

еще ничего не определяет. Списки выступающих составляются заранее, а такие, как моя, «дикие» фамилии вписываются после списка. Выступать же дают только тем, кто в списке. Чтобы получить слово, «дикарю» надо еще побороться. А я еще не решил, буду ли бороться. И думать пока что не хотелось. Доклад журчал усыпляюще. Ни одной оригинальной мысли. Простое повторение того, что записано в изданном проекте программы партии. Слушать такой доклад бессмысленно. Думаю об академии. Сегодня второй день, как наша кафедра начала свои занятия в новом учебном году... Как там дела? Вчера я читал на первом курсе свою первую (вступительную) лекцию. Я всегда придавал большое значение началу занятий на первом курсе, считая, что первая лекция закладывает у слушателей отношение к предмету на весь академический курс. Готовил лекцию основательно. Вчерашняя закончилась непривычно для академии, под гром аплодисментов.

Думаю об Андрее и жене, об Угор-Жилове, где был зачат Андрей, и об Ондаве, где могла оборваться моя жизнь. Под эти мысли не заметил, как закончился доклад, хотя вместе со всеми поаплодировал докладчику за то, что закончил. Начались прения. И чем дальше они двигались, тем тревожнее билось мое сердце. Надо было решать. В это время если бы кто знал о моем намерении, ему бы ничего не стоило отвратить меня от выступления. Но не знал никто. Я не сказал никому, что собираюсь выступать. Я не был уверен, что выступлю, но твердо знал: любой, к кому бы я ни обратился, посоветует не выступать.

Проходит час. На исходе второй. Сердце бьется у самого горла. А решения все нет. Наконец подходит решающий момент. Председательствующий, объявляя очередное выступление, не называет, кому подготовиться. Для меня — ясно. После этого выступления президиум предложит прекратить прения: основной список, значит, закончился. «Дикарям» давать слово не собираются. Чтобы выступить, надо вступать в борьбу. Но у меня нет ни решения, ни решимости.

Огромный зал, до краев наполненный безликой (для меня в данный момент) и враждебной массой, сковывает мою волю. В голову настойчиво лезет простейший выход — молчать. Как решит собрание, так пусть и будет. Прекратят прения, значит, не судьба мне выступать сегодня. А продолжат — выступлю. Такое рассуждение — явное лицемерие. Я прекрасно знаю по многолетнему опыту, что пройдет предложение президиума, тем более если никто не выступит против этого предложения. Всем надоело слушать галиматью, которая уже около 4-х часов звучит с трибуны, да и привычка следовать за руководством подействует: проголосуют за прекращение единогласно. Хотя нет, я для успокоения своей совести могу проголосовать и против. Но от этого ничего не изменится.

И пока мои мысли метались так беспомощно, последний выступающий сошел с трибуны. Поднялся председательствующий: «Товарищи! В прения записалось 14 человек, выступили 12. Поскольку все основные вопросы программы выступлениями охвачены, есть предложение — прения прекратить». И в это мгновение меня кто-то подхватил и поставил на ноги. Так и не приняв решения, я громко и четко произнес: «Прошу слова по этому вопросу!»

— Да, говорите, товарищ Григоренко,— ткнул карандашом в мою сторону председательствующий. Я, нисколько не удивившись тому, что он меня узнал с довольно большого расстояния (не так уж близко мы были знакомы), сказал:

— Я, наоборот, считаю, что выступающие очень мало говорили о программе. Больше о местных делах. Я предлагаю дать выступить и остальным двум. Может быть, они как раз и затронут важные программные вопросы.

Я сел. Председательствующий как бы не слышал мою фразу, так как в ответ на нее бросил в зал:

— Товарищ Григоренко просит дать ему слово.
— Дать! — раздалось из зала.
— Возражений нет? — спросил Гришанов.
— Нет! — ответил зал.
— Товарищ Григоренко, вам предоставляется слово, 10 минут.

Я поднялся и пошел. Что происходило со мной в это время, я никогда рассказать не смогу. Я себя не чувствовал. Такое, вероятно, происходит с идущим на казнь. А может, это особое чувство, вызванное гипнотическим влиянием массы, которая сосредоточила все внимание на мне. Во всяком случае, это было страшно. Более страшного я никогда не переживал. То был самый жуткий момент моей жизни. Но это был и мой звездный час. До самой трибуны дошел я сосредоточенный лишь на том, чтобы дойти. Заговорил, никого и ничего не видя. Как и что я говорил, описывать не буду, как не буду приводить и подготовленный мною заранее текст выступления, так как пользовался им лишь частично, да и то преимущественно по памяти, не глядя в текст. Лучше приведу стенограмму. Она, пожалуй, наиболее объективно отражает и содержание выступления, и обстановку на конференции в это время. Вот эта стенограмма:

«Товарищи! Я долго думал: подняться или не подняться и нарушить спокойное течение конференции, и потом подумал, как Ленин, если бы он пожелал что-нибудь сказать, он обязательно поднялся бы (аплодисменты).

Товарищи! Проект Программы коммунистической партии — документ такого огром-

ного звучания и такой колоссальной мобилизующей силы, что даже критиковать его не совсем удобно, но именно это его большое научное и мобилизующее звучание обязывает каждого из нас повнимательней посмотреть в деталях, что нужно и что можно подсказать съезду партии, который будет обсуждать эту программу. Я лично считаю, что в проекте программы недостаточно полно отработан вопрос о путях отмирания государства, вопрос о возможности появления культа личности и о путях борьбы за осуществление морального кодекса строителя коммунизма.

Почему я хочу сказать об этом? Потому что мы всегда должны обращаться к опыту. Надумать — это дело не такое сложное, всесторонне изучить опыт — это сложнее.

Какой же мы имеем опыт в вопросе о государстве и о культе личности? Сталин встал над партией; это ЦК установил. Больше того, в опыте нашей партии есть случай, когда у высшего органа власти партии и государства оказался человек, не только чуждый партии, но враждебный всему нашему строю, я имею в виду Берию. Если бы это был один случай, можно было бы не тревожиться, но мы имеем факт, когда другая коммунистическая партия, пришедшая к власти (Югославия), оказалась под пятой у порвавшего или враждебного человека, который изменил состав партии, превратил эту партию в худшую, сугубо культурно-просветительскую организацию, а не в борющуюся революционную силу, и ведет страну по пути капитализма. И это можно было бы считать случайностью, но мы имеем факт, когда албанские руководители становятся на тот же путь, и мы не имеем сильной, авторитетной албанской партии, которая могла бы противостоять этому.

Возникает вопрос — значит, есть какие-то недостатки в самой организации постановки всего дела партии, которые позволяют это. Что произошло в нашей партии?

Представьте себе, что удалось бы Хрущева уничтожить, как Вознесенского и других. Ведь это чистая случайность, что в ЦК к моменту смерти Сталина оказались сильные люди, способные поднять партию с ленинской силой. Чистая случайность, что Сталин умер так рано, он мог бы жить до 90 лет (шум, оживление в зале).

Мы одобряем проект программы, в котором осужден культ личности, но возникает вопрос: все ли делается, чтобы культ личности не повторился, а личность, может быть, возникнет. Если Сталин был все же революционером, может прийти другая личность (шум в зале).

Бирюзов (маршал, член президиума конференции):

— Товарищи! Мне кажется, что нет смысла дальше слушать товарища (шум в зале), потому что есть решение съезда по этому вопросу, определенное и ясное, а что эти высказывания имеют общего с построением коммунизма? Я думаю, что его надо лишить слова на конференции (шум в зале, голоса: «Неправильно! Пусть продолжает!»).

Гришанов (председатель, секретарь РК):

— Поступило предложение, ставлю на голосование.

С места:

— Предложение Бирюзова никаких оснований не имеет (голоса: «Правильно!»). Предоставили слово — пусть выскажется.

Гришанов:

— Я ставлю на голосование. Кто за то, чтобы прекратить выступление т. Григоренко? Кто за то, чтобы продолжать? Большинство. Таким образом, т. Григоренко, у вас осталось 5 минут. Продолжайте.

Григоренко:

— Я считаю, что главные пути, по которым шло развитие культа личности, это, во-первых, то, что отменили партмаксимум, очень мало возвращали на производство людей, которые забюрократились, ослабили борьбу за чистоту рядов партии. Вы посмотрите, сколько пишут, что такой-то воровал, обманывал покупателей, а потом сообщается, что «на такого-то наложено партийное, административное взыскание». Да разве таких людей можно держать в партии?

Я считаю, что выступление т. Бирюзова в отношении лишения меня слова не относится к ленинским принципам, потому что этот способ зажима осужден. В партии запрещена фракционная борьба, но в уставе прокламировано, что член партии имеет право со всеми вопросами обратиться в любой орган. Я и выступаю на партийной конференции.

Мои конкретные предложения следующие. Усилить демократизацию выборов и широкую сменяемость, ответственность перед избирателями. Изжить все условия, порождающие нарушение ленинских принципов и норм, в частности, высокие оклады, несменяемость. Бороться за чистоту рядов партии.

Необходимо прямо записать в программу о борьбе с карьеризмом, беспринципностью в партии, взяточничеством, обворовыванием покупателей, обманом партии и государства в интересах получения личной выгоды, что несовместимо с пребыванием в партии. Если коммунист, находящийся на любом руководящем посту, культивирует бюрократизм, волокиту, угодничество, семейственность и в любой форме зажимает критику, то он должен подвергаться суровому партийному взысканию и, безусловно, отстраняться от занимаемой должности, направляться на работу, связанную с физическим трудом в промышленности и сельском хозяйстве (аплодисменты).

Гришанов:

— Слово для справки просит товарищ Курочкин.

Курочкин (генерал-полковник, начальник Академии им. Фрунзе):

— Я хочу дать краткую справку. Товарищ Григоренко является членом партийной организации Военной академии им. Фрунзе. До выступления т. Григоренко здесь, на районной партийной конференции, он с этим вопросом у нас в партийной организации не выступал. Так что этот вопрос в нашей парторганизации не ставился на обсуждение, и нельзя сказать, что это есть мнение партийной организации академии (голос: «Он этого и не говорил», шум в зале). Это все личное мнение т. Григоренко. Эту справку я хотел дать.»

Сразу же был объявлен перерыв. Когда я вышел в фойе, оно буквально бурлило. Шли разговоры на очень повышенных тонах. Самая большая группа сгрудилась у одной из стен, напирая на стоящего у стены Гришанова. Проталкиваясь мимо этой группы, я услышал, как невысокий плотный мужчина с седой головой и молодым лицом возбужденно кричал прямо в лицо Гришанову: «До чего распустились! Даже на партийную конференцию тащат свои чины. Тот генерал как коммунист выступал, а на него большие звезды (маршала) напустили, чтобы рот закрыть. Пораспустили чинуш...» Я быстро шел через фойе, но ясно слышал, что кругом разговоры шли вокруг моего выступления и больше всего возмущались вмешательством маршала Бирюзова. Меня это не только не обрадовало, но обеспокоило. На сердце стало еще тревожнее. Пронеслась мысль: «Этого мне не простят. Скажут — возбудил отсталые настроения, враждебность к высшему руководящему составу». С этим я и покинул клубное здание Московского университета на Ленинских горах, где проходила наша конференция. Был обеденный перерыв, и мне надо было торопиться на встречу с женой и сыном.

После перерыва состоялся доклад по проекту устава и начались прения. После первых двух выступлений объявили перерыв. Я обратил внимание, что не было объявлено, кто выступает после перерыва первым, что обычно делается.

Я сидел в фойе, разговаривая с полковником Федотовым. Подбежал другой полковник: «Борис Иванович,— обратился он к Федотову,— тебя Аргасов (секретарь парткома академии) зовет». Тот поднялся и ушел. Я остался сидеть. Раскрыл газету. Через некоторое время обращаю внимание, что я в фойе один. Недоумеваю: «Куда же народ-то девался?» Такой «единодушный» уход можно объяснить только одним — где-то что-то дают делегатам: огурцы, помидоры, фрукты, хорошую колбасу, рыбу и прочие продовольственные блага. Иду в буфет, но там пусто. В столовой тоже. Так ничего и не поняв, возвращаюсь в фойе. Вскоре оно начинает заполняться людьми. Ни у кого никаких свертков. Значит, нигде ничего не давали.

Иду в зал и усаживаюсь на свое место в амфитеатре. Впереди почти пустой партер. Делегаты явно не торопятся заходить, хотя время, отведенное для перерыва (20 минут), давно прошло. Снова раскрываю газету. Вдруг позади шорох и тихий женский голос: «Товарищ генерал, сейчас вас будут разбирать». Я оглянулся: сзади стояла молоденькая работница с шелкоткацкого комбината «Красная роза». Я живу рядом с этим комбинатом. На работу хожу мимо него. За годы многие лица отпечатываются в мозгу. Запомнил и эту девушку. Когда в начале конференции избранные члены президиума поднимались на сцену, мой взгляд легко вычленил знакомое лицо девушки с «Красной розы». Сейчас она стояла позади меня и, сглатывая слова, быстро говорила: «Они там хотят, чтобы разбор для вас был неожиданным. А я думаю — пойду и скажу вам. Они там говорили, что если вы покаетесь, то вам ничего не будет. А если не покаетесь, то они сделают вам очень плохо. Исключат из партии и из армии. Покайтесь, пожалуйста, ну что вам стоит»,— закончила она, просяще глядя на меня. На глаза ее набежали слезы.

«Милая девушка,— улыбнулся я,— большое спасибо за предупреждение. А за остальное не беспокойтесь. Я сумею постоять за себя».

Конференция вскоре открылась. Гришанов объявил: «Делегация Военной академии им. Фрунзе просит дать слово ее представителю для внеочередного заявления». В моем мозгу автоматически пронеслось: «Так вот почему не был объявлен первый выступающий после перерыва».

Представитель академии был немногословен: «Наша делегация обсудила выступление члена нашей делегации т. Григоренко, признала его политически незрелым и просит конференцию лишить т. Григоренко делегатского мандата».

Сразу же за нашим представителем выступили один за другим двое представителей других делегаций. Они почти слово в слово произнесли: «Наша делегация обсудила предложение делегации Военной академии им. Фрунзе о признании выступления т. Григоренко политически незрелым и о лишении его делегатского мандата и поддерживает это предложение».

Как только закончил второй из «наемных убийц», как шутники в партии называют тех, кто выступает с предложением, заранее подготовленным партийным аппаратом, Гришанов сказал: «Есть предложение прекратить обсуждение и перейти к голосованию. Кто „за"?». В зале царила гробовая тишина. В этой тишине я, не поднимаясь с места, обычным разговорным тоном сказал: «Хотя бы для приличия предложили слово мне». И Гришанов

услышал. Споткнувшись на «Кто „за"?», он воскликнул: «Ах, товарищ Григоренко, вы хотите выступить? Пожалуйста!» На этот раз я шел на трибуну, чеканя шаг. Голова холодная, в душе злое желание дать достойный отпор. Привожу это свое выступление по памяти. Выдать его стенограмму мне отказались. Почему? Сказать трудно, так как мотивировка отказа была прямо смешной: «За это выступление вас к партответственности не привлекают». Сказал же я следующее:

— За политическую незрелость выступления наказать нельзя. Нет партийного закона, допускающего это. Политическая незрелость устраняется политической учебой, политическим воспитанием.

Политическая незрелость моего выступления никем не доказана. Приклеили ярлык, и все. А на каких основаниях? Каковы конкретные обвинения? Чтобы конференция могла принять столь жестокое решение, обвинение должно быть сформулировано конкретно, и мне должна быть дана возможность дать свои объяснения и возражения по всем обвинениям.

Решение, если конференция его примет, будет вообще незаконным. Во-первых, потому что устав запрещает обсуждение вопросов по существу на собраниях или по делегациям. Обсуждать по существу можно только на конференции. Руководство нарушило этот принцип. По моему вопросу решение уже принято — законно, конференцией при голосовании предложения т. Бирюзова. И президиум, чтобы отменить это законное решение, раздробил конференцию по делегациям, которые, собравшись без моего участия, решили вопрос без обсуждения.

Во-вторых, решение будет незаконно и потому, что конференция не вправе лишать кого-нибудь делегатского мандата. Отозвать меня с конференции могут только те, кто меня послал сюда. Конференции такого права не дано. И я прошу делегатов единодушно проголосовать против незаконного, политически незрелого предложения делегации Военной академии им. М. В. Фрунзе.

Сходил я с трибуны спокойно, в сознании выполненного долга. Я чувствовал и понимал, что хорошо это для меня не кончится, но я видел, что выступление мое дошло до ума и души слушателей, произвело сильное впечатление на них. Обычный, нормальный человек весьма чуток на благородство и мужество. И эти нормальные люди, хотя и с партийными билетами в кармане, видели, что на меня пошла огромная и жестокая машина и что я не отступил, а твердо отстаиваю свои права и, тем самым, их права тоже. И их симпатии склонились в мою сторону. Это была первая моя правозащитная речь, и она, как потом и все другие, находила отклик в душах людей. Весь зал затих. В шоковом состоянии был и президиум. Я уже дошел до своего места, а всеобщее молчание продолжалось. Если бы сейчас голосовать, я не уверен, набрал ли бы президиум большинство. Но понимали это и они. Я увидел, как секретарь ЦК Пономарев Б. Н. наклонился к Гришанову и что-то зашептал. Тот подобострастно закивал, потом подхватился и бегом помчался к трибуне. Что он говорил, пересказать невозможно. Интересно бы прочитать стенограмму, но, думаю, ее нет. А если есть, то что-то бредовое. Он говорил без смысла, лишь бы говорить. Он нанизывал слова и фразы, не задумываясь над их содержанием.

Ему, очевидно, и была поставлена задача: снять напряжение многословной пустопорожней болтовней. Не менее 20 минут Гришанов «молотил гречку языком». К концу люди, устав ловить смысл в бессмысленной речи, перестали слушать — начали позевывать и вести разговор друг с другом. Тут-то и выдвинулся «ударный эшелон». На трибуну вышел Пономарев. Смысла в его речи было вряд ли больше, чем у Гришанова. Но это была бессмыслица на высоком идейно-теоретическом уровне. Он говорил о том, что программа — это вершина марксистской теории, что в ней разработаны коренные вопросы марксизма-ленинизма, а я лезу с обворовыванием покупателей и с другими мелкими вопросами. Он указывал на то, что «лучшие теоретические силы партии» трудились над созданием проекта (он, правда, «поскромничал», не сказав, что эти силы работали под его, Пономарева, руководством), что сам Никита Сергеевич посвятил много часов проекту. Я бросил реплику: «Так что же, его и обсуждать нельзя?» Но и на это он не обратил внимания и продолжал молотить: «Вопрос с культом Сталина партия давно разрешила». Кто-то с места крикнул: «Так он же не о сталинском культе говорил, а о новом». Но Пономарев опытный демагог. Он продолжал свое, и делегаты постепенно вошли в обычный тон партийной конференции. Выступал все же секретарь ЦК, и, какую бы чушь он ни нес, ему полагались аплодисменты. И он их получил.

Когда он сошел с трибуны, уже можно было голосовать. И Гришанов провозгласил: «Кто за то, чтобы осудить выступление т. Григоренко как политически незрелое и лишить его делегатского мандата?»

Я сидел в четвертом ряду амфитеатра, и потому весь зал был перед моими глазами. Когда Гришанов провозглашал свое «за», я с тоской подумал: «Ну вот так. Все знают, что прав я, и все, как один, проголосуют за уничтожение меня». И вдруг... Что это? Нет леса рук. Поднимаются отдельные руки, и то не сразу, а как-то несмело, вслед за другими. Поднялось менее трети рук. И у меня новая мысль: «А ведь люди-то лучше, чем я о них думал». Но в это время Гришанов спросил: «Кто против?» Я изумленно смотрю в зал: ни одной руки против не поднялось. «Кто воздержался?» — еще раз возглашает Гришанов. И снова ни одной руки. И Гришанов, который прекрасно видел ту же картину, что и я, радостным голосом заключает: «Принято единогласно. Товарищ Григоренко, сдайте свой делегатский мандат». Твердым шагом иду я к столу президиума, кладу мандат на стол и, глядя Гришанову в глаза, говорю: «Я подчиняюсь решению конференции, но остаюсь при убеждении, что оно незаконно... И принято незаконным единогласием», — подчеркнуто добавляю я. Пока я шел через зал, стояла прямо-таки давящая тишина. Уже когда я подходил к выходу, кто-то в ложе бельэтажа, с левой стороны, шепотом произнес (очевидно, для соседа): «Молодец генерал, не стал ползать». И этот шепот прозвучал на весь зал. А я с горькой иронией подумал: «Не хватало еще, чтоб аплодисментами проводили. Совсем бы как в Колизее Древнего Рима провожали красиво умирающего гладиатора».

Я вышел на улицу. Темно. Сеял мелкий дождик. Слякоть под ногами. Все под стать моему настроению. Видеть никого не хотелось. Пошел без цели по городу. Долго ходил. Без мыслей. Просто хотел утомить себя. Не хотелось думать о семье. Как отреагируют жена, дети? Жизнь моя и связанной со мной семьи попала на перелом. Старшие сыновья офицеры. Перспективы были ясные, радужные. Как теперь будет, когда отец попал в опалу, и как к этому отнесется Анатолий — мой старший? И второй сын — Георгий — офицер, слушатель Артиллерийской академии? Отца и мачеху он любит, живет с нами. Но как у него сложится теперь судьба? Третий сын от первого брака Виктор — офицер-танкист. Этот, кажется, не воспримет близко к сердцу мою опалу. Служить в армии он не хочет, и потому ему даже на руку отцовские служебные неудачи. Ну а жена и дети от нее? Ну, старший — Олег, инвалид с детства — всегда с нами; а как поведет себя наш общий, 16-летие которого совпало с таким страшным для меня днем? И как сложатся отношения с женой, нелегкая жизнь которой станет еще труднее? Как она посмотрит на мою сегодняшнюю самодеятельность? Ведь я ей даже не намекнул на возможность такого развития событий.

Долго ходил я. Промок до нитки. Замерз. А вернувшись домой, начал с того, что обидел жену. Неизвестно почему и для чего произнес глупейшую фразу: «Ну, радуйся, меня удалили с конференции». Не впервой она не поддалась чувству обиды, а начала расспрашивать о происшедшем. Постепенно я разговорился. Все рассказал. Затем заговорили о возможных последствиях, и я почувствовал теплое плечо друга. (Разговор слышал Андрей, и это имело свои последствия.) Зинаида спросила:

— А почему ты со мной не посоветовался?

— А что бы ты мне посоветовала? — вместо ответа задал я ей вопрос.

— Не выступать, — ответила она.

— А я это знал. И так как я сам был не очень тверд в своем решении, то и не хотел таких советов.

— Хоть ты и знаешь всегда все, — едко сказала она, — но в данном случае ты не все знал. Если бы ты со мной посоветовался, я бы сказала: это допустимо, если за собой имеешь подкрепление, тыл. Но если решил, я бы поняла, что это боль твоей души и что ты не можешь молчать больше, задыхаешься, я пошла бы на конференцию, независимо от тебя и незаметно для тебя, и там, на конференции, организовала бы тебе поддержку.

Я с удивлением уставился на нее. И мысль обожгла: «Да ведь все могло пойти иначе. Ведь при голосовании не хватало еще одного мужественного человека. Напряжение было такое, что стоило кому-то одному, кроме меня, подняться и крикнуть: „Да что же мы делаем? За честное, мужественное выступление мы хотим съесть человека!" Это или что-то подобное, и все плетение президиума рассыпалось бы и полетело в тартарары». На это указывали не только мои наблюдения в тот вечер, но и позднее ставшие мне известными факты.

Во-первых, я виделся и говорил с несколькими руководителями делегаций. Все они рассказывали о том, как трудно было добиться от делегатов согласия на осуждение моего выступления. Только угроза, что райком будет разбирать всех не голосовавших против меня как нарушителей партийной дисциплины, заставила их подчиниться. Один из руководителей делегаций (с промышленного предприятия) рассказал мне, что после моего второго выступления его делегаты взбунтовались: «Не будем голосовать за осуждение». «Я, — говорил он, — чуть ли не со слезами уговаривал их. Просил: ну ладно, не голосуйте „за", но не поднимайте рук и „против". Вообще не поднимайте рук, а то вы меня „зарежете". Нас, руководителей, предупредили ведь, что останемся без партбилетов, если не добьемся единодушного осуждения вашего выступления».

Во-вторых, я несколько раз встречался с Демичевым, который в то время был первым секретарем МК. Вот уж лицемер так лицемер. При первой встрече он начал с того, что возмутился по поводу расправы со мною. «Я могу собрать сейчас всех инструкторов, и они вам подтвердят, — говорил он, — что когда в тот же день вечером мы собрались для обмена мнениями по поводу проходящих районных конференций, я сказал инструктору, присутствовавшему на вашей конференции: напрасно вы раздули это дело».

Я не захотел собирать инструкторов. Я сказал, что и без того верю, что именно это он

сказал инструкторам. Но меня интересует, что он мне скажет по поводу незаконного решения конференции и по поводу того, как принято это решение.

— Не голосовали ведь делегаты. Меньше трети подняли руки «за».

— Да,— соглашался он,— большинство не голосовало. Большая часть делегатов прислала в МК заявления, в которых сообщают о своем неучастии в голосовании и о несогласии с принятым решением.

Меня эта новость страшно поразила. Она вместе с рассказами руководителей делегаций показывала, на какой тонкой ниточке висела судьба голосования. И наверняка Жене удалось бы оборвать эту ниточку. Я был потрясен и ее предусмотрительностью, и смелостью. Но мне еще не раз предстояло открывать в ней новые качества и поражаться им. Поразило меня и то, что люди не боятся послать заявление-протест, но не решаются за то же самое проголосовать открыто. В этом вся система. В бюрократические учреждения можно в одиночку писать любые слезные жалобы. Вам, как правило, не ответят, но и не накажут, если дальше надоедать не станете. За коллективные же действия, пусть они даже выражаются в простом поднятии или неподнятии руки, жестоко покарают. Но меня сейчас интересовали не эти высокотеоретические рассуждения, а мой конкретный вопрос. И я спросил Демичева:

— Вы, значит, знаете, что предложение об осуждении меня за политически незрелое выступление и о лишении делегатского мандата фактически на конференции не прошло. А меня на основании этого решения разбирают в партийном порядке. Так что же теперь делать?

— А ничего не сделаешь. Формально решение принято. Никто против не голосовал. Значит, на это решение опираются законно.

— Но у вас же есть письменные заявления большинства делегатов, что они не голосовали.

— Ну не собирать же нам конференцию еще раз ради того, чтобы перерешить ваше дело.

— Зачем же собирать? МК как высшая инстанция, опираясь на письменные заявления делегатов, может отменить незаконное решение.

Демичев изворачивался и юлил, пытаясь вывернуться с помощью такой софистики: решение, конечно, принято с нарушением партийных законов, но по протоколу оно законно, и потому ничего поделать нельзя.

Но я не давал ему вывернуться, и тогда он принял другую тактику. Я, мол, поделать ничего не могу, так как на вас очень обозлены военные, а их поддерживает Пономарев, который был на конференции и поэтому всегда может ответить на мое вмешательство: «Вы там не были, а я был».

— Поэтому попробуйте поговорить непосредственно с Борисом Николаевичем,— говорил мне Демичев.

Но до этого я и сам додумался еще в самом начале своих хождений по начальству и обращался к нему. Но он сказал, что ему не о чем со мной говорить, о чем я и сообщил Демичеву. Тогда Демичев прочувствованно сказал:

— В таком случае дело ваше плохо. Теперь только Никита Сергеевич может помочь вам, никто другой.

— А как же мне попасть к Никите Сергеевичу?

— Ну, это вы ищите пути.

— Как же я найду, если в нашей партийной системе не предусмотрены встречи «вождей» с рядовыми. Ведь некому даже заявить, что ты хочешь попасть на прием.

— У Никиты Сергеевича есть помощник. Ему надо позвонить.

— А телефон?

— Ну, это вы постарайтесь узнать.

— Вы же знаете, вы и скажите.

— Я не имею права распоряжаться этим телефоном.

Долго мы еще перебрасывались репликами по этому поводу. Я просил, он уклонялся от этих просьб. Но так как у меня не было другого способа добыть этот телефон и было много свободного времени, то я сидел, пока не получил этот заветный номер.

Но не помог и заветный. Когда я позвонил первый раз, со мной разговаривали очень вежливо. Помощник Хрущева записал мою фамилию, спросил: «Никита Сергеевич знает вас?» Я ответил: «Да». И он мне назначил время, когда позвонить ему еще раз. Я позвонил вторично. Как только он услышал мою фамилию, так сейчас же весьма резко сказал: «Нет! Никита Сергеевич разговаривать с вами не будет!» И тут же: «А кто вам дал мой телефон?»

«А это уже не имеет значения. Раз Никита Сергеевич со мной разговаривать не будет, то для меня этот телефон никакого значения не имеет, так же, как для вас не существенно, кто дал его мне».

Так закончились мои попытки обойти обычное партийное разбирательство по моему делу, попытки привлечь внимание «сильных мира сего», добиться их вмешательства в это дело для прекращения произвола. На Никите Сергеевиче надо было прекращать эти попытки. Становилось ясно, что если до него со мной не захотел говорить Пономарев, а до Пономарева министр обороны Маршал Советского Союза Малиновский Р. Я., то это значит, моя судьба была решена. Меня отдали на расправу партийной бюрократической машине. Мне это стало ясно, уже когда меня не принял Малиновский. Ведь это он, когда назначали меня на кафедру, говорил: «Вы единственная кандидатура на эту должность». Я не тянул его за язык, и когда он благодарил меня за то, что я «многие годы по своей инициативе разрабатывал один из важнейших вопросов для наших Вооруженных Сил и этой своей работой обеспечил создание столь необходимой кафедры». И вот теперь он говорить не хотел, хотя понимал, что таким отношением он санкционирует и мое изгнание из академии, и гибель столь необходимой кафедры. Без категорического указания Политбюро он на это не пошел бы, подумал я тогда. Много позже я узнал достоверно, что такое указание было дано лично Хрущевым. Отказ последнего разговаривать со мной сам по себе достаточно ясно говорил, что надо было быть готовым к самому худшему.

Я, правда, и сам ничего хорошего для себя не ждал с самого начала. Сейчас мне надо было поговорить с Митей Черненко, услышать его голос, послушать его искренние глубокие суждения. Когда я вошел в его заваленную газетами, многочисленными вырезками и другой литературой комнатушку, он работал над очередным номером «Правды».

— Петро! — радостно воскликнул он.— Посиди несколько минут, я скоро освобожусь.

Митя подсел ко мне через некоторое время и, тепло улыбаясь, сказал:

— Я уже знаю о твоем подвиге, у меня были Зина и Андрей. Ну, Петро, не остроумный ты. На кого же властям опираться, если генералы начнут выступать против. Ведь это же ваша, генеральская, власть. Во всяком случае, войной она вас обеспечит всегда. А ты что ж, выступаешь и говоришь: «Если бы Ленин поднялся и посмотрел на вас, то он тут же и умер бы снова».

— Я такого не говорил.

— Не говорил? А я слышал уже от нескольких человек, все повторяют эту фразу. Ну ладно. А что же ты говорил в действительности?

— Вот,— достал я из кармана и протянул ему запись своего выступления. Не стенограмму, ее я тогда еще не имел, а запись, подготовленную мной перед конференцией. Словарно она, конечно, не совпадала со стенограммой, но суть та же.

Митя внимательно прочел, перечитал еще.

— Ну и ну! Вот это наговорил. Хорошо, если кончится только исключением из партии и увольнением из армии.

— Да ну там. Это ты явно преувеличиваешь. Довольно легковесная и, будем честны перед собой, трусоватая речь. Так ли я мог сказать?

— Разве дело в том, что можешь сказать? Дело в том, как могут воспринять те, кто слушает. Как тебя восприняли? Расскажи подробно.

Я рассказал. Он слушал внимательно, сосредоточенно.

— Не так уж плохо. Твою речь основная масса приняла. Значит, выступление на высоком уровне. Трусовато, говоришь? Нет, просто разумно. Все выступление на партийном жаргоне с включением оборонных мотивов. Очень хорошо сделал, что подчеркнул — программа будет приниматься только съездом, значит, до принятия можно вносить любые предложения; наказать за это по закону нельзя. Но тебя накажут. Найдут способ. Не могут не наказать. Ты рассказал рядовой делегатской массе, доступным ей языком, то, что высшая партийная бюрократия принять не может. Ты связал вопрос о культе не с личностью, как это делает Политбюро, а с системой. Это тебе не простят, как не простят и твое заявление о недостаточности мер, принятых против культа, и о возможности появления нового культа. Последним ты, по сути, говоришь о рождении культа Хрущева.

Ну, а заявление, что нашей партии повезло в том, что выжил Хрущев и другие, а Сталин умер слишком рано, звучит просто иронией, насмешкой. Но самое колючее, конечно, это что культ личности порождают высокие оклады, несменяемость, бюрократизация, а также твои предложения о демократизации выборов, об ответственности избранных перед избирателями, отмена высоких окладов для выборных должностей, широкая сменяемость, борьба за чистоту рядов партии — изгнание из нее карьеристов, любителей чужого, взяточников и прочих мазуриков. Для одного выступления, Петро, не мало. И все это делегатской массой принято и тысячеустой молвой будет разнесено. Не мало, Петро! Теперь надо подумать только, как с наименьшими потерями выйти из боя.

Бирюзов ⟨...⟩ [1] Своим выступлением он привлек большее внимание аудитории, а тебе помог защищаться. Тебя будут бить не за то, что ты сказал по существу. Это все аксиомы идеализированного ленинизма, и за них ругать не принято. Тебя будут ругать, придираясь к отдельным формулировкам. Вот тут и используй Бирюзова: была создана нервозная обстановка. У меня было записано совсем не так. А как, это уж дело твоего ума и рук твоих, напиши так, чтоб «комар носа не подточил».

[1] «Звезда» приносит читателям свои извинения: здесь пришлось купировать текст из нежелания обидеть родственников покойного маршала. Аналогично — ниже — с Б. Н. Пономаревым.— *Ред.*

Теперь второй их грубый просчет — попытка лишить тебя слова. Из-за этого им пришлось решенный вопрос ставить вторично, и сделали они это с грубейшим нарушением устава — вопрос, рассмотренный на конференции, переносят на делегации. Цепляясь за это нарушение, надо наступать — жаловаться в верхи. Попробовать к Пономареву. Ведь он же как представитель ЦК ответствен за это нарушение. Но на него надежды слабы. Это страшная (...) И к тому же в большом доверии у Хрущева. Более надежно действовать через Демичева. Это молодой работник, но хитер. Дипломат, будет стараться как-то замять дело, будет тянуть. Вряд ли ему захочется, чтобы скандал с нарушением устава, происшедший у него в организации, разгласился. Ну и до Хрущева надо попробовать добраться. У него иногда бывают приливы демократии. Но ты учти, что, пока ты будешь раскачивать наступление в верхах, с тобой разделаются в низах. Тогда уже наступать вверху будет трудно. У нас же быстро вспомнят «ведущую роль масс», скажут: «Вы жалуетесь на конференцию, а вас низовая партийная организация осудила, ваши же товарищи».

В общем, Петро, дело внизу надо тормозить всеми силами. Здесь спешить будет Пономарев. Ему надо прикрыть собственное беззаконие решением всех партийных инстанций. Тебе спешить здесь некуда. Спеши с атакой в верхах. Хотя есть еще один выход — покаяться. Тогда, может, отделаешься небольшим партийным взысканием.

— Ну это, Митя, не для меня.

— Я так и думал. Поэтому и сказал об этом в конце. Если каяться, то надо было вообще не выступать. Ну а не каяться, значит, наступать вверху и затягивать внизу. Может, и удержишься в партии и в армии. Если б это удалось сделать без покаяния, польза от выступления была бы двойной.

Но ведь я так и действовал. Только в верхах все пошло по-иному... Мой главный козырь — нарушение устава — не работал. Понял я, почему так, только после того, как узнал о происшедшем на областной партийной конференции в Курске, в тот же день — 7 сентября 1961 года. Там по программе партии выступил писатель Валентин Овечкин. Выступление свое он посвятил целине. При этом нарисовал безрадостную картину полного провала. Выступление было убедительно обосновано цифрами и примерами. Предложения были разумные, обоснованные. Речь неоднократно прерывалась аплодисментами. Никто не помешал выступающему. Своего, курского, Бирюзова у них не нашлось, и на обеденный перерыв все ушли спокойно. Но после доклада по уставу все повернулось на тот же курс, что и у меня: собрание делегаций, без участия Овечкина, и как следствие: «Осудить выступление как политически незрелое и лишить делегатского мандата».

Овечкин сдал мандат и ушел. Все, казалось, прошло нормально, но нервы у Овечкина сдали. Он пришел домой и застрелился. Врачам удалось спасти жизнь, но не здоровье. Он уехал из Курска в Ташкент, тяжело болел и там вскоре умер.

Когда я узнал об этом случае, то понял, что это не случайное совпадение, что такова была установка Политбюро. Много позже я узнал, что эта тактика была разработана самим Хрущевым. Этот «демократ», готовясь к XXII съезду, ожидал серьезной критики своей деятельности. В связи с этим на совещании уполномоченных Политбюро, отправляющихся на предсъездовские конференции, дал такое указание: «В случае „демагогических" выступлений или заявлений, „очерняющих" деятельность ЦК, организовать осуждение этих выступлений как политически незрелых и лишать делегатских мандатов. Если нет уверенности, что конференция примет такое решение, то предварительно обсуждать его по делегациям». Поэтому мое «наступление» в верхах ничего не дало и дать не могло. Зато в низах у меня неожиданно нашлись союзники, и рекомендованная Митей тактика оказалась успешной. События здесь развивались так.

На следующий день, то есть 8 сентября, в 10 часов я должен был читать вторую часть вводной лекции. Я пришел на кафедру в 9 часов и начал просматривать наглядные пособия. На душе было пакостно. Ночь я почти не спал и чувствовал себя неважно. Но мысль о лекции взбадривала. Я с волнением ожидал второй встречи с аудиторией. В 9.30 раздался звонок. Звонил начальник учебного отдела генерал-майор Бельский.

— Петр Григорьевич, ваша лекция сегодня не состоится. Время ее проведения я сообщу.

— Оперативно работаете, товарищ Бельский, а я думал, опоздаете.— Я положил трубку. Ясно. Не хотят, чтобы я встретился со слушателями. Делать было нечего. И я внезапно почувствовал себя больным. Болело горло, и, видимо, была температура. Вчерашняя прогулка не прошла даром. И я пошел домой.

— А что же лекция? — встретила меня жена вопросом.

— Позаботились, чтоб я не подействовал разлагающе на молодежь. Лекцию отменили.

— А ты чего ожидал? Сам знал, на что идешь. Поэтому не придавай значения. Это все мелочи. И таких «мелочей» еще много будет. А ты приготовься платить по крупному счету. Придется с партбилетом расстаться. Да ничего, проживешь. И с армией придется расстаться. Это труднее будет перенести. Но ты же сильный, найдешь себе другое дело — не превратишься в тех пенсионеров, что «козла» на бульваре забивают или в кастрюли на кухне заглядывают. А пока пойди полежи. Ты что-то плохо выглядишь.

— У меня, верно, температура.

Она подала градусник. Я поставил. 38,1. Улегся в постель.

Вечером пришла наша приятельница. Одна из тех, у кого партия никогда ни в чем не виновата. Под этим углом зрения она и на мое выступление смотрит. Она уверена, что меня строго накажут, но она уверена также, что это наказание справедливо. Вместе с тем ей, по дружбе, хочется облегчить нашу участь. И она говорит: «Была на конференции. Все наши райкомовские говорят, что Петра может спасти только заключение психиатра о том, что он в этот период не сознавал, что говорит. Я подошла к Бугайскому (директор районного психдиспансера), он тоже говорит, что это для Петра лучший выход. Я его спросила, мог ли бы он дать такое заключение? „Как же я дам,— говорит он,— ведь он военнослужащий. Вот если бы он сам обратился ко мне, тогда другое дело. Я был бы обязан сделать заключение". Я с ним условилась, что поговорю с тобой и завтра придем к нему».

«Нет,— сказал я,— придется тебе идти к нему без меня».

Совсем поздно позвонил секретарь парторганизации кафедры, старший преподаватель полковник Зубарев и попросил прийти завтра к 9 часам утра на заседание партбюро нашей парторганизации. Я ответил, что нездоров, но если буду иметь хоть какую-то возможность двигаться, то обязательно приду.

На бюро я пришел. Докладывал секретарь парткома полковник Аргасов. Весь доклад состоял из муссирования слов «политически незрелый» и «лишен делегатского мандата». О содержании выступления не было сказано ни слова. Решение бюро: передать вопрос на обсуждение партсобрания кафедры.

Вынесение моего дела на бюро и партсобрание кафедры — дело незаконное. Согласно инструкции парторганизациям Советской Армии, персональные дела генералов обсуждаются в парткомах на правах районных комитетов партии, то есть меня должны обсуждать в парткоме академии. Я знаю это, но молчу. Я уверен, что меня провоцируют. Рассуждают так: «Григоренко — законник, поэтому запротестует против обсуждения на кафедре, а мы ему тогда скажем, что он народа боится».

«Нет,— думал я.— вы тоже законы знаете. И если нарушаете, вам и отвечать, а я вмешиваться не буду. Говорить со своими соратниками я не боюсь».

Аргасов после заседания ушел. Разошлись и члены бюро. А я еще задержался. Рассказал Зубареву содержание своего выступления на партконференции. Раздался звонок. Звонил Аргасов. Я сижу рядом с Зубаревым и слышу каждое слово.

— А когда собрание?

— Завтра или послезавтра после занятий.

— Нет, что ты. Я сегодня до 5 часов должен отправить в ЦК наше решение об исключении. А ведь кроме собрания надо и партком провести. Значит, вам надо собрание провести до 15 часов.

— Не знаю, как это сделать. Люди же на занятиях со слушателями. Посоветуюсь с членами бюро. Тогда позвоню. Слышали? — обратился он ко мне.

— Слышал. И уж если ему надо так срочно, то мне это не к спеху. Я пришел только для того, чтоб встретиться с членами партбюро. А вообще-то я болен и у меня постельный режим. Я пойду сейчас возьму освобождение и не приду на партсобрание, пока не кончится моя болезнь.

И я пошел в санчасть. Мой постоянный врач — Ефим Иванович Ковалев — великолепный терапевт и кардиолог, осмотрев меня и измерив температуру, воскликнул:

— Где же вы так простудились? Немедленно в постель. Отправляйтесь немедленно домой. Освобождения вам, как обычно, не надо?

— Нет, Ефим Иванович, сегодня надо.— И я рассказал, почему. Он сразу скис.

— Петр Григорьевич, вы извините, но я вас попрошу сходить к дежурному врачу. Гриппозное состояние у вас настолько очевидно, что вам, конечно, освобождение дадут и без меня, но если дам я, то могут подумать, что я это сделал из приятельских побуждений.

Я сразу поднялся. Сказал ему: «Эх вы!» — и этим навсегда простился с ним. Дежурный врач без всяких разговоров дала мне освобождение. Перед уходом домой я зашел по просьбе начальника отдела кадров к нему. Там меня уже ждал приказ министра обороны: «Генерал-майор Григоренко П. Г. освобождается от должности начальника кафедры № 3 и зачисляется в резерв главкома сухопутных войск». Мотивировок никаких. Попробуй скажи, что это за выступление на партийной конференции.

Проболел я 10 дней. Когда пришел после болезни, в академии уже был новый секретарь парткома, назначенный взамен неизбранного Пупышева. Старший преподаватель Аргасов перешел на роль заместителя секретаря. Мы долго говорили с новым секретарем. Он произвел на меня доброе впечатление. Когда я уходил, он вручил мне анкету «привлекаемого к партийной ответственности». Сказал: «Когда заполните, занесите мне». Заполняя анкету, я дошел до вопроса «За что привлекается». И тут я сплошал. Мне бы записать так, как оно было на самом деле: «За выступление на партийной конференции». Пусть бы за это и привлекали. А я, недооценив лицемерные способности политаппарата, решил, что могу загнать их в тупик. Я пришел к Ивану Алексеевичу и спросил:

— А что мне написать здесь?
— А ты что, не знаешь, за что привлекаешься?
— Почему не знаю? Знаю. За выступление на партконференции.
— Э, нет! Так писать нельзя! — даже вскочил он и схватился за анкету.
— Я тоже знаю, что за это привлекать нельзя. Вот поэтому я и пришел к вам.
— Оставьте анкету у меня. Мы подумаем.

Над формулировкой работали две недели. Участвовали все начальники кафедр общественных дисциплин. Несколько раз ездили на согласование в ЦК, к Пономареву. Но в конце концов сочинили. Напрасно я им предоставил такую возможность. Мне надо было воспользоваться своим правом формулировать — за что меня привлекают. Я упустил это право. И мне сформулировали:

«За извращение линии партии по вопросу о культе личности и за недооценку деятельности партии по ликвидации последствий культа личности Сталина».

С этой формулировкой дело и потянулось. Но на партсобрании кафедры она не фигурировала. О собрании этом стоит рассказать. Оно, как я уже говорил, по закону не должно было состояться. Но партийной верхушке хотелось освятить совершенное на конференции беззаконие одобрением партийной массы именно той организации, в которой я работал. Сначала сделали совсем просто. Уже 9-го в академии провели первую серию партийных собраний по итогам конференции. В этой серии были примерно половина слушательских партийных организаций и совместное собрание парторганизаций ведущих кафедр (№ 1, 2 и 3). На все эти собрания было внесено предложение «осудить политически незрелое выступление генерала Григоренко». О содержании выступления фактически ничего сказано не было. И вот тут произошло неожиданное. Во всей серии собраний предложение было отклонено. Притом тактично только на партсобрании кафедр. Там выступил наш секретарь полковник Зубарев. Он сообщил, что я болен, и предложил рассмотреть вопрос обо мне после моего выздоровления. Собрание согласилось с этим.

В слушательских организациях дело запахло скандалом. Везде потребовали зачитать стенограмму моего выступления, а в некоторых было выдвинуто предложение пригласить на собрание меня и рассмотреть вопрос в моем присутствии. Было несколько резких выступлений против решения конференции. «Почему нельзя свободно выступать на конференции?», «Что, опять вернулись времена культа личности?» — с возмущением говорили эти выступающие. В общем, осуждения не получилось. И в следующей серии собраний этот вопрос не только что не дебатировался, но приглушался. На вопросы из зала о моем выступлении везде отвечали: «Согласно инструкции парторганизациям Советской Армии, персональные дела генералов разбираются в парткомах на уровне райкомов партии». Однако нашей парторганизации было указано: «Обсуждать». Причина для меня была ясна.

На нашей парторганизации хотели взять реванш за провалы в слушательских парторганизациях. Расчет был прост. Против начальника (всякого, а кафедры особо) накапливаются обиды. Высказать же их поверженному начальнику не только не опасно, но, как в данном случае, даже выгодно. Думали, что достаточно будет высказать мнение конференции о моем выступлении, а дальше заговорят преподаватели о своих кафедральных делах, подчеркивая мои ошибки и просчеты. Расчет в общем-то верный. Так обычно и бывает в подобных условиях. Но здесь была обстановка особая. Наша кафедра образовалась из энтузиастов, которые пришли сюда с задачей создать новый предмет, которого они и сами толком не знали. Они учились и одновременно творили. Я для них был не столько начальником, сколько учителем, и притом таким, которого никто заменить не мог. Если возникали недоразумения, непонимание, неразрешенные вопросы, не к кому было обратиться за разъяснением, некому и не на кого жаловаться. Все, как бы трудно ни было, надо было решать на кафедре, в своем кругу. Все привыкли к этому.

На кафедре царила творческая, дружеская обстановка. Был всего один человек, который не вписывался в эту среду. Кибернетикой, исследованием операций, современной управленческой техникой и новыми методами управления он не занимался. Он вел «боевые документы» старой формы (боевые приказы, опер- и разведсводки, боевые донесения и т. п.). Это был заместитель начальника кафедры генерал-майор Янов. Чувствовал он себя на кафедре одиночкой и весьма неуютно, так как видел и чувствовал, что его «документы» постепенно уходят в прошлое. Вот он-то один и выступил с осуждением.

Остальные 18 членов кафедрального коллектива заняли единственно возможную позицию защиты меня. Они не высказывались против осуждения моего выступления. Наоборот, они «за», но только они считают необходимым прочитать стенограмму моего выступления. А это как раз то, чего руководство допустить не может. И вот 5 часов подряд идет «толчея воды в ступе». «Варяги» один за другим выступают, уговаривая наших коммунистов осудить меня. А «варягов», то есть не членов нашей парторганизации, много. Начальник академии, секретарь парткома, зам. секретаря парткома Аргасов, три начальника кафедр — общественных наук (марксизма-ленинизма, партполитработы, политэкономии) и два представителя главпура — 8 человек на 18 наших членов партии. И выступают они по несколько раз.

А наши коммунисты, как сговорившись, твердят: «Дайте нам стенограмму, и мы с радостью дадим оценку действиям нашего коммуниста. Без этого же мы просто не знаем, о чем говорить». Задача же «варягов» состояла именно в том, чтобы уговорить принять решение об осуждении выступления, не знакомясь с его содержанием. Позиции были несовместимыми. Казалось, нет выхода. Всем надоело, а как кончать — неизвестно. И вдруг самый молодой по возрасту, по партийному стажу и по времени пребывания на кафедре адъюнкт выступает с заявлением:

— По-моему,— говорит он,— выявились два предложения. Первое: осудить выступление генерала Григоренко как политически незрелое; второе: просить партийный комитет академии ознакомить коммунистов кафедры со стенограммой выступления товарища Григоренко и после этого решить вопрос о привлечении его к партийной ответственности. Я предлагаю голосовать эти предложения.

Все «варяги» буквально «в штыки бросились» против этого предложения, но зато коммунисты кафедры встали на его защиту. И тогда поступает еще одно предложение: «Прекратить обсуждение и голосовать».

Председательствующий провозглашает: «Кто за то, чтобы прекратить обсуждение и перейти к голосованию?» Все коммунисты кафедры, кроме Янова, подняли руки. «Принято предложение прекратить обсуждение. Переходим к голосованию. Кто за...» — начал председательствующий. В это время раздался голос секретаря парткома: «Минуточку! Голосовать не будем. Дела в отношении генералов могут, согласно инструкции ЦК, разбираться только в парткомах на правах районных комитетов. Мы у вас поставили этот вопрос не для решения, а для информации коммунистов. Поскольку цель информации достигнута, мы на этом и закончим собрание, а принятие решения о Григоренко перенесем на заседание парткома».

Так и не удалось притянуть «голос масс» на защиту цекистского произвола. Спасибо тебе, академия, за это, спасибо тебе, родная кафедра. На большее вы были неспособны, но для меня и это было много. Ваша позиция укрепила мой дух.

Через несколько дней состоялось заседание парткома с единственным вопросом: «Рассмотрение персонального дела П. Г. Григоренко».

Рассказывать особенно нечего. Выступили почти все члены парткома. И все осуждали меня за выступление на конференции. Но никто не затронул коренного его смысла. Обвиняли в том, что не высказал эти взгляды в своей парторганизации. Мое упоминание о Ленине было преподнесено как «сравнивает себя с Лениным». Говорили, что я не понимаю смысла программы как «документа великого теоретического значения» и пытаюсь подменить большие вопросы всякими «мелочами» вроде «обворовывания покупателя». Указывали на то, что я недооцениваю работу, проделанную партией по ликвидации последствий культа Сталина, и что я вообще не понимаю политики партии в этом вопросе.

Я в своем выступлении продолжал отстаивать взгляды, высказанные на конференции: 1) выступать я имел право, а наказать меня за это не имели права; 2) никто не сформулировал, в чем ошибки моего выступления, и никто не говорил о них; 3) если бы даже выступление содержало ошибочные вгляды, то наказывать за это нельзя. Такие взгляды можно только опровергать, но я имею право их отстаивать (§ 3 Устава КПСС) до принятия решения партией, то есть до утверждения программы XXII съездом; 4) президиум не имел права перенести обсуждение уже решенного конференцией вопроса (о лишении меня — предложение Бирюзова — права участвовать в конференции) на рассмотрение по делегациям и в мое отсутствие, то есть еще с одним нарушением устава. Исходя из изложенного, я считал, что мои (уставные) права члена партии грубо нарушены, и просил партком донести об этом до ЦК партии.

В ходе прений были высказаны два предложения:
— объявить строгий выговор с предупреждением и с занесением в учетную карточку;
— объявить выговор.

После моего выступления председательствующий запросил, нет ли еще предложений. Их не было. Решили перейти к голосованию. В это время попросил слова Курочкин. Он еще не выступал, как не выступал и Иван Алексеевич (секретарь парткома). Курочкин предложил «удалить Григоренко из зала на время голосования». Такая процедура применяется, и я с этим спорить не стал. Удалился.

Что же происходило без меня? Курочкин, по-видимому, хотел, чтобы это осталось неизвестным мне. Но он, наверно, не знал, что, когда человек обжалует решение любой партийной инстанции, его обязаны ознакомить со всем протоколом и всеми материалами, прилагаемыми к нему. И сухая протокольная запись рассказала мне все. Когда я вышел, взял слово Курочкин и обрушился на поступившие предложения: «ЦК считает, что ему не место в партии, а у нас нет даже предложения об исключении из партии». Председательствование взял на себя Иван Алексеевич. Он сказал: «Итак, у нас три предложения (он перечислил их). Я боюсь, что при таком количестве голосование может быть неубедительным, так как голоса разобьются (состав парткома 21 человек). Предлагаю кроме альтернативного предложения (исключить) оставить одно из первых двух».

Он спросил, не согласятся ли те, кто выдвинул «выговор», снять свое предложение.

Те не согласились. Не удалось снять и другое. Тогда он предложил эти два предложения заменить новым: «Строгий выговор». С этим согласились. По мотивам голосования выступили 5 человек. За исключение высказались Курочкин и начальник первой кафедры генерал-майор Петренко. Они только и проголосовали за исключение. Это и хотел скрыть от меня Курочкин. Но не вышло. И я имею приятную возможность еще раз сказать академии «спасибо». Партком не мог избавить меня от кары, но у него хватило мужества сделать ее минимальной. Это, несомненно, сдержало дальнейшие репрессии против меня. Партбюрократия вынуждена была считаться с тем, что симпатии академического коллектива на моей стороне. Выгоднее было дело потихоньку затушить. Тактика торможения себя оправдала. В первый день могли, безусловно, исключить. А теперь кончилось, как обычное партийное дело, «строгим выговором». И это давало мне возможность перейти в наступление.

Я подал жалобу на решение парткома в парткомиссию 2-го Главного управления (Главупра). В жалобе всесторонне обосновывалась незаконность наложения взыскания за использование своего законного права. До заседания парткомиссии жалоба рассматривалась в моем присутствии сначала партследователем, потом секретарем парткомиссии генерал-полковником Шмелевым. Вот тут-то я и понял по-настоящему силу лицемерия составителей моего обвинения.

— На что вы жалуетесь? Вас наказали не за выступление.

— А за что же?

Он раскрывает мое дело и читает: «За извращение линии партии по вопросу о культе личности и за недооценку деятельности партии по ликвидации последствий культа личности Сталина».

— А где же это я извращал и недооценивал?

— Ваше выступление на партийной конференции.

— Значит, за выступление?

— Нет, выступать вы имели право.

— Так за что же меня наказали?

В ответ снова зачитывается вышеприведенная формулировка.

Так мы и толклись на месте, разговаривая, как двое глухих. На том и разошлись. Потом состоялось заседание парткомиссии, которое отклонило мою жалобу и подтвердило решение парткома академии. Я обжаловал в партколлегию Комиссии партийного контроля ЦК КПСС.

Партколлегия ЦК КПСС — своеобразное учреждение. Как во всех цекистских учреждениях, сотрудники здесь изобильно обеспечены. Мой друг инженер-майор Генрих Ованесович Алтунян, который через 7 лет после меня тоже побывал в этом учреждении, красочно описывал партколлегийные буфеты и яствениое изобилие в них. Это описание попало в «самиздат» и привело к тому, что проход в районы буфетов для приглашаемых в партколлегию оказался закрытым.

Я буфеты не посещал, не видел то красочное изобилие и не вкусил от тех благ, но зато я хорошо разобрался в организации работы партколлегии и в том, как подбираются туда кадры и как «ударно трудятся» они «на благо коммунизма». Партколлегия — учреждение двухэшелонное. В первом эшелоне, на фасаде, так сказать, партследователи. Это люди особого подбора: внешне приветливые, мягкие, внимательные, чуткие. Такие ли они по натуре или так вышколены, но встречают они жалующихся классно: обволакивают их своим вниманием и заботливостью и тем создают авторитет своему учреждению. Но решают не они. Цитаделью учреждения является сама партколлегия. Здесь тоже подбор, но совсем иной. Говорят, что членами партколлегии назначаются вторые секретари обкомов, которые в своем моральном падении дошли до такого состояния, что их, даже при нашей системе выборов, нельзя предложить ни на какую выборную должность. И тогда ЦК назначает их членами партколлегий.

Моим партследователем был невысокий худой человек по имени Василий Иванович (фамилию я забыл) с очень внимательными и ласковыми глазами. Доброжелательность буквально лилась из него. Он так внимательно слушал и так сочувственно кивал головой, что невольно хотелось выложить все свои мысли со всей откровенностью. Член коллегии, шеф Василия Ивановича, Фурсов, полный, среднего роста мужчина с лицом ничего не выражающим и с глазами тупыми и безразличными, был снят с должности второго секретаря обкома за взятки и теперь трудился над повышением морального уровня партии.

Работали все члены партколлегии «с энтузиазмом»... 4—5 часов... в неделю. Они приходили на работу только в день заседания партколлегии. Заседания были один раз в неделю, продолжительность 3—4 часа. Члены партколлегии являлись за час до заседания, уезжали сразу по окончании. Время до заседания они использовали для прослушивания партследователей по делам, назначенным на данное заседание. Фурсов мое дело прослушал, например, так. К нему зашел Василий Иванович. Через 2—3 минуты позвал меня. Полусонным, безразличным взглядом Фурсов окинул меня и лениво сказал: «Ну, вы там держитесь поскромнее, и все будет в порядке». И никаких вопросов.

Сколько таких дармоедов в партколлегии, я не знаю. Во время разбора моего дела присутствовало около двух десятков. Но все ли они трудились в тот день или некоторые из них, «от безделья приустав, уехали отдыхать», кто знает...

Заседание происходило в огромной по площади и по высоте комнате. Входя в зал, направо видишь наружную стену с четырьмя большими старинными окнами чуть ли не во всю высоту стены. При взгляде влево, вблизи другой (внутренней) стены, вдоль нее — огромнейшей длины широкий стол под зеленым сукном. По обеим длинным сторонам стола сидят люди, по-видимому, члены партколлегии. У дальнего торца стола — кресло с высокой судейской спинкой. Рядом с креслом стоит полный широколицый человек в отличнейшем темного тона костюме. Лицо кого-то напоминает. Ага, Сердюк — первый заместитель председателя партколлегии. Слева от него, первым за длинной стороной стола, сидит мой партследователь. Перед ним раскрытая папка, и весь он — полная готовность немедленно вскочить и докладывать. Фурсова не вижу. Ах, нет! Вот он, примерно посередине на другой длинной стороне стола. Противоположный от Сердюка торец никем не занят. По жесту Сердюка, когда я, шагнув в комнату, нерешительно остановился, понял, что мне нужно идти именно туда. Позади предназначенного мне места, у стены, ряд стульев. На них сидят: полковник Аргасов, генерал-полковник Шмелев и еще кто-то.

Я направился к своему месту. На мне гражданский костюм. Догадаются или нет, но я этим подчеркиваю, что здесь я только член партии и признаю только партийные законы и партийную дисциплину. Я не представляю себе, как обернется дело здесь, в ЦК. После мягко-заботливо-сочувственного отношения Василия Ивановича и лениво-безразличного Фурсова: «Ну, вы там держитесь поскромнее, и все будет в порядке», можно было ожидать чего угодно, но, во всяком случае, не ужесточения отношения ко мне. Но произошло неожиданное даже для Василия Ивановича. Да, очевидно, и для Фурсова. Сообщения партследователя о моем деле слушать не стали.

Я еще не дошел до своего места, как раздался голос Сердюка:

— Ну что, наболтался?

— Я не понимаю вас.

— Не понимаешь? Наивный какой. Все ты прекрасно понимаешь. Это ты здесь такой смирный, а как попал среди «любителей жареного», так вон как заговорил. Оклады его высокие, видишь ли, не устраивают. Так это же ты не себя имел в виду, не свой высокий оклад...

— Я себя от партии не отделяю,— врываюсь я в его тираду.

— Не отделяешь! Ишь ты какой святой! Все ты прекрасно различаешь и разделяешь. Ты не о своем высоком окладе думал, когда говорил об этом. Ты был уверен, что как высококвалифицированный специалист имеешь право на свой высокий оклад. Ты о моем высоком окладе думал, когда говорил об этом...— нажал он на слове «моем».— Сменяемость ему, видите ли, нужна. Так ты ж не о своей сменяемости думал. Ты же специалист и в смене не нуждаешься. Ты же думал не о том, чтоб тебя сменили, ты хочешь, чтоб меня сменили.— И он уставился взглядом на сиденье своего кресла и туда же ткнул пальцем.— Демократия ему нужна! Это чтобы всякая шваль могла вмешиваться в работу советских и партийных учреждений и мешать работе добросовестных работников, дезорганизовать их работу. Свободные выборы ему нужны! Это чтобы всякие демагоги могли чернить добросовестных коммунистов, клеветать на них, мешать народу выбрать достойнейших. Развел такую демагогию и еще имеет нахальство жаловаться. Не по закону, видите ли, с ним поступили. Не будем мы твоими хитрыми кляузами заниматься, слушать здесь твою демагогию, можешь идти!

Я молчал. Одна только мысль билась в голове: «Бандиты! Гангстеры! Мафия!» Мне хотелось схватить стул и бить по этим бандитским головам, все крушить в этой комнате. Если бы я раскрыл рот, то из него могла вырваться только страшная ругань. Поэтому я сжал челюсти до боли в зубах и выходил молча. Когда я был уже у двери, Сердюк, продолжавший высказывать свое возмущение, крикнул Аргасову: «Что же вы не исключили его! Мы бы подтвердили. Его же не исправишь. Все равно придется исключить».

«Ну и банда! — выдохнул я воздух, сжавший мне грудь, выйдя в приемную.— Они по уставу имеют право исключать из партии. Но они хотят, чтобы мы сами исключали друг друга. А они лишь подтверждать будут. Ну и бандиты!»

В приемную выскочил Василий Иванович. Он был смущен и растерян. Веру в его добропорядочность и сочувствие мне я потерял во время тирады Сердюка. «Порядочные люди не могут работать в таком учреждении»,— подумал я тогда. Но сейчас, при виде его растерянного лица, мне стало жалко этого человека. Он пошел вперед, пригласив меня следовать за ним. Вручая мне пропуск, сказал:

— Я не понимаю, что произошло. Никогда такого не было. Но ничего. Из партии ведь не исключили. А строгий выговор! Пройдет полгодика, и снимем. Не падайте духом, товарищ Григоренко!

— Да я и не падаю. Благодарю за сочувствие. До свидания...

Я вышел на улицу. Светило солнце. Сверкал белизной недавно выпавший снежок. По скверу к площади Ногина и к улице Куйбышева шли отдельные прохожие. Я вышел из больших, богато обставленных светлых комнат, но у меня чувство, будто я вырвался

из темного сырого подвала. И я с радостью вдыхал свежий морозный воздух. Это было 19 декабря 1961 года. Я направился к набережной и по ней пошел к себе в Хамовники. Туда, где ждут меня родные, любимые, тесный круг людей, которые помогут мне забыть бандитские хари «хранителей партийной морали». Мысли невольно возвращались снова и снова к событиям, происшедшим во время заседания. И снова ком подкатывался к горлу, и снова охватывало раздражение, что я молчал, когда он издевался над моими идеалами. Приходили острые и глубокие мысли, и хотя я понимал, что они запоздали и что если бы даже пришли вовремя, то их незачем и не для кого было бы употреблять, однако было какое-то злое наваждение мысленно громить этого чинушу.

Наконец я дома. Жена ждет рассказа. Да и мне надо «разгрузиться». Подробно рассказываю и завершаю: «Да ведь это же бандиты. Растленные, разложившиеся типы».

— А ты только узнал? Мне это давно известно. Но уж раз знаешь, теперь и веди себя соответственно. Голову в пасть зверю сам не клади.— Сказала, как итог подвела.

Мы приобрели новые знания, новый жизненный опыт. Вместе с тем нарушенные партийные мои дела приведены к какой-то стабильности. Теперь можно было начинать и разговоры о делах служебных. До этого никто на сию тему говорить не хотел. Даже Чуйков, который всегда удовлетворял мои просьбы о приеме, когда речь заходила о назначении, говорил: «Разрешите партийные дела, тогда будем говорить и о назначении». Теперь я пошел к нему снова с этим вопросом.

— Ну что, утвердили строгий выговор? — задал он вопрос, как только я уселся в кресло перед его письменным столом.

— Да!

— Кто председательствовал? Сердюк?

— Да!

— Ну, как он?

Попробуй ответь на такой вопрос. Или попробуй хотя бы понять, к чему он. Я понял так, что Чуйкову хочется узнать, какое впечатление произвел на меня Сердюк. О Сердюке ходячее мнение как о невероятном хаме. Как о гражданском Чуйкове. Кстати, они и дружили между собой, когда Чуйков был командующим Киевским военным округом, а Сердюк секретарем Львовского обкома КПСС. Не знаю, какого ответа хотел от меня Чуйков, но тот, который я дал, его вряд ли удовлетворил. Я ответил:

— Ну что ж Сердюк. Он от меня далеко стоял. Он председатель, а я штрафник. В общем, прочитал мне нотацию и оставил все как было.

— Ну, это хорошо, что так оставили. Хуже было бы, если бы исключили,— и внезапно, показывая свою осведомленность, добавил: — Вы правильно себя вели. Если бы вступили в спор, так бы благополучно не закончилось.

— Но закончилось, товарищ Маршал Советского Союза. Теперь я прошу решить вопрос о назначении. Уже четвертый месяц на исходе, как я безработный.

— А на что вы претендуете?

— Ну, кафедру мне теперь, естественно, не дадут, но я человек не гордый, согласен пойти на должность старшего преподавателя на свою же кафедру.

— Нет, о преподавательской работе не может быть и речи. Вас нельзя подпускать к молодежи.

— Ну, тогда старшим научным сотрудником в НИО.

— Нет, академия вас не возьмет ни на какую должность.

— Ну, тогда старшим научным сотрудником в любой из вычислительных центров Министерства обороны.

— Нет, в Москве мы вас не оставим.

— Ну, тогда подбирайте мне должность сами.

— Хорошо. Как только подберем, я вас вызову.

Вызвал он меня через неделю.

— Предлагаю вам на выбор 3 должности.

1) Облвоенкомом в Тюмень.

2) Заместителем начальника оперативного управления военного округа в Новосибирск.

3) Начальником оперативного отдела штаба армии в Уссурийск.

— Первое предложение просто несерьезно. Я уж не говорю, что мне надо будет осваивать совершенно новую для меня отрасль работы. Дело в другом. Облвоенком — заметная в области фигура. Как правило, член бюро обкома. И, естественно, как только придет мое личное дело, обком спросит у вас: «Кого вы нам прислали?» А то еще хуже. Прямо пошлют жалобу в ЦК.

Чуйков согласился со мной и первое предложение снял.

— Второе. Вы знаете значимость Сибирского военного округа. Я еще до войны занимал аналогичную должность в штабе Дальневосточного фронта. Здесь мне просто будет делать нечего. Поэтому на сию должность только по приказу.

Чуйков и с этим согласился.

— Значит, у меня имеется фактически только одно предложение. И если вы так богаты кадрами, что можете давать на должность начальников оперативных отделов армий начальников ведущих кафедр академии, то я не против того, чтобы занять такую должность.

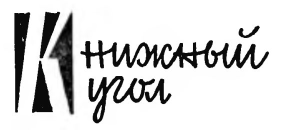
В первой половине января 1962 года состоялся приказ о назначении меня начальником оперативного отдела штаба армии. Это было то, на что я согласился, поэтому неожиданностью приказ не был. Меня удивила только одна деталь. В приказе написано «назначается начальником оперативного отдела», а принято писать полное наименование должности: «Начальник оперативного отдела — заместитель начальника штаба армии». В моем приказе «заместитель начальника штаба армии» выпал. Но я этому значения не придал. Только по прибытии к месту службы я понял, что это не случайная описка.

В начале февраля я вторично отправился на Дальний Восток. Разные это были поездки. В первый раз — начиналась моя общевойсковая служба. Теперь я ехал в изгнание, в ссылку. Но странные бывают повороты судьбы. Неожиданно простой отъезд штрафного генерала превратился в триумф. Нежданно к вагону начали подходить офицеры. Сначала друзья по работе. А ближе к отходу поезда папахи заполнили всю платформу. Многие из более далеких сослуживцев к вагону не подходили и даже делали вид, что приехали вовсе не из-за меня. Но я понял. Люди хотели хоть издали напутствовать меня.

Поначалу я делал вид, что не понимаю смысла этого съезда. Но когда жена, подойдя ко мне вплотную и указывая глазами на перрон, сказала: «Этого тебе Никита не простит», я спорить не стал. Снова с благодарностью вспомнил я академию. Она привила мне любовь к научному творчеству. Среда академическая и особенно домашняя стимулировали мое общественное мышление и будили совесть. Если бы я был не в академии, то вряд ли дошел бы до трибуны партконференции, а может, не дошел бы и до мысли о выступлении. Академия защитила меня после конференции и тем помогла укрепиться духу моему. И вот теперь пришла на проводы. Пусть не хватило мужества на открытую демонстрацию, но этот молчаливый наплыв — тоже демонстрация.

Поезд тронулся. Покрытый папахами перрон постепенно уплывал, скрывался из глаз. Прощай, академия. Хотя нет. Еще один раз увижусь я с ней и тогда уж прощусь навсегда.

Продолжение следует



Раздел ведет Ив. Толстой

«ВОЛЯ РОССИИ»

Журнал основан в Праге эсерами, группировавшимися вокруг А. Ф. Керенского. *«Воля России»* поначалу (1921) была ежедневной газетой, с середины 1922-го — еженедельником, с конца 1922-го выходила два раза в месяц, с 1924-го — ежемесячник. С 1927 года редакция находилась в Париже.

«Как и все эмигрантские начинания в Чехословакии — от стипендий студентам и писателям до издательства „Пламя“, от Земгора до санатория, от просветительных до профессиональных учреждений и научных обществ, „Воля России“ получала определенные суммы по утвержденному правительством бюджету так называемой „русской акции“. Эта финансовая поддержка с каждым годом сокращалась, но она — вместе с поступлениями от подписчиков и продажи — обеспечивала скромную смету журнала» (Марк Слоним).

Позиция *ВР*: «Мы последовательно и неумолимо защищаем демократический социализм против большевистской диктатуры». Являясь поначалу частью эсеровской журнально-газетной триады («Современные записки», «Дни», «Воля России»), *ВР* к концу 1922 года стала органом левого крыла партии, и имена В. М. Зензинова и О. С. Минора исчезли с обложки; журнал стал редактироваться В. И. Лебедевым, М. Л. Слонимом и В. В. Сухомлиным (с 1924 года также Е. А. Сталинским) при прежнем издателе — Е. Е. Лазареве. *ВР* объявляла себя единственным в эмиграции ежемесячным общественно-политическим и литературным журналом.

На страницах *ВР* много внимания уделялось текущим вопросам политической и экономической жизни, как советской, так и международной, в частности, социалистическому движению в Европе, общественным процессам в славянских странах. *ВР* была сильно связана со страной, где она издавалась: еще в 1919 году двое из ее редакторов (Лебедев и Слоним), а также некоторые из сотрудников познакомились на Волге и в Сибири с чешскими легионерами, пробивавшими себе дорогу к Владивостоку. Многие из них стали впоследствии крупными деятелями Чехословакии. Некоторые критики утверждали, что в журнале царил «славянофильский душок».

Под влиянием В. Лебедева, сражавшегося в первую мировую войну на Балканах, *ВР* уделяла особенное внимание Югославии и Болгарии.

Исповедуя антибольшевизм и отклоняя сменовеховство, *ВР* тщательно отмежевывалась и от правой эмиграции, и от республиканско-демократической, часто зло полемизируя и с «Последними новостями» П. Н. Милюкова и с «Современными записками» правых эсеров.

Отличительной чертой *ВР* был ее подчеркнутый интерес к советской литературе, за перипетиями которой журнал внимательно следил, давая отзывы о советских книжных новинках и обзоры советских журналов, перепечатывая советских авторов (Н. Асеева, И. Бабеля, Л. Леонова, В. Маяковского, И. Новикова, Б. Пастернака, Б. Пильняка, К. Тренева, О. Форш и др.) и откликаясь на советскую внутрилитературную полемику. В 1927 году *ВР* перепечатала некоторые отрывки из романа Е. Замятина «Мы» в обратном переводе с чешского — таким образом, это первая публикация запрещенного в СССР романа на русском языке.

ВР заявляла о советской литературе, что «она жива и будет развиваться, несмотря на удары коммунистической диктатуры, тиски цензуры и нелепые попытки вырастить цветы пролетарского искусства в оранжереях ВАПП и НА ПОСТУ» (Марк Слоним).

Всячески осуждая эмигрантских писателей старшего поколения (И. А. Бунина, Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, И. С. Шмелева, М. А. Алданова) за их отрицание самой возможности существования советской литературы (из молодых сюда попадал В. В. Набоков), *ВР* прославилась своим расположением к молодым авторам-эмигрантам и к литературному новаторству. Последнее было причиной широкого участия в *ВР* А. М. Ремизова и М. И. Цветаевой; наиболее характерные крупные вещи ее появились именно здесь: «Крысолов», «Полотеры», «Попытка комнаты», «Приключение», «Феникс», этюд о Рильке «Твоя смерть», воспоминания о Брюсове, статья «Наталья Гончарова», ряд стихотворений. «...не уставали печатать — месяцами! — самые непонятные для себя вещи»,— отзывалась Цветаева о своих взаимоотношениях с *ВР*.

Своей ролью поощрительницы молодой литературы *ВР* очень гордилась. Главная заслуга в этом принадлежала М. Л. Слониму, литературному редактору и главному литературному критику. *ВР* имела в качестве питомника авторов студенческие журналы Праги — «Своими путями» и «Студенческие годы», имевшие с *ВР* много общих сотрудников. Такие известные в эмигрантских литературных кругах имена, как Вадим Андреев, Борис Божнев, Александр Гингер, Борис Поплавский, Анна Присманова, Юрий Терапиано, задолго до появления в «столичных» «Современных записках» фигурировали на страницах *ВР*. Естественно, что *ВР* печатала пражских поэтов, группировавшихся вокруг созданного в Праге А. Л. Бемом кружка «Скит» (Вячеслава Лебедева, Алексея Эйснера, А. Фотинского, К. Ирманцева, Николая Болесциса и др.). Из молодых прозаиков, авторов *ВР*, отметим Бронислава Сосинского, Гайто Газданова, Вадима Андреева, Василия Федорова.

В 1928 году журнал организовал конкурс на лучший рассказ из эмигрантской жизни (победитель — А. Эйснер, рассказ «Роман с Европой. Записки художника»; отмечены рассказы Н. Борина, М. Мыслинской, В. Варшавского, А. Бинецкого, Р. Звягинцева, В. Федорова).

В отличие от «Современных записок», *ВР* регулярно печатала переводы из современных иностранных прозаиков и поэтов (И. Волькера, Т. Манна, М. Пруста, Р. Роллана, К. Чапека и др.).

Литературная критика в *ВР* была представлена главным образом Марком Слонимом, в меньшей степени — Н. Мельниковой-Папоушковой и Д. А. Лутохиным. Эпизодически появлялись статьи А. Л. Бема, Е. А. Зноско-Боровского, П. П. Муратова, кн. Д. П. Святополк-Мирского, Ю. Марголина, Е. А. Ляцкого. Позицию *ВР* характеризовали постоянные нападки на эмигрантскую литературу (которой, по словам М. Слонима, не существует «как целого, живущего собственной жизнью, органически растущего и развивающегося, творящего свой стиль, создающего свои школы и направления, отличающегося формальным и идейным своеобразием»), а также на журнально-издательское кумовство, неприкосновенность авторитетов.

Ив. Т.

«МОСТЫ»

Поразительно, что почти любой печатный орган, открывающийся в самую литературно небогатую пору, можно наполнить первосортным материалом. Так случилось и с литературно-художественным и политическим альманахом «Мосты» (1958—1970). Рождался он нехотя, в качестве престижного, представительного лица ЦОПЭ (Центрального Объединения Политических Эмигрантов из СССР), располагавшегося в Мюнхене, задумывался как живое, современное издание, «перебрасывающее мосты» между эмигрантской и западной интеллигенцией, с одной стороны, и советской нонконформистской — с другой. Литературную обстановку тех лет характеризовал главный редактор *М* Г. Андреев: «В начале пятидесятых годов я работал заместителем главного редактора „Посева“, был я и в редколлегии „Граней“ и хорошо знал, насколько уже тогда бедна была эмиграция литературными силами, да еще для такого издания, как затевавшийся альманах. В то же время (1950-е.— *Ив. Т.*) в эмиграции есть три постоянно выходящих журнала — „Новый журнал“, „Грани“, „Возрождение“, которые могут использовать все достаточно ценные рукописи, наличные и будущие ⟨...⟩. В то время в Мюнхене, как и в других центрах эмиграции, литературная жизнь ⟨...⟩ едва теплилась. ⟨...⟩ Никаких кружков или подобия организационных связей в литературной среде не было, и попытки создать их были искусственными и напрасными. Как-то соединить всех в одно было немыслимо и незачем: словно чего-то не хватало в литературном воздухе, что могло бы оживить, придать некое общее движение, общую заинтересованность всем этим разным людям с разной творческой устремленностью. Но это касалось не только нас, а всей литературы нашего времени: не мы одни были в этом странном состоянии общественного полусна, полубдения, аморфности, неопределенности».

М были задуманы и стали выходить в условиях, имевших мало общего с предвоенным временем, с литературной активностью первой русской эмиграции. К концу 1950-х годов основная часть литераторов первой волны уже не определяла журнальной политики, многочисленной и свежей была волна вторая, военные беженцы и «перемещенные лица», «ди-пи» (displaced persons), как называли их в изгнании. Но эти новые изгнанники резко отличались от старых: интеллигенции здесь было мало, да и была она новой формации, не было среди них громких и общепризнанных имен (разве что Р. В. Иванов-Разумник и С. А. Аскольдов — но они скончались в Германии еще во время войны; такие имена, как И. Елагин, О. Анстей, В. Марков, С. Максимов, Л. Фостер, стали известны много позже). Если эмигранты 20-х—30-х годов видели свою миссию в сохранении и развитии русской культуры, то в конце 1950-х стало ясно, что, несмотря ни на что, культура в Советском Союзе не уничтожена и наведение мостов с литературными силами за железным занавесом сулит альманаху значительное оживление.

В этой атмосфере *М* выбрали правильную тактику: не претендовать на отражение литературного процесса, но, пользуясь правом альманаха, собирать наиболее интересное, не придерживаясь какой-либо программы или линии. Поэтому Г. Андреев называл *М* «витриной».

За 12 лет существования *М* в 15 номерах напечатали около четырехсот произведений двухсот авторов, как широкоизвестных (Н. Бердяева, Н. Лосского, С. Франка, Л. Шестова, Г. Адамовича, Ю. Анненкова, Н. Берберовой, И. Бунина, В. Вейдле, Е. Замятина, С. Маковского, И. Одоевцевой, Б. Пастернака, А. Ремизова, Ф. Степуна, Г. Струве), так и обладавших местной известностью (Л. Алексеевой, А. Бахраха, Г. Газданова, В. Завалишина, В. Зубова, Ю. Иваска, Е. Каннак, В. Корвин-Пиотровского, Г. Кузнецовой, А. Неймирока, Ю. Одарченко, Н. Полторацкого, К. Померанцева, С. Прегель, Г. Раевского, Л. Ржевского, А. Седых, В. Смоленского, Ю. Терапиано, Б. Филиппова, А. Шика и др.).

В *М* были напечатаны также переводы рассказов, отрывков и статей иностранных писателей: О. Хаксли, М. Джиласа, А. Камю, С. Мрожека, А. Тойнби, У. Фолкнера, Э. Хемингуэя, М. Эме и др.

Первые десять номеров *М* вышли под грифом издательства ЦОПЭ, но весной 1963 года ЦОПЭ было закрыто, и *М* продолжали издаваться под маркой Товарищества Зарубежных Писателей — организации, существовавшей лишь на бумаге, и редактировались все тем же Г. Андреевым (настоящее имя — Г. А. Хомяков), принадлежащим ко второй волне эмигрантов. В 1967 году под тем же названием (*М*) был выпущен сборник статей, приуроченных к 50-летию революции; этот сборник не получил при выходе особого номера, зато очередной выпуск альманаха *М* (1968) получил двойной номер: 13/14. Расходы по выпуску 15-го номера *М* возросли по сравнению с расходами на 11-й вдвое и стали издателям не по силам.

Ив. Т.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЗВЕЗДЫ»

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

КРИТИКА

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

КНИЖНЫЙ УГОЛ

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ